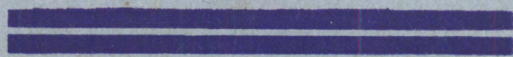


НОВЫЙ
МИР

НОВЫЙ МИР

1



1978

1978



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 1

Январь, 1978 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
АЛЕКСАНДР АВДЕЕНКО — В поте лица своего..., роман	3
БОРИС СЛУЦКИЙ — Это правда, стихи	78
ПАВЕЛ НИЛИН — Впервые замужем, рассказ	80
СЕРГЕЙ МНАЦАКАНЯН — Черновик, стихи	103
ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ — Поиски жанра, поиски жанра	105
АНТАЛ ГИДАШ — Оса, стихи. Перевел с венгерского Д. Самойлов	193
СТИХИ ДЕННИСА ГЛОВЕРА. Предисловие С. Наровчатова. Перевела с английского А. Спаль	195

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ	
ВЛАДИМИР АБЫЗОВ — Жить здесь — нам!	197

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ЕВГЕНИЙ НОСКОВ, АЛЕКСАНДР ТАРАДАНКИН — Председатель из Утолки	207
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АЛ. МИХАЙЛОВ — Опыт. Не Лаокоон, но о живописи в поэзии без установления границ меж той и другой	235
А. ВУЛИС — Поэтика детектива	244

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство 259

Ааду Хинт. Пядь земли. Перевела с эстонского В. Рубер. — Илья Фояков. За пределами сказок. — Генрих Митин. Верность — сестра таланта. — Н. Анастасьев. Необходимость абстрактных истин.

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	272
Ю. Каграманов. Разное о «видеоленте». — А. Вышневецкий. Актуальные проблемы народонаселения. — В. Турбин. Архивы: родина и чужбина. — Георгий Степанович. Живые страницы истории Индии.	
КРОТКО О КНИГАХ: Гауссу Диавара. — Агостиньо Нето. Звездный Путь. Стихи. ✦ Владимир Тендряков. — Борис Яранцев. Двери своего дома. Роман. ✦ И. Коя. — Ш. А. Богина. Иммигрантское население США. 1865—1900 гг.	285
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	288

АЛЕКСАНДР АВДЕЕНКО



В ПОТЕ ЛИЦА СВОЕГО...

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Человек не ведает, какое именно деяние увенчает труды всей его жизни, какими будут последние его дни и часы. И это хорошо. Но как быть, если на его долю выпал горький жребий: увидеть недалекий свой предел — как сказал Гюго, «ужасное, черное солнце, лучами насылающее мрак»? И кто из смертных знает, как достойно вести себя в это время?

Не заходя к себе, Федор Петрович направился в мой кабинет. Не вошел, а ворвался. Коренастый, плечистый, переполненный мощью, здоровьем, нетерпеливым желанием ворочать глыбы всяких дел. Широкое, скуластое, свежее от весеннего утра лицо. Сияющие глаза. Улыбаться он начал сразу же, как только распахнул дверь.

— Здравия желаю, мил человек!

Употреблял несовременное словечко редко, в особых случаях, желая выказать мне особое расположение. И обычно не на людях, а только один на один, во время душевных бесед.

Федор Петрович ненамного моложе меня. Но ему еще жить и жить. Никогда и ничему я не завидовал, а сейчас позавидовал. Чужой молодой силе, цветущему здоровью позавидовал. Вот уж истинно: что имеем — не храним, потеряем — плачем.

Он стремительно подошел ко мне, схватил мою вялую, потную руку, крепко сжал и, не выпуская, прямо-таки впился в меня преданно-влюбленными глазами.

— Привет! С благополучным возвращением. Долго же ты, бессовестный, валялся на больничной койке.

Шутливость его сродни жестокости. Но понятная и простительная. Здоровый больного не разумеет.

— Хорошо то, что хорошо кончается! — гремит сочным, жизнерадостным басом Федор Петрович. Обнимает меня за плечи руками мотобойца. — Рад видеть тебя целым и невредимым. Давай, брат, принимайся за дела, наврестывай упущенное. Работы невпроворот.

Работа! Прекрасное слово. Кипящую жизнь таит в себе. Работа!.. Отработался. Отполыхался, выгорел дотла я...

Федор Петрович достал из портфеля и положил передо мной кипу каких-то бумаг и конвертов. Сел в кресло возле моего стола.

— Сигналы твоих земляков. И все тревожные. Что-то стряслось в доселе благополучном царстве-государстве. На последнем бюро мы

обсуждали вопрос о работе с письмами трудящихся. Беспощадно покритиковали себя, и каждый взял под личную ответственность тот или иной район. Тебе достались твои родные места. Поезжай, разберись.— Он положил ладонь на пачку писем.— Среди этих посланий есть два особенно важных: от Булатова и Колесова.

— И от них?

— Да! Секретарю крупнейшего горкома и директору комбината мирового значения не чуждо ничто человеческое. И они, как и все трудящиеся, обращаясь в обком, рассчитывают на торжество справедливости.

— О чем же пишут они, Колесов и Булатов?

— Не сработались. Обвиняют друг друга во всех тяжких грехах и просят нас разобраться, кто прав, кто виноват.

— Непостижимо.

— Что именно?

— И Булатов и Колесов люди весьма и весьма надежные, испытанные в течение многих лет, заслуживающие доверия, уважения — и вдруг...

— Не знаю, вдруг или не вдруг такое случилось. И тебе не советую гадать на кофейной гуще. Поезжай, поработай, что называется, в поте лица своего.

Некоторое время я молчал, сцепив пальцы и внимательно рассматривая побелевшие костяшки суставов.

Не всякую правду может сказать и правдивый человек. Бывает такая правда, знать которую должен только ты один.

И на язык просится полуправда.

— По-моему, бюро обкома сделало неудачный выбор, поручив мне разобраться в конфликте между Колесовым и Булатовым.

— Почему это неудачный?

— Ну хотя бы уж потому, что в свое время обоих я опекал, обоих уважал и любил как талантливых, многообещающих работников. И теперь один кажется хорошим и другой неплохим. Обоих могу пощадить и защитить.

— Ну и щади себе на здоровье, если того заслуживают.

— Я серьезно, Петрович.

— И я серьезно. Слишком хорошо тебя знаю, чтобы хоть на мгновение засомневаться в твоей партийной честности!

Вот он как повернул дело. Припер, что называется, к стенке. Надо вести разговор начистоту.

— Извини, Петрович, я тень на плетень наводил. Истина в том, что мне сейчас нелегко разбираться, кто прав — Булатов или Колесов. Сил нет. Больше сорока лет работал на товарища, на соседа, на коллектив, на страну, на фронт, на победу, на будущее. Пора о собственной душе подумать, как говаривали в старину. Приготовить себя в дальнюю дорогу. Надо в рай собираться. Короче говоря, я уже не работник.

— Да ты что?.. Вид у тебя преотличный. Из больницы ты вышел будто из санатория.

Делает вид, что не верит моим недугам? Или в самом деле ничего не подозревает? Ладно, как бы там ни было, а я должен быть до конца правдивым. Я взял со стола заявление, написанное сегодня утром, протянул Федору Петровичу.

— Прошу освободить меня от обязанностей секретаря обкома в связи с уходом на пенсию.

— Не согласен! Категорически! Ты — боец. Можешь работать! Должен! Порви свою бумагу. Я ее не читал. Не видал!

— Петрович, я болен безнадежно. Почти безнадежно.

— Раз уж мы заговорили об этом, давай начистоту. Почему отказался от операции, предложенной профессором Михайловым?

— Потому что она... возможно, никчемущая. К тому же еще и страшная. Лучше конец, чем это... Рассекается грудная клетка. Выдирается пищевод вместе с опухолью и отсекается. Желудок зашивают и в нем делают искусственный проход, куда с помощью воронки вводится пища. Культу выводят наружу, в шею. Представляешь? И это издевательство над человеком, над лучшим созданием природы, называется операцией по Тореку... Все сказанное слышал от своего лечащего врача Бабушкина, кстати, непримиримого противника профессора Михайлова. И я согласился с Бабушкиным. Все мы люди, Петрович. Из двух бед выбираем ту, которая нагрянет не сегодня, а завтра.

— Ну что ж, значит, ты поверил смелому врачу. И хорошо. Теперь будь последовательным. Забудь все анализы и диагнозы! Живи и работай назло всем чертям! Главное лекарство, самый лучший врач в данном случае — это твоя святая воля.

● Остановился. Смотрел озадаченно, не зная, как еще поддержать, чем утешить, обольстить.

В последнее время, после того как мне открылся предел моей жизни, я стал замечать, что здоровые люди, разговаривая с тяжело больными, доживающими свой век, чувствуют себя неловко.

— В ближайшее время туристический теплоход «Россия» отправляется вокруг Европы. Хочешь прокатиться? — помолчав, сказал Федор Петрович.

— Видел Европу. Хватит!

— Ну а в санаторий поедешь? На Кавказ. в Крым, в Прибалтику или в Карловы Вары?

— И в санаторий не хочу. Да ты не беспокойся, я сам справлюсь со своей бедой.

Я уже в достаточной степени освоился с новым своим положением, потому так и говорил. Но мое спокойствие Федор Петрович, судя по выражению его лица, принимает за что-то другое. Кажется, за показную храбрость. Жаль, если так.

— Не скромничай, Голота! Скромность паче гордости. Твоя беда — наша беда. Оставаться с ней один на один ты не имеешь права.

— Имею! Только в моем положении человек и получает право на одиночество.

Он вздохнул, устало откинулся на спинку кресла. Лоб его вспотел. Вот в какой тесный угол, сам того не желая, загнал я первого секретаря! Он не знал, что еще сказать. Протянул сигареты. Я взял одну. Минуту назад я не думал, что так легко откажусь от давно принятого решения — не глушить себя табаком. Курю и ничуть не терзаюсь. Да и незачем. Интересно, что еще порушу в своих навыках, какой неожиданный ход сделаю? Нет, ничего унизительного не будет при любом исходе. Не собираюсь быть в тягость родным и себе. До последней минуты останусь человеком. Об этом только и думаю. Но никто в мире не подскажет, как это можно сделать.

— Ну, как поступим? — вопрошает Федор Петрович. — Сегодня примем решение или отложим на более подходящий день?

— Мне все равно — днем раньше, днем позже. От судьбы не уйдешь.

— Ну это ты брось. Ишь какой! Тебе судьбой было предписано жить в Гнилых Оврагах, тянуть лямку саночника, быть ничем и никем, а ты вон где... Депутат Верховного Совета. Член бюро обкома. Академию общественных наук закончил. Вся грудь в срденях. Геройскую

звездочку заработал на фронте. Деду твоему Никанору и в самом расчудесном сне не могло привидеться, чего достигнет внук. А ты — судьба!

Нельзя ни молчать, ни оправдываться. Лучше всего отшутиться. Говорю:

— Вот именно потому, что столько всего нажил на этом свете, не легко переселяться на тот. Там, говорят бывалые люди, все придется сызнова добывать.

Он закуривает новую сигарету, встает и начинает измерять мой кабинет широченными, энергичными шагами. Молчит, думает. А о чем думать? Все ясно как божий день: отжил я свой срок. Случалось, затаивая дыхание, до ужаса ясно, во всех подробностях представляя я себе ритуальное прощание: кто и как, с какими лицами стоит у моего изголовья и изножья, кто плачет, а кто, переминаясь с ноги на ногу, отбывает повинность. Даже запах увядающих цветов, которыми обложен со всех сторон, чувствовал. Отвратительный, тошнотворный запах.

Федор Петрович бросил в пепельницу недокуренную сигарету, резко остановился, выложил все, что надумал, бегая взад-вперед:

— Это, пожалуй, правильно, что ты решил временно отойти от всяких дел. И над своей душой, как ты выразился, подумать... Но где же как не в родном городе проводить эту деликатнейшую операцию? — И с воодушевлением, с тем воодушевлением, какое убеждает больше, чем слова, продолжал: — Взберешься на гору, помотришь сверху на то, что сделано за пятилетки, и твоими руками тоже, повстречаешься с друзьями — и не только забудешь про свою хворобу, но и избавишься от нее. Родные гнезда здорово лечат. Вот так, мил человек.

Благородная роль в благородной игре. Утешал, ободрял словами, а в глазах печальное безверие и тоска.

— Когда надо выезжать? — спросил я.

— Никаких «надо» для тебя пока не существует. Когда хочешь, тогда и двигай. И не вздумай в первый же день очертя голову бросаться в работу. Гуляй себе на здоровье и ни о чем, кроме собственной души, не думай.

— Ладно, там видно будет. Пожалуй, это вариант самый лучший. Еду! Завтра. Живы те, кто борется.

Обменялись взглядами, в которых сквозило недосказанное, стыдливо, угнетенно помолчали. Наступила тягостная минута, минута расставания.

— Значит, завтра утром решил ехать?

— Да. Самолетом.

— В таком случае нечего тебе здесь торчать. Отправляйся домой, собирайся в дорогу. Будь здоров. Всего хорошего.

Ему, как я догадывался, хотелось обнять меня. Но он подавил это желание. В такой ситуации самому искреннему человеку не положено быть до конца искренним.

Кто знает, суждено ли нам встретиться?..

Родина моей юности — не самый солнечный, не самый красивый кусок советской земли, но для меня самый притягательный.

Солнечная гора сберегла для нас, советских, в своих недрах пятьсот миллионов тонн превосходной руды. У ее подножия в первый год первой пятилетки появился первостроитель — основатель города металлургов, старый большевик Егор Иванович Катеринин. Когда-то, в молодости, я общался с ним.

В январе 1932 года в первой нашей домне вспыхнул огонь, который стал виден всей стране и всему миру. Его зажег мой друг Леня Крамаренко.

Первую плавку третьей домны принял на горячих путях и доставил на разливочные машины я, Голота, машинист «двадцатки», танка-паровоза. Первую сталь мартеновской печи принимал тоже я.

Каждый, кто воздвигал рабочую столицу металла, был крещен солнечным огнем.

В былые времена, возвращаясь откуда-нибудь домой на самолете, мне казалось, что я лечу из ночи в утро, из прошлого в будущее.

Сегодня мой самолет летит из настоящего в прошлое. Туда, где я был молодым, полюбил впервые. Туда, где буду выполнять, если хватит сил, может быть, последнее в моей жизни задание партии.

Летим на мою родину не прямым курсом, а с промежуточной посадкой в Соколове, курортном поселке, знаменитом своими прозрачными озерами, корабельными рощами, горячими источниками, лечебными грязями, пансионатами. Почти все мои спутники, вялые, тихие, бледнолицые, выходят. На их местах появляются другие — загорелые, с блестящими глазами, жизнерадостные, набравшиеся сил и радости на горных полянах, у подножия вековых сосен, в горячих источниках. Вот они-то, здоровые и счастливые, в отличие от меня летят в будущее. Не спускаю с них глаз.

Ни один человек хотя бы на мгновение не скользнул взглядом по моему лицу. Меня, больного, седоголового, нет для них, бессмертных. Что ж, это хорошо. Могу спокойно, без помех вглядываться в своих спутников, вслушиваться, о чем они говорят.

Мое место в заднем ряду, в углу. Впереди меня два кресла с откинутыми спинками. Одно из них, то, которое ближе к проходу, свободно. В другом, у окна, расположилась девушка в белом свитере. Волосы светлые, как спелый ковыль. Маленькие розовые уши. Золотистый летний налет на ореховых от свежего горного загара щеках. Только во цвете лет, в самую невинную пору так ясно и так беззащитно-доверчиво отражается на лице юная, полная тайн душа. Прекрасное сочетание! Все тайна — и все открыто. Никому никаких обещаний, но каждый смотрит на нее с надеждой.

Добро дело красота, говорил Пушкин...

Она молчит, но я уверен, что она и умна, и добра, и совестлива. Так засмотрелся на нее, что забыл о поддом зверьке, копошащемся в моем пищеводе. Или он забыл обо мне...

Почему она одна? К ней сразу же, как только появилась, должен был подсесть кто-то из курортных парней. Лет сорок назад этим «кто-то» наверняка был бы я. Как ее зовут? Чья она дочь, внучка, сестра? Учится? Или уже работает? Тонкое ее запястье перехватывает черный ремешок часов. На левой руке на безымянном пальце скромно поблескивает кольцо с крымским сердоликом. Ногти длинные, ухоженные. Нет, не работница. Наверно, студентка Горно-металлургического института имени Головина. Может быть, педагогического.

Истекло время стоянки. Бортпроводница, стоящая у входа, крикнула вниз:

— Убирайте трап!

Вот в это время и появился он. Наимоднейшие потрепанные джинсы, расклеванные внизу и узкие в бедрах. Красная куртка небрежно наброшена на молодецкие плечи. Коричневые, с бронзовыми застежками сандалеты. В руках спортивная сумка, чем-то доверху набитая.

Бортпроводница сурово отчитала его за опоздание, потом смилостивилась и сказала:

— Благодарите судьбу, что мы задержались. Загорать бы вам до завтра в Соколове, если бы вовремя отвалили трап.

— Благодарю! Благодарю! Благодарю! — дурашливо зачастил штрафившийся пассажир и рассмеялся.

Смеялся он легко, заразительно. Улыбнулась бортпроводница. Улыбнулся я. Улыбнулись ближайшие пассажиры. Только светловолосая девушка отрешенно уставилась в окно. Не слышит, не видит того, что происходит рядом с ней. Боятся? Скромничает? Нелюбопытна? Неконтактна? Или слишком горда?

— Садитесь, не торчите в проходе! — Бортпроводница взяла парня за локоть, подтолкнула к свободному креслу.

Он, глядя на девушку в белом свитере, со сдержанной приветливостью спросил:

— Разрешите?

Она медленно повернулась и с подчеркнутой независимостью посмотрела на него. Какое-то мгновение они молча разглядывали друг друга.

— Разрешите сесть? — повторил парень.

— Вам это уже разрешила бортпроводница, — сухо ответила она.

Он удобно устроился в откинутах кресле.

— Славно! Можно вздремнуть минут сорок. Проснусь — и буду дома. А вы тоже домой?

Она его не слышит или не хочет отвечать. Повернулась к окну. Парень усмеяется, пожимает плечами, принимается за газеты.

Он и она. Чужие. Но через пять или десять минут познакомятся. Как это произойдет? Что он ей скажет? Что и как она ответит ему? Старая как мир история. И вечно новая.

Трап убран. Дверь задраена. Самолет вырывается на стартовую полосу. А они все еще молчат. И смотрят в разные стороны.

Он повернулся ко мне, скользнул по моему лицу невидящим взглядом, пригладил пятерней длинные, по моде, волосы. Широкое, бровастое, с крупным прямым носом, большегубое лицо его густо, как ореховой морилкой, окрашено загаром, обветрено. Кого-то он мне напоминает. Чем-то когда-то я был крепко связан с ним. Что-то мы делали сообща. Над чем-то вместе размышляли.

Руки у него мускулистые, на ладонях мозоли. Руки рабочего, рано начавшего трудовую жизнь. Кузнец? Сталевар? Горновой? Вальцовщик? Все эти профессии в городе металлургов ведущие, уважаемые. Я не допускаю и мысли, что этот парень не из числа мастеров огненного дела. Огонь мартенов светится в его глазах.

Девушка прижалась правой щекой к иллюминатору, выражение лица отсутствующее, но она ухитряется украдкой разглядывать соседа, читающего газету. «Кто ты? — спрашивали ее большие, серые и чистые глаза. — Почему опоздал на самолет? К кому спешишь?»

Он почувствовал ее взгляд, быстро посмотрел на нее, но все же не успел встретиться с ней глазами. Она вовремя прикрыла их густыми длинными ресницами. Он снова уткнулся в газету.

Проходит две или три минуты. Любопытство вновь овладевает девушкой. Она чуть-чуть приподымает ресницы и сквозь них вглядывается в него. Он опять почувствовал ее взгляд. Не отрываясь от газеты, вполголоса сказал:

— Я догадываюсь, чем сейчас полна ваша голова. Вам не понравилась моя красная куртка! — Он отбросил газету, смело посмотрел на девушку, спросил: — Угадал?

Она глаза в глаза посмотрела на него.

— Ничего похожего.

— Вы со всеми парнями такая?
 — Какая? — Она быстро, без улыбки, с неподдельной строгостью посмотрела на соседа по креслу. — Интересно, какой я вам кажусь?
 — Вам и в самом деле это интересно?
 — Сторонний взгляд чаще всего бывает самым беспощадным и справедливым. Так говорят и пишут.
 — Хорошо, я скажу. В вас нет ничего чужого, взятого у кого-нибудь напрокат или взаймы. Все свое. Плохое ли, хорошее, но все свое.
 — Все? — спросила она, когда он замолчал.
 — А разве этого мало для первого знакомства?
 — Много... Но даже этот хитроумный ход конем вам не поможет.
 — Какой ход? Какой конь? Мы летим на самолете самой последней конструкции...

— Вы стараетесь понравиться своей случайной спутнице. Но ничего не добились. Разве что пробудили к себе любопытство. Нет, не женское. Обыкновенное. Дорожное.

— И это уже немало! — невозмутимо воскликнул парень.
 — Продолжения не будет.
 — Мгновение, говорят, бывает прекраснее вечности...
 — Вам не повезло. Не та попутчица попалась... Я легко отгадываю тайные мысли тех, кто протягивает мне руку...

— Вот как!.. Что ж, мои помысли чисты. Если вы действительно умеете отгадывать тайные мысли, вы не оттолкнете меня здесь, на небесах, не оттолкнете и там, на земле.

Вот только когда она одарила его доброй улыбкой:

— Посмотрим!
 — Надежда юношей питает.
 — Какой же вы юноша? Наверняка двадцать пять стукнуло.
 — Я, девушка, в своего деда по материнской линии пошел. И в семьдесят буду юношей. Давайте познакомимся. На работе меня зовут Сашкой Людниковым. Для мамы я, конечно, Сашенька. Отца у меня нет. Женой я еще не обзавелся, так что не знаю, как она будет меня величать. Вот пока и все о моей персоне! — Помолчав мгновение, он доверчиво наклонился к девушке. — Ну а вас как зовут? Перехожу на прием.

Строгость и отчужденность как ветром сдуло с ее лица после последних слов Саши.

— Я Валя, — просто сказала она и засмеялась. — Хитрая Валя. И... не дурочка.

— Ум, хитрость, красота — могучее сочетание... Вы очень хорошо смеетесь. Вся душа — нараспашку. Засмейся человек — и я сразу скажу, чем он дышит. Своевременная, к месту, улыбка и смех — верный признак сердечности, ума, хорошего воспитания. Так, помню, поучала меня мать, отправляя на первый заводской бал. Права она или не права, как вы думаете?

— Мать всегда и во всем права!
 — А родом откуда вы, Валя?
 — До сих пор, до сегодняшнего дня, была москвичкой. А вы... вы домой возвращаетесь?
 — Точно. Спробуйте еще о чем-нибудь?
 — Работаете или учитесь?
 — И работаю и учусь.
 — Какая у вас специальность?
 — Сталевар.
 — Такой молодой — и уже сталевар?! Я думала, сталь варят только пожилые.

— А я и есть пожилой. Угадали: двадцать пять набрал. Семь лет колдую у мартеновской печи. Четыре года подручным вкалывал, три — самостоятельно. И уже добрался до третьего курса института. Без пяти минут инженер-сталеплавильщик.

— Почему чуть не опоздали на самолет?

— Не собирался улетать. В последний момент раздобыл горящий билет. Схватил такси, помчался на аэродром. И хорошо сделал... узнал, что на свете существуете вы. Еще спросите что-нибудь!

— Спрошу... Я любопытная...

Слушаю молодых, люблюсь ими и совсем не чувствую свирепого зверька в своем пищеводе. Притих? Или сбежал? Вот, оказывается, чем надо лечить даже такие болезни, как моя. Весенними радостями весенних людей. Молодым смехом. Большими надеждами.

— Вы и в самом деле сталевар? — спросила Валя.

— И сын сталевара. И внук сталевара. И сын будет сталеваром.

— Трудно варить сталь?.. Это наивный вопрос, да?

— Ничуть! Влас Кузьмич, мой дед, называет нашу работу искусством. А всякое искусство, как вы знаете, требует прежде всего таланта.

— А у вас талант есть?

— Приходите в главный мартен — сами все увидите. Спрашивайте еще!

— Вы не собирались улетать и вдруг... Почему? Что случилось?

Он достал из кармана куртки телеграфный бланк и протянул его Вале. Она колебалась, брать или не брать.

— Не бойтесь! Совершенно невинный текст. На первый взгляд, конечно.

Она взяла телеграмму. Прочла ее сначала про себя, потом вслух:

— «Соколово пансионат металлургов Горное солнце Александру Людникову кончай блаженствовать отдыхе тчк вылетай домой немедленно тчк обязательно сегодня должен быть цехе тчк иначе попадешь в хвост побежденных тчк ждем большим нетерпением полным боевом вооружении тчк твои подручные».

— Теперь понятно? — спросил он, принимая от нее телеграмму.

Она отрицательно покачала головой:

— В шифрах не разбираюсь.

— Какой шифр? Все ясно. Только что оперившиеся орлята взмыли над горами, облаками, проникли туда, куда не заглядывали их родители и бывалые братья. Чувствовали себя победителями, надеялись на похвалы наставников, старших товарищей — и просчитались! На земле их встретили усатые орлы и подрезали им молодые крылышки. Вот такая печальная басня.

— И все это написано в телеграмме?

— Да.

— А что будет дальше? Как поступят орлята? Покорятся? Взбунтуются?

— А как бы вам хотелось?

— Я за безумство храбрых.

— Орлята проявят безумство. Будут бороться за право летать в поднебесье.

— Счастливого им полета!

Она наклоняется к иллюминатору, смотрит на проплывающие внизу зеленые отроги гор, на леса, на травянистые поляны, березовые рощи, на извилистую горную речку, голые скалы, огромные замшелые валуны.

— Вы первый раз летите над нашим краем? — спросил Саша.

— Да. Все у меня впервые. И самолет и путевка на работу.

— В том числе и случайный попутчик?
 — Да...
 — Где будете работать?
 — Дома собираюсь строить.
 — Инженер-строитель? Трудная специальность. Сочувствую. И готов посодействовать. С помощью моей матери. Татьяна Власьевна Людникова любит покровительствовать начинающим. Она большой начальник. По ее проектам строятся кварталы домов и целые жилые комплексы.

— Спасибо. Добрый влиятельный наставник — это хорошо для новичка.

— Почему вы выбрали мужскую специальность?
 — Мои предки воздвигали Днепрогэс, Турксиб и ваш комбинат.
 — Вот какие у вас корни! Прекрасно!
 — Дед и отец спроектировали и построили в вашем городе первую электростанцию, первый рабочий клуб, первые жилые дома.
 — Тополевы?.. Павел Иванович?.. Иван Павлович? Слышал. Где они теперь?

— Дедушка умер. Отец за Гималаями. Строит индийскую Магнитку...

Слушаю их и вспоминаю свою далекую молодость. Воскрешаю свою Валю по имени Лена: как полюбил ее в первый же день приезда на строительство комбината, как долго был счастлив, как собирался пройти с ней по всей жизни и как нелепо оборвалась ее жизнь.

А тебя, Валя, что ждет? И кто ты, бойкий на язык пригожий сталевар, будущий инженер Саша? Одолею свою нравственную вершину или только взбираешься на нее по крутым склонам?

Я не слышал слова «люблю», произнесенного молодыми людьми. Но я его почти вижу, почти осязаю на губах у обоих. Оно прямо-таки пылает в его черных глазах и в ее серых, с густыми ресницами очах!

Так было и у меня сорок лет назад. Я — это он. Он — это я. В его облике, но со своей собственной душой я сызнава переживаю молодость.

Впереди, на юге, между горой и водохранилищем разворачивалось индустриальное сокровище моей родины. Высоченные дымящиеся трубы — около тысячи, не меньше. Десять домен. Корпуса мартенов и обжимных цехов. Чистенькие, недавно вошедшие в строй листопркатные. Белый, в стекле, в тесаном камне дворец — в нем производится металл для автомобильной промышленности. Густая длинная паутина подъездных путей. Заводские улицы. Заводские переулки. Заводские площади. Заводское небо, низкое, нещадно задымленное. Особняком стоящий коксохим. Видно все это только тем, кто хорошо знает город, всегда с ним.

Саша любит столицей металлургии, говорит о ней, только о ней, но в словах скрытый подтекст.

— Все, приехали! Здесь, между вон той горой и рекой, за двадцать лет до моего появления на свет расстиралась неоглядная ковыльная степь, и на ней был разбит табор первостроителей: грабарки с поднятыми оглоблями, чтобы меньше места занимали, навесы из домотканых ряден, тысячи костров, табуны лошадей, землянки. В одной из халуп в конце первой пятилетки родился мой отец. Я появился на свет в пятой пятилетке, в семизэтажном доме на проспекте Metallургов. Рабочим я стал раньше, чем совершеннолетним. Сталь, сваренная династией Людниковых, заложена в турбины Днепрогэса, в Челябинский тракторный, в Уралмаш, в ледоколы, самолеты, танки, московское метро, в космические корабли, в гидростанции на Волге, Амударье, Енисее. Наша сталь экспортируется в пятьдесят стран земного шара.

Вот я какой, Валя! Вы просто обязаны заинтересоваться человеком, имеющим славное прошлое и подающим надежды на будущее! — Он на мгновение остановился, смущенно взглянул на девушку. — Как расхвастался! Забыл, что вы умная и хитрая. Вы, конечно, про себя смеетесь надо мной...

— Почему смеюсь? Мне нравятся люди, гордые своим трудом. По правде сказать, слушала вас с завистью. Но ничего! Лет через пять и я, беседуя с каким-нибудь попутчиком на подступах к рабочей столице, буду гордиться делом рук своих: «Вот этот комплекс; вот эту улицу строила я». — Она указала глазами на огни табло. — Нас просят застегнуть ремни.

Самолет скатился с воздушной горки, упруго опустился на шершавый бетон и помчался по нему. Стало жарко и душно. Ломило в ушах.

— Меня, наверно, встретит мама, — сказал Саша. — Мы довезем вас до гостиницы.

— Спасибо. Мне еще надо получить багаж.

— Это сделаю я. Давайте квитанцию.

— Нет, я сама.

— Хорошо. Мы вас подождем на стоянке.

Она не успела ни отказать, ни согласиться. Раскрылась дверь. Земля пахнула утренней свежестью. Поток пассажиров подхватил их. И я сразу же потерял их из виду.

Не до них теперь! К самому себе прислушивался. Себя одного как бы со стороны разглядывал. Как же! Вернулся на родину своей души. О ней, о собственной душе, размышлял.

Она родилась и закалилась в огне. Бывает морская, городская, таежная, крестьянская, солдатская душа, а моя — огненная. Всегда горела и светила. Во все времена — счастливые и горестные, кровавые и бескровные. Куда бы ни забрасывала меня судьба — в Челябинск, в Свердловск, Москву, на строительство каналов Москва—Волга и Волго-Дон, в Донбасс, на фронты Отечественной войны, в Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Лондон, Париж, Токио, Дели, Рейкьявик, Берлин, Будапешт, — всегда она была во мне, моя огненная душа. Я отдал комбинату любовь, лучшие годы жизни, а получил взамен огненную душу. Сколько раз спасала она меня, моя огненная душа! Неисчислимы богатства, какими наделяла, наделяет и будет наделять своих сыновей железная мать — рабочая родина.

Я снял шляпу, пригладил волосы, медленно оглянулся окрест и растянул, что называется, рот до ушей.

Вот и снова на родной земле. Укрытая асфальтом и бетоном, застроенная зданиями аэропорта, ангарами, какими-то вышками, павильонами. И над всем этим высоченное, чистейшее, промытое дождями и прокаленное жарким солнцем небо, небо, какое приходилось видеть разве только в счастливых снах детства и юности...

Земля первой пятилетки. Исток нашей тяжелой огненной индустрии. Купель снарядной и бронебойной стали, сокрушившей броню гитлеровской империи. Могучий костер, от которого возгорелся неугасимый огонь всех наших пятилеток, прошлых и будущих. Край легенд и легендарных былей. Бывшая глухая окраина России. Земля уральских казаков, бунтовщиков, соратников Емельяна Пугачева. Земля, на которой впервые и во всю свою мощь был развернут и осуществлен ленинский план ГОЭЛРО.

Обетованная земля первопроходца Егора Ивановича Катерина. Земля моего крестного отца Богатырева, моего партийного наставника Гарбуза. Моих друзей Атаманычевых, моего Антоныча, именем кото-

рого теперь называется Академия педагогических наук. Моей сестры Варьки. Моей любимой, безвременно погибшей Елены. Земля моей юности.

Здравствуй. Здравствуй. Здравствуй.

Прими меня, родная, в свои добрые объятия, как и сорок лет назад. И не выпускай до конца дней моих.

Первые шаги по чудо-земле, первые глотки ее живительного воздуха... И вдруг острейшее желание жить, работать, искать и находить, радовать и радоваться ударило мне в сердце, в голову, в ноги, руки, в каждый мускул и превратило меня из секретаря обкома, преклонных лет человека, в юношу, машиниста танка-паровоза «двадцатка», ударника первой пятилетки, в «легкого кавалериста», комсомольца, героя без золотой звездочки, без единого ордена и медали.

Потерянно стою с обнаженной головой на летном поле. Вот как удивительно началась работа над самим собой...

— Гражданин, почему стоите? Все пассажиры давно прошли в аэровокзал, а вы задерживаетесь. Пройдемте!

Милый ты мой ревнитель аэродромных порядков! Зачем ты вернул меня из прошлого в настоящее?

— Вы меня слышали, поняли, гражданин? Пройдемте!

Иду, земляк, иду. Порядок есть порядок.

Итак, мой первый день, мои первые минуты в родном городе.

Телеграмму о вылете я не давал, на встречу не рассчитываю. Направляюсь к стоянке такси.

Дорогу мне преграждает пожилой, с медно-красным лицом, в форменной фуражке водитель такси. Ишь какой ловкий калымщик!

— Вы товарищ Голота?

— Да. В чем дело?

— Андрей Андреич попросил меня встретить вас.

— Андрей Андреич? Кто это?

— Директор комбината! Булатов.

— Булатов?.. Странно. Я никого не просил встречать меня.

— Ничего странного. Булатов, это самое, уважает вас, как и все в городе. Вот и встречаем. Он бы и сам примчался, да заболел.

— Что с ним?

— Вроде бы нелады с какой-то железой. Острый приступ. Всю городскую медицину на ноги поднял. А она в один голос: «Требуется операция. И недельки три полежать в больнице». Но разве он расстанется с комбинатом на такое время? Для него план дороже собственной жизни.

— План выполняет не один директор.

— Самому хорошему оркестру требуется начальник с дирижерской палочкой. Вам ли этого не знать? Да, постойте! Вы, это самое, один прилетели?

— Один. А что?

— Такие начальники, как вы, с сопровождающими, со свитой путешествуют.

— А мне, представьте, и одному хорошо.

— Не обижайтесь, товарищ Голота. Это я так... чудака валяю. Ну ладно, это самое, пошли в мою телегу. Довезу куда надо.

Подхожу к темно-вишневому «жигуленку», усаживаюсь рядом с загадочным водителем, кладу портфель на колени.

— Я думал, вы таксист. Форменная фуражка попутала.

— Правильно думали. Самый настоящий таксист. Ради вас временно пересел с государственной на личную колымагу. Такси ждет меня около гостиницы. Там мы поменяемся: вам оставляю «Жигули»

без пашечек, а сам сяду в «Волгу» с пашечками. Вы, это самое, водительское удостоверение прихватили с собой на всякий случай?

— Оно всегда со мной. Что это за машина?

— Личная собственность. Купил на свои кровные, полученные за длительную командировку на Север.

— Но с какой стати...

Он не дал мне договорить:

— Не стесняйся, Саня. Все проще, чем ты думаешь!

Почему он так меня назвал? Давно знакомы? Как же я его не узнаю? Кто такой?

Выскочили на хорошо накатанную магистраль, ведущую в город. Не веришь, глядя на зелено-презеленую летнюю благодать, что где-то недалеко, в каких-нибудь двадцати километрах, привольно раскинулся металлургический комбинат, дающий в год десять миллионов тонн чугуна, пятнадцать миллионов тонн стали, более десяти миллионов тонн проката.

Мой земляк, неизвестный знакомый и «особоуполномоченный» Булатова, дружелюбно взглянул на меня, по-свойски улыбнулся.

— Гора с горой не сходится, а человек с человеком... Здорово ты изменился, Саня. Последний раз я видел тебя в тридцать седьмом. Ты был чернявым, кудрявым, веселым. Куда, это самое, подевал удаль и красоту?

— Время беспощадно ко всем. Вы тоже в двадцать были удалым да веселым.

— Был, Саня! Но молодым ты меня не видел. Да и сейчас не признаешь старого товарища. Думаешь, терзаешься: кто такой, по какому праву обзывает Саней? Так или не так?

— Так! Кто же вы?

— Встречались мы с тобой в горкоме партии, в доме ИТР, в редакции многотиражки. Не раз ездили на Высокое озеро. Я обучил тебя крутить баранку. И еще: когда я работал в Контрольной комиссии Рабоче-Крестьянской инспекции, ты выполнял партийное поручение. Первое в твоей жизни. Помнишь?

— Егор Иванович?! — вскрикнул я. — Первопроходчик! Первостроитель! Сколько лет, сколько зим!.. Дорогой мой!.. Как я рад!

Я прижался к Егору Ивановичу и крепко обнял его левой рукой. Он резко шевельнул плечом.

— Осторожнее, Саня! Не мешай водителю.

— Старина!.. Милый Егор Иванович!..

— Какой там милый! Надень очки! От Егора Иваныча остались кожа да кости. В дальней командировке на Север растерял все, что тебе когда-то было мило! Неужто до сих пор не слыхал о моей одиссее? — Он горько усмехнулся, произнося последние слова.

— Знаю, — поспешно сказал я. — Недоумевал. Печалился. Слышал и о твоём возвращении. Но вот встретиться как-то не довелось.

— Могу объяснить, почему так случилось. На Севере надолго задержался, полюбил я его, нелюбимого. Это раз. И еще лет на десяток задержался бы там, если б Андрюха Булатов не бомбардировал меня письмами и телеграммами. В конце концов он перетащил меня сюда, квартиру дал... С ним одним только и общался... В ту пору он был меньше занят, чем сейчас...

— И теперь дружите?

— Давненько мы подружились. Еще с первой пятилетки. Андрюха фезеушником был, а я мастером-наставником. И не думал я и не гадал, это самое, что станет он командовать мировым комбинатом. Просто помогал парнишке мозоли набить да рабочую хватку и сме-

калку нажать. Рабочий фундамент всякому нужен. Без него не станешь ни мировым, ни рядовым директором.

— Ну а какой он сейчас, бывший Андрюха?

— Наш комбинат впереди всех заводов Донбасса, Урала, Сибири. Флагман! Выполняет и перевыполняет. Тебе это известно.

— Я не план имел в виду.

— А что?

— Отношение Булатова к людям и отношение людей к нему.

— Людей на комбинате великое множество. Десятки тысяч с гаком. И все разные. Директор не может нравиться каждому, даже если он, это самое, с золотым сердцем и у него семь пядей во лбу. У того не бывает врагов, кто ничего не делает, ни за что не отвечает. Подымим, а?

— Давай.

Курим. Егор Иванович посмотрел на меня, покачал головой:

— Сигарету ты, Саня, неумело держишь. Затягиваешься отчаянно. По всему видать, недавно в курильщики записался.

— Со вчерашнего дня.

— От горя какого-нибудь? От неудачи? Или так, это самое, чистое баловство?

— Баловство. Как твоя семья, Егор?

— Была да сплыла. Бобылем живу. В двух комнатах с балконом на восход солнца, с газовой кухней и ванной. Сам готовлю. Сам за собой убираю. Сам себе байки и сказки рассказываю. Сам себя подковыриваю и пилю тупой пилой. Слава богу, это самое, роскошно существую...

И после этих слов говорливый мой собеседник замкнулся надолго. Я сбоку смотрю на него, вспоминаю свои встречи с ним. Особенно памятно лето 1933-го, когда я был «легким кавалеристом». Меня нежданно-негаданно вызвали в городскую Рабоче-Крестьянскую инспекцию и поручили срочно собрать данные о знатном землекопе Максиме Неделине. Он, как и другие коммунисты, должен был вскоре предстать перед комиссией по чистке партии.

Не вовремя и не к месту вторгся в мою жизнь этот Максим Неделин: в самый разгар институтской экзаменационной сессии. Надо было наотрез отказаться от высокой чести, а я, дурень, возгордился доверием. Целых полтора месяца я собирал материал о Максиме Неделине. Где и когда родился, какого происхождения, когда прибыл на стройку, где и как начал работать и еще сотни и сотни других данных. Его жизнеописание, составленное мною со ссылками на документы, заняло пятьдесят семь страниц. В один прекрасный день они оказались на столе ответственного товарища из комиссии по чистке Егора Ивановича Катеринина. Он полистал мой нелегкий труд и рассмеялся. «Ну и размахнулся ты, Саня! Писателем себя вообразил. Мы поручили тебе проверить автобиографию Неделина, написанную им, когда его принимали в партию, а ты настроил целый роман о его жизни. Забери, брат, эту писанину и сократи ее до двух-трех страниц». Так я и сделал.

Ах, как вовремя и к месту появился сейчас на моей дороге Егор Иванович! Вот с кем я могу и о делах и о душе своей поговорить... Ведь он лучшее воспоминание моей юной жизни.

Не оборачиваясь ко мне, глядя на дорогу, Егор Иванович строго сказал:

— Ты вот смотришь на меня и думаешь: первостроитель, мастер, начальник автохозяйства, помощник начальника строительства, партработник, а теперь, это самое, таксист. Почему?

— Действительно, как ты оказался за рулем?

— В общественную приемную редакции многотиражки, которой я заведу на общественных началах, поступили сигналы о всякого рода безобразиях в таксопарке и на линии: обсчеты пассажиров, охота за выгодным клиентом, рвачество со стороны механиков, слесарей-ремонтников, непрменные бутылки и подачи мастерам, диспетчерам за счет чаевых и левых заработков таксистов. Вот я и проверяю на своей, это самое, шкуре, правду или кривду сообщили рабкоры.

— Ну и как, установил истину?

— Устанавливаю. Ты знаешь, работа таксиста, оказывается, очень интересная. В моей телеге больше всего разъезжает рабочий люд с тяжелыми авоськами и пакетами. Не скупятся на слово, про всякую всячину рассказывают: что случилось в цехе, где и какое заморское добро куплено, кто на ком женился, сколько гостей на свадьбе было да чем кормили и поили. Словом, пассажиры исповедуются перед таксистом, как перед попом.— Глянул на меня, улыбнулся.— Слышал?.. Будь же и ты, Саня, как все люди, разговорчивым да откровенным.

Слушаю Егора Ивановича внимательно. Однако и Саша Людников не выходит из головы. Интересно, знает что-нибудь о нем Егор? Спрашиваю:

— Людников-старший ушел на пенсию?

— Влас Кузьмич? Какая там пенсия! Работает! Проворнее, чем молодые. Мастер. И еще секретарь парторганизации. Неизносимый человечиче.

— А как его дочь поживает?

— Татьяна? Молодцом. Была красавицей в двадцать лет, осталась красавицей и в сорок пять.

— Замуж не вышла?

— Что ты! Мужчин сторонится принципиально. Обожглась на кипящем молоке, дует и на родниковую воду!

— Бывший муж не вернулся?

— А зачем ему возвращаться? Давно и хорошо прижился на новом месте, на сибирской земле. Там он считается лучшим из лучших сталеваров. Недавно за трудовые подвиги удостоен звания Героя соцтруда. Вот оно как! Для жены, для бывшей жены, он наилучший человек на свете, а для государства — краса и гордость. Непонятно для меня, это самое, как один и тот же человек может быть в двадцать пять рыжим, а в пятьдесят золотым.

— Чего ж тут непонятного? Разлюбил Татьяну. Другую полюбил.

— Да как можно разлюбить такую распрекрасную женщину? Не мог он, шалава, найти жену лучше Татьяны. Она и красивая, и умная, и образованная, и специалист своего дела, и настоящая большевичка. Вся в отца. Вышней пробы человек!

— У нее вроде бы от Никитина сын был?— спросил я. Вон как осторожно крутился вскруг да около, пока не подошел к главному.

— Есть. Сашка Людников. Мать не захотела, это самое, зарегистрировать его на имя отца. Свою фамилию дала.

— Ну а он, Александр Людников, какой?

— Парень что надо, хоть и, это самое, безотцовщина. В деда и мать. Техникум закончил. Учится без отрыва от производства на третьем курсе института. Через два года инженером-сталеплавильщиком станет.

— А как работает?

— Хорошо! С Шорниковым Иваном Федоровичем соревнуется. Есть надежда, что в этом полугодии догонит и перегонит знаменитого и славного сталевара. Между прочим, Иван Федорович — мой старый друг. Вместе мы начинали.

— Как же, знаю! Сашка не женат?

— Еще холостяк. Но свадьба, похоже, не за горами.

— Свадьба? И на ком он собирается жениться?

— Скорее всего на дочке Шорникова Клавдии. Лаборанткой в мартене работает. Ничего дивчина. Под стать Сашке. С детства они дружат.

— На Клавдии Шорниковой? Дочери своего трудового соперника?

— Да какие они соперники? Друзья. Сашка три года был подручным у Ивана Федоровича.

Новость, прямо скажем, удивила меня. Собирается парень вроде как жениться на Клавдии, а в самолете так и растаял перед другой... Этими своими мыслями я не поделился с Егором Ивановичем.

Обогнали автобус, закрывавший нам дорогу, и увидели первые высотные дома города, белые, с большими окнами, полными жаркого полуденного солнца.

— Вот мы и дома! Через пять минут будем в больнице у Булатова. Он приказал привезти тебя к нему.

— Что ты! Не поеду. Видеть больницы не могу. Сам больше двух месяцев валялся. Живым меня теперь туда силком не затащишь. Так и скажи Булатову.

— Понятное дело, это самое. Отставить больницу!.. Держу курс в гостиницу «Березки». В бывший коттедж Головина. Слыхал я, ты любил там жить. Губа не дура. Много зелени. Соловьи на заре спать не дают. И Солнечная гора под боком.

Слушать Егора Ивановича удовольствие. И смотреть на его молоджавшее лицо с седыми бровями приятно. Вот старость, достойная восхищения и зависти. Она зиждется на том, что было заложено в юности. Большевиком он стал в семнадцать. В двадцать возглавил революционный Совет родного города. В двадцать два командовал броневым дивизионом на фронте. В тридцать с чем-то стал первостроителем мирового комбината.

Егор Иванович несет бремя своих лет без труда, весело. И в сто лет будет радоваться жизни. Он и меня принимает за вполне благополучного человека, а я...

Жизнь льется мне в грудь, вызывая радость и тоску. Мир прекрасен, вечно юн, бессмертен, а я...

— Ты чего это приуныл, Саня? Где ты?

— Я здесь, Егор Иванович. Задумался, глядя на родную землю. Хорошо! Все прет к свету, цветет, живет!

— Так оно и есть. Слушай-ка, Саня, правда, что ты Золотую Звезду заработал на войне?

— Правда.

— А почему не носишь?

— Потерять боюсь...

— Ну а если по правде?

— Можно и по правде. Золотую звездочку трудно носить. Героем себя все время чувствуешь, все время вроде бы празднуешь. Работать некогда...

Егор Иванович засмеялся:

— Да ты шутник. Как и в молодости!

— Эх, Егор Иванович!.. И твои подвиги на Севере можно ценить на вес золота. Остаться человеком там, где многие теряют человеческий облик, — это ли не подвиг?

После долгого молчания он сказал чуть приглушенным голосом:

— Иначе и не могло быть, Саня. Человеком я вошел в нашу советскую жизнь, человеком прошел через все испытания, человеком и

уйду. Так нам, большевикам, на роду написано! Все! Не будем больше говорить на эту нелегкую тему.

Не будем.

Неожиданно для меня он поехал не прямо по Кировской, вдоль высоченной стены комбината, а круто свернул направо, в гору, на просторной вершине которой раскинулся наш старый, времен тридцатых годов соцгород.

— Ты куда рулишь, Егор?

— На закудыкину гору. Потерпи. Такое увидишь, что ажнешь.

Вырвались на простор, на неоглядную равнину, на так называемые поля орошения. Двухметровый целинный слой чернозема, к тому же еще удобренный в течение многих лет стоками городских вод. В центре степи, полной неиспользованных плодородных сил, я вижу солнечную, из стекла, бетона, алюминия и стали громадину. Сооружение слишком велико даже для аэропорта или крытого стадиона на сто тысяч мест.

— Что это, Егор Иванович? Откуда взялось? В последний мой приезд ничего тут не было.

— Это, Саня, наша краса, наша гордость. И конкретное доказательство заботы о людях, творящих металл.

«Жигули» остановились. Я спрашиваю:

— Куда все-таки ты меня привез?

— Не догадался?.. В вечную весну, в вечное лето. Перед тобой комбинатские теплицы... Общая площадь двадцать гектаров с гаком. Собственная, с газовыми котлами кочегарка. Десятки километров горячих труб. Сотни вентиляторов. Произрастают здесь огурцы, помидоры, шампиньоны, цветы.

— А посмотреть можно?

— Можно. Для того и притащил тебя сюда.

Мы пересекли гигантский двор и подошли к одной из оранжерей. Прежде чем войти, старательно вытерли ноги о толстый ворсистый коврик, пропитанный какой-то дезинфицирующей жидкостью. Бетонные плиты. Металлические опорные столбы. Стальные фермы. Алюминиевые рамы. И — стекла, стекла, стекла. Тепло. Даже душно. Влажность такая, что трудно дышать. Крепко пахнет огородной зеленью в пору созревания. Грунт рыхлый, похожий на черную икру. Из него поднимаются по натянутой проволоке роскошные огуречные плети, снизу доверху покрытые плодами. В соседней оранжерее средние тусклой ботвы алеют крупные, тугие помидоры.

Егор Иванович, бережно поддерживая плеть с большими шершавыми листьями, сорвал два огурца. Один дал мне, другой разломал пополам.

— Видал?.. Овощ что надо! Душистый. Сердцевина полна семян. У мужика на огороде сроду не было такого. Этакие вот огурчики отправляем на рабочие столы в мае. Невиданная, неслыханная роскошь для первых пятилеток. Дожили! — Appetitно хрумкая огурцом, он обвел вокруг себя рукой. — И знаешь, чьих рук это дело? Андрея Булатова. За счет сверхплановой прибыли отгрохал. На свой страх и риск. Без указаний и санкций свыше. Без всяких фондов строительных материалов. Два раза в сутки, утром и вечером, сюда навывался. На этой работе, за которую министр и не подумает похвалить, он и надорвался. Прямо отсюда, с теплиц, в больницу попал.

Мне надо бы как-то откликнуться на слова Егора Ивановича, а я ем свеженький огурчик да помалкиваю. И как-то неловко мне. Вот ведь какая напасть! Отчего? Не пойму...

Побывали мы и в теплицах, где выращиваются всевозможные

цветы. Есть даже голландские тюльпаны. Увидев их, я спросил, нельзя ли мне купить дюжину этих красавцев.

— Срежем! Заплатишь потом.

Куда-то убежал. Вернулся с садовыми ножницами, с целлофановой пленкой. Выбрал и срезал самые роскошные, еще не совсем распустившиеся, нежно-алые, на высоких стеблях, с каплями влаги на лепестках.

— Ну что, поехали дальше? — спросил Егор Иванович.

Уже в машине, чувствуя себя вроде бы виноватым перед ним, я сказал:

— Будатов молодец. Честь и слава директору. Зачтутся ему сталь, чугун, прокат, зачтутся и горы огурчиков, помидоров, грибов. Богата наша область, но таких теплиц еще нигде нет!

— Нигде, кроме как у нас! На том взошли, на том стояли полвека и стоять будем. У нас все не как у других: лучше, больше, долговечнее, горячее, размашистее!

Неподалеку от орошаемых полей, по другую сторону Северного тракта, привольно раскинулось старое наше кладбище. Есть еще одно, новое, на правом берегу.

Бывая в родном городе хотя бы день, я всегда навещался к Лене. Сорок лет прошло с тех пор, как она погибла. Я давно женат, обзавелся сыновьями, а первую любовь не забываю.

Когда мы доехали до перекрестка, я прикоснулся к плечу Егора Ивановича.

— Поверни, пожалуйста, вправо...

— Понятно... Мне тоже туда надо. Проведать жену. Два года назад Вера умерла. До последнего своего дыхания мою руку держала, шептала: «Егорушка!..» Я и теперь слышу ее голос. Особенно по ночам, в одиночестве.

Встряхнул головой, откашлялся, выключил мотор.

Мы молча разошлись. В разных концах кладбища лежат наши жены.

Километра на два, а то и на три растянулся последний приют усопших — от горы Дальней до границы степного простора. Весь он, этот приют покоя, в зелени. Лежат под камнем, железом, мрамором, гранитом первые, самые первые строители и металлурги, вынесшие на своих горбах громаду первой пятилетки.

Мы, живые, — потомки ушедших. И нас, когда мы присоединимся к ним, будут вспоминать добрым словом сыновья, внуки и правнуки. Этим мы и сильны как никто в мире — преемственностью добра и подвига.

Среди тысяч железных оград есть одна, особенно мне дорогая, — могила Елены Богатыревой. Одной из первых девушек она приложила свою руку к Солнечной горе и одной из первых отправилась сюда, к подножью горы Дальней. Потому и лежит почти у самого начала кладбища. Погибла она случайно, нелепо, под колесами маневрового паровоза...

Сорок лет миновало со дня ее кончины, а могила в таком порядке, будто Лену недавно похоронили: ограда свежеекрашена, цветут аютины глазки, незабудки. Камень у изголовья промывает дождями, а чьей-то заботливой рукой. Не моей, увы!.. Кто же творил то, что следовало по долгу и совести делать мне? Не знаю.

Тюльпаны, срезанные в теплице, я вынул из целлофана и положил у подножия плоского стоячего камня с непотускневшей золотой надписью: «Елена Богатырева. Первая наша комсомолка. 1913—1933». Двадцать ей, всего лишь двадцать. И через сто и через тысячу лет ей будет двадцать.

Долго я, наверное, стоял бы у могилы Лены, если бы мне не помешали. В ограду вошла худая, в черном жакете женщина. Жидкие седеющие волосы. Под ввалившимися глазами мешки. Губы истонченные, бескровные. Направляясь сюда, к Лене, я видел эту женщину сидящей на скамейке у свежей могилы. Взглянул — и поразился мертвенной белизне ее лица.

— Здравствуй, Саня,— произнесла она слабым голосом.

Еще один человек, которого забыли мои глаза и душа.

— Здравствуй,— сказал я на всякий случай. Я не хотел выдавать своей глухоты и слепоты.

— Вот где мы встретились. Я, по правде сказать, не узнала бы тебя, если б увидела не здесь, у могилы Лены, а в другом месте.

Ольга! Подруга и сменщица Лены. Вместе работали на первой домне. Без отрыва от производства окончила институт. Потом... потом стала супругой Андрея Андреевича Булатова.

— День добрый, Оленька,— сказал я.— Здравствуй, милая.— Обнял, поцеловал в холодные дряблые щеки.

И она меня поцеловала.

— «Милая»... Как хорошо ты это сказал. Неправду говоришь, а все равно приятно слышать.

— Почему неправду?

— Зеркало правдивее тебя.— Она повернула голову направо, где недавно сидела, в сторону свежей могилы.— Сестру вот три дня назад похоронила...

— Аню?

— Нет, старшую, Марию... И сама готовлюсь...

— Оленька, ты здорово изменилась! Такая была хохотушка.

— Неужели была? — удивилась она.— Это так давно было, что даже не верится.

— Что случилось, Оля?

— Я же тебе сказала: сестру похоронила...

— Больше ничего?

Молчит. Глаза опустила, смотрит в землю.

— Как с Андреем живешь?

Теперь ответила сразу:

— Плохо. Убегает на работу чуть свет, возвращается поздно, когда я уже третий сон вижу. Одна, все время одна. Домны, мартены, чугуны, сталь, руда глухой стеной отгородили меня от Андрея. А может, и еще что-нибудь,— нерешительно добавила она.

Что сказать в ответ на такое признание? Пошутить? Не поворачивается язык. Промолчать? Нельзя. Посочувствовать? Тоже нельзя. Говорю то, что ближе всего, как мне кажется, к истине:

— Оленька, ты не первая и не последняя терпишь это бедствие. Всем женам работников такого калибра, как Булатов, достается не меньше твоего.

— Если бы только это,— вздохнула Оля.

— Что же еще?

— Ничего я не знаю, а сердце болит... Андрей сейчас в больнице...

— Да, я слышал от Егора Ивановича.

— Ты, Саня, надоело к нам?

— Пока не знаю. Срок командировки не от меня зависит, а от обстоятельств.

— Будь здоров, Саня. Заходи. Звони...

Я ушел, а она осталась у приюта Лены. Наверно, хочет поговорить, повспоминать, пожаловаться подруге на свое житье-бытье. Но поймет ли двадцатилетняя шестидесятилетнюю?

Егор Иванович ждал меня в машине за рулем, окутанный сигаретным дымом. Ни о чем не спросил. Я сам сказал, где был:

— Елену Богатыреву проведаль. Помнишь ее?

— Как же...

Подъехали к горкому, восьмизэтажному зданию, построенному еще до войны. Тогда это был внушительный домина. Дом Советов. Довелось мне работать в нем.

Поднимаюсь на пятый этаж. Василий Владимирович Колесов, первый секретарь горкома, посетовал, что я не дал ему знать о вылете, предложил завтрак, чай, словом, выказал полное хозяйское радушие и готовность общаться со мной сколько потребуется.

Я спешу поставить все на свои места:

— Собственно, я к вам на одну минуту, Василий Владимирович. Захотелось на вас взглянуть и себя показать.

— Да? — удивился он. — А я приготовился к большому разговору.

Колесов смотрит на меня приветливо, но и настороженно. Старается понять, зачем я появился в городе. Ясно, что Федор Петрович не позвонил ему, не посвятил в мою трудную миссию.

— Какие у вас планы? — спрашивает Колесов.

— Обком партии дал мне необычное задание: не спеша, не с кондачка, что называется, с чувством, с толком присмотреться к здешнему житью-бытью.

— Все? — переспросил Колесов. — А я ведь просил Федора Петровича срочно разобраться в наших напряженных отношениях с Булатовым.

— Вы меня не поняли, Василий Владимирович. Под житьем-бытьем я подразумеваю и отношения секретаря горкома с директором комбината.

— Ну, если так... — Он глянул на часы. — Не буду вас задерживать. Машину мы вам выделим. Каждое утро к восьми она будет ждать вас у гостиницы.

— У меня есть колеса. Старый мой товарищ отдал свои «Жигули». И я не отказался. Люблю, грешный, сам крутить баранку.

— Понятно. Вы не хотите быть зависимым ни от Колесова, ни от Булатова. — Он смягчил невеселую шутку смехом.

Зря встревожился. Верю я тебе, Вася. Друг! Товарищ! Соратник!

Работать с таким секретарем горкома, на мой искушенный взгляд, должно быть приятно и председателю горсовета, и секретарю парткома комбината, и его директору. И все же Булатов конфликтует с Колесовым. Почему? Впрочем, это преждевременный вопрос — даже самому себе.

Колесов вдруг встал, отодвинул от стола старое, тяжелое кресло и посмотрел на него.

— Узнаете?

— Как же! Пора бы и сменить. И я и мой предшественник штаны на нем протирали.

— И не подумаю! Верю в добрые приметы. Никто еще из тех, кто сидел на этом кресле, не погорел!

Мы посмеялись.

Когда я думаю о Булатове как о директоре, капитане флагамена черной металлургии, я прежде всего вспоминаю, как он в прошлой пятилетке вывел главный корабль тяжелой индустрии на самые передовые позиции трудового фронта.

...Весна 1970 юбилейного ленинского года. 10 апреля. Горячее солнце. Высокое синее небо. Прозрачный воздух. В этот день к нам

поступила правительственная телеграмма. В ней сообщалось, что постановлением Совета Министров РСФСР металлургическому комбинату присвоено имя Владимира Ильича Ленина. Вечером в городском театре состоялось торжественное собрание. В президиуме и в зале — победители социалистического соревнования, разгоревшегося в честь столетия Ленина. Горновы, сталевары, горняки, прокатчики, выходя на сцену, один за другим водружают исторические знамена трудовой славы вокруг громадного портрета Ильича. Знамена, знамена, знамена. Старые-престарые, хорошо сохранившиеся и совсем новенькие алые стяги. Легкие, выцветшие, из дешевой ткани, времен первой пятилетки. Из нестареющего шелка. Тяжелые бархатные. И на каждом то простыми белилами, то вышитыми золотом буквами отчеканено: «Победителям во Всесоюзном социалистическом соревновании», «Ударникам — строителям первой домны», «Горнякам-героям», «Героям монтажникам, досрочно сдавшим в эксплуатацию первый блюминг», «Огненных дел мастерам, перекрывшим проектную мощность первой мартеновской печи». Знамя ВСНХ. Знамя наркомата. Знамя горкома партии. Знамя обкома. ЦК профсоюзов металлургов. ВЦСПС. Центрального Комитета партии. Совета Министров. История всех трудовых подвигов комбината в самом сжатом виде запечатлена на алых полотнищах. Гремит торжественный марш. На трибуну поднимается член ЦК КПСС, первый секретарь обкома партии.

Петрович надевает очки, откашливается и оглашает постановление Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР, ВЦСПС о награждении комбината ленинской юбилейной Почетной грамотой. Исторический документ в алой папке из рук Петровича принимает Андрей Андреевич Булатов — руководитель семидесятитысячного коллектива металлургов, признанного победителем в социалистическом соревновании за достойную встречу столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Стоя с Петровичем на трибуне плечо к плечу, с алой папкой в руках, в сером костюме, в белоснежной рубашке, по-юношески блестящими глазами глядя на своих соратников, сидящих в зале, Булатов говорит:

— От имени братьев по труду от всей души благодарю Центральный Комитет, Президиум Верховного Совета и ВЦСПС за высокую оценку труда металлургов. Благодарю и заверяю партию и правительство, что коллектив комбината, отныне носящего имя великого Ленина, с еще большим упорством, деловитостью и самоотверженностью, что называется, в поте лица своего и дальше, через год, через пять лет, будет отлично работать на коммунизм.

Говорит командарм, приведший к победе свою ударную рабочую армию. Человек, живущий одной жизнью с доменщиками, сталеварами, прокатчиками, слесарями, инженерами, электриками. Парень из нашего города, такой же, как все его земляки.

Никогда до этого я не видел его таким счастливым и красивым, каким он был в тот апрельский вечер. Это была вершина его жизни.

Жизнь, однако, скоро показала, что Булатов не будет засиживаться на достигнутой вершине. Умелой и твердой рукой он направил энтузиазм металлургов в строгое русло государственной необходимости, и уже в августе комбинат отпраздновал очередную победу, снова отмеченную партией, правительством: была выплавлена двухсотмиллионная тонна стали. Высокие слова приветствия Булатов воспринимал, на мой взгляд, как адресованные не только коллективу металлургов, но и лично ему. Что ж, он имел право на такое гор-

дое чувство: победа руководимой им армии была и его личной победой.

25 ноября 1970 года наш комбинат выполнил и перевыполнил восьмую пятилетку. Булатов рапортовал партии, стране, народу о том, что за годы пятилетки выплавка чугуна на комбинате выросла на два миллиона двести тысяч тонн, а стали на миллион пятьсот тысяч.

Когда мы работали вместе, я тысячу раз убеждался в том, что Булатов не только отличный инженер-новатор, передовой директор, но и хороший товарищ. Золотую Звезду и депутатский значок Верховного Совета СССР он носил только по большим праздникам и всегда оставался скромным, простым, как в те времена, когда был фезеушником, десятником на коксохимическом производстве и рядовым инженером-прокатчиком. Не каждому удается столь достойно выдержать испытание славой и почестями!..

После моего перехода в обком на моем месте стал работать Василий Владимирович Колесов. При мне он был вторым секретарем горкома партии. Почти три года Колесов и Булатов работали дружно. И вдруг теперь... Вот почему я сказал Петровичу, что разобраться в их конфликте мне трудно: я одинаково высоко ценю и люблю обоих.

От горкома до гостиницы пятнадцать минут езды. И все время едешь вдоль железобетонной ограды комбината и пологих склонов Солнечной, давшей жизнь городу. Справа она, мать гора с ее гигантским рудным карьером и аглофабриками, слева многочисленные прокатные станы, три мартеновских цеха, две электростанции, литейные, механические и прочие цехи, десять доменных башен и окутанная белой тучей пара громада коксохима. Все это видано-перевидано, и все равно удивляешься, радуешься мощи и красоте комбината, гордишься, что и ты ко всему этому приложил руку.

Как много может сделать человек в течение короткой своей жизни! Действительно, великое можно вместить и в малое. В начале первой пятилетки здесь, в узкой долине между горой и рекой, ничего не было. Дремучий ковыль, как дым, стлался над землей. Гуляли табуны одичавших на безбрежном приволье коней. Да виднелись юрты кочевников. Да величественные верблюды, жуя жвачку, надменно смотрели на первостроителей. Все мы, ветераны, любим кстати и некстати вспоминать, что было когда-то на месте нынешнего гиганта.

Голос Егора Ивановича прерывает мои размышления:

— Человек нуждается в срочной помощи. Надо остановиться. Как, Саня, не возражаешь?

— Какая помощь? Где? — будто очнувшись от сна, спрашиваю я. На обочине со спущенным задним скатом стоит молочного цвета «жигуленок», около него женщина с поднятой рукой.

Егор Иванович притормаживает. Открывает дверцу, выходит.

— Добрый день, Тамара Константиновна. Что у вас, это самое, случилось?

— Здравствуйте, Егор Иванович! — обрадовалась женщина. — На голову утопающего, можно сказать, упал спасательный круг. Выручайте. Авария у меня.

— Какая ж это авария? Через пять минут поедете.

— Конечно, для вас это пустяк, а для новичка беда. И как это меня угораздило напороться на гвоздь?

Голос молодой, сильный, певучий. Глаза огромные, черные. Смуглое лицо. Темные волосы гладко причесаны, разделены ровным пробором. Высокая, с тонкой талией. И все на ней наимоднейшее: корич-

невые, сильно расклешенные брюки, коричневые туфельки, белая блузка, а поверх нее замшевая, желудевого цвета спортивная куртка с расстегнутой молнией.

Выйдя из машины, я с нескрываемым интересом смотрел на незнакомку.

— Познакомьтесь, — сказал Егор Иванович. — Товарищ Голота. А это... царица Тамара. Прошу, это самое, любить и жаловать друг друга.

Женщина протянула мне руку в черной перчатке, строго взглянула на меня и, наверное, подумала: «За что любить такого? За что жаловать?» Правильные мысли, красавица!

Мы с Егором Ивановичем быстро сняли поврежденное колесо, заменили его новеньким, извлеченным из багажника.

— Вот и вся работа! — сказал Егор Иванович. — Можете следовать по своему маршруту... Но помните, теперь у вас запасного нет. Счастливого пути!

Она помахала нам рукой и укатила.

Я смотрел ей вслед, улыбаясь своим мыслям.

— Ну, чего ты веселишься?

— Знаешь, о чем я подумал, что вспомнил, увидев эту... твою царицу Тамару на обочине дороги?

— Да какая она моя? Не по Сеньке шапка...

— Ладно, мне все равно. Увидев ее, раскрасавицу, модницу, я вспомнил, что сорок лет назад на этом самом месте жили бабки и прабабки царицы Тамары. Был тут барачный город: барачные улицы, переулки, непролазная грязь, мусорные ящики, нужники на двенадцать персон...

— Чудной ты, Саня. Не с той колокольни женский пол рассматриваешь.

— То есть?

— Не глазами мужика, говорю, взглянул на нее. Перегорел ты, видать. Рановато сам себе дал отставку. Я постарше тебя, а не теряюсь: Тамара баба что надо. Красавица! — Он сел за руль, завел машину, лукаво взглянул на меня. — Мог бы ты, Саня, влюбиться в нее? Говори прямо. Как мужик мужику.

— Не могу влюбиться в царицу Тамару, потому что давно влюблен в королеву... свою жену.

— Вона какой праведный ответ!

Ехать дальше нам никто не мешал, а мы стояли на обочине и разговаривали.

— Кто она такая, эта царица?

— Исполнительница русских романсов и цыганских песен. Голос ничего себе, нравится публике. Часто выступает в цехах перед бригадами. Любит ее рабочая братва.

— Местная?

— Года три назад приехала. Поменяла Минеральные Воды на наш город.

— Одинокая?

— Ишь ты, не утерпел, поинтересовался!.. Нет, брат, такие не бывают одинокими. Мужняя жена. Супруг ее работал не то директором филармонии, не то администратором. Теперь, это самое, при Булатове состоит — референт по жилищным вопросам. Ну что, двинем дальше?

Вот и «Березки». Деревья-великаны двумя рядами поднимаются в гору. Вершины их смыкаются. Едем будто по сумрачному прохладно-

му туннелю. Сворачиваем влево и попадаем в парк. Лужайки. Цветники. Большой, с венецианскими окнами дом. Это и есть комбинатская гостиница. Тут когда-то, в довоенные и послевоенные годы, жил директор комбината Головин.

На невысоком крылечке под черепичным навесом стоит дородная, с улыбкой на круглом лице женщина, Марья Николаевна, — хозяйка гостиницы, и кассир, и горничная, и уборщица. Несколько лет я ее не видел. Сильно она изменилась. Ниже стала ростом, полнее.

— Здравствуйте, Маша! Добрый вам день.

— Здравствуйте! Пожалуйте, милости просим. Давненько вы у нас не были. Ох, как поседели!

— Куда уж больше сесть. Как здоровье, Машенька?

— Плохо. Ноги пухнут. С трудом по земле передвигаюсь. Скажи как скоро изнасилась. Другие женщины в мои годы замуж выходят, а я уже одной ногой на том свете.

Через просторный вестибюль мы с Егором Ивановичем вошли в большую, с окном в сад комнату.

— Ну вот, Саня, ты и на месте. Тут, это самое, покойный директор Иван Григорьевич Головин по ночам занимался. Все осталось как было. На старых местах стоит. — Он провел ладонью по зеленому сукну письменного стола. — Гляди, это самое, Иван Григорьевич когда-нибудь пожалует к тебе. Во сне, конечно. Не оплошай, прими знаменитого директора как положено! — Егор Иванович надвинул форменную фуражку на лоб. — Ну, хватит! Разойдемся до завтра. Мне надо работать, план выполнять.

Он попрощался и уехал.

Я вышел в парк, сел на скамейку перед цветником, подставил лицо солнцу.

Какой-то парень в рабочей спецовке перескочил через невысокую каменную ограду, отделявшую гостиницу от соседнего дома, где живет семья покойного Головина. Коротко острижен, лицо смуглое, красное. Он подбежал к Марье Николаевне, стоявшей на крыльце, подхватил ее, дородную, пудов на шесть, поцеловал и со смехом опустил на землю.

— Дорогая нянечка, поздравь меня с днем рождения!

— Ах ты боже мой! Начисто забыла, клуша этакая. Поздравляю, Костенька!

Костя Головин? Смотрю на них и вспоминаю, что Маша выходила у Ивана Григорьевича трех сыновей и дочь, что она прожила в их семье немало лет.

Иду к Косте с протянутой рукой. Он с недоумением вглядывается в меня, потом неуверенно говорит:

— Так это вы?!

— Я. Старость не радость, Костя...

— Это ведь только так говорится. Ваша старость — радость. Закладывали фундамент завода и дожили до времени, когда комбинат дает пятнадцать миллионов тонн стали в год и десять — чугуна!

— Да, время сейчас великое. Но оно было великим и год назад. И в мае сорок пятого. И когда начиналась первая пятилетка. Останется великим и в десятой. И когда нас с тобой не будет... Ну ладно. Как работаешь, как живешь?

— По краю обрыва хожу. Сделали меня начальником самого крупного в мире мартеновского цеха. Не по плечу работа. Больно молод. И опыта маловато.

— Твой отец в тридцать был главным инженером металлургиче-

ского гиганта в Сибири. В тридцать два стал директором нашего комбината.

— Так то отец. Он был выдающимся инженером-организатором. И людей любил. Это ведь тоже надо уметь — любить людей. Некоторые не могут этому научиться до конца жизни. Вот хотя бы наш Булатов. Неплохой хозяйственник, а любить людей не умеет. А как же в нашей стране можно руководить, не любя человека?

— Нехорошо, Костя, говоришь о своем директоре.

— Я ему это и в глаза могу сказать.

— Но ведь он же выдвинул тебя на высокую должность...

— Не любовью руководствовался — деловыми соображениями. И — просчитался. Больше чем надо оказал доверия. Авансом. Скорее из-за знаменитого отца, чем из-за каких-то моих талантов.

— Плох, Костя, тот солдат, который не носит в своем ранце маршальского жезла.

— А тот, кто его носит как камень за пазухой, еще хуже... Ну, я помчался в цех. На минутку домой заехал. Всего вам хорошего!

Он вернулся домой прежним путем — перемахнул через каменный забор.

Не верю его словам, не верю, что плохо справляется с работой. Скромничает. Много хорошего знаю о нем. Еще будучи студентом и одновременно работая подручным сталевара, он показал себя толковым работником. Далек пойдут Головин-младший. По дороге отца. Правильно и в свое время его выдвинули на должность начальника крупнейшего цеха. Старики должны передавать бразды правления молодым, талантливым людям. А таких у нас, слава богу, немало. Преступление совершает и перед самим собой и перед грядущими поколениями тот руководитель, который недостаточно глубоко понимает этот закон жизни.

Константин Головин!.. Василий Колесов!.. Саша Людников!.. Наши с Егором Ивановичем наследники. В надежные руки переходит все, что сделали мы более чем за столетия...

В зеленый двор гостиницы въехала «Волга». Из нее выскочил Дмитрий Степанович Воронков. Еще один мой наследник. Когда-то мы вместе с ним работали секретарями — я в партийном комитете, а он в комсомольском. В ту пору был он худенький, большеглазый паренек с застенчивым интеллигентным лицом, с мозолистыми руками слесаря. Одет был кое-как. Спал мало, курил много. Днем и ночью появлялся на рабочих местах молодых сталеваров, горновых, токарей, прокатчиков. Изобретал всякого рода мероприятия, мобилизующие комсомольцев на ударный труд. За время его секретарства ряды комсомольцев удвоились, тысячи начинающих рабочих стали ударниками, мастерами своего дела. Крепко любили в ту пору нашего Митяя.

Красневший, как красная девица, без нужды при каждом слове, скромный, мягкий, вежливый, доброжелательный, не умевший ни ругаться, ни кричать, он добивался победы и там, где терпели поражение его суровые, требовательные, не скупившиеся на выговоры предшественники. Оружием его было умное слово, доброта, сила веры, требовательность прежде всего к себе. В свое время я рекомендовал его в комсомольские секретари, потом в члены партии. И вообще не спускал с него глаз.

И теперь, через двадцать пять лет, Митяй выглядит таким же малорослым, как в юности, худеньким, застенчивым. Голова его по-прежнему кудрява, но на висках тронута ранней сединой. На губах, как и в комсомольские годы, светится улыбка.

Далеко успел уйти Митяй, с тех пор как выпорхнул из-под моего

крыла. Закончил институт круглым отличником. Работал сменным инженером в прокатном цехе. В тридцать с чем-то возглавил производственный отдел комбината. Избирался секретарем партийного комитета. Через несколько лет стал главным инженером, командующим семитысячной армией инженеров, техников, и первым заместителем директора. Но для меня он остался Митяем. Я любил его. И он, детдомовец, безотцовщина, относился ко мне с привязанностью сына.

Изрядно помяв друг друга в объятиях, мы сели на садовую скамейку, на солнышке.

— Ну, как долетел, батько?

— Отлично. Как ты узнал о моем приезде? От Булатова?

— Нет, не от него. Чутье подсказало, что тебя сегодня утром добрым ветром занесет в родные края.

— Плохое у тебя чутье, Митяй. Главного не почувал.

— Главного? Ты про что?

Скрытничать нет нужды, и я говорю правду:

— Обком в последнее время тревожит война между Булатовым и Колесовым. Поручено разобраться, в чем тут дело.

— Нет никакой войны между ними,— решительно сказал Воронков.— Зря обком встревожился. Колесов и Булатов нигде и никогда ни одного плохого слова не сказали друг о друге. Во всяком случае, мне об этом ничего не известно.

— Был ты добряком, Митяй, добряком и остался.

Я замолчал, недовольный собою. Преждевременный разговор за-
теял.

Митяй внимательно меня рассматривал. Удивлен, что я вдруг замолчал, задумался.

— Как живешь, Митяй? — говорю я.

— Хуже самого несчастного, лучше самого счастливого.

— То есть?

— Нормально живу,— говорит и застенчиво улыбается, как в молодости.— Хватит про нас. Давай, батько, рассказывай про свою жизнь. Дошли до нас слухи, что ты болел.

— Нет дыма без огня. Побывал я, брат, и на том свете.

— Живут же люди! И там и здесь...— Ему и в голову не приходит, что коснулся моей горькой тайны.— Комбинат когда собираешься посмотреть?

— Дня через три.

— Хочешь, покажу домны, мартены, прокатные станы?

— Лучшего гида, чем ты, Митяй, не желаю, но... обойдусь без тебя.

— Боишься, что я навяжу тебе субъективные взгляды и попытаться показать, что называется, товар лицом?

— Именно! Ты догадливый.

Мы засмеялись и разошлись.

Марья Николаевна, наблюдавшая за нами издали, сказала мне, когда Воронков уехал:

— Такие большие начальники и такие несерьезные. Смехом начали разговор, смехом закончили!

— Слава богу, Маша, что не разучились смеяться. Если бы люди всегда и во всем были серьезными, они бы свой век здорово укоротили.

— Ваша правда. Чаю согреть?

Долг летний день. Столько было у меня встреч, разговоров, столько успел увидеть — и все еще только вечер, тихий, теплый, с круглой луной посреди высокого и ясного неба, с высветленной из

конца в конец земель: комбинат с его трубами, бесчисленными корпусами, мать гора, белый город и даже Дальняя гора — как на ладони. И всюду хочется побывать, посмотреть, как теперь оно, твое сокровище, выглядит.

Выезжаю из «Березок» на «жигуленке» и еду куда глаза глядят. Проехал Кировскую улицу, потом Пушкинский проспект, попал на Маяковскую, свернул налево и остановился на Пионерской. На самой первой нашей улице. В 1930-м здесь в присутствии четырнадцати тысяч строителей был заложен фундамент первого кирпичного четырехэтажного корпуса. Вот около этого самого дома я и затормозил машину.

Не дворец, хотя и построен по проекту знаменитого в тридцатые годы чужеземного архитектора Майа. Унылый плоский фасад. Небольшие окна. Ничего, радующего глаз. Но я смотрю на этот дом с нежностью — я был его жильцом несколько лет, самых лучших юных лет. Жил в первом подъезде, на четвертом этаже, в коммунальной квартире, в крохотной комнатке. Не работали ни водопровод, ни канализация, ни центральное отопление. Не была газифицирована кухня. Вполнакала горела электрическая лампочка. Зимой вода замерзала в чайнике. Спал не раздеваясь на узкой койке с продавленной сеткой. И все равно был на седьмом небе.

Сажу в машине, снизу вверх смотрю на свой дом и вспоминаю...
...Тихонько вставляю ключ в замок, мягким рывком отваливаю дверь. Неслышно, как ловкие воры, проходим мы с Леной через темную, заставленную и заваленную прихожую и попадаем в безопасную зону. Наконец-то дома!

Ничего не услышала сварливая соседка, если даже не спала. Поворачиваю выключатель, и — нет, кажется, краше моей комнатки! Сто тысяч работяг, холостых, женатых, с женами и ребятишками, ютятся в бараках, за ситцевыми занавесками, на деревянных топчанах, а то и вовсе в землянках, в халабуддах, сколоченных из строительных отходов, а я роскошествую в отдельной комнате! Второй год обитаю здесь, а все никак не привыкну к своему счастью. Всегда раньше валялся на каменном полу, на печи, на нарах, в теплушке, в вокзальном зале на тысячу душ, в карантинном бараке, а сейчас... Один! Сплю на подушке. На белой простыне. Укрываюсь настоящим одеялом, а не истлевшей, вонючей, с чужих плеч рваной. Один! Тихо, без помех засыпаю. Не будит меня ни чужой храп, ни пьяный мат, ни грохот двери. Никто не галдит над ухом, когда читаю, пишу, мечтаю. И на мою Ленку никто не пялится, не оскорбляет ни взглядом, ни приглушенным хихиканьем. Появляется она в моей светелке бесстрашно, по-домашнему. Одна соседка иногда портит нам настроение. Ничего! Поженимся — сразу успокоится.

Живу на четвертом этаже. Окно единственное, подоконник широченный, дубовая плаха, — нас с Ленкой вмещает. Насиженное местечко. Отсюда ночными огнями любимся, а днем дальними Уральскими горами, строительной площадкой, домами, степью, озером, небом, землей.

Полы моей комнаты выскоблены добела. Стены выбелены. Кровать старенькая, узкая, но аккуратно застелена байковым новеньким одеялом. Красота!

А такой этажерки, какую я отхватил на толкучке, ни у кого не найдешь. Все тома Толстого вместила и еще кое-что. Есть у меня настоящий письменный стол. На нем центральное место занимает фотография Ленки, вставленная в чугунную рамку. Снималась она девчонкой, еще в ту пору, когда не знала о моем существовании. Чудно! Неужели было такое время?

Лена нетерпеливо обнимает меня, целует, а на лице ее та самая девчачья, как на фотографии, стыдливая улыбка. Такой она была и тогда, когда мои губы впервые робко коснулись ее губ. Повезло! Как случилось, что из всех заводских парней она выбрала меня? В стотысячной толпе разыскали друг друга!

Сегодня она в ситцевом сарафане — красный горошек по белому полю. Коротенькие пышные рукавчики, глубокий вырез на груди. Она не показывается в таком наряде на работе. Стыдится. Чудная! Когда разбогатеет мануфактурой, всех женщин принарядим!..

Ну а как теперь выглядит гнездо моей юности? Кто занял его? Окна четвертого этажа освещены. За прозрачными занавесками мелькают тени. Кто они, люди, живущие в бывшей моей квартире? Где работают? Очень мне хочется взглянуть на них, поговорить, сказать, что это мой дом.

Иду! Каждый с первых же моих слов поймет меня.

Медленно поднимаюсь вверх. Крутая длинная лестница. Та самая! Последняя площадка. Дверь справа. Не та! Не моих времен, щелястая, топорная, вымазанная на скорую руку грязно-коричневой липучей, вечно сырой краской. Новая. Глухая. Обитая черным дерматином.

В самый последний момент, уже подняв руку, я дрогнул. Позвонить или не позвонить?.. Ладно! Нажимаю кнопку. Раздается не резкий звонок, а нежное, мелодичное звучание. Послышались энергичные шаги. Кто-то прильнул к хитрому глазку, высмотрел что надо и распахнул дверь.

По ту сторону порога, в светлой, отделанной под дуб прихожей стояла смуглолицая черноглазая женщина, та самая, которую мы с Егором Ивановичем выручили сегодня на дороге. Вот так встреча!

Какое-то время мы растерянно смотрим друг на друга, но она быстро приходит в себя.

— Добрый вечер,— не проговорила, а пропела.— Пожалуйста, заходите.

— Виноват. Простите,— бормочу я, чувствуя, как кровь прихлынула к моему лицу.— Простите... Не знал, что вы здесь живете... Я в тридцатых три года здесь жил. Потянуло взглянуть...

— Не оправдывайтесь. В этом нет никакой нужды. Очень хорошо понимаю вас. Прошу.

Она взяла меня под руку, провела в большую комнату с хрустальной люстрой, коврами, диваном, креслами, цветами в вазах, с черным роялем в углу.

Сорок лет назад здесь жил слесарь паровозного депо Жаворонков со сварливой женой Полиной. Спали они на щелястом, облупившейся краской полу. Варили еду на буржуйке с выведенной в окошко трубой. Рассказываю об этом новой хозяйке нашего бывшего жилья.

Она вскинула гладко причесанную голову, весело рассмеялась:

— Вспомнили! Житье-бытье давно минувших дней. Сейчас ваши бывшие соседи живут, наверное, не хуже меня.

— Все верно. Но я, знаете, никак не могу забыть, как мы на чинали. Все удивляюсь. Вернее, не удивляюсь, а радуюсь тогдашнему нашему оптимизму, нашей вере в будущее.

— Да, вера — великая вещь. Хотите кофе? С пирогом. Только что испекла.

Она разлила по чашкам кофе, поставила на стол блюдо с пирогом.

— Пожалуйста, прошу.

— Спасибо... Вы всю квартиру занимаете?

— Разумеется. Едваем с мужем Детей у нас, к сожалению, нет.

Он сейчас в Москве, в командировке. А вы... вы тоже в командировке здесь?

— Да.

— А, собственно, кто вы?

Покривила душой. По глазам вижу — знает она, кто я такой, откуда, но почему-то считает нужным скрывать.

— Моя фамилия Голота. Егор Иванович познакомил нас.

— Извините, я тогда не расслышала.

Ем яблочный, еще теплый пирог с удовольствием. Вкусно! Но недолго блаженствовал. Вдруг почувствовал, как мягкие куски пирога превратились в жесткие камни и прямо-таки ввинчиваются в желудок, оставляя, наверное, на стенках пищевода кровотокающую резьбу. Больно! Так невозможно больно, что кричать хочется... Медленно, маленькими глотками допиваю свой кофе. Вроде бы полегчало. Я отодвинул красную, на красном блюдечке чашечку, поднялся.

— Спасибо, Тамара Константиновна. Мне пора.

— Куда же вы? Почему заспешили?

— Через полчаса мне надо быть на комбинате.

— Ну если надо... Да, в какой комнате вы жили?

— В самой махонькой.

— Там теперь моя спальня. Хотите посмотреть?

— В другой раз, если позволите.

Она тоже поднялась:

— Ну что ж, до свидания...

Ничего дурного я как будто не сделал. Но чувствовал себя скверно. Всю дорогу до «Березок» муторно было на душе. И в гостинице долго не мог успокоиться. Шагал по комнате, стоял у окна, смотрел в темный парк, слушал шорох листьев и пытал себя: почему мне тошно? почему вдруг нутро заболело?

Около двенадцати раздался телефонный звонок. Кому я понадобился так поздно? Поднял трубку. Женский голос, певучий, вкрадчивый, произнес:

— Добрый вечер. Это я, Тамара Константиновна. Вспомнила сейчас, что завтра я выступаю в доменном. В пятнадцать часов. Буду петь — вся выложусь!

— Прекрасно. Желаю успеха.

— А вам не хочется послушать мое пение?

Я усмехнулся: удостоился персонального приглашения!

— Если к пятнадцати случайно окажетесь в доменном, загляните в красный уголок.

Я решил прекратить затеянную царицей игру. Ответил вежливо, но сухо:

— Тамара Константиновна, я давно ничего не делаю случайно. К сожалению, завтра я не буду в доменном. Желаю вам успеха. Доброй ночи.

И положил трубку...

Утром она подкатила к подъезду гостиницы на своем «жигуленке». Вот так сюрприз! Вышла из машины, огляделась. Красивая, строгая, злая, во всем красном. Постояла, подумала и решительно поднялась на крылечко. Неужели ко мне? Да!

— Извините за вторжение. Но другого выхода у меня не было.

— Доброе утро. Садитесь. Хотите кофе?

— Хочу поговорить! — Она стояла посреди комнаты и смотрела на меня. — Вы приезжали на Пионерскую не затем, чтобы посмотреть на свою бывшую халупу. Хотели застать меня врасплох. Уличить.

— Уличить? В чем?

— Не притворяйтесь. Эх вы! Поверили бабьим сплетням...

— О чем вы, Тамара Константиновна? — Неожиданно для себя я взял ее за руку. — Я не знаю, что говорят о вас. И не хочу знать. А верю я только себе. Своим глазам, своим ушам.

Она вырвала свою руку из моей и убежала.

Я услышал, как ее «жигуленок» фыркнул перебогатенной смесью, сорвался с места и исчез за воротами.

Минут через десять, когда я вышел из гостиницы подышать свежим воздухом, во дворе появилась салатная «Волга» с черными шашечками. Такси подрулило ко мне. Егор Иванович! Лицо нахмуренное, в глазах тревога. Так озабочен, что забыл поздороваться.

— По дороге сюда, это самое, встретил царицу Тамару. Притормозили. Поговорили. Каждое ее слово в слезах вымочено. С чего бы это, а? Не ты, Саня, ненароком обидел ее?

— Сама себя она обидела.

— Ясный корень... Выходит, дошли-доползли и до тебя сплетни насчет ее, это самое, и Булатова.

— Булатова?.. Первый раз слышу. Имей в виду, Егор Иванович: сплетнями не интересуюсь.

Говорил я сердито, но мой друг воспринял мои слова так, будто я ему сообщил что-то необыкновенно радостное.

— Ты умница, Саня! — воскликнул он. — Целиком и полностью, это самое, соответствуешь.

Больше мы с ним никогда не говорили о Тамаре.

В моем распоряжении остаток дня, вечер, вся ночь, рассвет и восход солнца. За это время я могу намотать на спидометре сотни километров, побывать на горном озере, в предгорьях Северного хребта. Могу мчаться по ночным дорогам или стоять на вершине горы и любоваться мириадами огней комбината и города.

Еще и десяти вечера нет, а во многих домах уже все окна темные. Рано надо вставать рабочему народу, каждый ночной час ему дорог. Малолюдно даже у вокзала. Огибаю привокзальную площадь и попадаю на пустынный проспект Ленина. И тут вдруг почувствовал острейшую боль в пищеводе: будто акульи зубы вонзились в мои внутренности. Кое-как, согнувшись в три погибели, доехал до площади Ленина, вырулил ослабевшими руками на обочину, заглушил мотор и упал на оба передних сиденья. Долго полулежал на спине с закрытыми глазами, прижав руку к животу. Прошло, наверное, около часа, пока не полегчало.

Слышу чей-то грубый голос:

— Эй, работяга, чего дрыхнешь в такую хорошую ночь? Вставай, погутарь со мной.

Поднимаюсь, открываю глаза. У опущенного окна машины стоит женщина с дымящейся папиросой в зубах. В рабочем халате, в пла-точке.

— Ждешь кого-нибудь? Случаем, не меня?

— Может, и тебя... Куда ехать?

— На правый берег. Нам с тобой по дороге?

— Семь верст в сторону — не беда. Давай садись.

— Какой скорый и добрый! С чего бы это, а? Рублишко рассчитываешь содрать за проезд? Не надейся. Левых заработков не имею. В главной конторе ночной уборщицей вкалываю, еле концы с концами свожу.

— Садись, говорю, поскорее, а то, пожалуй, раздумаю.

— Ладно, так и быть, уважу я тебя, белоголовый, сяду.

Уверенно, по-хозяйски расположилась рядом со мной, бесцере-

монно выдохнула в мою сторону струю беломорского дыма, ласково посмотрела цыганскими глазами.

— Сладко ты спал. Извини, что разбудила. Хороший сон видел, а?

— Какой там хороший! Профсоюзное собрание, будь оно неладно...

Она хлопнула себя ладонями по коленям:

— Ну и ну! Двужильный ты. И наяву и во сне живешь собраниями. При твоём возрасте надо прислушиваться, об чем на небесах балакают, а не тут, на грешной земле.

— Именно это самое я и делал: прислушивался к голосу с неба...

Она закурила новую папиросу.

— А ты, сиволобый, кой-чего соображаешь. Кури.

— Спасибо, я привык к сигаретам. Как тебя величают? Где живешь?

— Федора, по отчеству Федоровна, а по фамилии Бесфамильная. Крутом смешная — спереди и сзади. Чего же ты не смеешься?

— А почему я должен смеяться? Имя у тебя красивое, отчество тоже, фамилия редкая, никогда не забудешь.

— Ишь ты! Всем я смешная, а для тебя, скажи на милость, красивая. Спрашиваешь, где я живу? Между небом и землей. В поселке Каменка, на Железной улице, во дворе номер семь. Одинокая старушка приютила. Не родственница, не знакомая. Просто так. По десятке в месяц отрывает от моего шикарного жалованья. Да еще я ее, покровительницу, обстирываю и обмываю. Ничего себе живем, дружно...

— Как же получилось, что ты осталась без своего угла?

— Все было да сплыло. Муж был. Молодой, красивый, ладный. Забрали его в самом конце войны. В первом же бою сложил голову. Вот как не повезло! Одно только письмо и прислал с передовой. Перед боем написал. Ночью. Я его и теперь перечитываю. Я Сеню любила, когда вышла за него замуж, а теперь в тысячу раз больше люблю. Мужиков много прошло через мою жизнь, а муж был один-единственный. Характер у меня — оторви да брось, физиономия не ангельская, сам видишь, нравом бешеная, а он, Сеня, сердечный мой муж, души во мне не чаял. Золотой был муж! Сперва, после похоронки, я, правду сказать, не шибко убивалась. Молодая да дурная была. И еще грудной сын отвлекал от горя. Уж как я холила маленького Сенечку, как тащила в люди! И вытасила. Ремесленное Сеня прошел. В доменчики пробился. Институт закончил. Жили мы с ним душа в душу, пока не объявилась эта... Увела, окаянная! Перекуковала, значит, она меня. Я про Катьку говорю. Пожила я с ними, с чужими, Сеней да Катькой, несколько лет, нарevelась вволю, а потом взяла кое-какое свое барахлишко, мысленно попрощалась с Сенечкой, «будь, сынок, счастлив, не поминай маму лихом», — и ушла к одинокой богомолке. Вот и вся моя история.

Она бросила потухшую папироску и тут же закурила новую.

— Смотри-ка, до чего я стала разговорчивой! Цельми днями молчу, а тут... И перед кем прорвало? Перед белоголовым мужиком, который храпит в машине. Ты что, старче, через силу работаешь? Спать дома некогда?

Не нужны ей мои слова. Самой хочется поговорить, отвести душу. Пусть рассказывает. Я спросил:

— Федора, а ты Головина, бывшего директора комбината, знала?

— Как же! Еще девчонкой познакомилась с ним.

— Как это было?

— Очень просто. Дело было зимой, в страшный мороз, в войну. Точу я снарядную головку. Одета в старенькую фуфайку, в ватные штаны. На голове артельный платок, выменянный на хлебные пайки.

Надевали его только те девчонки, которые работали за станком. Друг дружке передавали, из смены в смену. Валенки тоже были артельные — на троих. Все девчонки стояли не на полу, как взрослые, а на деревянных подставках. На них ставили рабочих-недомерков вроде меня. Малых ростом. Несовершеннолетних. Мы эти подставки называли пьедесталами. Ну, работаю я на своем пьедестале и чувствую — стоит позади меня кто-то. Оборачиваюсь, вижу — директор комбината Головин Иван Григорьевич смотрит на меня так, будто я ему родная. «Как тебя зовут, доченька?» В то время я была озорной, в карман за словом не лазила. Говорю ему, Головину: «Вот так папенька! Не знает, как зовут его дочку. Где ты был, пока я росла? Федора я». Девчонки хохочут, а я стою на своем пьедестале и спрашиваю: «А зачем вам, товарищ директор, мое имя? К ордену желаете представить? Или хлебную и сахарную премии выдать?» Девчонки опять загоготали. «Какого ты года рождения, Федора?» — пытал необидчивый директор. «Не знаю. Оплошала, не сделала зарубки на березе, в какой год и день появилась на свет». Иван Григорьевич, уходя, ни с того ни с сего обнял меня, поцеловал, будто я и в самом деле была ему родная дочь. Ну а вскоре, после того, как начались салюты в честь наших побед в Орле и на Курской дуге, пришел из Кремля Указ о награждении Федоры Бесфамильной орденом Трудового Красного Знамени. Вместе со мной получили награды и мои подружки. Вручал нам ордена Иван Григорьевич. Вот и все мое знакомство с ним. Последний раз я видела его в гробу. Провожала я его до могилы, редела в три ручья. И теперь часто наведываюсь к нему. Постою над ним, поговорю — и легче станет...

— И о чем же ты с ним говоришь?

— Да обо всем на свете. Он же был совестливый мужик: чужую беду и чужую радость принимал близко к сердцу, как свою собственную. Теперешнему директору далеко до Головина.

— Почему? Откуда ты его знаешь?

— Знаю! Встречалась, разговаривала... Всю свою жизнь ему обрисовала: как погибли под бомбежкой в эшелоне эвакуированные отец и мать, как я поднялась на пьедестал, точила снаряды, как стала молодой вдовой, как работала после войны, как воспитывала Сенечку, как осиротела, осталась без крыши над головой. Зачем так расщедрилась? Дурак думками богатеет. Понадеялась, что Булатов выделит какой-нибудь угол. Зря старалась. Не выделил!

— Почему? Под каким предлогом?

— Предлогов у начальства невпроворот. Сказал, что не имеет права вне очереди предоставить жилье уборщице за счет тех, кто горит у комбинатского огня, — сталеваров и горновых. И еще добавил, что я должна записаться в общую семитысячную очередь и ждать. Слышал? Для Булатова я всего-навсего уборщица. Про то, что я дочь погибших в войну рабочих людей, про то, что я жена убитого на фронте солдата, про то, что я сама была и осталась тыловым солдатом, — про все это он забыл или не хотел помнить. Я ему русским языком растолковывала, что Федора весь огонь своей жизни еще в молодости отдала комбинату, да покойному Сенечке, да еще Сенечке живому, а он все равно ничего не понял, не почувствовал. Про огонь, бедолага, талдычит, а сам без единой горячей искорки в душе живет... Ну чего ты, белоголовый, слушаешь, все слушаешь, тянешь меня за язык, а сам про себя ничего не рассказываешь? Давай говори, что ты и кто?

— В другой раз, Федора, я буду разговорчивее. Сейчас у меня настроение не то...

— Другого раза не будет. Это сегодня на меня что-то нашло, вот я и добрая. Я ведь теперь больше чертыхаюсь, чем разговариваю. Обиду на своего маленького Сеню вымещаю на всех и каждом. Опасная я баба. Так что не появляйся на моей дороге. Ну вот и моя контора, приехали!

Она распахнула дверцу машины и не прощаясь выскочила на тротуар.

Головин и Федора. Еще вчера я не думал о них, а сейчас весь в их власти.

Укладываюсь в постель без снотворного. Хорошо прожил день, хорошо и спал ночью.

В городском адресном бюро я узнал, где в последнее время проживала Федора Федоровна Бесфамильная.

Направляюсь на улицу Суворова. Хочу встретиться с сыном Федоры Сенечкой и его женой Катей. Зачем? Пока не знаю. Увижу их, поговорю, тогда и прояснится моя позиция. Не исключено, что сын и невестка не такие, какими обрисовала их мне Федора. Да и сама Федора, возможно, не такая уж идеальная мать. Бывает, что матери своей чрезмерной любовью к сыновьям и неоправданной ревностью к невесткам отравляют жизнь и молодым семьям и самим себе.

Посмотрим!

Улица Суворова прорезает город с востока на запад. Несколько километров дорожного и тротуарного асфальта, деревьев, посаженных в два ряда, цветников, лужаек, десятиэтажных и пятиэтажных домов. Начиналась ее застройка при мне, в послевоенное время, когда я был секретарем горкома, заканчивается при Колесове. На мою долю приходится мало. Больше на долю Василия Владимировича. Глядя на город, на комбинат, я не могу не думать, что появилось здесь при моем сильном участии, что после моего отъезда. В девятой пятилетке строители стали богаче, талантливее, более требовательны к делу рук своих.

Бесфамильные живут в пятиэтажном, без лифта, краснокирпичном доме, построенном в мое время.

Останавливаю «Жигули» у обшарпанного подъезда. Выхожу. Но подняться на второй этаж не успеваю. Ко мне подбегает парень лет тридцати, лохматый, испуганный:

— Катенька... жена, в роддоме запросилась, а ехать не на чем... Выручайте, папаша, спасите!

Вдвоем выводим из подъезда стонущую женщину в байковом халатике, осторожно усаживаем на заднее сиденье машины. На полной скорости мчимся в город, в роддом на Пушкинском проспекте.

Санитарки увели стонавшую роженицу наверх. Муж стоял в углу вестибюля лицом к стене, зажав ладонями уши.

— Отвезти домой? — спросил я.

Не ответил. Не слышит. Тронул его плечо — не обернулся. Ладно, оставляю в покое. Удачи тебе, земляк!

Возвращаюсь в роддом через несколько часов.

Молодой парень с сияющим лицом бросается мне навстречу. Узнал, хотя и видел в полной растерянности.

— Сынка подарила Катя. Как заказал, так и сделала! — Обнимает меня, тащит на улицу. — Пойдем, папаша, обмоем новорожденного.

— Спасибо, но...

— Да ты не беспокойся. Не водкой буду угощать — шампанским. Пошли!

Эх, подумал я, была не была, согрешу по такому случаю!

Уединились в укромном уголке, в тени деревьев ближайшего скве-

ра. Я выпил глоток теплого, выдохшегося шампанского. Счастливый отец выпил всю бутылку. Захмелел.

— Папаша, ты для нас великое дело сделал. Спасибо. Большое-пребольшое. Ты кто?

— Так... бумагомаратель.

— Понятно. По конторской части. А я доменщик. Сын доменщика. И отец доменщика. Подрастет малыш, определю в профессиональное училище, в то самое, какое сам прошел. Знаменитое тринадцатое. Мы с ним, может, на одной домне будем плавить чугуны. Как Крамаренко, отец и сын. Знаешь Крамаренковых, папаша?

— Как же!

— Во люди, а? Между прочим, я у молодого Крамаренко начинал третьим подручным. Папаша, как вас величают?

Я сказал. Он почему-то страшно обрадовался, закричал, захлопал в ладоши.

— Александр? Самое лучшее в мире имя. Саша! Сашенька! Шурик! Саня! Мы сына своего назовем Сашкой. Так мы решили с женой. Не сегодня, не вчера, а еще тогда, когда гадали, кто у нас родится.

Я переключаю молодого отца на другую тему:

— Как жена себя чувствует?

— Отлично. Привет и поцелуй через нянечку прислала. И тебя велела поцеловать, если случайно встречу. Встретил!.. Откуда ты взялся?

— Ехал мимо, остановился, дай, думаю, посмотрю, как вы тут...

— Ну и молодец же ты, папаша! Не забыл. Мы с тобой еще на крестинах выпьем. Приглашаю. Мою улицу, мой дом запомнил? Заезжай! Днем, ночью, за полночь, на рассвете — в любое время примем как родного. От чистого сердца заявляю.

Слушаю счастливого отца, улыбаюсь и говорю:

— Давай, Сеня, более важные вопросы обсудим. Итак, ты стал родителем?

— Точно! Отныне с меня налог за бездетность перестанут брать. И вообще теперь имею право считать себя полноценным человеком.

— Значит, счастлив?

— Спрашиваете!

— А твои родители счастливы? Знают, что ты стал отцом, что у них появился внук?

— Родители?.. Видите ли, какое дело, папаша...

— У тебя нет родителей?

— Были. Есть. Отец погиб на фронте, а мать...

— Твоя мать знает, что у нее родился внук?

— Откуда ей знать? Мы уже больше года не живем вместе...

— Почему?

— Женщины не сошлись характерами — жена Катя и мама.

— А ты?.. Сердцем на чьей стороне?

— Трудное спрашиваете!.. На той и на этой...

— Но, конечно, больше на стороне Кати?

Молчит. Не смотрит на меня.

— Ну?

— Так оно и есть, папаша, как вы говорите. Под каблук жены попал с первого дня женитьбы...

— И тебе, Сеня, не больно, не совестно, что родная мать сбежала от тебя?

— Спрашиваете! На душе кошки когтями скребут.

— Так почему же ты не помиришься с нею?

— Так к ней же, гордячке, не подступишься!

— Теперь, когда у нее появился внук, подступишься. Попробуй! Поедем к ней.

— Куда? Я даже не знаю, где она живет.

— Найдем!

— Боюсь я, по правде сказать... Вниз по матушке Волге пошлет, как увидит...

— И будет права. А ты не обижайся. Мать всегда права, в любви и гневе. И твоя Катя, став матерью, тоже будет во всем права по отношению к вашему сыну. Учти это на будущее. Напиши Кате записку. Скажи, что по случаю рождения сына едешь к матери на поклон. Катя обрадуется, что ты умно поступил.

— Ну что ж, уговорили!.. Поехали!

Поселок Каменка. Железная улица. Хатка под истлевшим шифером, вросшая в землю, с крошечными окнами.

Увидев незваных и неожиданных гостей, Федора расплакалась и почему-то бросилась обнимать не сына, а меня. Стучала по моей спине кулаком, сердито говоря сквозь счастливые слезы:

— Если бы не ты, сиволобий, я бы этого охламона и на порог к себе не пустила! — Повернулась к Сене и, перестав плакать, злобно спросила: — Слыхал?

— Здравствуй, мама... Соскучился я по тебе...

— Ладно уж, не облизывай, я и без того гладкая. Почему исхудал? Катька не кормит?

— Не надо, мама! Катя сейчас в родильном доме находится.

— Каким ветром ее, никудашную, туда занесло?

— Обыкновенным. Поздравляю, мама, с внуком!

Федора побледнела, отмахнулась от сына, будто он произнес кощунственные слова.

— С каким еще внуком, пустобрех, поздравляешь? Откуда он взялся? На огороде в капусте нашли, да?

— Катя родила. Сегодня. Мой сын. Твой внук. Назвали Александром.

Она все еще не могла поверить.

— Родила?.. Катька?.. Брось, Сеня, не выдумывай чего не надо. Неспособна твоя жена на бабье дело. Сколько раз пыжилась — и ничего не выходило.

— Теперь вышло. Сын! Четыре килограмма. Черненький. На меня похож. И на тебя.

Кажется, накснец поверила:

— Правда? Не обманываешь?

Спросила не голосом, а беззвучным движением губ. И еще взглядом.

— Чистая правда, мама. Поедем, посмотришь на своего внука.

— А Катя... Катерина знает, что ты здесь?

— Она меня сюда и послала.

Чуть не испортил Сеня великий праздник.

— Она послала?.. А ты... ты, значит, не хотел?

— Было мое хотенье да Катькино веленье. Поехали, мама!

Обнял мать, прижал к себе. Она плачет, он смеется.

— Поехали! — говорю и я.

Утром Марья Николаевна предложила чай, завтрак.

— Спасибо, Маша. Через полчаса, если можно. Я не занимался гимнастикой, не принял душ.

— Вы еще занимаетесь гимнастикой? — простодушно удивилась хозяйка гостиницы.

— А почему бы и нет? Гимнастике, как и любви, все возрасты покорны!

— Ладно, пойду. Да, чуть не забыла!.. Звонили вам из доменного.

— Кто?

— Крамаренко Федор Леонидович. Велел сказать, что дожидается. Приглашает в гости. И домой и прямо на домну.

— Спасибо. После завтрака поеду.

— Все так и передам, если позвонит... Можно вам задать один вопрос?

— Можно.

— Что вы по ночам пишете?

— Так, всякое...

— Дня вам мало. Убиваете себя работой.

— Человека убивает не работа, а безделье.

После гимнастики и душа я быстро оделся и выскочил на улицу. Не удалось скрыться незаметно. Марья Николаевна выбежала на крыльцо, закричала вдогонку:

— Куда же вы? А завтрак?

— Поем в доменном чего-нибудь.

— Не велено вас голодного выпускать из гостиницы.

— Кем не велено?

— Директор звонил из больницы, строго-настрого приказал кормить вас получше. И товарищ Колесов просил...

Я махнул рукой, сел в машину. Но уехать не успел. Дорогу мне перекрыло такси. Явился Егор Иванович. Всегда я ему рад. Любое дело ради него отложу.

Нет такого мозгового центра, в котором определялись бы гениальные, чрезвычайно способные, просто способные, очень талантливые или просто талантливые люди и каждому бы выдавалось по способностям. Люди сами оценивают друг друга: выдвигают и задвигают, награждают и карают, осуждают и выносят благодарности. И как же мы должны быть проницательны, справедливы, сколько должно быть у нас ума, опыта, такта, чтобы воздавать каждому по способностям и заслугам. Не больше. Но и не меньше.

Об этом я много думал еще в ту пору, когда работал секретарем горкома. Думаю и теперь. И делаю все, чтобы не ошибаться в оценках. Но не всегда мне это удается. И от этого страдаю, чувствую себя виноватым и перед людьми и перед собой.

К чему я об этом? Вероятно, из-за Егора Ивановича, из-за нашего с ним разговора. Войдя ко мне в номер, он сказал:

— Слышал я, Саня, новость...

— Какую?

— Говорят, ты прибыл на комбинат чрезвычайным ревизором. Говорят, на головы Булатова и Колесова покушаешься. Правда это?

— Насчет голов Булатова и Колесова неправда. А насчет ревизора... нет дыма без огня. И все-таки не ревизор я, Егор Иванович. Партийному должен разобраться, как борются директор и секретарь горкома за воплощение в жизнь решений последнего съезда партии.

— Очень хорошо! О Колесове я тебе ничего не могу сказать — ни плохого, ни хорошего, мало с ним общался. А вот насчет Андрухи... Тебе ли не знать его? Не раз мне приходилось слышать, как он нахваливал тебя за то, что вытаскивал его в люди.

— Люди меняются с годами. И с переменной жизненных обстоятельств. Кто был ничем, тот стал всем. Кто был всем, вдруг стал ничем. Случается, увешанный от шеи до пояса орденами вдруг сгибается до земли под тяжестью наград, теряет способность не только работать, но и штаны застегнуть...

— К чему ты, это самое, говоришь? Куда забрасываешь крючок и что надеешься выудить?

— Истину, Егор Иванович. Только истину.

— Вот это верно. В самую точку попал! В корень, это самое, заглянул...

— Нет, Егор, пока еще не заглянул. Не знаю еще и не догадываюсь, где он, корень.

— Ничего, не горюй. Узнаешь. Догадаешься. Позиция у тебя настоящая, партийная. Верю я в тебя. И вот что я скажу тебе, Голоте, который считает, что человек меняется вместе с обстоятельствами... Меняется тот, кто и раньше не был человеком, кто в борьбе с трудностями пускал в ход не самое мощное оружие — любовь к труду, а то, что попадает под руку, что ближе лежит... Я жил серьезно и терпеливо, с верой в дело рук своих — и, представь, это самое, у меня нет и не было врагов. Куда ни гляну, с другом глазами встречаюсь!.. Хватит, будь здоров!..

Но он все-таки не ушел. Захотел сказать самые главные, как ему, наверное, казалось, слова:

— Знаешь ты, искатель истины, что Булатов стесняется утром ехать на работу на персональной черной «Волге»? Тысячи работяг спешат к домнам, к мартёнам, прокатным станам на трамваях, на автобусах, на своих на двоих. И он, Андрюха, вместе со всеми шагает. От улицы Горького через площадь Орджоникидзе, через центральный переход топаёт вместе с рабочим народом. До самой пятой проходной. И с каждым здоровается, запросто беседует про то и се. Хорошо это или плохо, скажи?

— Це дило, как говорил мой отец, треба разжуваты...

— Жуй, Саня, но смотри, как бы тебе и в самом деле не обломать свои клыки об эту жвачку. Бывай... И не сердись, если что не так сказал.

Солнце припекало с утра. Ни облачка, ни ветерка. Листья не шевелились. Трава поникла. Земля накалилась. Парило. Дышалось тяжело. Сердце давил камень.

В полдень на юге появились одна за другой сивые тучи. Потемнело. Подул сильный ветер. Деревья качнулись. Засверкали молнии, загремел гром.

Буря в одно мгновение выворотила огромный тополь. Падая, красивый и добрый при жизни великан разбил ветвями окна в угловой комнате гостиницы, разрушил крылечко, подмял под себя, сломал, раздавил все, что цвело и жило у его подножия и вокруг: молодую поросль березок, кленов, елочек, кусты сирени, цветы на клумбе. Толстые сучья вонзились в почву, вспороли, разворотили асфальт на садовой дорожке. Что же ты наделал, старче?! Люди тебе, обреченному, потакали. Если бы вовремя спилили отживший свой век тополь, не погибло бы столько молодежи, не был бы обезображен парк и цветник...

Бури и грозы воздействуют и на жизнь моей души.

Удручен я днем текущим. Страшусь будущего. Тоскую о прошлом.

Хорошо быть молодым! Собирать весной фиалки. Прыгать головой вниз с крутого каменистого берега в молодое море. Скользить на лыжах по снежной целине с пологих предгорий Северного хребта. Вozить по горячим путям ковши, полные жидкого чугуна, бросающие заревой отблеск на темные ночные облака. Влюбиться в прелестную восемнадцатилетнюю девушку по имени Лена. Бродить с молодой женой по глубокой прохладной балке, заросшей дубняком, вербой, терновником, с прозрачной криницей, с вечно живым ручейком и соловьи-

ными гнездами. Не чуя под собой земли, мчаться на перекладных в роддом, где жена родила сына. Входить в Большой Кремлевский дворец самым молодым делегатом всенародного форума — Всесоюзного съезда Советов.

Все это было у меня на заре первой пятилетки.

Немало хорошего было и потом. Диплом инженера. Доверие коммунистов, впервые избравших меня секретарем партийной организации. Фронтвые победы от Сталинграда до Берлина. Первый орден Красного Знамени. Орден Ленина и золотая звездочка. Роспись на одной из колонн рейхстага, сделанная моей рукой. День победы 9 мая 1945 года. Парад на Красной площади... Возвращение после демобилизации на родной комбинат. Мирный труд, мирные радости.

Хотел бы я прожить свою жизнь еще раз? Да! Но молодость не повторяется. И все-таки в трудные минуты мы припадаем к ней как к живительному источнику.

...Беспощадно грызет мое нутро зубастый зверь. Не могу ни есть, ни пить, ни ходить, ни стоять, ни сидеть. Корчусь на кровати, зажимаю рукой рот, чтобы не застонать, не закричать, не завывать.

Трижды заходила Марья Николаевна. Предлагала завтрак, обед, ужин. Не понимаю, откуда я находил в себе силы говорить, отказываться от еды, благодарить и даже улыбаться. Вечером она не на шутку встревожилась:

— Что с вами? Сами на себя не похожи. Уж не хвороба какая приязалась? Я врача вызову. И товарищу Колесову позвоню.

— Не надо, Машенька. Просто устал. Пройдет. Спасибо...

Она ушла, сочувственно-подозрительно вглядываясь в меня.

Пока разговариваю с Марьей Николаевной, боль вроде бы меньше терзает. Как только остаюсь один, зверь снова раздирает на кусочки мои внутренности. И только перед рассветом он притих, перестал работать челюстями. Устал?

Осторожно встаю с постели, принимаю душ, бреюсь, сажусь за стол Головина. Но вместо того чтобы писать друзьям и близким, надолго задумываюсь.

Никогда я серьезно не болел, не чувствовал себя старым и в шестьдесят с гаком. Был уверен, что сил и здоровья хватит надолго, что последний час жизни встречу на ногах, в работе. И вот с самой неожиданной стороны нагрянула беда!

Что говоришь? Будь справедливым, Голота! Никакой трагедии не произошло. Износился. Закономерный, естественный конец. Ты прожил немалый срок. Не каждому выпадает такое. Не имеешь права ни на мировую скорбь, ни даже на будничную печаль. Согласен! Чем острее боль, тем сильнее ты должен быть духом. Хорошо, когда здоровый дух в здоровом теле. Но не менее важно иметь здоровый дух в теле, пораженном недугом.

Жалок тот, кто цепляется за выдохшуюся жизнь, готов существовать хоть как-нибудь. Мужество не в том, чтобы жить долго, а в том, чтобы до последней минуты жить достойно, по-человечески.

Нет ничего более естественного, чем смерть. И нет ничего более противного природе человека, чем она. До последней своей минуты люди верят в непобедимую силу жизни. Мало кто уходит без ропота, без сопротивления.

Я должен смириться с мыслью, что Голоты-старшего скоро не станет. Да! Уже смирился... Вся проблема теперь в том, как это произойдет. Мне не безразлично это как. Хочу мгновенно, одним прыжком уйти в небытие.

До чего же спокойно размышляю я теперь о том, что с ужасом отгонял от себя в двадцать, тридцать, сорок и даже в пятьдесят лет! Сам себя убеждаю. Сам себя опровергаю.

Моя жизнь до краев наполнена неустанным трудом, большими событиями века, великими свершениями страны. Богата радостями и потрясениями, поисками истины, встречами с ней и горечью ошибок, разочарований. Неужели так а я моя жизнь, не похожая на миллиарды других, кончится, исчезнет?

Никуда не денешься и от таких мыслей в минуты слабости...

Да и слабость ли это? Человек, если он действительно человек, не может не думать о том, какое место займет в бессмертном мире.

Однажды под Ленинградом, на окраине населенного пункта Красный Бор, морозный воздух январского утра был погрясен могучим ревом бойцов, атакующих позиции фашистов. Тысячеголосое «ура», рожденное воедино слитой волей, прозвучало как победный клич, как признание в любви к родине, как причастность к ее величию и бессмертию. Ничего более грозного и прекрасного не довелось мне слышать!..

Комбинат породил меня. Он и примет в свои огненные объятия.

Оказывается, ты тщеславный. Хочешь закончить жизнь не как все люди?

Чепуха! Я просто предпочитаю молниеносный огонь медленному разложению.

Самовозносишься, гордец? Гордость — одно из величайших привилегий человеческого духа!..

Стоп! Тяжелая дискуссия с самим собой закончена. Почти не отрывая пера от бумаги, я настроил послание тем, кто оставался на земле: «Дорогие товарищи, друзья, соратники!

Пишу вам это прощальное письмо с ясной головой и с надеждой, что вы поймете мой поступок. Жестокий и по отношению к себе и по отношению к вам. Но необходимый в моем положении.

Здесь, на горячих путях комбината, я стал рабочим, коммунистом. Все лучшее, что было у меня в жизни, связано с нашими домами, мартенами, блюмингами, с родным городом. Где бы я ни был, всегда мое сердце тянулось на родину. Вот почему и в последние свои дни захотел пожить и поработать здесь, глядя на родное небо, на чудо-город, на комбинат, созданный и моими руками, общаясь и разговаривая с земляками.

Эти дни и часы истекли. Я всю жизнь работал. Безделье, пусть даже и не по моей вине, не для меня. Не могу и не хочу доживать жизнь как-нибудь.

Смерть каждого человека, говорят, похожа на его жизнь. Правильно! Я хочу умереть как жил — в огне.

Прощайте!»

Прощай любимая, сорок лет бывшая моим другом. Прощайте сыновья, преданные, даровитые граждане Страны Советов. Прощай моя партия, членом которой я был почти полвека.

Прощай солнце — ты долго и щедро светило мне. Прощай и земля — ты более шести десятков лет носила меня, наделяла своими радостями. Прощай радуга — ты часто сияла надо мной как триумфальные ворота.

Прощайте золотые сосны на закате. Августовские ночи с падающими звездами. Майские рассветы и зори. Белые ночи Ленинграда. Жаворонки в синем небе. Березовые рощи. Берега рек, исхоженные моими ногами. Морские прибои, качавшие меня на своих волнах. Месяц-молодик. Июльский солнцепек. Холодная прозрачная вода лесного родника. Вершины: Карадага, только что тронутые первыми лучами

солнца. Бухты Тихая и Сердоликовая, часто дававшие мне приют. Теплые камни Коктебеля. Парное молоко. Улыбка девушки, встреченной на глухой лесной дороге. Костры, около которых грелся. Огни, прорезающие тьму и зовущие к себе.

Любимые песни, теплые дожди, добрые вина, друзья-собаки, си- ницы, клевавшие корм с моих ладоней, грибные перелески, снежные метели, морозы-утренники, веселое застолье, митинги по случаю труд- овых побед, будни и праздники, черные очи красавиц и седины ста- риков, симфонии Чайковского и Бетховена, потрясавшие меня, индус- трия Донбасса и Урала, поля боев, где я сражался за родину, где меня тысячу раз убивали и где я тысячу раз воскресал. Красная пло- щадь, партийная работа, лучшая из работ на земле, терпеливые мои учителя Антоныч и Гарбуз, писатели и художники, дарившие мне свой талант и ум, яблони, посаженные моими руками, люди, воспитанные мною, заводские гудки и сирены электровозов и теплоходов, бой час- сов Кремлевской башни, «Интернационал», «Марсельеза», «Варшавян- ка», самолеты, на которых летал, города, где бывал, люди, доверяв- шие мне свои сердца,— прощайте! Прощай мой трудный и славный век — отблеск твоего величия лежал и на мне!..

Прощай живое и прекрасное, что останется на земле, все, к чему я был так или иначе причастен, прощай!

Да здравствует жизнь, безначальная и бесконечная!

Никогда еще я не видел такого глубокого и ясного неба. Никогда еще так жарко, так ослепительно не светило солнце. Никогда Сол- нечная гора не притягивала к себе столько тепла и света, как сейчас. Никогда еще наше водохранилище не сверкало так своей серебристой, отражающей солнечный свет чешуей. Никогда так приветливо не улы- бались мне люди — каждый встречный и поперечный.

И никто не ведает, не догадывается, что я сегодня прощаюсь с миром...

Мысленно прослеживаю свои последние шаги к стальным башням- гигантам. Вот я поднимаюсь на первую домну. Огнеупорная чугунная канава на всем протяжении, от летки до носка сливного желоба, све- тится оранжевым текущим металлом. Под стальными переплетами крыши литейного двора клубится рыжий дым. На лицах горновых отражается тревожный отсвет только что выданной плавки. Вот я стою на узкой галерее, протянутой вдоль всего цеха, от домны к домне, зачарованно смотрю вниз, в горловину ковша, полного молоч- но-розового чугуна. Округлые его края чуть прихвачены темной кор- кой шлака. Нестерпимый зной ударяет мне в лицо. Смотрю, приме- риваюсь... Крепко-накрепко схвачусь за перила галереи, стремительно перекину через них ноги, повисну над пропастью, разожму ладони и полечу вниз. И никто мне не успеет помешать. Неслышный всплеск, клубы черного дыма — все. Да и дым сейчас же развеется. Только бы не закричать в самый последний момент, на полпути к огненной ку- пели...

В моем поступке не будет ничего ни героического, ни постыдного. Сгореть, вспыхнуть, как порох, куда нравственнее, человечнее, чем вопить от невыносимой боли, медленно, час за часом, день за днем тлеть, распадаться, становясь для всех тяжелой обузой.

Полное отчуждение от мира живых. Полная душевная и физиче- ская готовность сделать то, что задумал. Никакого страха...

В этот момент вошла Маша. Внимательно посмотрела на меня. Гипсокрот утверждал, что опасные болезни искажают лица... Нет, не испугалась моего лица, спокойно говорит:

— Товарищ Голота, вам звонит...

— Кто?

— Да он... ваш крестник. Федя Крамаренко. Ждет вас на домне... И в одно мгновение мои мысли устремились по другому руслу. Смерть всегда соперничает с жизнью!

Спасибо тебе, сынок. Вовремя, в самый раз ты вспомнил обо мне. Ты не просто позвонил — ты преградил мне дорогу в огненную пропасть.

Маша ушла. Я разорвал письмо, написанное друзьям и близким, сжег клочки бумаги в пепельнице, вышел из гостиницы, сел в машину и помчался на комбинат.

Когда я поднялся на литейный двор домны, где работал Федор, я услышал молодые голоса, веселый смех и резвый топот по железу множества ног. Большая, человек на двадцать пять, артель безусых ребят в форме ремесленников — будущие доменщики, первогодки, появились на галерее слева и справа от меня. Я оказался в центре, в самой их гуще.

Привел сюда молодежь один из старейших доменщиков, ветеран-наставник Бобылев Трофим Петрович. Крупная голова с густым, темным, без единой седой паутинки ежиком волос. Темное, без морщин лицо. Голос учителя, голос человека, открывающего жизненные тайны.

— Вот это и есть наша первая, самая первая доменная печь, — говорит Трофим Петрович. — С нее, старушки, все началось. В первой пятилетке в лютые морозы в ее горне вспыхнул огонь, давший тепло и жизнь городу. Первые чугуны принимал комсомолец Леня Крамаренко. Первую плавку на разливочные машины доставил тоже молодой парень, машинист танка-паровоза «двадцатка» Саня Голота. Как видите, хлопцы, великое дело начинали такие же, как вы, молодкососы. Извиняйте, что так назвал вас, будущие герои.

Ремесленники смеялись. Не сдержался и я, улыбнулся, повинуюсь силе молодой жизни. Я был уже за тридевять земель от того, о чем думал час назад.

— Между прочим, сейчас, в первой смене, работает старший горновой Федор Крамаренко, потомственный металлург, — говорил Бобылев. — Видите высоченного, плечистого, самого горячего работягу? Это он, Федор Леонидович. Герой девятой пятилетки. А его отец был героем первой и второй пятилеток. Ну, двинем дальше. Путь у нас длинный — все десять печек надо посмотреть. Со всеми героями познакомиться...

Ребята отправились на вторую домну. Построенная в 1932-м батальонами энтузиастов, главным образом комсомольцами, она так и называется «Комсомолкой». Топот ног по гулкой галерее. Смех. Веселые голоса.

Я стою все там же, над огненной пропастью. Живу! Думаю! Нет, умру своей смертью, среди сыновей, друзей, держа руку любимой. И как бы зверь ни терзал мои внутренности, он не вырвет из моей груди ни единого жалобного стопа!..

На галерее появляется старший горновой, о котором только что говорил наставник. — Крамаренко-младший, Федор. В мокрой, прилипшей к телу рубашке, в войлочной шляпе, он медленно, шагом уставшего гиганта идет туда, где стою я. Жадно дышит свежим, прохладным воздухом. Снимает шляпу, а вслед за ней и черную, пропитанную соленой влагой рубашку и ловко выкручивает ее.

Я хорошо вижу Федора, а он меня, кажется, нет. Ладно, пусть приходит в себя. Лицо у него суровое, с широким подбородком, с крупным носом и толстыми губами. Шея массивная. На предплечьях вздулись бугры мускулов.

Встряхнув отжатой рубашкой, он идет к вентилятору, обдувающему рабочую площадку горновых, и подставляет ее под ураганную струю воздуха. Рубашка сейчас же становится объемной, неподатливой, тугой, будто под тонкой тканью железная грудь, железные плечи Федора.

Не прошло и минуты, а рубашка уже сухая. Горновой нажимает красную кнопку вентилятора. Ураганный гул прекращается. Теперь можно поговорить. Подхожу, спрашиваю:

— И часто тебе, Федор, приходится это делать за смену?

— Раз пять или шесть. Бывает и больше.

Надел рубашку, застегнул пуговицы, поднял на меня глаза и расплылся в улыбке.

— Вы?

— Я, Федя. Здорово!

— Здравствуйте. Откуда вы взялись? Почему я вас сразу не увидел?

— Потому что пот заливал очи.

— Верно. После выдачи плавки я одних летающих чертей вижу. Привычное для доменщика дело... Почему не сообщили о прибытии? Я бы встретил. Теперь и я на коне. Недавно «Жигули» приобрел. Темная вишня. Ладно!.. Почему остановились в гостинице? Почему брезгуете домом крестника?

— Не хочу нарушать твой привычный уклад. Как поживаешь, Федя?

— Лучше всех.

— Никаких жалоб на здоровье?

— Не было, нет и не будет до самой смерти.

— Счастливый! Ну а как семья?

— Все хорошо. Галина молодеет и хорошеет с каждым годом. Станет рядом с Ниной — не сразу чужой человек скажет, кто мать, а кто дочь. Вася скоро металлургом станет. Словом, у нас все хорошо.

— Как отец?

— Плохо.

— Приболел?

— Хуже. Не пытайте. Проведайте его, он вам все сам расскажет.

Разговариваю с крестником, близко к сердцу принимаю земные дела и не верю, что недавно витал в небесах, мысленно готовился к прыжку в огонь, раздумывал над ковшом...

— Надолго приехали?

— Не знаю, Федя. Дел невпроворот. Завтра или послезавтра приду погреться около твоего огонька.

— Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? Ждем вечером. Отца позову. Дело есть к вам, батя.

— Нет, Федя, не могу. Я условился сегодня встретиться с Колесовым, Булатовым.

— Так Булатов же, говорят, заболел.

— Вот и надо больного проведать.— Я глянул на часы.— Мне пора. Пока. Передай привет отцу.

— Так придете?

— Обязательно. Завтра или послезавтра.

— Буду ждать. Дело, говорю, важное есть. Государственное, можно сказать!

И я ушел. Никуда я не спешил. Просто надо было остаться одному, осудить себя за то, что чуть было не изменил самому себе.

Не думать о больнице, врачах! Не поддавать под власть боли, если она снова начнет терзать. Работать, несмотря ни на что! Встре-

чатся с людьми, думать только о жизни, чувствовать только жизнь — вот каков мой приказ самому себе, мое лекарство, моя вера.

Я спустился по железной, густо покрытой рудной пылью лестнице и попал на горячие пути. Туда и сюда, басовито сигнала, вдоль всех десяти домен бегали по рельсам желтые, зеленые, салатные, синие, оранжевые и вишневые красавцы тепловозы. Ни одного паровоза. Отработали свое. Восемь пятилеток таскали груз, а теперь на приколе. Или стали ломом, отправлены в мартеновские печи. Мою «двадцатку», наверно, постигла такая же участь. Когда это случилось? Почему я не удосужился узнать об этом? Почему не попросился, не проводил в последний путь? Мы ведь так долго вместе работали... Незабываемое время провел я на правом крыле могучего локомотива.

«Двадцатка!» Мое высокое рабочее место. Исток моей рабочей радости, гордости, счастья.

Иду по горячим путям от первой домны по направлению к десятой и вдруг, подняв голову, вижу слева от себя, на той стороне центральной заводской дороги, танк-паровоз. Черный, без блеска котел. Потускневший, тупо обрубленный компактный тендер. Только колеса по-прежнему, как и сорок лет назад, красные, с белыми ободками. На правом крыле, на будке машиниста выписана цифра «двадцать». Моя «двадцатка!» Невероятно. Откуда взялась? Действует, милая, и теперь, в век научно-технической революции, наряду с мощными тепловозами и электровозами. Да как она уживается с ними? Куда ей, старушке, соревноваться с молодыми богатырями-красавцами? Стоит у водоразборной колонки. Заправляется.

Неуверенно, даже робко приближаюсь к паровозу. На правом его крыле восседает пухлощекий, с угрюмым взглядом парень.

Работал паровоздушный насос, нагнетающий в резервуары сжатый воздух, необходимый для тормозной магистрали. «Двадцатка» слегка вибрировала. Но мне казалось, что она вздрагивает от радости встречи с первым своим водителем.

Пять железных ступенек ведут наверх, на правое крыло «двадцатки». Сколько раз поднимался я по этой лестнице. Ее перила отполированы моими руками. Улыбаясь сегодняшнему хозяину паровоза, я поднимаюсь по лестнице. Меня останавливает грубый голос:

— Куда лезете, гражданин? Нельзя посторонним!

Это я-то посторонний?! Растерялся, молчу. Потом говорю строному своему наследнику, что именно привело меня сюда: работал, мол, на «двадцатке». И не один год. Не понял он моих чувств.

— Ну и что? Когда-то работали, а теперь посторонний. Нельзя!

Смотрю на белые колеса, на дышла, поблескивающие янтарным смазочным маслом, на кулисы, на отшлифованный шток паровой машины, на буфера, автосцепку, трубу, срезанную до основания и временно закрепленную с котлом толстой проволокой. Тендер тоже побывал в какой-то переделке: помят, плохо выправлен. Здорово постарела, подурнела красавица за долгие годы разлуки со мной. Почему? Одно ли время виновато? Кивая на изуродованную трубу, спрашиваю машиниста:

— В чем дело? Отчего она стала такой замухрышкой?

— Пора. Пятый десяток пошел. Старуха. Два раза попадала под чутунную струю. Терпела крушение.

— Почему же до сих пор не приведена в порядок?

— А зачем мертвым припарки? Через три дня «двадцатка» уйдет на вечный покой, и на заводе не останется ни одного паровоза.— Он неожиданно довольно приятным голосом пропел: — Наш паровоз ле-

тит вперед, в коммуне остановка... Помните песню своей молодости? Вот и прилетел на остановку.

Разговорился, разогрелся мой мрачноватый собеседник. Спрашиваю:

— А вы давно на «двадцатке»?

— Шестнадцатый год.

— И ничего не слышали о ее первых машинистах?

— Как же, довелось. У нас есть формуляр, паровозный паспорт.

В первой красной строчке стоит фамилия Голоты.

— Так вот я и есть Голота.

— Вы Голота? Чего ж сразу-то не сказали? Пожалуйста, милости прошу, поднимайтесь! Можете и на мое место, на правое крыло сесть. Голота! Тот самый!.. Довелось-таки встретиться. Вот вы какой! Я много о вас слышал, а не встречал. Вы, говорят, уехали от нас давненько.

— Уезжал. И вот вернулся.

— В самый что ни на есть горячий и нужный момент вернулись. Увидите, как «двадцатка» пойдет в свой последний путь. Попрощаетесь с ней.

Я вздрогнул.

— Что вы сказали? Повторите, пожалуйста.

— Говорю, вовемя приехали. Через три дня будем торжественно прощаться с последним паровозом на комбинате. Ветерана труда «двадцатку» отправим на вечный покой. Все как следует устроим! По высшему разряду. Желательно ваше присутствие и участие. Приглашаю вас пока от своего имени. Но завтра ждите и официальной повестки. Уж я постараюсь, чтобы она попала в ваши руки в свой час.

Молча смотрю на «двадцатку».

— Придете, товарищ Голота?

— Обязательно!.. Как тебя зовут, механик? — спрашиваю я.

— Степан. Степан Кузнецов.

По железной лесенке поднимаюсь на паровоз.

— Располагайтесь, почувствуйте себя как дома, — говорит Степа.

Горько усмехаюсь:

— Нет, брат, не почувствую. Что с воза упало, то пропало. Сорок лет прошло с тех пор, как я держал рычаг и крутил реверс. Могу только завидовать вам. Сколько лет ты на комбинате?

— Всю жизнь. Родился тут. На заводе больше двадцати лет работаю.

— Никогда не порывал связи с горячими путями?

— Ни на один день.

— Вот этому и завидую...

Бережно прикасаюсь к передней стенке топки паровоза. Трогаю рычаг, реверс. «Двадцатка!» Мой жизненный трамплин. Мой рабочий пьедестал! А как ты, милая, жила без меня? Сколько за эти сорок лет сменила машинистов и помощников? Все ли тебя любили?

Печаль подкрадывается к сердцу, немилосердно сжимает его. Тяжелая, бесславная у тебя старость, мой милый, мой славный друг! Что же мне делать? Чем я сейчас могу помочь тебе?

Кузнецов смотрит на меня с веселым и значительным выражением. Вдруг расплывается в улыбке, освобождая правое крыло паровоза.

— Давай, брат, становись на мое место и вкалывай.

— Но...

— Ничего, ничего! Становись.

Понял, почувствовал, увидел, куда потянулись мои руки, чем

заболела душа. Занимаю место машиниста. Трогаю рукоятку рычага. Туда-сюда, от себя и к себе проворачиваю легкий, бесшумный реверс. Кладу ладонь на сияющий тормозной кран. Все теплое, родное. Все мне по руке. Все доступно. Все мое.

Молодая стрелочница выскочила из будки, закричала в нашу сторону:

— Эй, на «двадцатке»! Звонил диспетчер! Поезд с блюмсами готов! Давай прицепляйся!

Точно так же командовали стрелочницы и сорок лет назад. Но тогда они были плохо одеты, в веревочных или берестяных лапоточках, малограмотные или вовсе неграмотные. Эта же, сегодняшняя, обута в замшевые туфельки. Плечи обтянуты белой нейлоновой блузкой и шерстяной голубенькой кофточкой. Голова повязана модной косынкой.

Выбираемся из тупика, выходим на магистраль, за переезд, автоматически соединяемся с поездом. На платформах стоят высокие, пышущие жаром изложницы. Металл в них уже затвердел, из беломолочного превратился в багрово-сизый, но к нему еще нельзя подступить.

Составитель свистит, машет флажком: можно, дескать, трогать. Отпускаю тормозной кран, даю продолжительный сигнал, медленно сдвигаю регулятор. «Двадцатка» без рывков, уверенно, тихо трогает тяжелый поезд с места, внатяжку тащит его за собой. Я внутренне ликую. Ничего не забыл! Все мое рабочее осталось при мне.

Ритмичные выхлопы дыма. Дышла, блестящие от масла, равномерно ходят туда и сюда. Стрелка манометра трепещет тоненьким усиком у красной черты. В топке бушует мазутное пламя. Милая «двадцатка»! Ты все такая же исправная, работающая, послушная воле машиниста. Кто же вздумал отправлять тебя на кладбище устаревшей техники? Чья рука поднялась? Жить тебе еще и жить. Если не здесь, то на каком-нибудь другом заводике, хотя бы в Белорецке или Кушве.

Пересекаем переезд и главную заводскую магистраль. Слева и справа перед шлагбаумом вереницы машин — грузовых и легковых, бортовых и самосвалов. Ни единой грабарки, телеги, плетеного из ивняка кузова, в каких в мое время разъезжали по пыльным проселкам инженеры и начальники объектов.

Проскочили под стальными переплетами пешеходного перехода. Зной раскаленной пустыни волочился за поездом. В его зону нечаянно попала какая-то девушка в синих брюках и белой кофточке. Испуганно отбежала в сторону, остановилась, поправила светящиеся волосы, встретилась со мной взглядом и засмеялась.

Расстояние от второго мартена до стрипперного небольшое, каких-нибудь пятьсот метров. Но я промчался по этому горячему отрезку пути, будто по гигантскому, в сотни километров, пространству. Все, что было, вспомнил, продумал, прочувствовал. Спасибо, «двадцатка». Сегодня я открыл еще одну тайну жизни: счастье стремительного движения из настоящего в прошлое, из прошлого в будущее. Трудовая юность — великая награда в старости.

Осторожно въезжаем под крышу стрипперного корпуса. Останавливаемся. Мостовой кран снимает с металла изложницы. Машиновыте, сизо-малиновые, все еще пышущие жаром, в легкой окалине слитки водружаются на массивные тележки. Сплотив из них поезд, толкаем его дальше, к нагревательным колодцам блюминга. Кран, вооруженный клешнями, обхватывает головной слиток, возносит его под крышу и точно опускает в крайний колодец-печь.

Все! Мое путешествие завершено. Уступаю место на правом крыле паровоза его законному водителю — Кузнецову. Он смотрит на меня новыми глазами: доверчиво, с дружелюбной улыбкой, как на своего испытанного напарника.

— Ну что, отвел душу? Легче стало?

Сказал те самые слова, в каких я нуждался. Я ему по-свойски улыбаюсь:

— Желая тебе, Степа, таскать и не перетаскать наш горячий металл. Будь здоров.

В последний раз прикасаюсь к паровозу. Скоро разрежут тебя и направят в мартен. Ты превратишься в сталь, начнешь вторую жизнь. Станешь автомобилем, или комбайном, или электровозом.

Торопливо спускаюсь по железной лесенке вниз, на землю, и не отглядываясь ухожу прочь. Вслед мне несется длинный пронзительный гудок. Прощальный привет.

...Боль не давала о себе знать весь день, всю ночь. Возможно, потрясение, которое я испытал сегодня, сочиняя прощальное письмо и потом увидев свою «двадцатку», на какое-то время — может быть, навсегда — устранило боль и ее причину. Подобные случаи бывали. Так утверждают некоторые наши психиатры и невропатологи. И врачи из Института психосоматической медицины в Париже. С их сочинениями я основательно познакомился...

Вечером ко мне в гостиницу прикатил на своем такси Егор Иванович. Неутомимый, шумный, веселый, несмотря на свой длинный и трудный рабочий день.

— Я опять по твою душу, Саня. И не сам по себе. В моем лице ты видишь представителя комбинатской общественности. Наши железнодорожники приглашают тебя на свой исторический праздник. Состоятся проводы последнего заводского паровоза. И этим последним паровозом оказалась «двадцатка», на которой ты лихо спускал с горы хопперкерные поезда с рудой и таскал чугуны от домен к разливочным машинам и мартенам. «Двадцатка» уйдет на покой в заводской тупик, на паровозное кладбище, своим ходом. И управлять ею будешь ты, первый, самый первый ее машинист!

Вывалив короб новостей и не пожелав узнать, как я к ним отнесусь, исчез. Уверен, что воля коллектива для меня священна. Так оно и есть.

Позвонил и Колесов, повторил просьбу Егора Ивановича.

Митинговать, как и работать, флагман металлургии великий мастер. Он с младенчества пристрастился к торжественным речам, алому шелесту знамен, грому маршей, к коллективному, в пять тысяч глоток, а то и больше, пению «Интернационала». Уложен последний рельс новой дороги, идущей от сердца страны в нашу глухомань, — митинг! Первый паровоз доставил нам первый эшелон с грузом — митинг! Пустили в ход степную пекарню, выдали людям первый хлеб — митинг! Обтесали первые бревна, вбили первые гвозди на строительстве временной электростанции — митинг! Заложили фундамент постоянной ТЭЦ — митинг! Отгрохали бетонную плотину на древней реке в разгар лютой зимы — митинг! Вырыли котлован для будущей домы, положили в ее фундамент первый кубометр бетона — митинг! Приступили к монтажу, закончили монтаж — митинг! Поставили на сушку домы ивановну, задули, наполнили башню тысячеградусным ветром, коксом, рудой, флюсами, огнем своих душ, выдали первые чугуны — митинг! Сотворили собственную сталь — митинг! Отчеканили, проталили через стальные валки блюминга бе-

лые слитки — митинг! Выполнили и перевыполнили первую пятилетку — митинг! Закончили вторую, третью, пятую, седьмую — митинги! Выплавили сто миллионов тонн стали со дня рождения комбината — митинг! Двести — митинг! Двести пятьдесят — митинг! Получил комбинат орден Ленина — митинг! Еще один, Трудового Красного Знамени, — митинг!

Сколько их было за сорок с лишним лет — не перечесть. И многие из них запали мне в душу, поныне греют и светят. Нам на роду написано митинговать, поводов для этого больше чем достаточно. Доброму делу предшествует доброе слово..

Все пространство от локомотивного депо до здания управления железнодорожным транспортом заполнено людьми. И каждый имеет прямое или косвенное отношение к рельсам, стрелкам, переездам, семафорам, электровозам, тепловозам, вагонам, горячим и холодным путям протяженностью в четыреста километров. Машинисты. Помощники. Составители. Слесари по ремонту. Электрики. Дежурные. Инженеры-тягловики. Инженеры-вагонники. Их дети, внуки, братья, сестры, их друзья, знакомые. И просто так любители торжеств.

Многотысячная трудовая семья, отправляющая во все концы страны продукцию металлургов и доставляющая на комбинат все, в чем ежечасно, ежеминутно нуждаются десять домен, тридцать пять мартеновских печей, три дюжины прокатных станов, две тепловые электростанции, механические, литейные и прочие цехи: уголь, марганец, нефть, железный лом, олово, медь, руда, бензин, дерево, доломит, песок, обтирочные концы, смазочные масла — всего не перечить. Перевозят наши железнодорожники грузов в год больше, чем все железнодорожники доброй полдюжины европейских стран, таких, как Бельгия, Голландия. Настоящая, крупных размеров железнодорожная держава, и я один из ее первых, самых первых ее граждан и работников. И потому с чистой совестью принял приглашение своих молодых наследников проводить в последний путь последний паровоз. Мне отведена главная роль — вести «двадцатку».

Стою на правом крыле паровоза. Одна рука на реверсе, другая на тормозном кране. И обе дрожат. Сильно бьется сердце. Радость и печаль. Гордость и жалость к себе. Зависть к «двадцатке». Сегодня она станет исторической реликвией, вехой эпохи. Покидает одну жизнь и начинает вторую. И через год, и через десять лет, и тогда, когда уже не останется на земле тех, кто сейчас митингует, она будет стоять в музейном тупике с бронзовой пластинкой на правом крыле: «Паровоз, проработавший на горячих путях комбината сорок лет. Последним уступил место тепловозам».

Часы показывают ровно десять. Пора «двадцатке» трогаться в путь. Ставлю реверс в переднее положение, даю короткий сигнал и потихоньку передвигаю большой рычаг, рычаг машиниста. Танк-паровоз трогается. Вздрагивают и чуть-чуть прогибаются рельсы. Колеса делают оборот, другой. Налево и направо расступается людское море, освобождая железнодорожный путь, ведущий в тупик, где стоят холодные и немые паровозы. Иду тихо, на самом малом пару. До пояса высунул в окно и помахиваю правой рукой. Левая же беспрестанно сигналист паровозной сиреной. Ревет, стонет, торжествует, страдает, празднует, плачет моя «двадцатка». Вместе с ней переживаю и я. И в печальной церемонии есть свое величие.

Люди, стоящие внизу, машут руками, кепками, фуражками, платками, флажками, газетами, пионерскими галстуками. Доносятся веселые голоса:

— Прощай, работяга!

— Большущее тебе спасибо за все твои труды!..

Останавливаюсь в центре людского разлива. И начинается митинг.

Трибуны нет. Ораторы взбираются на паровозную площадку, где работает паровоздушный насос, нагнетающий в тормозной резервуар сжатый воздух. Говорят секретарь комбинатского парткома, начальник депо, заместитель директора по железнодорожному транспорту, самый старый машинист комбината, ездивший еще на допотопной «овечке». Выступил и самый молодой водитель электровоза. Никто не заглядывал в бумажные шпаргалки. Подошла и моя очередь. И мне не понадобилась бумага.

— Вечная честь и вечная слава тебе, «двадцатка», перетаскавшая по горячим путям миллионы тонн жидкого и твердого металла! Вечная честь и вечная слава вам, машинисты и помощники, работавшие на «двадцатке»! Не цветами устлан ваш трудовой путь, завалов и красных светофоров на нем было предостаточно, но все равно он прекрасен. Еще и поныне хороша и полезна ты, «двадцатка». Старый конь борозды не испортит. Но не обижайся, родная,— тепловоз и электровоз сильнее и лучше тебя. Нам, людям девятой пятилетки, они больше к лицу, чем паровоз. Да здравствует твое трудолюбие и верность! Твое бессмертие обусловлено твоей жизнью и доброй людской памятью. Прощай, наше славное прошлое!

Закончил я свое выступление стихотворением Ярослава Смелякова, моего друга. Мы подружились с ним в молодости, когда он приезжал к нам за песнями. Жил он в моей комнатухе на Пионерской. Спали мы с ним валетом на узкой железной койке. Ели мой черный пайковый хлеб и мерзлую картошку. Взахлеб упивались Пушкиным. Вместе радовались удачам молодого поэта Бориса Ручьева. С тех пор я выучивал наизусть все лучшее, что Ярослав написал о рабочем классе, о пятилетках, об индустрии.

Прощаясь с «двадцаткой», я вспомнил одно его стихотворение. Прочел не все, а четверостишия, наиболее подходящие к моменту:

Кладбище паровозов.
Ржавые корпуса.
Трубы полны забвенья.
Свинчены голоса...

Больше не раскалятся
ваши колосники.
Мамонты пятилеток
сбили свои клыки...

Не было ни аплодисментов, ни выкриков. Ни единого слова не было сказано многотысячной митингующей толпой после моей речи. Уважительное, сокровенное молчание. Ошеломляющая тишина.

Я открыл продувные краны и предохранительный клапан, включил оба инжектора, качающих воду, и, беспрепятственно сигнала, осторожно пробиваясь сквозь белую паровую тучу, повел «мамонта пятилеток» по последнему отрезку его жизненного пути...

Поднимаюсь по железной лестнице на литейный двор первой домны и сразу вижу Федора Крамаренко, громадного, потного, сияющим, как спелая луна, лицом.

— В самый раз явились, батя! Перекур у нас: только что выдали плавку. Айдайте со мной харчеваться!

— Пожалуй, пойду. Я еще не завтракал.

Федя на правах хозяина притащил зеленую окрошку, огурцы, помидоры, отбивные котлеты и гору вареников с творогом, политых

растопленным маслом и сметаной. Богатырские харчи. Как работает, так и ест. Я съел раза в три меньше его. Федя отодвинул от себя посуду, положил локти на стол.

— Ну а теперь можно и покалякать. Вот какое дело, батько. Ребята-доменщики уполномочили меня поговорить с вами по душам. Такое создалось положение...

— Что же у вас за положение?

— Отчаянное! Не у меня, у них... Мое положение всегда было и будет хорошим. Скажите, наш советский закон уважает советскую семью? Заинтересован в том, чтобы она была крепкой?

— Федя, ближе к делу.

— А я уже в самом центре дела. Так вот я спрашиваю: наша конституция чьи интересы защищает?

— Ну знаешь, на этот вопрос тебе ответит и пионер.

— Согласен! Для этого большого ума не требуется. Почему же директор комбината отвечает на такой простой вопрос неправильно?

— Директор?

— Да, он самый. Андрей Андреевич Булатов. Мои ребята давно работают на комбинате. Не последние спицы в колесе. Сотни тысяч тонн металла выплавил. Побеждали в соревнованиях. И все это не помогло, когда приперла семейная нужда сменить двухкомнатные квартиры на трехкомнатные. Приказ директора помешал.

— Какой приказ?

— Незаконный. Согласно этому приказу-инструкции на заводскую жилую площадь имеет право только глава семьи, металлург, и его дети, а жена, родная мать его детей, поскольку она работает не на комбинате, а на другом предприятии, сбрасывается со счетов. Должна требовать свою долю не у Булатова, а у своего директора!

— Ничего не понимаю.

— А я тоже не понимал. Не на моем родном языке составлен приказ Булатова. В нем черным по белому сказано, что в таких вот случаях, когда члены семьи, муж и жена, работают на разных предприятиях, один на комбинате, а другой, скажем, на строительстве, то жилплощадь предоставляется только металлургу, а строителю — шиш без масла.

— Опять не понял!

— В общем, смысл булатовского приказа таков: комбинат предоставляет мне и моей жене площадь в своем доме только при одном железном условии. Управляющий строительного треста другого министерства, где работает жена, должен дать нашей дирекции письменное обязательство, что он компенсирует металлургический комбинат за ту площадь, которая будет предоставлена моей жене, штукатуру. А если предприятие моей жены не дает такого кабального обязательства, мой комбинат не выделяет для моей супруги ее долю жилплощади. Теперь поняли? Я о себе только к примеру говорю. Квартира у меня, как вы знаете, шикарная, трехкомнатная, с окнами в парк и на водохранилище. За ребят обидно.

— Но это же... это... ни в какие ворота не лезет! В самом деле есть такой приказ?

— Имею выписку. Официальную. Вот читайте!

Действительно — черным по белому написано: мужа, работающего на комбинате Министерства черной металлургии, — наши, а жены, работающие в системе Министерства строительства, — чужие. Они могут стать нашими, если будет получен за них калым, то есть выкуп, выкуп натурой — жилплощадью из лимитов Министерства строительства.

— Нелепый приказ, разберемся. Дай срок... Ну а теперь, Федя, давай поговорим о твоей работе.

— Давайте... Что вас интересует?

— Почему ты так много пота проливаешь?

— Так без этого в нашем деле никак нельзя.

— Ну а раньше, год назад, меньше потел?

— План был меньше.

— Значит, ваша печь в этом году выдает больше чугуна, чем в прошлом? — спросил я старшего горнового.

— Да, значительно больше. Для этого пришлось здорово подна- тузиться.

— А если бы запланированные технические усовершенствования были внедрены, домна работала бы лучше?

— Само собой. Мы дали бы еще тысячи и тысячи тонн чугуна. И нам, горновым, работалось бы куда легче.

— Сейчас трудно?

— Сверхтрудно. Все технические резервы исчерпаны. Только на энтузиазме и на сознательности, можно сказать, выезжаем.

— А вы не пытались поставить вопрос перед директором о снижении плана вашей печи?

— Не имею права ссылаться на объективные трудности...

— Вам известно, почему не введены в срок дополнительные кислородные мощности?

— Говорят, с оборудованием нелады. Не то заказали поздно, не то заказ не выполнен в срок. Точно не знаю.

— Оборудование не поступило по вашей вине?

Крамаренко молчал, смущенно улыбался. Он, по-моему, был бы рад, если бы я переключился на другую тему. Но я не пошел ему навстречу.

— Федор, не понимаю я твоей позиции. Тебе она кажется правильной, а мне — странной. Нельзя даже молчаливо потакать тем, кто обязан был создать благоприятные условия для высокой производительности горнового Крамаренко, Героя Социалистического Труда, и его бригады.

— Вот в этом и все дело — в звездочке. Не имеешь ты, Крамаренко, морального права жаловаться. Не к лицу. Раз ты герой, то и вкальвай героически, преодолевай трудности. Если же начнешь выбивать у начальства какие-то особые условия для себя...

— Не особые, а нормальные!

— Не перебивайте!.. Если же я начну добиваться для себя каких-то там выгодных условий, то надо мной станут смеяться все комбинатские куры. И правильно сделают. Как говорится, раз взялся за гуж, не жалуйся, что не дюж.

— Выходит, звезда героя мешает тебе по-настоящему бороться за научно-технический прогресс?

— Я этого не сказал. И не думал...

— Но такой вывод напрашивается сам собой.

— Мало ли что вам придет в голову... Извините. Обеденное время кончилось. Я пойду.

— До свидания, Федор. Надеюсь, еще вернемся к нашему разговору.

— Я вам все сказал. Держался и буду держаться своей линии — работать, как говорится, в поте лица своего, без жалоб и капризов...

— Постой, Федя. Еще два слова. За счет чего в следующей пятилетке вырастет выплавка на десятой?

Крамаренко засмеялся:

— Вот куда хватили! Через год новые мощности кислородной

станции обязательно войдут в строй. Потерпим до того времени. Выдюжим!

Прощаюсь с Федором и еду в Дом Советов. Поднимаюсь на пятый этаж, в горком партии. Неистребимая привычка старого партработника: не проходить мимо человека, подавшего тебе сигнал о помощи.

Подробно рассказываю первому секретарю все, что узнал от горнового Крамаренко. Колесов со строгим вниманием, с каким-то мрачно-торжественным выражением лица выслушал меня. Подумал немного и сказал:

— Все, что вам стало известно сегодня, я хотел доложить в день вашего приезда... Но это не вся правда о Булатове. Хотите узнать больше?

— Разумеется, для этого я сюда прибыл.

— Поехали в город,— сказал Колесов.— Я вам кое-что покажу.

Водитель «Волги» затормозил перед громадным краснокирпичным зданием без крыши. Стены местами потемнели от застарелой сырости. Колесов тяжело вздыхает.

— Печальный памятник нашей бесхозяйственности. Дворец культуры металлургов. Третий по счету, самый крупный. По мысли архитекторов, должен был украсить город. Погибает не родившись.

— Нет денег? Материалов? Рабочих рук?

— Все есть. Заказчик, когда уже стены были возведены, приостановил строительство. Заявил, что сейчас важнее строить жилые дома, в которых острейшая нужда, а трудящиеся пока что могут пользоваться двумя старыми Дворцами металлургов на проспектах Пушкинском и Ленина. Рассуждения на первый взгляд вроде бы резонные, но, если разобраться, близорукие...

— А кто заказчик?

— Металлургический комбинат.

— Странно. Дворец культуры металлургов нужен прежде всего металлургам.

— Вот вам это ясно, а товарищ Булатов в некоторых и ясных вопросах склонен занимать особую позицию.

Все это Колесов высказал с огорчением, но без всякой запальчивости.

Трудная, деликатная это тема — взаимоотношения первого секретаря горкома и директора комбината. Подходить к ней надо осторожно. Спрашиваю:

— И горком партии, и горсовет, и горпрофсовет, как я понимаю, за продолжение строительства?

— Разумеется. И все металлурги голосуют за.

— Всем народом не удалось переубедить директора?

— Пытаемся. Не теряем надежды. А между тем недостроенное здание разрушается... Ну, поедем дальше. Володя, держи курс на шлаковую гору.

Мы долго мчались на север, оставляя позади себя хвост пыли. Приехали в рабочий поселок Каменка. Тот самый, где обитает Федора.

Когда мы вышли из машины, в лицо ударила волна удушливого газа. Невдалеке, в каких-нибудь тридцати—сорока метрах от нас, возвышался своеобразный постоянно действующий вулкан — шлаковый откос. Сюда сваливают раскаленные отходы доменного производства.

Не успел секретарь горкома сделать и несколько шагов по земле бывшей станицы, доживающей свой век, как его атаковали жители поселка. Обступили со всех сторон. Шумели. Гневались. Жаловались:

— Товарищ Колесов, когда же кончатся наши мучения?

— Вот-вот сторим! Смотрите, как близко подобрался огонь к нашим домам.

— Задыхаемся от угарного газа.

— Несколько раз в сутки бомбят нас скордовиной.

— Почему Булатов не переселяет нас?

Колесов старался успокоить людей. Сказал, что городской Совет принял уже постановление, обязывающее директора комбината переселить людей в новые дома из чрезмерно загазованной, опасной в пожарном отношении зоны. Нет никакого сомнения, что Булатов выполнит это постановление в самые кратчайшие сроки.

Люди повеселели. Слово секретаря горкома, депутата Верховного Совета — надежное слово.

Колесов, когда мы ехали обратно в город, молчал, погруженный в какие-то невеселые думы.

Приехали туда, откуда выехали, — к зданию горкома партии и горсовета. Выходим из машины. Колесов говорит:

— Я не считаю наше путешествие по городу законченным. Поднимемся наверх, я вам покажу два интересных документа, проливающих свет на эту возмутительную историю с загазованным поселком.

В своем кабинете он открывает сейф, достает пачку бумаг, раскладывает на столе.

— Горсовет дважды принимал решения по письмам жителей поселка Каменка. Первое от тридцать первого октября шестьдесят девятого года и второе от двадцать восьмого мая семьдесят первого года. Вот и вот... В этих документах ясно и категорически сказано: первое — обязать директора металлургического комбината товарища Булатова в семидесятом году снести все индивидуальные жилые строения в зоне санитарной защиты радиусом триста метров, жилые строения, находящиеся в санитарно-защитной зоне в пределах тысячи метров, снести в семьдесят первом году; второе — руководству меткомбината до двадцатого ноября шестьдесят девятого года разработать мероприятия, исключающие возможность взрывов на участке по выбивке скордовин...

— Ну а где же результат этих прекрасных постановлений? — спрашиваю я.

— Вы хотите сказать, почему исполком горсовета до сих пор не заставил директора комбината считать обязательными для себя решения органов советской власти?.. Булатов сопротивляется.

— Почему? Он против сноса поселка?

— Нет. Он тоже за. Но его не устраивает формулировка решения. Он хотел бы, чтобы поселок был снесен по ветхости.

— Не понимаю. Для чего ему это понадобилось?

— Для юридической зацепки. Если мы признаем строения поселка ветхими, в этом случае, согласно статье закона, не комбинат обязан предоставить людям жилье, а городской Совет. Ссылался он и на то, что жители загазованной зоны работают главным образом не у него на комбинате, а в другом ведомстве — в строительном тресте. Пусть, дескать, и тот раскошелится. Вот до чего дошло! И еще упирал на то, что немало металлургов ждет очереди улучшить свои жилищные условия. Говорит, что мы чересчур добренькие... за счет трудящихся комбината. Упрекал, что мы не понимаем его забот о сталеварах, горновых, вальцовщиках, на ком держится комбинат. Красиво и грозно доказывал. Или, проще говоря, проявлял местничество в подходе к общегосударственному делу, попирает нашу конституцию, нарушал права человека. Так прямо я и сказал Булатову. Обиделся. Раскричался. Грозился уйти в отставку. Конфликт разгорелся с новой

силой, после того как Андрей Андреевич издал приказ, как следует распределять квартиры. Мы немедленно опротестовали его...

— Проект приказа в свое время не был согласован с профсоюзом, с парторганизацией?

— Мы узнали о нем, после того как он начал действовать и навещал немало неприятностей. Был у меня особый разговор с Булатовым на эту тему. Я спросил его, почему он не считал нужным посоветоваться с нами. Он усмехнулся и откровенно сказал: «Зачем же советоваться, когда я твердо знал, что вы будете против?» После разговора несколько переиначил, смягчил мотивировочную часть, а суть осталась прежней: деление членов семей на своих, комбинатских, достойных жилплощади, и на чужих, не достойных ее. И здесь проявилось местничество. Мы вынуждены были напомнить Булатову, что было сказано по этому вопросу на Двадцать четвертом съезде в Отчетном докладе.— Колесов взял темно-красную книгу, лежавшую под рукой, на краю стола, раскрыл ее и прочитал:— «Уважение к праву, к закону должно стать личным убеждением каждого человека. Это тем более относится к деятельности должностных лиц. Любые попытки отступления от закона или обхода его, чем бы они ни мотивировались, терпимы быть не могут. Не могут быть терпимы и нарушения прав личности, ущемление достоинства граждан. Для нас, коммунистов, сторонников самых гуманных идеалов, это дело принципа!»— Он закрыл книгу, положил ее на место, глянул на меня, убежденно сказал:— Талантливый, деловитый руководитель должен быть и глубоко партийным, по-человечески относиться к людям. Это первейший священный принцип. Если же руководитель свысока поглядывает на людей, упивается властью, доволен собой, глух к критике, его нравственное падение неминуемо!..

Все, что сказал мне Колесов, не подвергаю сомнению, но пока выводов не делаю. Должен выслушать другую сторону— Булатова. Ни слова на веру, ни слова против совести! По этому партийному закону я жил до сих пор. И так будет всегда.

Булатов выздоровел, приступил к работе. Я позвонил ему и договорился о встрече.

В ту пору, когда я был первым секретарем горкома, он работал начальником первого прокатного цеха и, на мой взгляд, еще не достиг своего служебного потолка. Он выделялся в семитысячном корпусе инженеров и техников комбината талантом, организаторскими способностями, стремительно пошел в гору: заместитель, потом начальник производства комбината, главный инженер. Я был убежден, что Булатову оказано доверие, соответствующее его способностям. Свое мнение я высказал и первому секретарю обкома и руководящим работникам Министерства черной металлургии. Со мной согласились, хотя были и возражения против того, чтобы назначить Булатова директором комбината.

Вечером, в сравнительно спокойный для управления комбината час, я направился к Булатову. Он, едва я переступил порог громадного директорского кабинета, вышел из-за стола и, улыбаясь, устремился мне навстречу с широко раскинутыми руками. Я не уклонился от объятий.

— Здравствуйте, Андрей Андреевич! Давненько мы не виделись.

— Здорово, земляк, здорово! Рад вас видеть целым и невредимым.

Сильно мял и тряс мою руку, с дружеской лаской заглядывал в глаза, не переставал улыбаться.

— Виноват, что так неладно получилось. Вы уже столько дней

на родной земле, а я, лопух эдакий, до сих пор не удосужился пови-
дать вас. Болел все это время...

Лет пятнадцать назад Булатов был отменно здоров, завидно моло-
жав, подтянут по-солдатски, тонок в талии, изящен. Сейчас заметно
постарел, отяжелел, отрастил солидный живот. Когда-то по-юношески
чистое, с кирпичным румянцем лицо пожелтело, высохло, вдоль и
поперек иссечено морщинами.

Русые волосы поредели и посерели. От бывшего Булатова осталась
только привычка одеваться тщательно, с молодой щеголеватостью. На
нем был светло-серый, хорошо подогнанный по фигуре костюм, начи-
щенные ботинки и ослепительно белая, свежайшая рубашка с темно-
красным, в серую крапинку галстуком. И сильно пахло от него каким-
то цветочным одеколоном: увядшей гвоздикой.

Нанадолго хватило мне уверенности в том, что Булатов искренен
со мной, как в былые времена. Несмотря на самые крепкие объятия,
долгое рукожатие и ласково-дружеские слова, я понял и почувст-
вовал, что передо мной не прежний, близкий мне Андрюха Булатов.
Передо мною был директор крупнейшего комбината — Андрей
Андреевич Булатов, многократно награжденный тем и сем, избран-
ный туда и сюда, прославленный в кино, журналах, газетах, воспетый
поэтами, увековеченный фотографиями.

Еще до моего появления он, наверно, решил, что наши прежние
более чем короткие отношения не могут, не должны быть полностью
восстановлены. Нет, не из-за его письма в обком. И вовсе не потому,
что мне поручено разобраться, кто прав, он или Колесов. Скорее всего
он убедил себя, что достиг такого высокого положения, когда можно
и даже полезно отказываться от старых привязанностей.

Люди есть люди. Я не идеализирую ни самых мне близких, ни
самых «высоких» — академиков, министров, лауреатов. Чутье на
меняющихся в худшую сторону людей у меня сильно развито. Без
него нельзя работать не только на посту секретаря обкома, но и в
должности инструктора отдела. Но, возможно, я ошибаюсь. Не исклю-
чено, что нахожусь под влиянием того, что узнал, увидел, услышал
за последние дни. Рано делать какие-либо определенные выводы.

Он усадил меня в кресло, сел рядом и ласково попросил:

— Ну давайте, земляк, рассказывайте, с какой миссией пожало-
вали к нам.

— Не знаю, с чего и начинать... Начну, пожалуй, с трамвая. Два
дня назад перед утренней сменой не работала главная линия, соеди-
няющая комбинат с правым берегом. Опоздали на работу тысячи
человек. И это не первый случай за последний месяц. Кто в этом
виноват?

Булатов некоторое время молча рассматривал меня.

— Вот с чего вы решили начать. Ну что ж, ваше дело... Нет на
комбинате трамвайной проблемы! Виновники позавчерашней аварии
выявлены и понесли должное наказание. Подобное безобразие в
будущем не повторится. Обнародован соответствующий документ.

Слова куда как серьезные, а на лице добродушная улыбка, и гла-
за смеются. Нисколько Булатов не встревожен. Он неожиданно
вторгается в мои размышления вопросом:

— Да, а как вам живет в «Березках»? В смысле обслуживания
в гостинице все в порядке?

— Абсолютно.

— А как устраиваетесь с обедом, ужином?

— Питаюсь там, где застанет голод, чаще всего в цеховых столо-
вых.

— Что же вы так? Не в первой, а в девятой пятилетке живете. И не двадцать вам. В нашем с вами возрасте надо три раза в день принимать диетическую пищу. В конце концов мы за вас в ответе...

Снимает телефонную трубку, вызывает начальника общепита и просит его обеспечить гостя, проживающего в гостинице, то есть меня, всем необходимым.

Пытаюсь выйти из неловкого положения, продолжить деловой разговор:

— Вот уже четвертый год жители города, проезжая мимо краснокирпичной громады в центре правобережья, каждый раз надеются увидеть на заброшенном объекте рабочих, кран, услышать звуки стройки. Скажите...

Он не дал мне договорить:

— Она, эта безобразная громада, дорогой товарищ, не только вам мозолит глаза. И мне тоже. И рад бы превратить ее в красивый дворец, но пока...

— Нет денег?

— Деньги направлены на более важные объекты — на строительство жилых домов. На комбинате семитысячная очередь рабочих и служащих, ожидающих ордеров на квартиры. Строим как никогда здорово, а все равно не можем ликвидировать жилищный голод.

— Если я вас правильно понял, Андрей Андреевич, вы считаете недостроенный Дворец культуры менее важным объектом, чем жилые дома?

— Да, считаю. На данном этапе. В городе, как вы знаете, есть два Дворца металлургов, на левом и правом берегу. Кроме того, у строителей, метизников и калибровщиков есть свои Дворцы, куда не заказан вход и нашим металлургам. Пять Дворцов культуры. Пять! — Булатов для вящей убедительности помахал перед своим лицом кистью руки с растопыренными пальцами. — Рабочие комбината нуждаются сейчас в жилых домах, а не еще в одном Дворце, который будет пустовать шесть дней в неделю. Народ не понял бы меня, если бы я отгрохал эту махину за счет сокращения жилищного строительства. Отсюда, из насущной народной нужды, вытекает моя стратегия. Вот так, дорогой товарищ!

Не согласен, но не возражаю. Не спорить с директором пришел, а выяснить его позицию.

— Еще какие у вас вопросы? — спрашивает Булатов.

Надо переменить тему. Потом вернемся и к законсервированному строительству.

— Вчера я попал в поселок Каменка...

— Нажаловались вам бывшие казаки? — вспыхнул Булатов. — Особых привилегий добиваются для себя, а не справедливости. Хотят по кривой обойти наши законы. Пытаются без очереди отхватить квартирki в новых домах. За счет горновых, сталеваров, вальцовщиков. Видите ли, они живут в загазованном поселке! А металлурги в розарии работают? Разве они не имеют каждодневно дело с газом, огнем, со шлаком, скордовинами? — Булатов хлопнул ладонью по сияющему, полированному столу. — Не уступлю бессовестным жалобщикам! Не дам в обиду металлургов!

И далее почти слово в слово повторил то, что мне уже было известно. Ничего нового не сказал и о пресловутой квартирной инструкции-приказе.

— Комбинат не красное солнышко, всех и каждого в городе обогреть не может. Никак я не могу втолковать товарищу Колесову эту простую, как дважды два, истину. Поддержите, дорогой товарищ!

Невмоготу мне стало работать с этим... мелким опекуном Колесовым. Вы, конечно, знакомы с моим письмом в обком?

— Да, читал. Приехал вот разбираться, кто кого опекает и угнетает.

— Что ж, разбирайтесь...

Вот и рассуди, кто из них, секретарь горкома или директор комбината, с наибольшей полнотой выражает интересы рабочего народа, кто наиболее плодотворно, последовательно проводит генеральную линию партии, выполняет решения ее Двадцать четвертого съезда.

Я вспомнил, как старший горновой Федор Крамаренко выжимал насквозь пропитанную потом рубашку, и рассказал директору о разговоре с ним и об условиях труда на десятой домне. Булатов слушал и загадочно улыбался. Когда я умолк, он вскочил, быстро прошелся по кабинету, остановился передо мной и сказал с недоумением:

— Я так и не понял, честно говоря, что именно вас встревожило? Скромность горнового? Его рабочая честь и гордость? Его нежелание спастись перед трудностями, не ударить лицом в грязь?

Неправда. Он все понял как надо. Это я вижу по его беспокойно загоревшимся глазам. Понял и решительно не согласен с моей точкой зрения. Ну что ж, очень жаль, что выставил против меня демагогический штык. Не буду следовать его примеру. Спокойно говорю:

— Скажите, пожалуйста, почему не введены на комбинате, как предусмотрено пятилетним планом, новые мощности кислородного цеха?

— Это произошло не по нашей вине. Подвели поставщики оборудования.

— И это известно Министерству черной металлургии?

— И Госплан об этом знает.

— Что же дальше?

— Не понял.

— Вы ставили вопрос о корректировке плана доменного цеха?

— Что написано госплановским пером, дорогой товарищ, то не вырубил бы моим директорским топором. Пятилетний план имеет силу закона. И мы все делаем для того, чтобы выполнить его. И, слава богу, справляемся с задачей неплохо.

— Да, неплохо, но могли бы еще лучше, если бы имели достаточно кислорода.

— Хорошему нет предела.

— Значит, как я понимаю, вы даже не пытались отрегулировать план доменного в соответствии с его возможностями?

Булатов вздохнул, вытер лицо ладонями.

— Да разве я враг самому себе? Писал докладные, разговаривал с начальством. В министерстве меня хорошо поняли, сочувствовали, но... плана не скорректировали. Нам было заявлено, что мы обязаны и на этот раз не сплеховать. Стране нужен чугун. Каждая тонна дорога, как хлеб насущный. Не было еще такого трудного положения в истории рабочей гвардии комбината, сказали нам, из какого она не сумела бы найти выход. Трудно было не согласиться с такой постановкой вопроса.

— Да, действительно трудно,— подхватил я.— Вас могли заподозрить в неверии в силу нашей рабочей гвардии.

Булатов весело расхохотался:

— Вот именно!

Ну что ж, проблема более или менее прояснилась...

Прощаясь, Булатов задержал мою руку в своей, ласково заглянул в глаза:

— Рад был вас видеть и слышать. Заходите, как только возникнут любые вопросы...

Ни слова на веру! Ни слова против совести!

Когда я уже собирался уезжать, к моим «Жигулям» подошел человек в кожаной куртке, с гладко причесанной головой, поджарый, с выправкой молодого горца, со строгим, прямо-таки монашеским выражением лица и глубоко запавшими грустными глазами. Кажется, где-то когда-то я его видел. И даже общался с ним.

— Не узнаете? И не мудрено. Изуродовала меня жизнь за самое короткое время. Собственно, не жизнь, а одна-единственная личность. Самодур, дураком, проще говоря...

Открываю дверцу машины, приглашаю этого странного человека занять место рядом со мной.

Я давно научился терпеливо слушать разных людей. В гневе, в обиде человек часто выглядит далеко не красавцем и не умницей. Но эти мои слова не относятся к незнакомцу. Выглядит он вполне достойно.

— Лет пятнадцать назад, товарищ Голота, я слушал в институте ваши лекции по истории партии. Потом, лет семь спустя, мы встретились в железнодорожном клубе. Перед партсобранием мы сыграли с вами в шахматы...

— Вспомнил! Вы Батманов. Игорь... Игорь Ростиславович. Работаете главным инженером железнодорожного хозяйства.

— Работал. Понижен в должности, поскольку якобы проштрафился.

— Почему?

— Я не воспринял указания директора как самые мудрые. Позволил вслух усомниться в том, что он, прокатчик, знает железнодорожное дело лучше меня, инженера-транспортника. Вот за эти сомнения и турнул меня Булатов с самой высокой ступеньки на самую нижнюю. Назначил диспетчером. Я не согласился с перемещением и стал водителем электровоза. В этой должности пребываю и поныне. Делаю свое дело исправно, не придерешься.

Независим, горд, строг. Не похож ни на жалобщика, ни на просителя. Нравятся мне такие люди. В них, ущемленных бедой, больше человеческого достоинства, чем у счастливых и круглых удачливых. Деляга, добывающий успех любым способом, даже за счет собственного достоинства, не станет возражать вышестоящему, пусть тот явно не прав. Страшно такому потерять многолетнее благополучие.

Голос Батманова окреп. В запавших темных глазах появился блеск отважной дерзости.

— Каленым железом надо выжигать булатовщину! Сотни инженеров, техников, мастеров топчет своим каблуком: кого сослал на пенсию, кого вынудил уйти по «собственному желанию». Выпендривается на социалистическом предприятии, как в собственной вотчине. Как же можно терпеть такое, скажите?

— Вы в горькоме партии у Колесова были?

— Заходил.— Батманов махнул рукой.— Опасно Колесову бороться против Булатова... Я послал в самые высокие инстанции заявление с подробным описанием всех действий Булатова. Получил ответ. В скором времени к нам выедет комиссия для расследования.

— Зачем же вы ко мне обратились?

— Вы должны знать, что наша комбинатская жизнь состоит не из одних славных праздников.

— Я это давно знаю, Игорь Ростиславович. Воевал и воюю со всякого рода недостатками. И с теми, кто порождает их.

— И даже с самим Булатовым?

— И с ним повоюю, если он того заслуживает.

Криво, недоверчиво усмехнулся, иронически посмотрел на меня и вышел из машины, хлопнув дверцей.

Разонравился Батманов. Есть в нем, кажется мне, что-то от воинствующего обывателя.

Хорошо, если ошибаюсь. Как бы там ни было, но я должен узнать в горкоме, что на самом деле произошло в управлении внутрикомбинатского железнодорожного транспорта. Еду в горком.

Все было так, как рассказал Батманов. Мстительный призыв директора налицо.

— Почему же Батманов не восстановлен в своей прежней должности, а Булатов не получил выговор? — спросил я.

Инструктор промышленного отдела горкома, разговаривавший со мной, смущенно помолчал, переглянулся с товарищами и сказал:

— Видите ли, в Москве создана специальная комиссия для расследования дела Батманова...

— Что же расследовать, если все ясно? Восстановите честное имя Батманова — и комиссия будет распущена.

Опять переглянулись инструктора. Чего они мнут? Что скрывают? Наконец один из них, постарев, сказал:

— Горком кровно заинтересован в том, чтобы комиссия приехала как можно скорее. Мы хотим, чтобы и московские товарищи убедились в том, в чем мы давно убеждены.

— То есть?

— Что Булатов такой же смертный, как и все люди, и что с него такой же строгий спрос, как со всех!

Больше я не задавал вопросов. Неглупо решили в горкоме...

Примчался Егор Иванович. Выставил на стол бутылку сливок и банку с алыми крепкими ягодами.

— Давай, Саня, лакомься. Свежайшая земляника. Тепличная. Давай, говорю, питайся да сливками запивай.

Земляника тает во рту. Пахнет она еще и молодостью и губами любимой. Когда-то мы с Леной собирали ягоды вокруг Банного озера...

Ем землянику, смотрю на Егора Ивановича и завидую.

Человек и в семьдесят пять равен двадцатилетнему, если мало уступает ему в работе, в ощущении жизни. Если же совсем не уступает, то он сильнее молодого. Есть своя красота, своя доблесть и в преклонные годы. Хорошо писал об этом любимый мною Цицерон...

Мудрейший Солон оказывал тирану Писистрату упорное, храброе сопротивление и этим изумил его. «Чем ты держишься, Солон? — спросил тиран. — На что полагаешься?» «На свою старость», — ответил Солон. А я добавлю к его словам еще и такие: «Полагаюсь на свою старость, которая крепка тем, что было заложено в молодости».

— Егор Иванович, по какому случаю ты сегодня веселый сверх всякой меры?

— Ишь какой глазастый — узрел!.. Помнишь моего побратима-одногодку латыша Яна Оттовича Даргайса?

— Как же! Большевик с семнадцатого года. Охранял в Кремле Ленина. Штурмовал в составе латышской бригады Перекоп. В мирные годы закончил Горную академию. Был первым, самым первым начальником Солнечной горы... А почему ты вдруг спросил о нем?

— Потому!.. Наступило восьмидесятилетие Яна Даргайса, и никто не собирался отметить славную дату. Пришлось мне создать инициативную группу и рассказать во всех инстанциях, кто есть Ян Оттович. И мы добились своего. В зале райкома партии, полном народа, Ян От-

тович получил удостоверение, нагрудный знак и алую ленту с золотой надписью «Ветеран». Были речи, горячие поздравления, сердечные пожелания, подарки. Словом, состоялся большой праздник. Вот потому я до сих пор радуюсь и сияю... Ох, Саня, здорово пришлось потрудиться, доказывая кое-кому простую истину: надо помнить, уважать, чтить, любить отца своего.

— Почему же ты не привлек и меня в инициативную группу? Мы бы скорее и легче добились Яну Оттовичу звания ветерана и прочего.

— А зачем?.. Я, Саня, не меньше, чем ты, чувствую себя хозяином нашей жизни. Ну, это самое, поехал я, работать надо...

Верно ведь сказал, чертяка. Устыдил.

Егор Иванович уехал. Теперь я могу приступить к выполнению задания. Сказано — сделано. Усаживаюсь за старинный, покрытый зеленым сукном стол, достаю из портфеля пачку писем и внимательно перечитываю послания Булатова и Колесова. Суть их, если быть предельно кратким, такова. Секретарь горкома доводит до сведения членов бюро, что Булатов в последнее время стал злоупотреблять властью. Заносчив и груб с подчиненными. Недостаточно заботится о будущем комбината. Часто принимает решения, не согласовав их ни с парткомом, ни с профкомом, ни с горкомом, ни с министерством. Булатов же, в свою очередь, выдвигает против секретаря горкома обвинения: считает, что Колесов учредил над ним унизительную опеку, придирается по всякому поводу, большей частью по мелочам. Свое обращение в обком он заканчивает так: «Работать с Колесовым стало невозможно. Да и ему не по силам идти в одной упряжке со мной. Прошу членов бюро обкома разобраться и решить, кто из нас действительно верой и правдой служит, а кто вольно и невольно наносит ущерб делу».

Вот как поставлен вопрос. Ребром. Но ни раньше, ни теперь я не встревожился. Давно мне известно, что Булатов склонен к преувеличениям. Колесов тоже не без греха: любит настоять на своем. Я знаю их немало лет, и всегда у них была одна правда на двоих. Что же случилось? Не поделили власть? И тому и другому захотелось быть на голову выше всех? Не может этого быть. Не такие они люди. Так что же?..

Разберусь. Мужики они умные, не станут мешать мне сделать доброе дело.

Решив так, я принялся за очередное письмо с обкомовским адресом. Оно написано с полной раскованностью, как умеют это делать только люди практические, простодушно-бесхитростные, но твердо знающие себе цену. Вот оно, это послание:

«Дорогие товарищи секретари и члены обкома!

Пишет вам Влас Кузьмич Людников. Обращаюсь к вам не по личному, а общественному вопросу. Что это за вопрос? Представьте, никаким пером его описать невозможно, особенно моим, корявым. И бумаги много потребуется — в портфель ее не вместишь. Лучше я вам все своими словами обрисую, когда кто-нибудь из вас попадет на комбинат. Приезжайте безотлагательно, как можно скорее, чтобы не опоздать к обедне, не размахивать после драки кулаками и не попрекать себя последними словами за то, что не сразу откликнулись на сигнал с переднего края жизни.

Жду, как говорится, ответа, будто соловей лета!

К сему Влас Кузьмич Людников».

Это письмо написал член пленума обкома партии, старший мастер, Герой Социалистического Труда, секретарь парторганизации главного маргеновского цеха. Дела и слова Власа Кузьмича были веселы на

протяжении всей истории Солнечной горы, от первой до последней пятилетки. Он рабочая совесть, рабочая гордость, рабочая честь комбината.

Нехорошо получилось, что я только сейчас прочитал это письмо... Видите ли, товарищу Голоте было некогда — он собственной персоной был занят, свои переживания оказались для него самыми важными, вытеснили все общественные и государственные дела!.. Можно ли исправить мою оплошность? Не опоздал ли к обедне, как выражается Влас Кузьмич?

Через справочную узнаю номер телефона Людникова. На мой звонок ответил Людников-старший. Я назвал, напросился в гости. Часа три говорили мы с мастером огненных дел. Я с умыслом не воспроизвожу сейчас наш интересный во всех отношениях разговор, скажу о нем в свое время.

Разбудили меня утром соловьи. Один робко щелкал в кустах сирени невдалеке от моего окна. Другой уверенно распевал позади дома в березняке. Третий, самый певучий, счастливый тем, что дождался цветущей своей поры, заливался во все горло в ложине, около родника. И все трое славил жизнь: весеннюю землю, зарю, полыхающую вполнеба над Солнечной горой, темные от ночной росы листья на бальзамических тополях, студеную седую траву, одуряюще пахучие гроздьи сирени, тающий, сильно побледневший месяц, свежесть и тишину майского утра.

И кукушка подала свой таинственный голос, куда-то зовущий, о чем-то предостерегающий, таящий в себе какую-то печаль, обещающий какую-то еще не испытанную радость...

Лежу с открытыми глазами, улыбаюсь и слушаю весенних птиц. И сейчас мне, как и в юные годы, хорошо. Чувствую себя способным взбежать на любую гору. Могу двое суток кряду простоять на правом крыле «двадцатки», таская ковши с жидким чугуном от домен к разливочным машинам и мартеновским печам. «И в старости я сызнова живу...»

Потянуло побродить по любимой Тополиной Роще. Переулки в поселке неширокие, тихие. По обе стороны длинной улицы Щорса рвутся к небу тополя, смыкающие свои роскошные кроны на немислимой высоте. Двухэтажные дома стоят вдалеке друг от друга, не менее ста — двухсот метров. По старой памяти их называют коттеджами. Когда-то здесь обитали иностранные специалисты — американцы, немцы. Теперь здесь живут большей частью ветераны комбината, бывшие и нынешние высшие командиры производства.

В подножие горы врезана дворцовая громада центрального профилактория. В мое время при моем ближайшем участии Деловой клуб — место отдыха инженерно-технических работников, — построенный по инициативе Орджоникидзе, был превращен в ночной профилакторий для рабочих.

Вот туда я и держу путь.

Выйдя из ворот, я чуть не столкнулся с прохожим. Заросшее седой щетиной лицо. Крупный, с горбинкой нос. Помятая, с опущенными полями, непонятного цвета шляпа. На ногах парусиновые стоптанные полуботинки. Рубашка далеко не первой свежести. Широкие штаны с пузырями на коленях. В правой руке прохожего авоська с пакетами молока, картофелем и хлебом.

При самом беглом взгляде на этого человека ясно, что он одинок, неухожен, всеми забыт и ни в ком уже не нуждается, привык к своему сиротству. Не живет, а доживает.

Стою, смотрю вслед человеку, ставшему собственной тенью. Кто

ты? Что делал в лучшие свои дни? Знал ли я тебя? Наверняка знал. Но ты сейчас так сам себя приземлил, что стал неузнаваем...

Старик медленно брел в гору, в верхнюю часть улицы Щорса. Часто останавливался, вытирал большим клетчатым платком лицо. Куда он пойдет? В конце тополиного тоннеля три дома. Слева — Константина Головина, справа — начальника горнорудного управления Колокольникова. Прямо в тупике — литые чугунные ворота ночного профилактория.

Старик свернул направо. Значит, Колокольников?

— Тихон Николаевич! — окликнул я.

Старик медленно обернулся, безучастно посмотрел в мою сторону. Я подошел к нему.

Более четверти века Колокольников был начальником горнорудного управления и пяти агломерационных фабрик. Сотни миллионов тонн руды выдал на-гора, превратил в агломерат, пищу для домен. Получал ордена в каждой пятилетке. Герой. Воспитатель горняков трех поколений. Инженер, закаленный в первые годы социалистического строительства. До чего же он сдал!

Называю себя. Прошу простить, что не сразу узнал его. Слушает меня строго и не спешит раскрыть рта. Дорого стал ценить стариковское слово...

Неприветливым людям ничего не стоит смутить меня, выбить из колеи. Ни в чем не чувствую себя виноватым перед Колокольниковым, но растерялся. Говорю первое, что приходит в голову:

— Что же это ты, Тихон Николаевич, в разгар рабочего дня домашними делами занимаешься?

Случайно сказал то самое, что только и способен вывести его из враждебной немоты и глухоты.

— Мои рабочие дни кончились!

— Как, разве ты уже не начальник горного управления?

— Никто я! Отставной козы барабанщик. Пенсионер ничтожного значения.

Голос хриплый, вроде бы простуженный или пропитый. Белые, бескровные губы. Желтоватые от никотина зубы. Под глазами мешки.

— Как это ты, товарищ Голота, не побрезговал мною?

— Побрезговал? Как я могу брезговать старым товарищем по партии, по работе, одним из самых славных ветеранов Солнечной?

— Мною сейчас многие пренебрегают...

— Ты что, Тихон Николаевич, во хмелю? Или заговариваться стал?

— По одежке протягиваю ножки. Кукарекаю, образно говоря, как велено.

— Говори по-человечески. Что случилось? Почему бросил гору, на которой трудился всю жизнь?

— Что ж, можно и по-человечески. Не бросал я ее, она меня бросила... По приказу одной высокопоставленной личности.

— А что это за личность? Есть у нее звание, фамилия?

— Чего другого, а чинов и званий у нее целый мешок.— Тихон Николаевич глянул на меня недоверчиво и зло, угрюмо усмехнулся.— Неужели не понимаешь? — Сердито шмыгнул носом, потрогал ладонью жесткую бороду.— Отрыжка прошлого, образно говоря. Остаток доисторической эпохи... Я про Булатова говорю.— Он кинул на меня вызывающий, злой взгляд.— Слушай-ка, товарищ Голота, ты где сейчас работаешь?

— Все там же, в обкоме.

— Секретарствуешь по-прежнему?

— Да.

— Так. Хорошее дело. Ну а к нам зачем приехал?

— Посмотреть, как вы тут живете.

— А я подумал, тебя послали укреплять сильно расшатанный за последнее время авторитет Булатова.

— Если он пошатнулся, то его не укрепишь никакими подпорками.

— Верно!

Он внимательно всматривался в меня чуть подобранными глазами. Лицо его, заросшее седой щетиной, стало как бы светлее и моложе.

— У меня, товарищ секретарь, нет больше вопросов.

— А у меня есть, Тихон Николаевич. Скажи, с какой формулировкой Булатов отстранил тебя от работы?

— Расправился, а не отстранил... Долго рассказывать. Он сочинил большущий приказ. Разжевал каждую мелочь. Мне оставалось только проглотить директорскую кашу, образно говоря. А меня стошнило от одной мысли глотать жвачку.

— А ты попроще, без образности можешь обойтись?

— Попробую... Булатов, как ты знаешь, инженер-прокатчик. Ну и вот, не зная броду, сунулся в воду. Не посоветовавшись со мной, состряпал с помощью своих горе-помощников ряд мероприятий, якобы направленных на улучшение работы горнорудного управления. Если бы я выполнил его предписания, комбинат через год или два остался бы без руды. Домны и мартены мне дороже директорского самолюбия. Партия полвека учила меня быть смелым, твердым в своих убеждениях, не брать на веру самое якобы авторитетное слово, не говорить и не делать ничего такого, что противно партийной совести. Я заявил ему в самой резкой форме, да еще при людях, на большом совещании, что он некомпетентно подошел к нашим острым проблемам. В общем, немало было сказано правильного, но немало было и лишнего, запальчивого. Слово не воробей: вылетело — не поймаешь. Вскоре после моего выступления последовало наказание. Найдя подходящую зацепку, Булатов закатил мне выговор. Через некоторое время влил строгача якобы за отставание горных подготовительных работ. Потом расщедрился на самый строгий, с последним предупреждением. И свою месть за непочтение начальства завершил приказом об увольнении «в связи с уходом на пенсию». Вот так!

— Печальная история, — сказал я, выслушав рассказ Колокольникова. — Тихон Николаевич, изложи все это на бумаге.

— Ни к чему. Дохлую собаку на живого орла никто не променяет. Я про себя и Булатова говорю. Кто я такой? Отработанный пар. Пенсионер. Кандидат в покойники. А кто такой Булатов? Командир во цвете лет. Директор мирового комбината. Депутат. Лауреат. Профессор. Может ли мое оловянное слово перевесить на чаше весов его золотое?

— Любую чашу весов перевесит партийная принципиальность. Твоя звезда Героя Социалистического Труда сделана из такого же металла, как и звезда Булатова. И получили вы свои награды в одном месте.

— Любо слушать тебя, товарищ Голота. Ты все это сказал как мой старый знакомый, сослуживец или как секретарь обкома?

— И так и этак.

— Это тоже хорошо. Веселое дело. Обнадеживающее...

— Тихон Николаевич, ты не хочешь, чтобы комбинат через год или два попал в провалы? — спросил я.

— Нет. Даже когда меня на свете не будет, желаю, чтобы комбинат процветал, чтобы им руководили такие большие инженеры, прекрасные люди, как Иван Григорьевич Головин.

— Если ты действительно этого хочешь, ты обязан...

Он опустил авоську с продуктами к ногам, положил мне руки на плечи и впервые улыбнулся:

— Напишу! И не только чернилами. Слезами, кровью, необразно говоря.— Он поднял с земли авоську.— Ну, пойдю картошку варить. Один я остался. Жена умерла. Старший сын работает в Индии, в Бокаро, на металлургическом заводе. Младший на Запсибе, начальник цеха. Средний на Запорожском, заместитель директора. Не приглашаю тебя в дом, Голота, не от гордости, а от стыда. Одичал я в одиночестве. И руки стали короче — не доходят до дела... Но я исправлюсь! Встану на прежнюю колею. Прямо с сегодняшнего дня начну... Куда тебе принести письмо?

— Я живу в головинском доме, в бывшем кабинете Ивана Григорьевича. Но ты не спеши, Тихон Николаевич. Продумай, прочувствуй каждое слово. Приложи документы, подтверждающие ваши позиции — твою и Булатова.

— Все сделаю как надо, хотя ни разу в жизни не сочинял жалоб.

— Это не жалоба, Тихон Николаевич, а борьба за партийные принципы, утвержденные на Двадцать четвертом съезде нашей партии.

— Таких высоких слов, товарищ секретарь, я не обещаю тебе написать. Как оно было, так изложу...

— Правильно! Этим самым и выразишь свои партийные принципы.

— Не агитируй. Все понял, все почувствовал. До свидания. Будь здоров. И как это тебя угораздило появиться на моей дороге?

Куда и подевалось в нем стариковское! Распрямилась сутулая фигура. Шаг быстрый, уверенный, молодой, я бы даже сказал.

Что делает с человеком слово! А ведь будут еще и дела. Не так скоро, но будут. Непременно!

Человек платит за то, что живет, болезнями, тяжкими сомнениями, размышлениями о жизни, которые иногда укорачивают его век, разочарованием, потерями друзей, надежд, веры, временной душевной депрессией, страхом перед смертью и еще многим другим. И без этого нет жизни. Пока. В будущем люди, конечно, только жизнью будут жить.

Тополиная аллея, улица Щорса, круто спускается к гостинице. Пройду несколько шагов и стою. Оглядываюсь на дом Колокольникова и с тоской думаю: какое я имел право оставлять сейчас его одного? Разбередил душу и бросил. Еще совсем недавно, прикованный к больничной койке, я жадно ловил каждое истинно человеческое ласковое слово. Почему же теперь сам?.. Стыдно. Надо вернуться... Под каким предлогом? Под любым. Это не имеет значения.

Вошел, разыскал хозяина на захлавленной кухне и сказал:

— Тихон, знаешь, чего я назад оглобли повернул? Голодный я, брат. Картошки в мундире захотелось. Горячей, рассыпчатой, посыпанной черной солью. Как на фронте.

— В чем же дело! — обрадовался он.— Сейчас будет у нас фронтная пирушка.

В четыре руки помыли штук двадцать крупных картофелин, залили водой и поставили на газовую плитку. Они варятся, а мы сидим за столом, разговариваем. Начали с картошки, а пришли к душе...

Положив сжатые кулаки на грязную столешницу, Тихон Николаевич сказал:

— Он, Булатов, не только любимой работы меня лишил. Он душу мою норовил выхолостить!.. И ему это удалось. Почти удалось. Не появись ты, Голота, я бы капитулировал.

— Не могло этого быть. Душа у тебя, Тихон, бессмертная, могучая. Ее тысячетонным домкратом не сдвинешь. Как гору.

Поговорили в таком духе еще немного и принялись за картошку. Пospела. Слили воду. Вывалили на стол и, обжигая пальцы и губы, стали есть. По-фронтальному. По-охотничьи. И без вина нам весело. Едим и смеемся...

Пришлось еще раз обратиться за справкой к секретарю горкома.

— Василий Владимирович, скажите, с вашего согласия отправлен на пенсию Колокольников?

— В таких делах Булатов не считает нужным с кем-либо советоваться. Я был поставлен перед совершившимся фактом. Ни за что ни про что смертельно обижен человек, отдавший всю жизнь Солнечной горе.

— Ну а новый начальник горнорудного управления как справляется?

— Инженер Ермаков работает прекрасно. И он моложе лет на двадцать. Перспективный товарищ. Поздно, да и нет нужды, откровенно говоря, опротестовывать решение Булатова. Тем более что возраст Колокольникова перевалил за пенсионный.

— Значит, все было сделано правильно?

— Формально не придерешься, а по существу бесчеловечно. Более сорока лет трудился человек на горе. Вместе с восходом солнца появлялся на командной вышке. Все горело, все ладилось в его умелых руках. Он привык ежедневно, ежечасно, ежеминутно отдавать себя горнякам, аглофабрикам, дробилкам, рудным забоям, экскаваторам, бурильным станкам...— Колесов потер ладонью большой красивый лоб, помолчал, потом поделился со мной своими мыслями: — Строго говоря, с чисто хозяйственной точки зрения замена Колокольникова молодым Ермаковым была полезна для комбината. Однако коммунисты, в особенности руководители, должны быть дальновидными хозяйственниками, государственными деятелями и хорошими людьми. Две стороны одной медали. Сиюминутная или завтрашняя выгода не должна глушить в коммунисте человечность. Так, помнится, товарищ Голота, вы наставляли нас, молодых партработников, в ту пору, когда были секретарем горкома. Вот если с этих позиций посмотреть на историю Колокольникова, то в его трагедии повинен не только Булатов, но и мы. Точнее говоря, я. Если бы горком в свое время выпрямил кадровую политику Булатова, то Колокольников и другие не считали бы себя униженными...

— Колокольников не только унижен — он чувствует себя лишь ним в жизни.

— Сегодня же побываю у него!

— Нет, сегодня не надо. Он занят — выполняет мое поручение. Через неделю, не раньше, съездите к нему. Подумайте, как вовлечь ветерана, старого коммуниста в настоящую работу. Нагрузите интересным делом так, чтобы воскрес, почувствовал, что сызнова живет.

— Есть у нас такое дело! — воскликнул Колесов. — Партийная комиссия на общественных началах. Сделаем Колокольникова председателем.

— Хорошая идея.

По всем вопросам, самым трудным, договариваюсь с Колесовым

легко и быстро. И радуемся, что находим истину общими усилиями. Почему же с Булатовым мы говорим на разных языках и занимаем разные позиции? Почему, одинаково преданные комбинату, одинаково любя его, служим ему не в равной степени полезно?

Проще простого было бы поставить его в ряд так называемых отрицательных персонажей. Нет, он положительный. И его правильно, по заслугам хвалили, выдвигали, награждали. И впрямь наши недостатки — продолжение наших же достоинств.

Оплошность Колесова в том, что он не заметил, когда именно у Булатова стали проявляться отрицательные свойства, обусловленные успехами комбината, славой директора, блеском его наград. Если бы Колесов вовремя уловил нежелательную нравственную перемену в Булатове и принял бы соответствующие меры, не было бы никакого конфликта. Теперь положение осложнилось. Булатов набрал силу. Убежден, что победителя не судят. Не видит, не чувствует в себе никаких недостатков.

Так думаю я... Не исключено, что в чем-то заблуждаюсь. И поэтому не считаю себя вправе делиться своими черновыми размышлениями ни с Колесовым, ни тем более с Федором Петровичем.

После шабашного звонка в управлении комбината, еще до сумерек, ко мне в гостиницу пожаловал мой юный друг, юный по сравнению со мной, Митяй. Я говорю о Дмитрие Воронкове, главном инженере комбината, докторе технических наук, профессоре, первом заместителе директора.

Он явился с бутылкой армянского коньяка, с куском сыра, яблоками и двумя плитками шоколада. Пировать со мной захотел. Ладно, так тому и быть, хотя и не любитель я спиртного.

С приходом Дмитрия моя обычно тихая комната наполнилась молодой жизнью — смехом, сильным и радостным голосом энергичного, счастливого, талантливое человека.

Готовя пиршественный стол, он спросил не без иронии, успел ли я посмотреть на домы и мартены без чых-либо высокоавторитетных подсказок и объяснений.

— Успел, — сказал я.

— Ну и как на твой просвещенный и свежий взгляд мы выглядим?

— Ничего себе.

— И только?

— Коньяк выдыхается. За тебя, Митяй!

Чокнулись, осушили рюмки, закусили сыром и шоколадом, малость повеселели и возобновили деловой разговор.

— Итак, ты говоришь, батько, что наш комбинат выглядит ничего себе. Скупое сказано.

— Могу расщедриться. Велик ты и славец, первенец пятилетки! Завод заводов. Флагман черной металлургии! Броневой щит родины во время войны. Но, милый ты мой, почему сегодня так захлавлена твоя территория? Почему ты, седобородый патриарх, зарос мхом, грязью? Почему от тебя дурно пахнет? Почему неухожен — давно не мыт, не стрижен, не чесан?

— Разлюбил ты свое детище, батько!

— Люблю! Потому и не могу видеть его сопливым. Много лет он был сильным, пригожим, на диво работающим, без морщин, свежим, кровь с молоком, а теперь...

— Ничто не вечно под луной. Наш комбинат выплавил на своем веку двести миллионов чугуна и четверть миллиарда стали. Прокатал несметное количество горячего металла. Воспитал тысячи и тысячи

героев труда. Прикрыл грудью родину в тяжелое время войны с фашизмом. Поднял на своих плечах восемь пятилеток, замахнулся на девятую. Не зазорно патриарху внешне чуть и поизъяниться. Но сил у него не убавилось.

— Чьи слова ты произносишь, Митяй?

— Как это чьи? Собственные!

— На уме у тебя совсем другое. Талантливый инженер, опытный партработник, ты прекрасно понимаешь, что комбинат нуждается в основательной чистке и мойке, в обновлении старых цехов, в коренной реконструкции.

— Это верно, но из другой оперы...

— Нет, из той же самой. В ежедневной, ежемесячной погоне за планом Булатов теряет стратегическую перспективу, и ты невольно помогаешь ему в этом.

— Я обязан помогать ему.

— У тебя на плечах своя голова. И притом светлая.

— Голова заместителя и главного инженера не имеет никакого юридического и морального права возвышаться над головой директора...

Он осветил свои темные слова дурашливой улыбкой, но это ему не помогло.

— Перед кем прибедаешься? Зачем? Я ведь тебя давно знаю. Митяй помолчал, подумал и, став серьезным, сказал:

— Да, верно... Знаю, как и ты, что наши домны, мартены, блюминги работают на износ. Стареют с каждым днем, с каждой выданной плавкой чугуна и стали. Мы нуждаемся в срочном обновлении всех производственных агрегатов. Всех! Промедление смерти подобно. Сегодня комбинат дает план. И завтра и через год даст. Однако эту пятилетку выполним с трудом, с наугой. Мы давным-давно выжали из оборудования все. Перекрыли проектные мощности. Использовали внутренние резервы. Сегодня наш комбинат — флагман черной металлургии. Но скоро нас могут обогнать другие комбинаты, где построены новые, более мощные и более технически совершенные домны, кислородно-конверторные цехи. Мы должны немедленно перевооружиться, если не хотим попасть в число отстающих. Научно-техническая революция стучится во все наши цехи...

Воронков опять улыбался, смотрел на меня сквозь выпуклые стекла очков чистейшими глазами.

— Не пойму я тебя, Митяй. Кто же как не вы с Булатовым должны ставить в верхах вопрос о реконструкции комбината?

— Поставили! Реконструируем! Но далеко не так, как надо. Вот мы и подошли к самому сложному... Реконструкция любого предприятия при существующих ныне условиях — дело, прямо скажем, героическое и не всегда благодарное. Такого рода инициатива, как правило, находит поддержку в Госплане, горкоме, обкоме партии. Как будто все хорошо. Но все трудности, все препятствия еще впереди. Организации, которым поручено проектировать реконструкцию металлургических предприятий, с неохотой выполняют наши заказы. Им, видите ли, невыгодно крохоборничать!.. Дальше. Организации, призванные обслуживать металлургов, как черт ладана избегают «малообъемных», «легковесных» работ по реконструкции цехов. Организации, ведающие материальными фондами, не учитывают потребности предприятия, которое рискнуло на коренную реконструкцию, в металле, цементе, лесе, оборудовании, по своему усмотрению снижают нормы снабжения. Но не только чужие министерства и ведомства ставят в тяжелое положение тех, кто отважился на реконструк-

цию. Даже родное министерство держит обновляемое предприятие в черном теле. «Вы занялись реконструкцией,— рассуждают там,— очень хорошо, честь вам и слава. Но, будьте добры, выполняйте по чугуну, стали и прокату план, как и раньше, до реконструкции. Если в ближайшие дни не улучшите основную работу, мы вас прижмем рублем». И прижимают. Уменьшают размеры премий. Или совсем их не дают... Вот что стоит за реконструкцией, ежели смотреть в корень!.. Так что не спешите предать нас с Булатовым анафеме за невысокие темпы в деле реконструкции комбината. Виноваты. Но достойны сочувствия, понимания...

— Согласен, достойны. Какие у тебя отношения с Булатовым?

— Неплохие.

— Сработались?

— Как не сработаться, если на наши шеи надето одно ярмо? Тянем воз дружно, не понукаем друг друга...

— Хорошо. Подойдем к вопросу с другой стороны... Работая рядом с Булатовым, под его руководством, ты испытываешь удовлетворение?

— Не во всем, конечно, но в основном да. Человек он энергичный, неплохой специалист, фанатично предан делу, требовательный, не любит тех, кто с прохладцей относится к горячему металлу.

— Разве сейчас, в век научно-технической революции, всех достоинств, перечисленных тобой, достаточно для того, чтобы быть хорошим директором?

— Нет, не было и не будет людей без недостатков! У меня, например, их куда больше, чем у Булатова.

— А как он относится к твоим недостаткам?

На прямой мой вопрос Воронков ответил уклончиво:

— Трудно ему работать со мной... Не умею брать за горло начальников цехов, выколачивать из них план. Булатов называет меня мягкотелым интеллигентом.

— Тебя, человека деликатного, думающего инженера, инженера-партийца, называют мягкотелым интеллигентом... Булатов, как я понял, несколько не заботится о том, чтобы у вас не было конфликтов. Тебе одному приходится платить за мир!

Не возразил. И не подтвердил моей догадки.

— Теперь,— говорю я,— мне понятно, почему у тебя нет конфликта с Булатовым. Тишь да гладь между вами ты завоевал ценой безоговорочного подчинения.

— Давно и хорошо ты меня знаешь, а подозреваешь в немых грехах. Ничего похожего на то, что ты сказал, не было, нет, не будет!.. В чем дело, батя? Почему тебе не нравится моя мирная жизнь с Булатовым?

— Нет у вас мира! — воскликнул я в сердцах.— И не может быть...

— Ошибаешься. Вот уже третий год как я работаю с Булатовым. И никогда и никому мы не жаловались друг на друга. С тех пор как нас назначили руководителями, комбинат выполняет и перевыполняет планы!

— Надеешься, что выполнение и перевыполнение планов затуманит, смажет противоречия между тобой и Булатовым?

Митяй взглянул на меня с видом великомученика:

— Нет у нас никаких противоречий... И совесть велит мне и дальше быть таким, какой я есть.

— Между прочим, что такое совесть, Митяй? Как ты ее толкуешь?

— На этот вопрос отвечу твоими же словами, давным-давно за-
павшими мне в душу. Совесть — это наша нравственность. Так гово-
рил ты лет двадцать назад...

— Все правильно, говорил. Итак, ты, Воронков, — высоко нрав-
ственная личность. И поэтому не желаешь, не можешь дурно гово-
рить о других и хорошо о себе. Но тебе, высоко нравственной лично-
сти, стыдно и больно, что ты умнее и талантливее своего непосред-
ственного начальника, и ты изо всех сил стараешься приглушить
свои способности. Главные твои усилия сейчас направлены на то,
чтобы идти позади Булатова, след в след, думать так, как думает он,
говорить языком Булатова, смотреть на комбинат глазами Булатова.

Воронков неожиданно для меня не стал возражать. Согласился
с моими словами:

— Да, в основном все так и есть. А почему? Потому что в на-
шем содружестве с Булатовым главный человек — он, Андрей Ан-
дreeвич. Директор отвечает за комбинат. Отвечает тот, кто запевала
в коллективе. Пока ты не солист в хоре, ты не должен повышать
голоса, обязан только подпевать запевале...

Вот оно как... Я глянул на часы. Начали мы разговор с Митяем
в семь, кончаем в девять. Но так ни до чего и не договорились. По-
чему он неискренен в разговоре о Булатове? Мужества не хватает?
Принципиальности? Бойтся, что в министерстве могут заподозрить
его в подсиживании вышестоящего, в покушении на директорский
пост? А может быть, он убежден, что Булатов на данном этапе са-
мый лучший директор из возможных?

Так или иначе, но я держусь своего курса: ни слова на веру, ни
слова против совести...

— С твоим мнением я всегда считался, — сказал Митяй, не глядя
мне в глаза, густо краснея. — Но сейчас... сейчас я решительно не
согласен с тобой. Булатов пользуется доверием в министерстве, в об-
коме. И я обязан поддерживать его. К стати, и ты когда-то хорошо
относился к нему. Очень даже хорошо.

Тормози пустой разговор, Голота!

Мы церемонно, как чужие, распрощались и разошлись.

Были уже сумерки, тихие, теплые. Сильно пахли какие-то цветы
на клумбе под моим окном. Первая звезда, крупная, зеленовато-се-
ребристая, прорезалась на краю чистого неба. Ей нет дела до оби-
женного Колокольникова, до знаменитого Булатова, до таинственно-
го Митяя, до секретаря обкома, погруженного в невеселые размыш-
ления.

В одиночестве пью чай, смотрю телепрограмму «Время», потом
футбольный матч между «Днепром» и «Араратом» и с тяжелой голо-
вой и тяжелым сердцем укладываюсь спать. Очень я недоволен про-
житым днем. Много говорил, совершенно зря ввязался в длинный и
бесплодный разговор с Воронковым....

Колокольников еще не приходил ко мне. А ведь твердо обещал.
Слово свое он на ветер не бросает. Может, заболел? Надо провести
старого бобыля.

Поднимаюсь по топовому тоннелю в его коттедж и вижу на
веранде за столом двух веселых, во хмелю, далеко не преклонного
возраста мужиков. Один из них Колокольников. Лохмы он наполови-
ну срезал, аккуратно причесал. Тщательно выбрит. Подтянут. В но-
вехоньком пиджаке и свежайшей рубашке. Увидев меня, радостно
закричал:

— А, высокоуважаемый земляк, милости просим, заходи! — Вы-
разительно смотрит на своего собутыльника, нарочито торже-

ственно объявляет: — Познакомьтесь! Секретарь обкома Голота. Григорий Филиппович Попов — особоуполномоченный Чернореченского горнорудного управления. Командирован в наш город со специальным заданием — вербовать инженерные кадры металлургов и горняков для сибирской новостройки.

— Вербовать кадры? — изумился я. — На действующем предприятии? Вот это да!.. Как же вас, милейший, не наладили отсюда?

Вербовщик скромно помалкивает, загадочно улыбается. Ничуть не смущен и Колокольников.

— Не беспокойся, земляк! Григфилиппыч действует на законном основании. Не покушается на молодых специалистов. Его интересуют только вытуренные на пенсию или уволенные Булатовым. А таких, образно говоря, набрался целый табун. И многие изъявили согласие завербоваться и даже заключили трудовые соглашения с получением аванса. Среди них и я, грешный. Бросаю комбинат. Назло Булатову... Виноват! Нехорошо сказал... Против самого себя. Невеселое дело. Да и неправда это... Горько расставаться с родными местами. Но еще горше чувствовать себя, образно говоря, пятым колесом в телеге. Поеду! Привыкну и к тайге. Умирать вернусь сюда. Но это будет не скоро. Не могу сидеть сложа руки. Работать хочу.

— Понятно... Ну а как насчет письма?

— Готово!

Скорым, молодым шагом он удалился в дом и вернулся с объемистым пакетом.

— Чернилами пользовался, но все равно кровь просвечивает. Ничего поделаться с собой не мог....

Я взял письмо, положил в карман пиджака. Колокольников внимательно-пристрастно следил за моими движениями.

— Земляк, сообщи в Сибирь, если что...

Григорий Филиппович, особоуполномоченный, то ли от чрезмерной деликатности, то ли еще по какой-то причине потихоньку собрался и направился к двери.

— Куда же ты, Григфилиппыч? Мне с тобой весело. Уважь, останься!

— Я еще зайду... Пока.

Убежал. Побоялся, что я схвачу его за шиворот и выверну наизнанку. Напрасно паникует. Не его надо винить за то, что Колокольников покидает комбинат.

— Выпей со мной, земляк! — Хозяин коттеджа придвинул на мой край стола рюмку с коньяком. — Окажи честь!

Мы чокнулись, выпили.

— Был у тебя Колесов? — спросил я.

— Разминулись. Я отсюда, он сюда. Оставил записку. Просит по срочному делу зайти в горком. Какое там срочное? Узнал об отъезде и попрощаться хочет. Кунаки мы с ним, образно говоря...

Сказать или не сказать о партийной комиссии, которую ему надлежало возглавить на общественных началах? Пожалуй, не стоит. Пусть узнает от самого Колесова.

— Ну а с Солнечной горой уже попрощался?

— Собираюсь. — Он глянул на часы. — В двенадцать отправлюсь.

— Меня с собой прихватишь?

— Зачем ты мне, свидетель моей печали? Увидишь, как буду реветь, образно говоря, в три ручья.

— Мне некогда будет на тебя смотреть. Я тоже буду прощаться с горой. Пора! Кто знает, увижу ли еще раз...

— Ах так? Ну тогда мне стесняться тебя нечего.

И мы поехали. Переулками выбрались на окраину. Проселочная

дорога поднималась круто вверх. Под колесами «Жигулей» узкая утрамбованная полоса чернозема. В сильный дождь здесь забуксуеть и сползешь вниз, на асфальт Кировской. Едем медленно, на первой скорости. Подъезжаем к перекрестку. Направо дорога ведет к монументу, воздвигнутому на нижнем склоне, — бетонный четырехгранный пьедестал, а на нем нержавеющей экскаваторный ковш. Настоящий. Бывалый. Вычерпал из недр горы миллион тонн руды. Прямо — две плохо проторенные колеи, ведущие на вершину горы, к молодому ковыльному раздолью. Куда ехать? Прямо или направо? И туда и сюда хочется. А как он, Колокольников? Сосредоточенно молчит.

Я свернул направо. И хорошо сделал. То, чего требовала душа Колокольникова. Он, ни слова не говоря, вышел из машины, сел на буроватую магнитную глыбу, лежащую у подножия монумента, повернулся к заводу и замер. Тоскует по лихой своей молодости.

За сорок лет полмиллиарда тонн руды прошло через руки Колокольникова и трех поколений буровиков, взрывников, экскаваторщиков, водителей электровозов, маркшейдеров, горных инженеров, мастеров, электриков. Несметное количество чугуна, стали, проката, машин, тепловозов, самолетов породила эта гора. И он, Колокольников, был ее главной повивальной бабкой. Все самое важное было сделано при нем. Добыта первая тонна магнитного камня. И первый, и десятый, и сотый миллион тонн добычи выданы на-гора. И последний рудный слой над поверхностью земли снят. И пласт, глубоко уходящий в землю, порушен им. Начал Колокольников разрабатывать Солнечную на пятьсот десятом горизонте, высоко над уровнем моря, а заканчивал много ниже.

Глубочайший, как океанская впадина, карьер зияет перед нами. Колокольников широко открытыми глазами смотрит на него. Лицо непроницаемо, как чугунное изваяние. Ни слезинки не скатилось. Ни единого слова не выговорили губы. Железный человек молча прощался с железным своим прошлым. Будь у меня способность творить чудеса, я бы оставил его на века вот так сидящим на магнитной глыбе.

Он поднялся, провел по лицу ладонями.

— Ну все, земляк, поехали до хаты... Ты не подкинешь меня к горкому? С Колесовым хочу повидаться.

— Попрощаться?.. Или поздороваться?

Сразу, мгновенно понял меня. Ударил по плечу медвежьей лапой, расхохотался:

— Ты, земляк, хитрющая, образно говоря, людына!.. Чудак он, этот Булатов... Пьет чай, а пузо холодное. Меня, понимаешь, меня, сорок лет жившего душа в душу с Солнечной, он хотел разлучить с ней! Да разве ему это по силам? Мы же с ней по гроб жизни, как говорится. И даже после жизни я рядом останусь. Напишу завещание, чтоб похоронили на старом кладбище, поближе к горе, среди тех, с кем начинал добывать магнитную руду, с кем переделывал мир.

— Тихон Николаевич, — сказал я, — о чем ты говоришь в такой день? Живи! О жизни думай.

— Верно, Саня!

Вернулся я в гостиницу и принялся за письмо Колокольникова. Действительно написано кровью сердца. Подкреплено документами. Ах, Булатов, Булатов! Что ты наделал, старче!

Стою на командном мостике первой разливочной машины и нетерпиво смотрю, как нестерпимо жаркая молочно-розовая струя чу-

гуна льется из ковша в конвейерные, медленно движущиеся мутьды, выбеленные изнутри известью.

Металл хорош во всех видах и формах: нагретый до тысячи градусов, жидкий, твердеющий, в слитках, в бронелистах, швеллерных балках, раскаленный добела, покрытый окалиной и отшлифованный до зеркального блеска. И даже вот такой, в виде овальных, шершавых со всех сторон, пепельного цвета теплых чушек, он тоже приятен...

Стою, люблюсь движущимися по конвейеру чушками: одна еще чисто белая, другая пунцовая, третья оранжевая, четвертая красная, пятая как темная вишня, шестая бурая, седьмая сизая, с огненно-живыми пятнами, восьмая еще горячая, но уже сплошь темная. И над этой радугой курится банный, с душиком распаренных березовых веников пар. Чушки с мелодичным звоном падают с конвейера на железное дно платформы.

Для моего уха металл и в спокойном состоянии звенит, поет, гудит, стонет. Мне он охотно рассказывает на своем языке, откуда родом, на каком заводе и какими руками сделан, для чего предназначен и сколько ему жить. Все мои дела, какие пришлось делать в жизни, связаны с металлом.

Так я увлекся картиной перевоплощения металла из одного состояния в другое, что не заметил, когда появился около меня какой-то человек. Услышал его голос:

— Здравствуйте, товарищ начальник!

Отрываю взгляд от чушек и вижу перед собой высоченного, широкоплечего, грудастого, плотного, в почтенных годах мужика — Леонида Крамаренко. С первого взгляда узнал его, хотя давненько не видел. Такой человечище не забывается. Друг! Мой рабочий соратник по первой и всем последующим пятилеткам. Знаменитый горновой, вдохнувший огонь в первую, в самую первую нашу домну. Историческая личность. Кавалер всех трудовых орденов и медалей. Почетный гражданин города. Свадебный генерал на юбилейных вечерах. Неизменный член президиума торжественных заседаний. Бывший комсомолец Ленька, Леша. Когда-то мы подписывали с ним договор о социалистическом соревновании, обещая друг другу помогать — я ему на домне, а он мне на паровозе и на горячих путях.

— Здорово, Леня! — Я закричал так, что вспугнул стаю галок, нашедших себе приют под теплой крышей разливочных машин.

— Здравствуйте, товарищ начальник, если не шутите.

— Какой я для тебя начальник, барбос ты этакый! Как твой язык повернулся брякнуть этакое?

— Всякого Якова назови начальником — не ошибешься... Любим командовать друг другом. Ты мной, я тобой, отец сыном, мать дочерью, муж женой, жена мужем. Чего нос воротить? Не по душе слова? Вот и хорошо. Я рад, что не угодил начальству.

— Леня, хватит тебе дурака валять!

— Мое это прямое дело сейчас — дурака валять и языком груши с дубов околачивать. Истратил серьезные слова. Переделал все серьезные дела. Глупостями теперь положено заниматься. Вот я и стараюсь...

Слова его вроде бы действительно не впритык с умом, но на веселом лице и в веселых глазах прямо-таки светятся ум, дерзость и гордость. Разыгрывает меня Леня. Ладно, пусть развлекается, и я в меру своих сил помогу ему.

— Федя передал мой привет?

— Было такое дело. А Федя сообщил тебе, как я в дураки был зачислен?

— Нет. Сказал, что ты сам все расскажешь.

— Расскажу! Меня, друг, турнули на пенсию. Машины вот сдаю и готовлюсь в своей домашней берлоге собственную лапу сосать.

— Тебя? На пенсию? Ты же неизносимый доменщик. Смолоду огнем заколдованный. Законсервированный силач. Долгожитель. До конца двадцатого столетия будешь работать и жить!

Еще больше развеселился Леонид. Обнял меня, даже чмокнул в щеку.

— Был ты, Саня, моим другом, другом и остался. Вся моя душа перед тобой нараспашку.

— Ну раз так, давай выкладывай, как это тебя, Прометея, преждевременно отстранили от доменного огня.

— Такова воля всевышнего...

— С какой должности тебя посылают на пенсию?

— Отсюда, с разливных машин.

— Но ты же доменщик. Как попал сюда?

— Вызвал директор, стал уговаривать возглавить безобразно отстающий участок. Прямо-таки золотые горы посулил.

— И ты соблазнился?

— Что ты! Ни в какую не соглашался. Сказал, что я доменщик, а не разливщик. Тогда директор стукнул по столу кулаком, повысил голос: «В конце концов я приказываю!» Криком меня на цугундер не возьмешь, сам умею кричать и пугать. Так я и сказал директору. Тут он поднял руки и слезно вымолвил: «Выручи, Леонид! Не меня персонально из пегли тащи, а комбинат. Домны работают хорошо, а разливные машины рубят под корень красивое дело. Возглавь разливку. Будь другом, Леня, выручи!» Пришлось согласиться. Чего для родного комбината не сделаешь! Ну, поставил я машины на правильные рельсы, навел в хозяйстве порядок...

Мой друг застенчиво замолчал.

— Ничего не понимаю,— сказал я,— почему же тебя вдруг выдворили на пенсию?

Он тяжело вздыхает:

— Расскажу и про это... Только ты правильно пойми меня, Саня. Не жалуюсь. Ничуть... Ну вот. Разливные машины много места занимают. Хозяйство большое, с переулками и закоулками. Приезжает как-то к нам директор. Походил, посмотрел, покритиковал, а потом отвел меня в сторону и такую речь повел: «Леонид Иванович, очень у тебя много свободной площади зря пропадает. Надо ее заполнить чугуном, который сходит с конвейеров сверх плана. Сегодня отложи в левую сторону двести—триста тонн, завтра сто—двести. Но делай это лишь в том случае, когда чугун некондиционный. Понял? Хороший хозяин думает не только о вчерашнем дне, но и далеко вперед заглядывает. Резервы, резервы нам нужны на тот случай, если на домнах случится прорыв...» По-моему, он не только о некондиционном чугуне говорил. Намекал... Директор комбината есть директор. С его горы, подумал я, больше и дальше видно. Выполнил я его распоряжение. Накопил несколько тысяч тонн некондиционных чугуновых чушек. И с тех пор домны в сводках, на бумаге не числились в прорыве, если даже фактически и находились в нем... Все было хорошо. Из директорского фонда посыпались на меня благодарности, премии. И вот в один ненастный, как говорится, день приходят к нам товарищи из горкома. Проверяют, как работает партийная организация, и будто между прочим спрашивают: «Что это у вас, Леонид Иванович, все переулки и закоулки завалены чуш-

ками? Нехорошо. Беспорядок...» Я не чувствовал себя ни в чем виноватым. Таить мне было нечего от родной партии. По простоте душевной сказал: «Это не беспорядок, друзья, а порядок. Некондиционными чушками мы аварийные дырки штопаем. Но не без ведома заказчика. С его доброго согласия...» Как было, так и сказал. Не обучен я военным хитростям. Рабочий, а не солдат...

Товарищи из горкома намотали, как говорится, на ус мои слова и удалились. В тот же день директор позвонил мне и приказал вечером явиться к нему в кабинет для приятной беседы. Не поднялся он навстречу, как бывало раньше. Руку не пожал. Сесть не пригласил. Вполглаза, боком, как на супротивника, смотрит. «Ты что же, Леонид Иванович, стучишь на меня в партийные инстанции? Мне позвонил Колесов и официально спросил: «Товарищ директор, на каком основании вы создали на разливных машинах незаконный резерв чугуна?..» Я перебил Булатова: «Что же, говорю, тут незаконного? Чушки ведь некондиционные. Ни вы, ни я не прикарамили чугуна, не продавали налево. В дело пускали по мере необходимости...» Дело я говорил, а ему уши заложило. Выхватил из моих слов одну фразу: «По мере необходимости! По мере необходимости! Ты, Леонид Иванович, или в самом деле святая невинность, или продувная bestия. До свидания!» Выпроводил меня пока что только из кабинета. А потом немного погодя и на пенсию. Подписал благодарственный приказ, пожал руку, поулыбался, прощальную речь произнес: «Спасибо тебе, Леонид Иванович, за долговечную честную горячую работу. Низко, до самой земли тебе кланяемся»...

Выслушав веселый по форме и печальный по сути рассказ, я с недоумением спросил:

— Почему же ты не протестовал? Почему не сказал директору, что он поступил безнравственно?

— Против чего протестовать? Против того, что меня законно, в свой срок отправили на пенсию?

— Я сегодня же поговорю с Колесовым...

— Нет, ты этого не сделаешь. Я не разрешаю.

— Почему?

— Сердце надорвано. Если начнут ворошить эту историю, я не выдержу, дам дуба. Так что не поднимай шума.

Трудно согласиться с таким доводом. И не согласиться нельзя. Что же делать? Спрашиваю:

— Кто сорвал тебя с доменного и назначил начальником разливных машин?

Крамаренко откинул голову назад, рассмеялся:

— Не знаю. Не помню... Все, Саня! Больше ничего тебе не скажу.

— Ну и ладно, не говори... Пойду в горком.

— Не ходи, Саня, уважь мою просьбу!

— Не могу, Леня. Ты мне друг, но истина дороже.

Сразу после разговора с Крамаренко поехал в горком. Колесова на месте не оказалось. Досадно. И Булатов где-то по цехам рыскает.

Иду к главному инженеру комбината, чтобы выяснить, причастен он или не причастен к делу Леонида Ивановича Крамаренко.

Дмитрий шумно обрадовался моему появлению. Глядя на меня добрейшими глазами сквозь выпуклые стекла очков, с дружелюбной улыбкой на толстых мальчишечьих губах он пошел мне навстречу.

— Откровенно говоря, я не ждал, что ты скоро сменишь гнев на милость и осчастливишь своим вниманием. Здравствуй. Рад тебя видеть.

— Я пришел не с трубкой мира.

— Ну что ж, и в этом случае не ударюсь в печаль. И царапины на моем теле, оставленные когтями льва, сделают мне честь.

Я не ответил на его глупую шутку. Приступил прямо к делу:

— Ты, конечно, знаешь первого, самого первого горнового комбината?

— Леонида Ивановича? Кто же его не знает. Из его искры возгорелось неугасимое пламя.

— А тебе известно, что его отправляют на пенсию?

— Слышал краем уха.

— И не удивился?

— Чему же тут удивляться? Сотни людей ежемесячно уходят на пенсию. Естественный процесс.

— Но Леонид Иванович в отличной рабочей форме. Может еще работать и работать. И заслуг перед комбинатом тоже немало. Первым освоил иностранную технику. Первым перекрыл проектную мощность американской домны. Был инициатором стахановского движения на комбинате. Старый коммунист...

Воронков внимательно слушает, одобрительно кивает и говорит, не переставая улыбаться:

— Я не имею к этому делу никакого отношения. Кадрами мастеров и инженерно-технических работников ведает директор.

— Кадры — это люди, Митяй. Никому не запрещено помочь им, когда они в этом нуждаются. По-человечески ты мог бы помочь Леониду Ивановичу.

— Да, мог, но...

— Побоялся прямого конфликта с Булатовым?

— Я не знал, что Леонид Иванович обиделся. Не знал и того, что за него надо вступить... В чем дело?

— В том, что его пенсионерство — это фиговый листок. Ему отстали за то, что он, сам о том не ведая, помог горкому партии раскрыть директорскую тайну.

— Какую тайну?

— Видел ты на территории разливочных машин старые ямы, впадины, канавы и площадки, забитые буртами чушек? Сверху брак, а снизу... Директор знал, что делал, когда создавал золотой фонд из сверхплановых выплавок, не попадавших в сводку. Подстилал сам себе соломку там, где в будущем мог бы шлепнуться в лужу. Предусмотрительный товарищ! Создавал видимость устойчивой, ритмичной работы доменного цеха, посылал в министерство, в обком победные реляции, получал поздравления, премии. Горком пресек эту порочную практику. И это для тебя новость, Митяй?

— Да... Нет... Я был уверен, что чугун в буртах некондиционный, и не видел ничего плохого в том, что мы пользовались им в критические моменты. Клиентура не жаловалась... Все это делалось не от хорошей жизни. Металлургические предприятия поставлены в такие жесткие условия материально-технического снабжения, что все мы вынуждены иногда — кто чаще, кто реже — изворачиваться и так и этак.

— То есть ловчить?

— В известном смысле да, ловчить, но не в интересах личной наживы. Во имя плана.

— Словом, все средства хороши для достижения святой цели. Так, что ли?

— Не так, конечно, но какая-то доля правды есть в твоих словах. Нашему комбинату спущен оптимальный пятилетний план по выплавке чугуна. Иногда создается разрыв между тем, что мы должны сделать и что в наших силах. Государственный план и наши

социалистические обязательства часто висят на волоске. Вот почему мы, да не только мы, спасая план, вынуждены хитрить, нарушать, отступать от существующих норм и правил...

— Да, я знаю о таких разрывах. Но я никогда не боролся с ними таким путем, как Булатов.

— Такая твоя обязанность! Когда я был партработником, секретарем парткома комбината, я тоже был непримирим к подобного рода нарушениям. Сейчас, в должности главного инженера, вынужден идти на компромисс...

— Ты очень откровенен, Митяй. Забыл, с кем говоришь?

Произнес я эти слова дружески, на полуулыбке. Воронков ответил мне так же:

— Откровенен я потому, что говорю с человеком, который прекрасно знает, как и чем порождаются всевозможные уловки со стороны директоров предприятий.— Глаза за стеклами очков праведно-ясные. На лице выражение твердой уверенности.— Я доверил тебе как старому другу, как умному руководителю самое сокровенное, наболевшее, а ты...

Вот куда привела нас некондиционная чушка. Вот еще с какой неожиданной стороны открылся мне Митяй, которого я когда-то хорошо знал.

Я выяснил больше, чем рассчитывал. Прощаясь с Воронковым, сказал ему:

— Спасибо, Митяй, за прямоту... И не бойся, что я стану вешать на тебя собак.

— И ты, батько, не бойся моей прямоты. Наговорил я тебе сорок бочек арестантов. Не все принимай за чистую монету...

— Ох Митяй, Митяй!.. Большим шутником ты стал за последние годы. Никак не привыкну к твоей новой манере разговаривать.

Ничуть не смутился всегда совестливый и стыдливый Воронков.

— А язык, утверждают мудрецы, для того и дан человеку, чтобы с его помощью скрывать свои мысли.— Засмеялся, обнял меня.— Опять я пошутил, батя. Нечего мне скрывать. Ни от тебя, ни от Колесова, ни от Булатова и вообще ни от кого!

Проводил меня до двери и вернулся с деловитым видом к себе в кабинет. Неужели он сейчас, после такого разговора, способен работать? Если да, то силен мужик!..

Куда мне теперь податься? Только в горком. На этот раз Колесов оказался на месте. Я подробно рассказал ему все, что узнал от Крамаренко. О встрече с Воронковым умолчал.

Колесов выслушал меня с непроницаемым лицом и заявил:

— Я в курсе этого дела. Все, что вы рассказали, соответствует действительности. За исключением одного обстоятельства. Сегодня утром я говорил с Булатовым о Крамаренко и категорически предложил ему отменить несправедливый, мягко говоря, приказ в отношении Леонида Ивановича.

— Ну и каков результат? — с нетерпением спросил я.— Булатов встал на дыбы?

— Представьте себе, был покладистым. Отменил без каких-либо возражений.

— Невероятно!

— И тем не менее это так. Отменил и сказал, что погорячился, рубанул плеча. Все старые доменщики, все воспитанники Леонида Ивановича горой встали за него. Булатову это стало известно, и он быстро уступил. В других своих неправых делах и волевых решениях он далеко не так покладист...

— В каких именно?.. Впрочем, снимаю вопрос. Постараюсь самостоятельно дойти до всего.

...Дня не проходит, чтобы мы не встретились с Егором Ивановичем. Тянемся друг к другу. То он ко мне заглядывает, то я к нему на Горького, восемнадцать.

...Вечером сидим в его неуютной квартире, квартире вдовца, на неухоженной кухне, пьем ледяное молоко с теплым хлебом. Подкрепившись, я говорю:

— Давай рассказывай, старый кавалерист Рабоче-Крестьянской инспекции, чем ознаменовался сегодняшний день: какого хапугу схватил за руку, где и какие недостатки устранил, кому и чем помочь нормально?

— Что же, это самое, перед тобой могу и похвастаться. Замечательный был день. Не зря прожит. С утра наша бригада народных контролеров дежурила в разных пунктах Северного тракта. Около тысячи машин проверили. И установили, что больше половины проследовало порожняком или со значительным недогрузом. Составили акты и передали в областной Комитет народного контроля.

— Действительно не пропащий день,— сказал я. Смахнул со стола хлебные крошки, вымыл стакан под краном.— Спасибо, сенатор, за угощение.

— Какой сенатор? Что-то не помню, когда и где избирали... Да и не американец я, слава богу, не итальянец.

— Ты сенатор, Егор Иванович! Странно, что ты до сих пор этого не знал. В древнем Риме сенат — совет старейшин. Так что я законно тебя величаю.

— Нет, противозаконно. С виду и по годам я старик, а душой юноша. Правда! Не для красного словца говорю. Не думал я, что такая крепкая жизнь выпадет на мою долю!..

(Продолжение следует)



БОРИС СЛУЦКИЙ

★

ЭТО ПРАВДА

Многого отец не понимал,
например значенья рифмы.
Этот странный молоточек
беспокоил, волновал его.

И еще он думал: хорошо
пишет сын, но слишком много платят.
Слишком много денег он берет.
Вдруг одумаются, отберут назад.

— Это правда? — спрашивал отец,
если сомневался в этой правде,
но немедля вспоминал,
что я с детства врать не обучался.

Сколь невероятна ни была
правда моего стихотворенья,
сердце барахлящее скрепя,
уверял отец, что это правда.

Инженером я не стал. Врачом
тоже. Ремеслу не обучился.
Офицером перестал я быть —
много лет как демобилизовался.

Первым и в соседстве, и в родстве,
и в Краснозаводском районе
жил я только на стихи.
Как же быть они могли неправдой?

НОВОЕ ПАЛЬТО ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Мне приснились родители в новых пальто,
в тех, что я им купить не успел,
и был руган за то,
и осмеян за то,
и прощен,
и все это терпел.

Был доволен, серьезен и важен отец —
всё пылинки с себя обдувал,

потому что построил себе наконец,
что при жизни бюджет не давал.

Охорашивалась, как молоденькая,
все поглядывала в зеркала
добродушная, милая мама моя,
красовалась как только могла.

Покупавший собственноручно ратин,
самый лучший в Москве матерьял,
словно авторы средневековых картин,
где-то сбоку
я тоже стоял.

Я заплакал во сне,
засмеялся во сне
и проснулся,
и снова прилег,
чтобы все это снова привиделось мне
и родителей видеть я смог.

КАКОЙ ПОЛКОВНИК!

Какой полковник! Четыре шпалы!
В любой петлице по две пары!
В любой петлице частокол!
Какой полковник к нам пришел!

А мы построились по росту.
Мы рассчитаемся сейчас.
Его веселье и геройство
легко выравнивает нас.

Его звезда на гимнастерке
в меня вперяет острый луч.
Как он прекрасен и могуч!
Ему души моей восторги.

Мне кажется: уже тогда
мы в нашей полной средней школе,
его

вверяясь
мощной воле,
провидели тебя, беда,
провидели тебя, война,
провидели тебя, победа!

Полковник нам слова привета
промолвил.
Речь была ясна.

Поигрывая мощью плеч,
сияя светом глаз спокойных,
полковник произнес нам речь:
грядущее предрек полковник



ПАВЕЛ НИЛИН

★

ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ

Рассказ

Не понимаю мужчин-алкоголиков. Что это значит — «не могу от-
стать от водки»? Вот, скажем, я. Уж как я безумно любила кино,
даже выразить невозможно. Бывало, хлебом меня не корми, только
показывай мне кино. Некоторые картины я по два, по три, по четыре
раза смотрела. Но как родилась Тамара, тут сразу все оборвалось. А
почему? А потому что, когда воспитываешь ребенка, тем более без
мужа, надо думать в первую очередь о ребенке. И о том, что ему тре-
буется и печенье, и молочко, и конфетки, и туфельки. И стало быть,
нечего тратить деньги на пустяки. Лучше их придержать — на вся-
кий случай. Ребенок — это уж превыше всего.

Хотя многие, конечно, считали, что Тамара — ошибка моей моло-
дости. Я родила ее, когда мне не сравнялось и восемнадцати. И о заму-
жестве, понятно, никакого разговора не было. И не могло быть, пото-
му что Виктор, как говорится, пожелал остаться неизвестным. И уехал
сейчас же куда-то на стройку на Ангару, не сообщив даже адреса.

А я осталась одна с Тамарой в общежитии. То есть не совсем
одна, но почти что одна — с двумя подругами, тоже такими же, как я
тогда, бетонщицами, Галей Тустаковой и Тиной Шалашаевой.

Было это больше двадцати лет назад, но я до сих пор помню все
до мельчайших подробностей, как эти две мои подруги привезли меня
из родильного дома в общежитие. И даже купили по этому случаю
цветы и бутылку красного вина, чтобы самим же ее тут выпить за здо-
ровье моей дочки.

Все было в какой-то, я помню, суете. И больше всех суетилась,
как всегда, Галя Тустакова.

— У нас,— говорила,— внизу, в красном уголке, идет сейчас очень
важное собрание насчет морального облика. Ты, понятно, не пойдешь.
А мне велел Осетров выступить. Позволь, я надену на минутку твои
чулки, поскольку, понимаешь, у меня чулок поехал, спустилась
петля.

— Пожалуйста,— сказала я. И тут увидела вошедшего к нам ко-
менданта Личагина.

— Ну, проздравляю тебя, Антонида,— сказал Личагин. И без при-
глашения налил себе стакан вина из этой бутылки. Выпил, вытер губы
о скатерть, вздохнул.— Но ты,— сказал,— взойди и в мое положение,
Антонида. Ребенок, тем более девочка, это очень хорошо. Но нахо-
диться здесь, в общежитии, по правилам внутреннего распорядка ей
ведь совсем не положено. Она получается для нашего дела как постор-
оннее лицо. После двадцати трех часов, ты сама понимаешь, у нас
тут все должно быть мертво. А ребенок в общежитии в любой момент
может заорать или что угодно сделать. Значит, отсюда какой будет

вывод? Отсюда такой будет вывод, что я должен буду тебя выселить. И как можно скорее...

После этих слов я сидела с моей девочкой очень расстроенная, хотя я, конечно, и раньше понимала, что из общежития мне придется уйти. Но не сию же минуту.

Я была уже готова заплакать, когда с собрания первой вернулась Тина Шалашаева и сообщила еще одну новость. Оказывается, в прениях по докладу о моральном облике выступила раньше всех наша лучшая подруга Галя Тустакова и в виде примера морального разложения привела не кого-нибудь, а меня, которая-де родила без мужа и даже из роддома, мол, некому было ее, то есть меня, забрать.

— А что особенного-то? — даже обиделась на меня Галя Тустакова, когда я ей сказала, кто она такая. — Осетров, — говорила, — еще месяца два назад попросил меня подготовиться к прениям и привести примеры. У меня, — говорила Галя, — вообще-то сперва была наметка коснуться в первую очередь только Катьки Марьясиной, поскольку у нее ребенок тоже ни от кого. Но опять же поскольку она на днях вышла все-таки замуж, я ее касаться не стала и вычеркнула из своей речи. У меня же, — говорила Галя, — вся речь заранее была отпечатана на машинке в стройконторе. Правда, Осетров мне много сократил. А-то, сказал, похоже будет не на речь, а на содоклад. Но все примеры Осетров оставил. И насчет Золотовой Нельки и насчет Зинки Пурьшевой. И конечно, насчет тебя. И ты не сердись. Это же все для пользы дела. Для твоей же пользы. Моральный вопрос сейчас важнее всего. И я должна была выступить, поскольку мне было поручено. А что особенного-то? Это же не секрет, что ты крутилась с этим Витькой Кокушевым. Да если б у меня были твои женские данные, я этого Кокушева Витьку на метр бы к себе не подпустила. На что он нужен, какой-то недоученный слесаришка и, кроме того, питух? Ну что с того, что он в зеленой шляпе ходит и в брюках трубочкой? Как какой-нибудь артист. А теперь из-за этого его поступка ты должна будешь не только выехать из общежития, но, может, даже и лишиться образования. Ты же, — говорила Галя, — не сумеешь в одно и то же время и ребенка воспитывать и учиться хотя бы и заочно. Ну что, неправда?

Получилось так, что Галя говорила правду. Учебу мне пришлось бросить (а я училась хорошо и с большим интересом). И из общежития пришлось выехать. А в деревню к маме я уже не могла возвратиться, вернее не хотела, чтобы по деревне пошли ненужные разговоры на тему как, где и от кого.

Правда, по прошествии некоторого времени я обзавелась собственной комнатой. Но это только легко сказать — по прошествии.

Тамаре было уже семь лет, когда я отсудила эту комнату после смерти одной старушки, у которой я снимала угол, а прописана была по-прежнему в общежитии.

Личагин, комендант, тогда меня выселил, но не выписал. И в этом мне помогла, тоже не надо забывать, Галя Тустакова. Она тогда хорошо припугнула Личагина.

— Я, — сказала она ему, — в случае чего свободно выйду на самогo Осетрова, и он не только оставит ей прописку в общежитии, но и тебя, Личагин, может выгнать. Что это, разве советская власть уже кончилась — женщину-одиночку с ребенком вот так вытряхивать?! Личагин тогда не выписал меня. Наверное, струхнул. К тому же я вручила ему в свое время десятку.

Как бы там ни было и что бы сейчас ни говорить, все-таки я вырастила Тамару. Дала ей кое-какое образование. Хотя она укоряет меня теперь, что я сразу, с первого же класса не отдала ее в англий-

скую школу, как, мол, делали другие предусмотрительные родители. Я, говорит она теперь, с английским языком объехала бы весь мир, могла бы, говорит, даже стать гидом-переводчиком при «Интуристе». Но я считала, что она и так устроена не очень плохо в этом ансамбле песни и пляски, куда она стремилась почти что с детских лет, еще даже не закончив школу, и куда ее в конце концов устроила опять же Галя Тустакова.

— Ух это змея! Она кого угодно незаметно обовьет и проглотит,— сказала когда-то про Галю Тина Шалашаева.

Но как-то так получалось на протяжении почти всей моей жизни, что не Тина, а почему-то Галя встречалась мне, когда я оказывалась в беде. Хотя с Галей и с Тиной мои пути уже давно разошлись.

После рождения Тамары я все время моталась в поисках подходящей работы — такой, чтобы я могла и с дочкой побольше побыть и лучше заработать.

Тамара люто хворала от года до пяти. Это, может, оттого, что Виктор, ее папа, когда я с ним, как по-деревенски говорят, гуляла, очень серьезно выпивал. То есть был, короче говоря, питух-алкоголик, хотя и красавец необыкновенный. И Тамаре достался как бы оттенок его красоты. Но хворала она в детстве долго и по-страшному. Одно время вдруг начала дергаться всем телом. И врачи не могли понять отчего. Сколько я денег из-за этого переносила хотя бы только одним гомеопатам, пока судороги у ребенка не прекратились. И все дни она, понятно, не отпускала меня, плакала, кричала: «Не уходи!»

Чаще я бралась за ночные работы, мыла, например, вагоны и полы на вокзале и в кинотеатре. А за девочкой ночью приглядывала старушка.

Днем, полусонная, я сама занималась с Тамарой, потому что она не захотела ходить в детский садик. Учила ее музыке и пению еще до того, как она пошла в школу. Водила ее к частному учителю — уже пенсионеру. Откуда Тамара и забрала себе в голову стать певицей. Правда, я сама хотела этого. У меня у самой лично была когда-то такая мечта.

Да мало ли о чем я мечтала. Женщина я была еще совсем молодая.

Были у меня, конечно, кое-какие встречи и после Виктора. Был даже некто Ашот, техник по телевизорам, предлагавший законно расписаться. Но Тамаре он не понравился. Она считала, что у него слишком большие мохнатые уши, как, говорила она, у того волка, что встретился с Красной Шапочкой. У Ашота уши действительно отчего-то мохнатые, в черном вьющемся волосе. Но человек он добрый, веселый. И опять — Тамаре не понравилось, что он очень громко хохочет. А главное, Ашот имел неосторожность однажды поцеловать меня при Тамаре. И после этого каждый раз, рассердившись, она кричала мне: «Иди целуйся со своим Ашотом!»

Тамаре в это время шел уже четырнадцатый год. Она уже многое понимала. И я побоялась, что у нас может выйти с ней конфликт. Все-таки дочка была мне ближе всего. И постепенно я отошла от Ашота. Это несмотря на то, что он мне очень нравился. И я ему тоже, надо думать, была не противна. Он мне долго еще писал письма.

А Тамара была мне не только ближе всего, но в ней, как я надеялась (как все мы надеемся, когда думаем о своих детях), исполнятся, должны исполниться мои желания, мои мечты и надежды. То есть, может быть, они, наши дети, думаем мы, достигнут того, чего мы не смогли, не сумели достигнуть.

Тамара, окончив школу, мечтала поступить в ансамбль. И я с ней мечтала. Но в ансамбль ее сперва не приняли. Забраковали.

Тут и подвернулась мне опять уже моя бывшая, что ли, подруга Галя Тустакова, которую я теперь все реже встречала. Но при встрече она всегда в подробностях рассказывала, как живет, как, вернее, преуспевает. Ей, наверно, это приятно было именно мне рассказывать в том смысле, что вот какая она была и какая стала.

И каждый раз после этих разговоров у меня чуть щемило сердце и думалось: может, если б я в свое время не бросила учебу, сейчас я тоже стала бы кем-нибудь в главке, как Галя. Хотя, откровенно говоря, едва ли я дотянулась бы до Гали. Она слишком шустрая в сравнении, например, со мной. Да и зачем сравнивать?

Осетров этот, помогавший ей и выдвигавший ее повсюду, то ли умер, то ли вышел на пенсию, кто его знает. Галя больше не вспоминала его. Она сама заняла уже какой-то серьезный пост, когда я при новой встрече пожаловалась между прочим, что моя Тамара никак не может продвинуться в ансамбль.

— Позвони мне послезавтра, — сказала Галя, — я узнаю, в чем там дело и кто от кого зависит. Скорее всего я этот твой вопрос легко проверну. А что особенного-то?

Дня через два она сказала:

— Пусть Тамара пойдет сегодня к четырнадцати ноль-ноль к такому Алтухову и скажет, что от Галины Борисовны.

— А кто эта Галина Борисовна? — спросила я.

— Ты что? — удивилась она. — Душевнобольная? Я и есть Галина Борисовна. Вы все привыкли по-старому: Галка да Галка. А я давно уже Галина Борисовна. А что особенного-то? И запомни, если чего тебе надо или в чем затруднение, всегда звони мне — домой и на службу. Я старую нерушимую дружбу не забываю. Я была и осталась демократкой. За это меня и любит окружающий народ.

Ну как тут считать — змея Галя Тустакова, как выразилась однажды Тина Шалашаева, или, напротив, не змея?

Она же помогла мне и при обмене одной комнаты на две, то есть на отдельную квартирку. И все вот так, будто между прочим. И обещала:

— Я приеду к тебе на новоселье. Или скорее всего, — смеялась она, — на свадьбу Тамары. Надеюсь, Тамара не промахнется, как ее мама...

Тамара, однако, вышла замуж скорее, чем можно было ожидать, и почти что внезапно для меня.

С нынешним своим мужем, тоже Виктором, как ее пожелавший остаться неизвестным отец, она познакомилась в этом ансамбле «Голубые петухи», где он еще не работал, но куда со временем предполагал, наверно, устроиться.

Он то ли артистом себя считает, то ли режиссером, то ли еще кем, этот Виктор. Ну, одним словом, он приезжий, откуда-то с Урала. И пока на работе еще не укрепился, но уже зарегистрировался с Тамарой. И, понятно, прописался в нашей маленькой двухкомнатной квартирке, которую я, лишний раз повторить, с таким трудом, хотя и с помощью Гали Тустаковой обменяла на ту однокомнатную.

Все-таки сколько новых домов ни строить, жилищный вопрос пока что остается. И, можно сказать, из-за него у нас закипел конфликт. Или не только из-за него.

Но тут я должна сперва объяснить, какой характер в отношении меня развился у Тамары.

Лет до семи, нет, даже лет до тринадцати ей, похоже, нравилось, что я не где-то мою вагоны и вокзал, а работаю теперь, как это официально называется, лаборанткой. Она как будто даже гордилась мной, говорила подругам:

— Моя мама работает в научном институте лаборанткой.

Потом она раза два зашла ко мне на работу, увидела, что я просто мою колбы, склянки, пузырьки, и, может быть, стала стесняться, что ли, что я не научный работник. Однажды сказала (но это ей было уже лет шестнадцать):

— Ты могла бы посвятить свою жизнь еще чему-нибудь.

Мне это было не очень понятно, что это такое и для чего это — посвятить. Я переспросила ее. А она вот так махнула рукой:

— А,— говорит,— что с тобой разговаривать! Ты все равно ничего не поймешь.

Я говорю:

— Как же это я не пойму? Ты понимаешь, а я не пойму? Все-таки я не какая-нибудь тихая дурочка.

— Ну как сказать,— засмеялась она.— Если б ты была не дурочка, у меня сейчас был бы хоть какой-нибудь реальный отец.

Вот так и сказала — реальный. И вы знаете, я не нашлась, что ей ответить.

И с того разговора — это было лет восемь назад — она как бы забрала всю власть надо мной.

Я все еще кормила, одевала ее, старалась даже что-нибудь модное ей сделать. Ходила по домам убираться, чтобы Тамара ни в чем не чувствовала нужды. Я старалась, кажется, изо всех сил, но главной в доме, то есть в нашей двухкомнатной квартирке, почему-то оказывалась уже не я, а Тамара.

И я порой сама чувствовала себя как бы виноватой перед ней, что я, например, не только без мужа живу, но к тому же и не младший научный сотрудник в нашем институте, а всего-навсего лаборантка — мою колбы, склянки и, когда приходится, полы.

Конечно, и этого Виктора Тамара привела к нам в квартиру на постоянное жительство не спросив. Только сказала с улыбкой, положив передо мной заявление в жэк:

— Вот тут распишись, что согласишься прописать на твоей жилплощади твоего зятя, мужа твоей дочери.

— А пропишут? — спросила я.

— А как же смеют не прописать,— почему-то засмеялась она,— если это мой законный муж и я с ним оформлена? Не может же он постоянно ночевать на вокзале...

В то время Тамара уже неплохо укрепилась в этом ансамбле «Голубые петухи». (Их теперь видимо-невидимо развелось. Поют и пляшут, как перед большой бедой.)

А Виктор, как я потом поняла, только числился где-то, но нигде не работал. Или, лучше сказать, работал на дому, но что делал — понять было невозможно, потому что дверь в одну комнату, самую большую, он запирает наглухо и даже заказал для нее отдельный взрезной замок.

Один раз я спросила Тамару:

— Что он делает?

— Во всяком случае, не фальшивые деньги,— засмеялась она.

Хотя смешного ничего не было, потому что тут же она сказала:

— Денег у нас нет. Я знаю, у тебя на книжке есть деньжонки. Дай нам займы сто рублей. Я скоро рожу. Надо бы кое-что в связи с этим прикупить.

Вот так я стала бабушкой — в сорок лет. Даже полгода до сорока еще недобирала. И радости моей не было границ. Я полюбила внука, может быть, даже больше, чем когда-то Тамару. Я бежала теперь

домой с работы просто сломя голову, чтобы скорее увидеть внука, взять его на руки.

Я хотела, чтобы его назвали Николаем хотя бы потому, что я сама Антонина Николаевна. Но Виктор придумал ему имя — Максим. Ну, Максим так Максим. Какая разница? Мальчик получился красивый — крупный, с веселыми, даже чуть озорными голубыми глазами, как у того Виктора, который сбежал и которого полагалось бы забыть навсегда, но он, верите ли, снился мне много лет чуть ли не каждую ночь.

Я сняла с книжки не одну сотню, как просила Тамара, а почти что все, что было у меня, потому что, я вижу, у этого Виктора, отца Максима, только и хватило сил придумать имя ребенку, а коляску и весь остальной приклад надо как-то добывать.

— Все-таки что же он предполагает делать? — насмелилась я спросить однажды Тамару о ее супруге. — Ведь надо бы чего-то делать...

— А он делает, — сказала она. — Но это не вашего ума дело. Он, понимаете, творческий работник. И вам же будет стыдно, когда он что-нибудь такое создаст.

Не могу понять, почему же мне-то должно быть стыдно. Да пусть он, думала я, создает что хочет на доброе свое здоровье.

Всячески я старалась ему угодить. Все-таки это же не кто-нибудь, а муж моей дочери и отец моего внука. А что он там делает за закрытой дверью, и действительно не мое дело. И не мое дело, что он нигде на службе не состоит и поэтому не имеет нормального заработка. Это уж, кажется, их с Тамарой дело. Но опять же не могла я не переживать, что Тамару хотя и похвалили один раз в «Вечерней Москве», а зарплаты-то ее одной на все семейство все равно не хватает. Тем более у них, то есть у Тамары с мужем, постоянно гости. И все народ отборный: этот художник, тот музыкант, этот опять же чуть ли не поэт.

Замечала я, однако, по некоторым данным, что все они — и молодые и, как Виктор, уже не очень молодые — тоже не шибко укрепились в жизни. И хотя многие из них нравились мне, но отчего-то некоторых мне постоянно было жалко.

Наварю я другой раз большую кастрюлю борща с салом, с фаршем, накрошу туда еще сосисок. Едят, хвалят и меня приветствуют.

Ругали они все больше своего брата — артистов, режиссеров, поэтов. А когда выпьют, хвалили чаще всего зятя нашего — Виктора. Вот, мол, кто бы мог по-настоящему сыграть Улялаева, но бездарности, мол, преграждают путь. Кто уж этот Улялаев, но я часто о нем слышала.

Гости Виктора, бывало, хорошо едят, аж душа радуется, глядя на них. И Виктору я по забывчивости наливаю борща, но Тамара сейчас же даже с какой-то злостью кричит мне через стол, что, мол, пора вам, мама, давно запомнить, что Виктор первое не ест. А это значит, ему надо положить два вторых, чтобы он наелся. И учесть, что картошку он не ест. И макароны, и хлеб, и кашу тоже не употребляет. У него диета. Словом, как у народного артиста. И он чувствует себя как народный артист. Но нам-то, окружающим его, Тамаре и мне, это почти что не под силу.

Правда, грех мне еще жаловаться на недостаток сил. Все-таки я женщина, без хвастовства могу сказать, хорошего здоровья.

В субботу и воскресенье, вместо того чтобы с соседками переколочивать ерунду или смотреть опять же у соседей с утра до ночи телевизор, я почти что играючи вымою в двух жэках подъезды и еще за эти два дня зайду в два-три дома убраться в квартирах. Десятка, дру-

гая, третья никогда не бывают лишними в любой семье. А в нашей они сторают, как на костре. Хотя соседки, глядя на меня, вроде завидуют. И до чего, мол, ты жадная на деньги, Антонина, даже в выходные дни берешься за дела, не жалея сил и здоровья. Но ведь не будешь всем все объяснять.

Тамару я к таким делам не приучала. Я ей внушала с детских лет только одно: твое, мол, дело учиться, а дальше, понятно, все придет к тебе само собой.

В детстве, лет четырех, она пристрастилась было шить куклам платья. «Дай мне, мама, нитку, иголку и ножницы». А я боялась, что она нечаянно уколет себя или иголку проглотит. Но она все-таки что-то такое шила. А сейчас чуть ли не пуговицу пришить идет в ателье. И несет туда эту самую пятерку или десятку, которых в доме постоянно не хватает и которую негде взять, если не работать еще где-нибудь. Но многие теперь считают как бы зазорным для себя братья за черновую работу, находясь тем более на службе. Не понимаю, то ли очень гордыми мы все стали, то ли еще что-то с нами происходит.

Вскоре после рождения внука прибыл с Урала папаша Виктора, культурный, не очень еще старый мужчина, но уже пенсионер, бывший заводской мастер, теперь работающий в какой-то мастерской без потери пенсии.

— Сын,— говорит,— не писал нам и не давал своего адреса до тех пор, покуда не прославится. Но мы сами с женой поняли, что нам этого, то есть славы его, может быть, совсем никогда и не дожидаться, а он, как ни вертеть, дитя наше, и без славы он все равно нам дороже всего.

Виктор был недоволен приездом отца. Хотя деньги взял, что привез отец. Разговаривал с отцом очень грубо, тоже как Тамара со мной, в том тоне. что, мол, кто ты, и кто я, и для чего ты явился. И что все, мол, вы можете понимать только материальный интерес: набили брюхо — и довольны.

А со мной отец Виктора разговаривал сердечно и чуть не слезно жаловался — упустили, мол, мы парня еще в самом нежном возрасте. Забил, мол, он себе в башку только одно: хочу быть артистом. И мы с матерью — она библиотекарь — сперва поддерживали его в этом плане: водили в театр, приглашали даже на дом артистов, ну, не из сильно знаменитых, но все-таки вполне толковых, которые, представьте себе, находили в нем талант. Но я сам, говорит отец, имел другую идею. Я хотел и мечтал дать ему в руки сначала крепкое какое-то ремесло, чтобы он имел навсегда свой надежный кусок хлеба, а потом уж, думал я, пусть он выбирает что хочет: хоть театр, хоть кино, хоть там еще что. Я, рассказывает папаша, старался приохотить его к своему заводскому делу. Тем более было ему уже почти что пятнадцать лет. И в школе он учился не ахти как отлично. Наверно, его отвлекали эти театральные мечты. У меня все было по-другому, говорил отец. Я, говорил, в моем еще детском возрасте, будучи фабзайцем в железнодорожных мастерских, после работы, идучи домой, даже чуть будто нечаянно подмазывал себе сажей лицо, чтобы все видели, что идет рабочий класс. Виктор же, напротив, как раз этого и стеснялся. Ну как же, его товарищи кто на газетного журналиста готовится, кто в поэты стремится. И в газетах и в детских книгах, которые мать приносила ему, писалось только о людях редких, возвышенных профессий. А тут нате — он, Виктор, всего только получается рабочий. Нет уж, если работать, так в театре, хоть кулисы и занавесы переносить, стулья переставлять. С этого он и начал. А потом его стали уже натаскивать — сначала в самодеятельности. И, представьте, хвалили. Даже в

газете появилось заметки три, что вот, мол, сын рабочего и сам рабочий проявляет и так далее. Но кое-кто из его друзей уже прорвался в Москву. И Виктору как бы нельзя было отставать. А тут, в Москве, все, оказывается, по-другому. И, похоже, потерялся человек. А он, как ни крутить ни вертеть, сынок мой и у меня, понятно, болит душа.

Говорил мне все это отец Виктора на бульваре при памятнике Гоголю. И, говоря так, часто переходил на шепот, будто страшась, чтобы прохожие не узнали, что случилось с сыном его. А потом сказал, вставая:

— Ну что ж теперь делать — случилось и случилось. Завяз человек. Теперь хоть внука надо уберечь от соблазнов ненужных. Насчет денег я так решил. Пока жив я, пенсию свою буду ему переводить. Нам с женой и того, что мы зарабатываем, хватит. А там видно будет. Может, Виктор еще уцепится за что-нибудь. Я иногда даже твердо надеюсь, что обязательно уцепится...

В это же время, когда отец уехал, Тамара мне сообщила, что к ним или к нам — уж не знаю, как лучше понимать, — должен в воскресенье прибыть Еремеев. Это большой человек в театральном мире. Знакомый Виктору еще по Уралу.

— Надо будет его хорошо принять, не поскупиться, чтобы он видел, что мы не нищие, — сказала Тамара. — Тем более отец Виктора привез деньги. Попробуйте, мама, сделать все как следует...

Ну конечно, если мне дано было такое поручение, я развернулась вовсю. Тут борщом, понятно, не отобьешься. Наготовила я всего, что позволили средства и возможности.

И Еремеев правда приехал. Высокий, будто красивый мужчина с очень нервным, сильно помятым лицом.

Вот сколько я живу на свете, никто никогда ни при каких обстоятельствах не только не целовал мне руку, но не часто и здоровался со мной за руку. А этот Еремеев, войдя в нашу квартирку с низким потолком, вот так развернулся и поцеловал мне руку, отчего я в первую минуту не знала, куда мне девать себя. Ведь все-таки я женщина, можно сказать, дикая, без особого образования, хотя в последнее время и член месткома. И вдруг такой человек, как Еремеев, которого я лично и неоднократно видела в телевизор, целует мне руку вот с таким поклоном и даже стучит каблуками. Этого я, конечно, никогда не забуду.

Еремеев приехал не один. С ним еще были два артиста. «Для хора», как он сам выразился, шутя. Но они все время молча выпивали и закусывали. И только когда сам Еремеев заметно хорошо выпил и начал говорить про какого-то Улялаева, которого может сыграть в Советском Союзе только один Виктор, они, эти двое, стали с шумом поддакивать, говоря, что Виктор, это сразу видно, железный человек, что он железно чувствует правду жизни, что он прямо-таки типичный Улялаев. И откуда взялся, удивляюсь, этот Улялаев? И кто он такой? А может, и не Улялаев. Может, я что-нибудь перепутала. Но я так поняла, что есть какая-то для театра или для кино очень важная роль, которую способен сыграть только наш Виктор.

— Просто на днях буду пробовать тебя на Улялаева, — пообещал Еремеев, еще не очень выпивший.

И при этом он все время говорил, что ему пить нельзя, что у него большая печень и что врачи ему просто категорически запретили выпивать, но изредка он все-таки позволяет себе, чтобы не разрушать компанию. А то, мол, некоторые говорят, что ты зазнался, Еремеев. У него же такая видная работа и в театре, и в кино, и на телевидении.

Мне понравился Еремеев внешностью своей и разговором. Вот это уж действительно артист.

Прошел, однако, год, а он так больше и не появился у нас. И, наверно, не вспоминал о Викторе. Видели мы Еремеева только в телевизоре. Играл разведчика, потом какого-то профессора. Но это уже не имело к нам никакого отношения.

— Халтурщик, — сказал Виктор, посмотрев на него в телевизор.

Тамара родила второго ребенка, опять замечательного мальчика, уже похожего, как говорили, на меня (а я все-таки не уродка). Назвали мальчика на этот раз Николаем, но не в честь моего отца, а в честь отца Виктора, который так и называется Николай Степанович. И хотя он не часто приезжает в Москву, но деньги на содержание семейства сына, то есть свою пенсию, полностью переводит, как обещал, ежемесячно.

Говорят, что до тридцати лет время идет медленно и не очень заметно, а после тридцати стучит, как счетчик на такси. Я это хорошо чувствую. И вижу, как все меняется вокруг меня.

Уже и некоторые из тех товарищей Виктора, что ходили к нам, постепенно уцепились за что-нибудь. Один вдвоем с товарищем нарисовал картину «У огненных печей», о чем даже было в газете. Другой удачно снялся два раза в кино в толпе. Третий еще чего-то такое сотворил. Ведь работы много. Работай сколько хочешь. Но чего греха таить, не все, я давно замечаю, далеко не все хотят работать.

И наш Виктор все раздумывает. Не сказать, что он лодырь. Целый день он читает какие-то книги и даже что-то пишет, но все это на дому и без последствий. Правда, в неделю раз или два он ездит на киностудию, но толку — чуть.

А время идет. И уходит. Скоро уже дети его в школу пойдут.

...— Вы понимаете, что такое сила воли? — спросил меня отец Виктора, когда мы сидели тогда вечером на бульваре у памятника Гоголю. — Сила воли — это такая вещь, без которой человек не человек. А где ее взять, если ее нету, этой силы воли? Виктора, например, только она могла бы спасти и вывести из этого туманного его состояния. Он сейчас, может, рад был бы бросить все эти детские затеи и пойти на какую-нибудь нормальную работу. Не дурак же он от рождения. Но силы воли ему не хватает. Не хватает силы воли, чтобы оторваться от нынешнего своего состояния, подавить свою гордыню и заняться каким-то обыкновенным делом, чтобы дети его впоследствии тоже видели, что их отец на своем месте. Ну, словом, чтобы дети, как положено, уважали отца. А то ведь что-то опасное получается...

И я, слушая отца Виктора, почти точно так думала. И тревожилась все сильнее. И уж не о деньгах тревожилась, которые все время будут нужны в семье, а еще о чем-то, что даже не полностью понятно мне...

Утром, собираясь на работу, я часто смотрела, как Виктор ест яичницу (это главная его еда) и читает газету. Ему обязательно надо что-нибудь такое читать, когда он ест, чтобы занять или отвлечь свои мысли, как читает Тамара. И она подражает ему: тоже берет книжку, когда ест, но это чтобы не разговаривать со мной. И вот однажды утром будто черт меня дернул пошутить.

— Человек, — говорю, — и зверь, и пташка — все берутся за дела. С ношей тащится букашка. За медком летит пчела... А почему? Потому, — говорю, — что всем есть-пить надо. И каждый тащит хоть какую-нибудь ношу. Хоть человек, хоть букашка...

Как Виктор бросит газету, как отодвинет сковородку с яичницей, как закричит:

— Мне надоели эти ваши вечные дурацкие намеки! Мойте ваши колбы, но не лезьте в мои дела! Я хочу иметь хоть какой-нибудь покой в своем доме!

Ну, я не стала вспоминать, чей это дом. Просто пошла на работу. А на следующее утро Тамара мне говорит:

— Почему бы вам, мама, не поехать пожить хоть некоторое время у тети Клары? Ведь все это кончится нехорошо. Виктор теперь просто кипит против вас. Ведь он может уйти и бросить меня. Неужели вы хотите, чтобы мои дети остались без отца, как я осталась по вашей милости?

И при этих словах Тамара вот так округляет глаза, почти точно как это получалось у Виктора, у ее неизвестного отца, когда он чему-нибудь удивлялся или возмущался чем-нибудь. Последний раз, мне помнится, он сделал такие глаза, когда узнал, что я беременна. «А я при чем?» — спросил он и даже чуть выкатил свои красивые голубые глаза. «Ну как же при чем, Витусик? — сказала я. — Я же только с тобой, Витусик...» «Витусик, Витусик, — передразнил он. — Откуда я знаю, с кем ты еще, кроме меня, гуляла. У вас тут в женское общежитие много всякого народу приходит...» При этих словах я растерялась, почти точно как после слов Тамары.

— Хотите, я сама поговорю с тетей Клавой, если вам неудобно? Может, она вас приютит. Конечно, будете к нам приходиться...

Тамаре я ничего не ответила. Не нашлась, что ответить. Хорошенькое дело — поехать к тете Клаве. Да с какой стати? У нее одна комната и молодой муж. И она мне ничем не обязана.

На следующий день я задержалась на работе, все время раздумывая, что мне делать. Наконец я спросила заведующего хозяйством, не могу ли я остаться в институте переночевать, так как у нас в квартире начался большой ремонт. Неудобно же сказать, что дочь родная почти что гонит меня из моего дома.

— Пожалуйста, — сказал заведующий, — ночуй сколько хочешь. Только не в кабинетах, а где-нибудь в лаборатории или в подсобках.

Первая ночь в обезлюдевшем институте мне показалась страшной. Крысы, которых днем почти не слышно, как они живут в закрытых клетках, в ночи ужас шумят, будто переговариваются или переругиваются перед дракой, а может, уже дерутся, потому что клетки скрипят.

Человек, однако, ко всему привыкает. На вторую ночь я уже не боялась и не беспокоилась. Только думала: неужели Тамару не встревожило, что ее мать не вернулась с работы? Может, она решила, что я все-таки поехала к тете Клаве, то есть к старшей моей сестре?

А как там внуки? Все-таки со мной, наверно, им было не то что лучше, но веселее. Часто я сама отводила их в садик и сама забирала перед вечером. И после ужина перед сном читала им сказки. Или делала вид, что читаю, а рассказывала от себя, что слышала в своем деревенском детстве.

Неужели без меня Тамаре и Виктору будет спокойнее, чем при мне?

Прошло, однако, дней восемь, но никто из родных меня не хватился. Неужели никому я не нужна?

Очень жаркое лето подходило к концу, когда однажды в полдень в нашем институте появилась Галя Густакова.

— Ты чего тут делаешь? — будто удивилась она.

И больше ни о чем не спросила. Даже не расслышала, может, что я ей ответила. Прошла прямо к директору. А потом все-таки разыскала меня, хотя я выходила во двор, выносила в мусорные баки мокрые опилки из-под морских свинок. Тут, во дворе, она мне быстро рассказала, что работает сейчас где-то старшим методистом, а муж ее в Академии наук. Я только спросила:

— Он что — ученый?

— Да нет, — отмахнулась почему-то сердито Галя. — Ну, словом, он не хуже другого ученого. У него все в руках. А что особенного-то? Вот сейчас мы с ним едем в Сочи. Кстати, не хочешь у меня подомовничать? Можем сию минуту ко мне подъехать. Я как раз свободна, — она посмотрела на ручные часы, — до четырнадцати часов.

— Но я же сейчас на работе, — сказала я.

— Ну, это пустяк, устроим, — засмеялась Галя. — А что особенного-то?

И сказав что-то нашему заведующему хозяйством, повезла меня на своем «Москвиче» к себе домой на Ломоносовский проспект.

— Ты понимаешь, какая получилась дикая ситуация, — говорила она, сидя за баранкой. — Нельзя найти или очень трудно найти подходящего человека, чтобы, например, убраться в квартире. Эта фирма «Заря» только налаживается. И у нее тоже не все благополучно с кадрами. Все, понимаешь, хотят быть господами. Мало кто хочет делать черновую ручную работу. Я очень рада, что встретила тебя. Ты можешь меня сейчас сильно выручить, поскольку мы с мужем уезжаем. И у нас, понимаешь, просто горят путевки. Ну просто горят, понимаешь? И ты должна меня выручить...

Вдруг мне вспомнилось в этот момент, как когда-то, больше двадцати лет назад, вот так же нервно, в суете Галя попросила у меня на минутку чулки. И надела их очень быстро, не сомневаясь, что у нее сейчас более важные дела, чем у меня, и новые чулки ей поэтому нужнее. Но тогда была все-таки другая Галя, даже более суетливая и не такая полная, дебелая, в крашенных волосах, затейливо взбитых на лбу.

— А вон и мой дом, — показала она на высокое здание с башней. И засмеялась: — Правда, я пока не весь его занимаю, а только четыре комнаты... Заходи. — Она отомкнула два врезных замка в обшито́й красной кожей двери на шестом этаже.

Но только я ступила на цвета яичного желтка лакированный пол передней, как на меня не с лаем, а с каким-то взвизгом двинулась никогда до той поры не виданная собака ростом, наверно, с доброго ослика и такой же грязно-пепельной масти. Я вскрикнула.

— Да не бойся, дурочка, — опять засмеялась Галя. — Не укусит. Это добрейшее животное. Она мне как подруга, даже лучше других подруг...

— Но зачем она тебе?

— Как зачем? Ты что, не любишь животных? Как странно. Как раз сейчас идет борьба за охрану биосферы. Я же тебе говорила, я работаю старшим методистом. Это как раз по моей части. Охрана среды — это в первую очередь. Ты что, даже газет не читаешь? А радио?

— Ну а собака-то? — Я все-таки посторонилась от собаки, обнюхивающей меня. — Собака-то зачем?

— А собака — это как раз и есть животный мир, — стала объяснять Галя. — Это как лес и вообще — биосфера. То есть среда...

Объясняя, она вела меня по квартире, показывала кухню, санузел, встроенные шкафы. Все облицовано красивой разноцветной плиткой, обклеено особой пленкой, заменяющей обои.

— А это Павел, — показала Галя на красивый шкаф, плотно набитый книгами.

— Павел? — удивилась я. — Кто же это?

— Павел, дуручка, это был такой царь, — снова засмеялась Галя. — При том царе делали особую, по его вкусу мебель. Ну а сейчас она как будто опять в моде. Надоел же всем стандарт. Нам-то эти шкафы достались почти в обломках. Но нашелся реставратор. За хорошие деньги. Кстати, не хочешь выйти замуж?.. А это уже югославский гарнитур, — продолжала показывать Галя, не ожидая моего ответа. — Тоже безумно дорогой — и все-таки по благу...

— Ну а кто читает эти книги? Ты или муж? — спросила я. — Ведь это за всю жизнь не перечитать.

— А что особенного-то? Это подписные издания, — почему-то слегка смутилась Галя. — Читаем. И есть на что посмотреть.

Невольно я вспомнила, как жили мы когда-то в общежитии по шесть девушек в одной комнате — кровать к кровати почти вплитык. А тут — великолепные зеркала чуть ли не во всю стену.

— Как ты, Галя, все это сумела за такой вроде короткий срок?

— А очень просто, — засмеялась Галя. — Жить надо боевито, с огоньком. С живинкой в теле. И не зевать. Ну давай садись, поговорим по делу. Главное для меня сейчас — собака. Запомни, ее зовут Вика. Во-первых, она очень дорогая. За нее заплачены большие деньги. А во-вторых, она сейчас беременная, готовится производить потомство...

А ты? — хотела я спросить Галя. Но не решилась. Побоялась, что она обидится. Однако странным мне все-таки показалось, что в такой большой квартире нет детей. И, наверное, не предвидятся. Гале, как и мне, уже хорошо за сорок.

— Так вот насчет собаки, — продолжала Галя. — Ей требуется не просто еда, а набор еды. Ну, это я тебе оставляю список и деньги. За мебель я не так беспокоюсь, как за животное. Хотя мебель у нас, ты сама видишь, уникальная. Мы ее собирали по частям и вот создали кое-что постепенно. Нам помог тут один интересный мастер. Да, кстати, я тебя уже спрашивала — ты не хочешь выйти замуж? Поздно? А ты подумай. Могу дать адрес. Ой, я, кажется, опаздываю, — спохватилась она. — В четырнадцать тридцать меня ждет народ...

Сели мы опять в ее «Москвич», чтобы доехать сперва до моего института, а потом она поедет дальше по своим делам. И тут, в автомобиле, я почувствовала себя неловко. Зачем, думаю, морочить голову? Ведь никогда я не буду воспитывать ее собаку. Просто не могу я это, не умею. И не хочу. А сказать прямо мне было неудобно. И я сказала, вылезая у института:

— Знаешь, Галя, я подумаю.

— О чем подумаешь?

— Ну, о твоём предложении домовничать. Как-то я боюсь, что не справлюсь.

— Странная ты, — сказала Галя почти сердито. — И всегда была странная. Я же тебе плюс ко всему хорошо заплачу.

— А мне не надо, — сказала я. — Я и так хорошо получаю.

— Ну что там хорошо ты получаешь, — засмеялась Галя, и опять со злом: — А я хотела познакомить тебя с человеком. Он тоже отчасти странный, как и ты. Но в него надо взглядеться. Могу дать тебе адрес. Запиши. Да вот...

Она вынула из-под козырька машины замусоленную записную книжку, должно быть с адресами, и списала оттуда адрес в свой блокнот. Потом вырвала из блокнота листик и протянула мне.

— Жаль, конечно, — сказала она, — что ты не хочешь или не можешь...

— Не могу, — подтвердила я.

— Но насчет этого человека подумай.— Галя посмотрела в автомобильное зеркальце, чуть взлохматила волосики на лбу.— Я, понимаешь, ему пообещала, что поговорю с тобой. Дала небольшую устную тебе характеристику. Все-таки у нас уже старая с тобой нерушимая дружба. И у тебя, я считаю, много хороших качеств. Если б ты осталась у меня поддомовничать, я была бы спокойна. Ну не можешь — не можешь, не надо. Значит, с этим вопросом все. Еще кого-нибудь поищу. Свято место не бывает пусто. А ты подумай о человеке. Очень занятый человек. Только в него надо взглядеться,— еще раз повторила Галя.

И уехала.

Несколько дней, вернее ночей, я раздумывала, ютясь на раскладушке под лестницей в нашем институте, как мне дальше быть, куда деваться.

Дочь родная так и не хватилась меня.

И тут я решилась. Даже не знаю, как это я решилась написать этому якобы жениху, проживающему будто бы в собственном доме на Куминке. Другая женщина в моем положении, наверно бы, сразу поехала на эту самую Куминку, чтобы разведать на месте что и как. А я только подумала: а что, если я напишу ему как бы просто для смеху? Получится или не получится? И, ни на что особенно не надеясь, отправила не очень длинное письмо и приложила свою фотокарточку, оставшуюся от получения паспорта. Так, мол, и так, слышала от некой Тустаковой Галины Борисовны, будто бы знакомой вам, что вы желаете в настоящее время вступить в законный брак, то есть нормально расписаться в загсе с порядочной женщиной ниже средних лет, умеющей вести хозяйство, а также работать на огороде. Так вот, мол, я и являюсь точно такой женщиной, как вы можете видеть на прилагаемой фотографии. В случае, пишу, вашей заинтересованности или даже согласия просьба ответить по указанному адресу и представить также ваше, если не затруднит, фото. Марку и конверт для ответа с моим адресом прилагаю. Адрес я дала, конечно, своего института.

Говорят, не только за границей, но и у нас раньше были газеты для такой вот как бы интимной переписки. И, кажется, нету ничего ужасного в этом, но я, откровенно скажу, не сильно верила, что получу ответ. Просто вот так положила на благих святых.

А между прочим, деваться мне уже было некуда. Один раз, когда я позвонила Тамаре по телефону, она разговаривала со мной кое-как и как бы сквозь зубы. В самом деле хоть поезжай к тете Клаве, то есть к моей сестре.

Весь асфальт в переулке, где находится наш институт, уже усеян был спаленными солнцем листьями. Надвигалась осень. А я все еще пребывала на птичьих правах...

И вот в таком раздумье дней пять спустя получаю я ответ даже с некоторой, как подумалось мне, обидой: «Зачем же вы затрудняете себя в отношении прилагаемой марки и конверта? Я еще, слава богу, сам вполне способен оплатить почтовые расходы». И так далее. И так далее.

Переписывались мы подобным способом, наверно, недели две. Потом после настойчивого приглашения собрала я некоторые свои вещички в небольшой узелок и поехала к нему на Куминку. Риск небольшой и расход невеликий: около рубля туда и обратно на электричке.

Приезжаю, выхожу, иду по ходу электрички еще километра полтора назад, как было указано в его письме, ищу нужный адрес. И не

нахожу. Одним словом, нету такого адреса. А время уже к вечеру. И день очень хмурый, но для меня удобный: впереди два выходных дня.

По синему небу ползут бело-серые облака, а за ними тяжелая черная туча во весь оком. Ну, думаю, попала в поездочку. И мало ли что может случиться в незнакомом месте в вечернее время. Но тут мне навстречу идет старушка и, выяснив мое затруднение, говорит:

— А вон через тот пустырь вы не переходили? За тем пустырем будет свалка. А за свалкой еще один дом на отшибе, почти под откосом. Кто знает, может, там и проживает нужное вам лицо.

И правильно. Перешла я через разные буераки, по мусорным горам, по битым бутылкам, по раздавленным кастрюлям и консервным банкам, гляжу — действительно домик одинокий стоит и за ним кусты и за кустами опять домики.

Подошла я вплоть, поднялась по трем новым ступенькам из свежего неструганого теса и увидела, как может быть в кошмаре, в открытую дверь мужчину на лавке, будто вышедшего из дремучих лесов: очень страшного, давно не стриженного, не бритого, в длинной грязной рубахе, без опояски. Понятно, обомлела я в первую минуту, но все-таки говорю:

— Ефима Емельяновича, извините, пожалуйста, где бы я могла увидеть?

А мужчина этот так весело, широко улыбается и отвечает:

— Я он самый и есть — Ефим Емельянович. А вы, извиняюсь за нескромный вопрос, Тоня? Как же, как же, я вас вот именно поджидал. Но уверен был почему-то, что вы приедете минимум послезавтра. И я бы вас встретил не в таком внешнем виде, как у меня сейчас, в настоящее время. Это ж можно даже напугать женщину...

— Внешний вид, — нашлась я сказать, — вообще-то для мужчины не имеет особого значения.

— Но все-таки, — засмеялся он. — Да вы садитесь, пожалуйста. Вот сюда, к свету, чтобы я вас лучше разглядел. Вот у вас внешний вид даже очень приятный. Даже много лучше, чем на фотокарточке. А я, вы знаете, тут возился на огороде, потом приболел. И вот провалялся три дня. А сегодня уже совсем здоровый. И только что хотел привести себя в порядок. Вон грею воду...

И я, увидела за дощатой загородкой в маленькой кухоньке газовую плитку и на ней два аккуратных бачка.

— Газ у меня, к сожалению, привозной, — стал объяснять Ефим Емельянович, не вставая с лавки. — А воду в дом вот все еще никак не словчусь провести. Живу, выходит, не по современности, — улыбнулся он. — И даже телевизора у меня по сию пору нет...

Улыбка у него привлекательная. Это сразу заметила я. Глаза зеленые, как бы вспыхивают при улыбке. Но одного уха, мне показалось, нету.

— Комнаты у меня тут две, — продолжал он. — Но я имею сейчас небольшую фантазию пристроить верх. Чтобы наверху, на втором этаже, была спальня. По-научному, как считают мои знакомые медики, спать всего полезнее вот именно наверху. Вы не стесняйтесь, снимайте ваш свитерок. Здесь тепло. Отдыхайте. Я сейчас мигом помоюсь. Вода уже нагретая. Приведу себя в порядок. Будем чай пить...

Опираясь обеими руками о стол, он поднялся. И сию минуту что-то заскрипело, залазгало. Я не сразу поняла, что у него искусственная нога.

— Может, я вам в чем-нибудь помогу?

— Не надо. У меня тут все хорошо приспособлено. Как-то же я обходился, когда вас не было, — опять засмеялся он. И зашел за дощатую загородку, закрыв за собой дверь.

Я услышала, как булькает, как льется вода, как скрипит и лязгает на ходу искусственная нога, как она, должно быть, упала, отстегнутая.

Конечно, по-хорошему-то я могла бы ему помочь. Но неудобно как-то. И неловко сидеть в чужом, незнакомом доме, ожидать, когда странный какой-то мужчина, смешно подумать, мой жених, вымоется. И уйти теперь неудобно.

Все-таки я вышла на крыльцо. И вдруг услышала:

— Уж если помогать, так помогать. Секрета большого нету. Потрите мне, Тонечка, спину.

В загородке недалеко от газовой плитки стояла большая белая ванна, какие обыкновенно стоят в ваннных комнатах, но с закупоренной вводной трубой. Мой жених (а как же его теперь назовешь?) сидел в ванне с уже вымытой, видать, головой и причесанными волосами.

В самом деле, все было очень странно. Я, совсем ему незнакомая женщина, просто чужая, без стеснения взяла из его рук намыленную мочалку и стала тереть ему спину. На груди у него было наколото над распластанным орлом синей тушью, что ли: «Не жди удачи». И по левой руке тоже шла какая-то надпись.

После, когда он побрился не электрической, как мой зять, а немодной опасной бритвой, мы сели пить чай. И у меня уже было на минутку такое чувство, будто я когда-то давно здесь жила и вот опять приехала,— так просто он со мной разговаривал, точно мы уже заранее обо всем договорились.

Искусственную ногу, «казенную», как он ее назвал, он уже больше не пристегивал. Из загородки вышел, опираясь на костыль, в белой рубашке и в черном костюме. Вынул из шкафика, висевшего над обеденным столом, початую четвертинку, перелил водку из нее в графинчик, поставил на стол. Из холодильника достал большой кусок сала, огурцы соленные, зеленый лук.

— С легким паром вас, Ефим Емельянович,— сказала я.

— Вот именно, спасибо,— сказал он и, отставив костыль, сел за стол, придвинул к себе табуретку, на которую хотел, чтобы села я рядом с ним.— Ну давайте, Тонечка, выпьем за наше знакомство.— Очень аккуратно разлил водку.

Водка была, наверно, не из самых лучших. Меня аж всю передернуло, когда я подняла стаканчик, чтобы пригубить хотя бы из вежливости.

— Что это? — удивился он.— Не пьете? Не нравится разве?

— Я вообще не пью.

— О! — сказал он. И как будто обрадовался.— Вот это хорошо. Я сам выпиваю. А сильно пьющих даже мужчин не уважаю. А женщина, если начнет выпивать, ее очень просто и на курево может потянуть. А если женщина курит, это, по моим понятиям, уже не женщина, а, извиняюсь за выражение...

Мне этот разговор не понравился. Я подумала: ноги нет — это еще ничего, и уха нет — тоже можно обойтись, но со старообрядцем жить — скука. Правда, ухо он, причесавшись, как-то ловко прикрыл волосами. Если не приглядываться, так и не сразу заметишь, что ухо сверху разорвано. А вот разговор мне даже очень не понравился. Я женщина, чего скрывать, уже не очень молодая. Рассчитывать на то, что меня кто-то еще может полюбить, я не могу. Но все-таки я человек на деле. Свой кусок хлеба у меня всегда в руках. И в конце концов, если завтра я приду к заведующему и поставлю вопрос ребром, что мне жить негде, меня как старую работницу уж койкой-то за загородкой хотя бы временно всегда обеспечат. Не должна я нуждаться, чтобы какой-то еще неизвестный мне старообрядец обучал меня

на тему курить женщине или не курить, пить водку или воздерживаться.

Ах, дура я, дура, польстилась на что — на жалкий домик какой-то на свалке! Бросила внуков и помчалась куда-то, будто меня дьявол поманил. Хороша бабушка-кукушка. Ну что с того, что меня зять не переносит, можно ведь и зятя в любое время окоротить.

Я опять надела свитерок — к вечеру тем более стало свежо — и собралась было уходить. Но он сказал с приятной своей улыбкой:

— Что это вдруг? Ни о чем еще не договорились — и вы уже хвост елкой... Ведь мы же были не один день в переписке. И сейчас вы вот так, на ночь глядя, поедете. Да и дождь собирается. А я вас даже проводить в этот момент не могу. Или вас расстроили мои показатели? Разве я вам не писал, что я об одной ноге?

— Об этом вы, конечно, не писали. Но это и не имеет значения.

— Но что же в таком случае имеет?

— Душа, — сказала я.

Даже сейчас не могу понять, почему я тогда так дерзко сказала.

— А что же, вы считаете, что у меня души нет?

Тут я растерялась. Действительно, как на это ответить? И для чего я завела этот ненужный разговор?

— Видите ли... — сказала я.

И больше ничего не успела сказать. Ударил гром, да такой страшный, раскатистый, что, казалось, задрожал домик. И засверкала, рассекая небо, молния.

— Ах хорошо! — схватил костыль Ефим Емельянович, когда застучал, загредел дождь по крыльцу, по железной крыше, по стеклам окон. — Ах, благодать какая! Давно его ждали. Ведь сушь невозможная. — И он как заплясал с костылем. — Ну, теперь вы, Тонечка, у меня в плену. Дождик-то, глядите, с пузырями. Стало быть, минимум на всю ночь. Куда же вы денетесь?

Тут я сильно удивилась и даже испугалась, как он вскочил на очень высокую табуретку, стоящую у стены. И, стоя на одной ноге, не опираясь на костыль, стал снимать с антресолей раскладушку. Ну, думаю, грохнется сейчас, и конец ему. А что я буду тогда с ним делать? Ведь может разбиться насмерть.

— Да зачем? — говорю, уже догадавшись, что он хлопчет для меня. — Я все равно уйду.

— Нет, попалась, птичка, стой, не уйдешь из сети. Не расстанемся с тобой ни за что на свете.

Вот так стоит он на одной ноге на табуретке с раскладушкой в руках, прислонив ее слегка к стене, и почти что поет:

— Нет, не пустим, птичка, нет. Оставайся с нами. Мы дадим тебе конфет, чаю с сухарями.

Пришлось мне переночевать. Он улегся на раскладушке, а меня устроил на кровати в другой комнате, объяснив, что после выпивки он ночью иногда всхрапывает. А это, говорил, для первого знакомства может создать нежелательное впечатление.

И все это говорил с улыбкой. А дождик стучал, гредел, хлопал.

— Это он для нашего огорода старается, вон как хорошо поливает, — радовался Ефим Емельянович, глядя в окно на дождик. — У меня как раз сейчас с водопроводом затруднение. Все не могу наладить трубу.

Утром он проснулся раньше меня, сварил картошку, опять нарезал сала, поставил большую тарелку то ли творогу, то ли сыра, вскипятил чайник, заварил чай. И в домике хорошо запахло крепким душистым чаем.

— Вас, Тонечка, вечером вчера разговор мой утомил, расстроил. Вы подумали, что у меня не только ноги нет, но вот именно и душа отсутствует. Ведь так, верно, вы подумали? — будто ввинчивал он в меня свой взгляд. — А душа у меня как раз имеется. А если б не было ее, мне давно было положено помереть. Ведь человек помирает отнюдь не тогда, когда отказывает сердце, а когда затухает душа. Другой раз ноги еще идут, а человек уже почти что помер, потому что потухла в нем душа и прекратилось желание.

Тут я насмелилась его спросить насчет надписи, наколотой у него на груди:

— В каком смысле это надо понимать — «Не жди удачи»?

— Ох какая вы глазастая, Тонечка, — засмеялся он. И тотчас же стал вроде печальный. — Это мне в моих молодых годах в тюрьме накололи...

И замолчал. И мне стало как-то неловко. Но все-таки не без робости я спросила:

— Неужели вы и в тюрьме побывали, Ефим Емельянович?

— А где ж я только не побывал, спросите меня, Тонечка, — вдруг опять отчего-то засмеялся он. — Я и в цирке толкался. И на флоте служил. И в тюрьме два раза отбыл. Что ж тут хитрого? Правда, потом признали, что ошибочно. Я приглашен был два раза в тюремные замки... А на эту протекшую войну меня по слабости здоровья из буровых мастеров только в пехоту взяли. На флот я уже не годился, хотя все еще был о двух ногах...

И опять он замолчал, мешая ложечкой в стакане.

— Но вы мне все-таки не объяснили, Ефим Емельянович, как эту надпись-то на вашей груди надо понимать? «Не жди удачи». Значит, что же, выходит, не надейся?

— Нет, не так, — улыбнулся он. — Вот я сказал — вы глазастая, но оказывается, преждевременно вас похвалил. Вы глазастая, но не очень. Ведь дальше-то наколото — «Лови ее». То есть удачу. Не ленись, стало быть, не отдыхай — лови. Вот я всю жизнь ее и ловлю. С молодых лет и до сей поры. И, бывало, мне казалось, вот уж будто ухватил я ее, ан нет. Она выскользнула, удача-то. У нее хвост слишком скользкий. А я ее все равно ловил и ловлю...

Он встал из-за стола легче, чем вчера, — уже не опираясь о стол. И казенная нога его не скрипнула и не лязгнула. Если не приглядываться, так, пожалуй, и не заметишь, что он на казенной ноге. А я и не приглядывалась. Я смотрела на его лицо, на глаза, вдруг вспыхнувшие то ли злобой, то ли радостью.

— Вы, Тонечка, может быть, думаете: вот человечек толкует об удаче, а сам живет возле свалки. И находится при одной живой ноге. И тем более — в преклонных годах, когда эта, как говорил наш капитан, Мадам с косою уже бродит вокруг него и только подгадывает момент, чтобы скосить его. Ведь так вы думаете?

— Да что вы, господь с вами, Ефим Емельяныч! С чего вы взяли? Ничего-то я такого не думаю, — сказала я.

— Вот это правильно вы выговариваете — Ефим Емельяныч, — опять обрадовался он. — Ведь вокруг меня не только Мадам с косою бродит, а еще много другим дам. Несмотря что я живу на свалке. И свалка тут ни при чем. Ее скоро уберут. Уже есть решение. Тут садик будет, сквер. И огороды. А женщины, то есть дамы, почему на меня и сейчас внимание обращают? Потому что, если муж умирает, про жену говорят — вдова, а если жена умерла, муж считается все равно жених. И женщины поэтому разные вокруг меня ходят. Ведь женщины такая нация, они кого хочешь во что угодно вовлекут. А я все-таки, как говорил вам, ловлю удачу. И на двух ногах ловил. И на

одной ловлю. И мне нужна подруга жизни не хуже той, что у меня была. Умерла она в позапрошлом году в московской больнице от невнимания медицинского персонала. А у нас еще было двое детей — Котя и Стасик. Но обоих сожрала война, а меня вот только покалечила. И остался я один, как вы заметили, возле свалки, инвалид. Но женщины, несмотря ни на что, атакуют меня как я не знаю кто...

Тут я сама вскипела.

— Да вы что, — говорю, — думаете, Ефим Емельяныч, что лично я вроде того что тоже, как бы сказать, набиваюсь...

Правда, всех этих слов мне полностью выговорить не удалось. Он перебил меня с улыбкой, говоря:

— Вы погодите, не горячитесь. Вы послушайте сперва, что я скажу...

— Но я не понимаю, как вы можете, — уже обиделась было я. — И вообще не понимаю...

— Тем более надо послушать, — потрогал он меня за руку.

— Я, правда, слышала, что вы странный человек, Ефим Емельяныч, — уже не могла успокоиться я.

А он опять как бы обрадовался:

— Вот и сейчас правильно вы сказали, именно Ефим Емельяныч. Запомнили твердо и так вот держитесь. А то вот недавно какой случай был. Прибывалась ко мне одна женщина, на взгляд симпатичная и в еще небольших годах, лет этак сорок — сорок два. Но только она выпила со мной четвертинку и сразу, с ходу начала меня называть Фимой, как будто я кошка или собака. А потом говорит: «Позволь, Фима, я закурю». Нет, подумал я, у нас с тобой дело не пойдет. А мне надо, чтобы дело шло, чтобы она, жена моя, ловила со мной удачу хотя бы до часа моей смерти. И чтобы она понимала что к чему.

Он прошелся по квартире, распахнул все окна, вышел на крыльцо.

— Вот глядите, Тонечка, какое солнышко опять вышло. Красота!

И сказал это так, будто и солнышко его собственное, будто он придумал его и только здесь оно сияет первозданно для всеобщего удовольствия.

— Ведь я отчего за эту мою хибарку держусь? — будто спросил он меня. — Да оттого что здесь я сам как бы на своем месте. У меня тут и садик и огород. И гараж.

— Гараж? — невольно переспросила я.

— А как же? У меня в нем машина, — сказал он. И засмеялся. — Вы не обращайте внимания на мою ногу. У меня машина дареная, от властей, с ручным управлением.

В этот момент кто-то завозился в дощатом сарайчике недалеко от крыльца, рядом с уборной, выкрашенной в две краски, черную и малиновую.

— А тут у меня козочка Феня, — показал Ефим Емельянович на сарайчик. — Вы творожок сейчас кушали. Это от нее, от Фени. У нее и дочка есть — Верочка. А тут вот, — он потрогал большую проволочную клетку, — грач у меня живет. Тоже вот, видите, как я, об одной ноге. И тоже, как мне, ему некуда деться.

За домиком я увидела маленький садик и крошечный огород.

— Швейцария, — засмеялся Ефим Емельянович. — Недавно доктор знакомый, тоже инвалид, ко мне приезжал. Это он сказал. У тебя, говорит, тут полная Швейцария. А это вот мой гараж.

Гараж показался мне похожим на огромный железный ящик малинового цвета.

— Это флотский сурик, — сказал Ефим Емельянович. — Такая замечательная краска. Я ею и низ машины прокрасил. Только трудно ее доставать...

И вроде пустяк — разговор о краске, но я как-то по-особенному

почувствовала себя, будто он сообщил мне о чем-то, о чем сообщают далеко не всем. Такой у него был тон.

У гаража вровень с ним стояло два столба, а между ними на большой высоте водопроводная, что ли, труба. И раньше чем я спросила, зачем это, Ефим Емельянович вдруг подпрыгнул и ухватился за эту трубу. Если б кто-нибудь мне сказал, что человек, которого я видела вчера в этом домике, страшный, старый, об одной ноге, может вот такое выделывать на трапеции, я бы никогда не поверила.

— Я ж вам говорил, что я еще в детские годы в цирке толкался, когда беспризорником был,— весело стал рассказывать он.

А глаза блестели, дышал тяжело, даже тяжко и прихватывал себя за грудь, будто хотел утишить сердце.

Мы присели тут же у гаража на скамеечку. Все маленькое здесь, не новое, но какое-то аккуратненькое, даже, кажется, свежепокрашенное.

— Еще, словом, в детские годы,— рассказывал он,— пристал я к одной цирковой труппе. Смерть как мне хотелось стать циркачом. Ездил я с этой труппой по городам. Чистил конюшни у цирковых лошадей. Делал все, что велели. Потом стали подучивать меня на акробата. И я уже стал кое-что кумекать в этом деле. Даже, можете поверить мне, Тонечка, к четырнадцати годам я уже много что умел. В Ленинграде в цирке меня выпускали уже с хорошими мастерами. Но в тот год приехали на гастроли, кажется, австрийцы. Посмотрел я на австрийских акробатов — и шабаш. Как рукой сняло. Нет, подумал я, это не для меня. До такой высоты, как они, я подняться не смогу, а толкаться тут на подхвате мне дальше самолюбие не позволит. Нет, подумал я, надо, видно, искать свой хлеб где-то в другом месте. И я в одночасье ушел из цирка. Навсегда.

Ох какой ты самолюбивый, трудно мне будет с тобой, подумала я тогда, уже готовая было остаться здесь, если, конечно, он сделает мне предложение. Ведь он же еще не сделал предложения. Но я уже как будто начала привыкать к нему. И в то же время я вдруг остро заскучала о внуках, о Тамаре и даже о Викторе.

Тут, на скамеечке у гаража, я нечаянно и начала рассказывать Ефиму Емельяновичу и про свою жизнь, про свою родню в ответ на его рассказы. И про то, как Виктор дома сидит и мечтает сыграть какого-то Уляева, и о том, как Еремеев к нам приезжал и как мы угощали его.

— Еремеев, Еремеев. Погодите, Тонечка,— перебил меня Ефим Емельянович.— Если это Еремеев Эдуард Алексеевич, так я хорошо знаю его. Он живет в Москве у площади Маяковского, в переулке, у новой жены. Я ему недавно старинную мебель реставрировал. Богатая мебель ему досталась от родителей новой жены. А Виктора мне сердечно жалко. Это почти что моя история. Я вот так же чуть не заблудился в молодых годах. Надо быстро менять ориентацию, говорил наш капитан Морозов. Не одно, так другое. Не другое, так третье. Пока не поздно, надо менять ориентацию. Усваиваете, Тонечка?

— Нет,— откровенно призналась я,— непонятно мне, что вы ска-
зали.

— Сейчас объясню,— пообещал он.— До войны я был буровым мастером. Это дело нравилось мне. И я, можно, пожалуй, так сказать, нравился делу. В войну я довоевался до старшего лейтенанта. И тоже, можно считать, уже как бы вошел в охоту. Уж воевать так воевать, если другого случая нету. А из госпиталя я вышел еле живой. Но все-таки живой. Значит, надо было браться за какое-то живое дело. А за какое? Ни в лейтенанты, ни в буровые мастера я уже не годился. Можно было при хорошей пенсии торговать пивом, квасом или

газетами. Но это было не по мне. Уж если я решил до смерти ловить удачу, так, по-моему, лучше потерять ногу, чем удачу. Тем более ногу я уже к этому моменту потерял. Наверно, на счастье мое, опять же на удачу, встретился мне в эту нору некий старичок Пастухов-Немчинов Александр Иванович. «Иди, говорит, ко мне в напарники, лейтенант. Будем с тобой дорогую старинную мебель чинить, реставрировать. Руки, говорит, у тебя есть. Башка на месте. И красоту, я заметил, ты чувствуешь. А нога в нашем деле не так уж до крайности необходима». Почти четыре года работал я вместе с Александром Ивановичем, невзирая на его зверский характер. Но зато перед смертью он передал мне свой инструмент и знакомства в научном мире и среди видных артистов, у коих имеется старинная, в том числе, конечно, и мягкая, мебель.

— Ах, как жалко,— говорил потом Ефим Емельянович, переходя от куста к кусту и как бы поглаживая ветки.— Ах ты, как жалко, что я раньше ничего не знал о нашем Викторе. Я бы поговорил насчет него с Еремеевым. А насчет Улялаева вы, Тонечка, предполагаю, ошиблись. Они, все артисты, стремятся, насколько я знаю театральный мир, вот именно Гамлета сыграть, принца Датского. Наверно, разговор был не об Улялаеве, а вот именно о Гамлете. Это всех их привлекает — сыграть Гамлета. Это я давно слышу. А с Виктором надо что-то придумать. Жалко Виктора. Ему-то кажется, наверно, что он уже бога за бороду поймал. А этого, как я вас понял, еще близко не было. Жалко парня. Это со многими случается...

Мне от этих слов Ефима Емельяновича, от того, как он жалеет не очень-то любимого мной зятя, становилось отрадно и тепло на душе, будто Виктор уже вполне устроен.

— Давайте-ка сварим с вами, Тонечка, обед. Совместно,— улыбнулся он опять своей приятной улыбкой.— Покажите ваши способности.

— Нужны овощи и какой-нибудь жир,— сказала я.

— Сколько угодно,— засмеялся Ефим Емельянович.

— Моя мама учила меня делать свекольник,— сказала я, хотя мама моя вообще ничему меня не учила.— У вас есть свекла?

— Имеется,— весело откликнулся Ефим Емельянович.

Вот так мы заварили какой-то необыкновенный борщ, пожалуй, даже лучше тех, что я варила для друзей зятя и потом для Еремеева. На второе Ефим Емельянович сам предложил филе трески. И это блюдо жареное получилось пышным и очень вкусным. Он ел и хвалил. И я впервые по-настоящему была счастлива.

— Никто, наверно, не знает, какая она должна быть на самом деле, счастливая семейная жизнь,— говорил Ефим Емельянович после обеда.— Недавно вот прочитал я Льва Толстого. И даже фильм такой видел в кино. Как жила одна красивая женщина с хорошим самостоятельным мужем. По-нынешнему сказать, с крупным ответственным работником. И чего ей не хватало? — сошлась с офицером. Офицер был видный из себя, но не большого ума. Одним словом, человек несамостоятельный. Он сперва горячо заинтересовался ею — ну, красавица же. А потом чуть ли не кинул ее. И она, конечно, в оскорбленных чувствах бросилась под поезд. Ну кто ж тут виноват? А Лев Толстой, так можно понять, обвиняет опять же ее настоящего мужа. Вот это как-то странно. Я работал тут у одного профессора. Он занимается как раз по литературе. Задаю ему вопрос. А он хохочет. Весь мир, говорит, согласен, что виноват во всем ее муж — Каренин. И спору, говорит, никакого быть не может. Ну что ж, говорю, что весь мир, а мне тоже хочется разобраться. Профессор же берет с

готового, как его с самого начала научили и как он затвердил. А я не могу с этим согласиться. Вот сейчас немного улажусь с делами и опять эту книгу перечту,— показал он на подзеркальник, где лежала пухлая книга.— Неужели сам Лев Толстой ошибся? Не должно бы. Хотя кто его знает...

И опять мне понравилось, что он заговорил со мной о Льве Толстом, которого я еще не успела прочитать. Да и когда мне, думалось. А он, вот видите, все успевает, хотя и без ноги. И во все он вникает как хозяин не одной вот этой халупы у свалки. И Лев Толстой ему как хороший знакомый. Тут я вспомнила, как сказала Галя Тустакова о Ефиме Емельяновиче и даже повторила, что он занятый. Только, мол, надо в него взглядеться.

— А тут вот, на взорье, видите, старое кладбище у нас и церковь тоже старая, заброшенная,— показывал он мне, когда мы вышли после обеда на прогулку, что ли.— В этой церкви теперь с ребятишками на общественных началах музей делаем. Я ведь немножко и маляр и плотник. И ребятишки толковые.

Ефим Емельянович показывал мне на церковь, а я смотрела на него и чему-то удивлялась все больше.

Погостила я у Ефима Емельяновича всю субботу и часть воскресенья. Потом сказала:

— Ведь завтра мне на работу. Мне к семи утра.

— Ну,— говорит,— я вас отвезу на машине. Мне самому завтра надо быть в Москве.

— Но я,— говорю,— забыла у дочери кое-какие мои вещички, без которых я не могу появиться на работе.

— Так в чем дело? Давайте еще сегодня прокатимся в Москву. Это ж мигом на автомобиле.— Он вынул из кармана ключи от автомобиля и покрутил их на цепочке вокруг пальца.

Посадил он меня в машине рядом с собой, и тут я хватилась: узелок мой остался у него на кухне.

— А зачем он вам сейчас? — сказал Ефим Емельянович.— Мы ж вернемся с вами сегодня сюда. Вы забирайте от дочери и другие какие есть ваши вещи.

Мне показалось все это очень странным. Все было в самом деле как во сне. Ни о чем еще не договорились. Он не сделал мне еще, как говорится, предложения. А я уже отправилась забирать от дочери свои вещи. Только когда мы выехали на шоссе, он мне сказал:

— Конечно, не сразу, Тонечка, а только постепенно вы полюбите меня. А нам и не надо сразу. Куда нам спешить. А я вас, кажется, уже... Ну не то чтобы вот именно сию минуту полюбил, но мне думается, мы столкнемся. Поживите у меня, приглядитесь. Не понравится вам, я вас в любое время обратно отвезу, куда вы пожелаете и прикажете. А сейчас-то вы как себя чувствуете?

— Хорошо,— сказала я. А хотела сказать — замечательно.

— Ну тогда давайте не тянуть резину,— сказал он.— Давайте вот именно в ближайшее время регистрируемся. Я все решаю сразу в своей жизни.

Где-то я давно читала в газете упрек молодым, которые вот так с бухты-барухты вступают в брак, а потом сожалеют и разводятся. И мы сейчас, может быть, тоже поступали как бы с бухты-барухты. Но меня обуяла радость и мне ни о чем больше не хотелось думать. Ведь я впервые на сорок шестом году жизни выходила замуж.

Мой жених сидел за баранкой. Я смотрела сбоку на него. Всю дорогу, кажется, я смотрела только на него. В черном костюме и в

белой рубашке с отложным воротником он казался мне в то прекрасное воскресенье чуть ли не самым красивым из всех мужчин, каких встречала я.

К Тамаре я поднялась одна. Ефим Емельянович остался в машине. Да и не просто ему было влезать на пятый этаж без лифта.

— Где же ты пропадаешь, бабушка прекрасная? — встретила меня Тамара.

Я, конечно, прошла сперва к внукам, перецеловала их. Всплакнула. А как же? Тут есть и моя кровь. И разъезжаться — это, наверно, всегда нелегко. Потом я вынула из шкафа свое зимнее пальто. А день был опять жаркий, даже душный.

— Ты куда это? — удивилась Тамара.

— Уезжаю.

— Надолго ли? — усмехнулась она.

— Может быть, навсегда, — сказала я. И стала укладывать вместе с пальтишком три своих выходных платя.

— Как же ты потащишь такой узел?

— У меня машина.

— Машина? — еще больше удивилась Тамара. — Откуда? Чья?

— Моего мужа, — вдруг насмелилась я. И потом уже твердо сказала: — Я, Тамара, выхожу замуж.

— Виктор! — закричала Тамара как-то растерянно и, может быть, все-таки с некоторой насмешкой. — Виктор, выйди! Иди сюда. Мама уезжает. Выходит замуж.

Виктор вышел, поздоровался, кивнул на мой узел:

— Что это вы?

— Ты бы хоть с мужем или с женихом своим познакомила, — усмехнулась как-то жалко Тамара. — Он где?

— Он в машине.

— Он что, шофер, что ли? — еще спросила Тамара. — Пусть хоть зайдет.

И тут мне стало почему-то неловко. Словом, не хотела я сказать Тамаре и Виктору, что Ефиму Емельяновичу трудно зайти.

— В следующий раз, — сказала я. — В следующий раз он зайдет. И вы, я надеюсь, приедете к нам. У нас там очень хорошо. И я хочу, чтобы внуки потом приехали. Все-таки на свежем воздухе.

— А где это? — стала допытываться Тамара.

Но я сделала вид, что не слышу, принялась завязывать узел.

— Давайте я вам помогу, — поднял узел Виктор.

Ефим Емельянович в это время ходил около машины. Нет, нельзя было сейчас заметить, что у него отсутствует нога. Около машины ходил высокий и, опять мне показалось, очень красивый мужчина, хотя и не очень молодой.

Они вежливо поздоровались, эти двое мужчин. И стали укладывать мои вещи в автомобиль.

— Это у вас «Жигули»? — посмотрел на машину Виктор.

— Нет, это еще старый «Запорожец», — сказал Ефим Емельянович. — В ближайшее время получу, наверно, новый...

Потом вышла Тамара. Она, должно быть, подкрасила губы и попудрилась.

— Ну вот, очень приятно, — первым сказал Ефим Емельянович. — На той неделе мы, наверно, зарегистрируемся с вашей мамой и я за вами, Тамара и Виктор, заеду. Надо будет нам вместе отпраздновать такое дело. — И улыбнулся, глядя на меня, Тамару и Виктора. — Нет возражений?

— Виктор ваш мне понравился,— сказал Ефим Емельянович, когда мы опять выехали на шоссе.— Красивый и, видать, сильный малый. Если он не пьет, как вы говорите, много читает, может, знания копит и потом себя окажет. Всякое может быть...

— Жалко только, что он никого не слушает, не хочет слушать,— сказала я.— Даже отца родного как бы не очень признает. А отец, по-моему, неглупый старик.

— Все мы будто неглупые — и старые и молодые,— точно с усмешкой отозвался Ефим Емельянович.— И у всех на все случаи свои права. Но старики, на мой взгляд, права свои немножечко превышают. У них разгорается особая страсть, что ли, обязательно, надо или не надо, поучать молодых. И вы знаете, Тонечка, я уже давно пригляделся: чем глупее старики, чем бестолковее прожили собственную жизнь, тем горячее серчают на молодых и пробиваются к ним в учителя. А жизнь идет и все ломает, переламывает по-своему. Хорошая, Тонечка, вещь — жизнь.— И он вдруг обнял меня правой рукой, придерживая левой баранку.— А я живу и радуюсь, что я еще живу,— сказал он, снова положив обе руки на баранку.— И никого ни осуждать, ни поучать мне не хочется. И не хочется думать, что мое время тоже уже прошло...

Он вдруг замолчал. А молчит он всякий раз, я это уже заметила, как бы сердито, и лицо его в такие моменты искажает мука.

Все-таки я попыталась его снова разговорить, спросила, что он думает о Гале Тустаковой, о Галине Борисовне, и ее муже.

— Неохота мне о ней думать. И зачем? — повернул он ко мне действительно сердитое лицо.— Пусть о ней думает тот, кому больше надо...

Тогда я, даже чуть преувеличив, рассказала, как она относится к нему — с каким уважением и интересом.

— А мне все равно,— опять отчего-то повеселел он.— Я никогда и раньше не относился к людям в зависимости от того, как они ко мне относятся. Это только очень слабые люди так приноравливаются: ты меня похвали — я тебя похваляю. И оленю едва ли интересно, что о нем думает волк. А эта Галина Борисовна что вам — хорошая подруга? — снова повернул он ко мне как будто уже насмешливое лицо.

И тут я, похоже, затруднилась:

— Ну, как сказать...

— Ага, понятно,— засмеялся Ефим Емельянович.

И уж всю дорогу был веселый.

Вскоре мы действительно зарегистрировались, и он подарил мне золотое кольцо.

— Первая моя жена колец не носила,— объяснил он.— Они тогда, казалось, навечно вышли из моды. А теперь вот опять вошли. Многие, я вижу, носят. И вы, может, захотите...

— А вы? — спросила я.

— А мне оно, это кольцо, будто и ни к чему. У меня работа такая, что я его и потерять могу. И вообще я, пожалуй, обойдусь,— засмеялся он.

А я была счастлива, что у меня есть муж, что я замужем. И пусть, я подумала, все это знают.



СЕРГЕЙ МНАЦАКАНЯН

★

ЧЕРНОВИК

Вот и замела новая метель
хвойные леса, блочные дома...
А какая суть и какая цель?
То не знаем я — и она сама.
В мире все бело —
ясен белый свет,
белый от подошв и до облаков!
На земле живу тридцать с малым лет —
без черновиков, без черновиков!
Набело живу — значит, навсегда
(если б без тоски и напрасных слов) —
как горит в ночах ясная звезда
без черновиков, без черновиков...
Здравствуйте, мой Мир, в семь часов утра!
Загремит трамвай и развеет мрак,
а снежок хрустит —
делать жизнь пора,
чтобы не жалеть о черновиках.
Я боюсь надежд — тех, что на потом,
не люблю друзей — тех, что на часок,
я хочу глотнуть воздух полным ртом,
чтобы навсегда надышаться смог.
Ибо каждый шаг —
он последний шаг
всех учителей, всех учеников,
ибо каждый мрак — это новый мрак
без черновиков, без черновиков...
Но пронзит меня на какой-то миг
словно приговор самый смертный мой:
вдруг вся жизнь моя — краткий черновик
радости иной и судьбы иной?..

ЗАРЯ

Словно кто долотом расщепил
золотые края небосвода,
оголенные вроде стропил,
оголенных во время ремонта.
Ты-то знаешь, уставясь во тьму,
что явление природы — не чудо —
вечер розовый, но почему
черным холодом тянет оттуда?

Словно что-то врывается в жизнь,
 берedit приозябшую душу,
 словно звезды еще не зажглись,
 но сияние рвется наружу...
 Этот вечер сперва розовел,
 а потом небеса потемнели,
 на пороге стоял человек,
 он не знал, что стоит на пределе.
 На пределе понятий земных
 и на грани небесных законов,
 и безмолвствовал бедный язык,
 непосильное что-то затронув.
 Догорит золотая заря,
 отмелькают последние тени...
 Неужели мелькали зазря,
 как статисты на временной сцене?
 Суть явлений и сущность вещей —
 подноготная невыразима...
 Из космических пропастей
 словно хладом судеб засквозило.

* * *

Что нету счастья, но покой и воля
 доньше не оставили сей свет,
 однажды молвил, выйдя на раздолье,
 великий и отчаянный поэт...

Через столетье крепкою десницей
 начертано на жизненном пути,
 что испокон «покой нам только снится»...
 Неведомо, что будет впереди.

Не мысля о бессмертье в наши годы,
 бессонницею маясь в тишине,
 я выдохну в ночные небосводы:
 — Покоя — нет, он и не снится мне.

* * *

Слишком многое отгорело,
 слишком многое не сбылось,
 только милое это дело —
 среди белых бродить берез.

Словно ты еще юный-юный —
 ни сомнений и ни беды,
 и не тянет в полях июня
 горьким привкусом лебеды.

Но на сердце надавит что-то,
 и спохватишься: это вой —
 только где же он? — самолета
 над растрепанной головой.



ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ



ПОИСКИ ЖАНРА

Поиски жанра

Таинственной невстречи
Пустынный торжества,
Несказанные речи,
Безмолвные слова.

Анна Ахматова.

НОЧЬ НА ШТРАФНОЙ ПЛОЩАДКЕ ГАИ

Майор Калюжный собственноручно открыл большой висячий замок, чуть морщась от скрипа, потянул на себя правую половинку ворот и сделал приглашающий жест:

— Прошу! Заезжайте!

Улыбка появилась на устах майора. Высокая, очень худая фигура офицера с улыбкой на устах, медленно открывающая ворота штрафной площадки.

Любезность ли выражалась в улыбке или насмешка? Я мог бы предположить и то и другое, если бы за этот сумасшедший день не успел уже слегка привыкнуть к майору и сообразить, что его улыбки, мерцающие на лице с равномерностью маяка-мигалки, ничего не отражают вообще, что это просто рефлекторные сокращения мимических мышц, быть может, и в самом деле нечто вроде сигнала-мигалки.

Вот так это задержалось в памяти. Гнусоватый, с ржавчинкой будущей слякоти закат над силуэтом города. Окраина. Ощущение нечистоты, дряхлости, полуразвала в окружающих строениях. Кирпичные, в два роста стены старинных казарм. Гулкие удары по мячу из-за стен — отзвук дурацкого волейбола в сапогах на босу ногу. Горящее от прошедшего дня собственное мое лицо. Жжение ссадин на ладонях и коленях. Майор Калюжный с мерцающей улыбкой в воротах штрафной площадки. Кот, драный, шелудивый, с деловито-бандитской физиономией прошедший по казарменной стене, затем мягко, с прогибом спины ступивший на ворота и проехавшийся слегка на них, прежде чем спрыгнуть на землю и пропасть в лопухах. Все двигалось или держалось в пространстве, прежде чем пропасть. Это естественно, но пространство-то вот подрагивало и слегка рябило, как паршивый киноэкран.

Я включил стартер. Мотор заработал. Лучше не смотреть на панель приборов. Что изменится? Масло горит — это ясно, а температура воды, то есть охлаждающей жидкости «тассол», просто отсутствует в связи с отсутствием самой жидкости в разбитой системе охлаждения.

Двигатель грохотал, скрежетал железом по железу, и это у моего «фиатика», который еще вчера жужжал словно лирическая пчелка.

— Прошу! Заезжайте! — погромче тут повторил приглашение майор Калюжный.

Я тронулся с места. Завизжали задние колеса, заклиненные краями смятого кузова. Теперь при вращении металл прорезал в резине глубокую борозду, а колеса визжали. Резина же дымилась и воняла.

Неутомимые зрители, с самого раннего утра окружавшие изуродованный автомобиль, стояли вокруг и сейчас. С интересом, без всякого сочувствия, но и без тени злорадства они наблюдали всю эту довольно заурядную историю: мое трепыханье, гоношенье и чуть насуспенную деловитость офицеров госавтоинспекции. Должно быть, они, эти зрители, менялись, одни уходили, другие приходили, но мне все они казались на одно лицо — просто мужчины, интересующиеся автомобилями, авариями, ремонтом. И разговоры вокруг весь день звучали одинаковые:

— Что, стойки-то у него пошли?

— Пошли.

— Значит, кузов менять.

— Менять.

— Значит, кузов в металле тысяча шестьсот, да поди его еще достань...

— Да, дела...

Бывает, знаете ли, стоит вот такая спокойно-рассудительная, туповато-любопытная толпа, но вдруг налетит какой-нибудь весельчак или пьяненький и всех как-то растормошит, разбередит болото. Здесь, видно, такого поблизости не было. В другое время я, быть может, внимательнее присмотрелся бы к этим людям, подумал о причинах их вяловато-сытовато-прочноватого единообразия, но в тот вечер я их почти не замечал.

Меня немного трясло. Состояние было предобморочное. Из окружающих предметов что-то фиксировалось, должно быть важное, а что-то размывалось, очевидно второстепенное, — или наоборот? Фигура майора Калюжного, например... — важна она или ни к селу ни к городу?

Вчерашний удар сзади показался мне чем-то вроде взрыва. Сознание я не потерял, но голову потрянуло очень сильно и, видно, под большую компрессию попали шейные позвонки.

Видно, все-таки что-то сдвинулось на миг, ибо первая мысль после удара была такова: взорвалась бомба... бомба была подложена мне в багажник... я знал прекрасно, что везу в багажнике бомбу, но не принял никаких мер, понадеялся, что она не взорвется... и вот взорвалась!..

Потом, видимо, все вернулось на свое место, так как я подумал: что за дурацкая бомба... никаких бомб не бывает... какие еще бомбы... это у меня бензобак, наверное, взорвался... а скорее всего кто-то сзади взвезданул... Номер! Номер записать, пока подонки не смысля!

Я выскочил из машины и увидел этого орла. Пьяный подонки даже не вылез из своего «ЗИЛа»-поливалки. Он бессмысленно смотрел на меня сверху и повторял:

— Айда за мной, починимся. Парень, езжай за мной, починимся.

Вокруг мертвенно светился огромный и пустынный жилмассив. Над нами, над двусторонней шестирядной магистралью шипела бесконечная полоса газовых трубок. Как он умудрился меня найти в пустынном жилмассиве, этот ночной трудящийся?

Весь день я ехал на север из Киева. Дорога была максимально приближена к боевым условиям. Плавящийся асфальт, выброс из-под колес, не пробиваемые фарами клубы пыли с обочин, из-под грузовиков. Грузовики, представляющие вечно растущую индустрию, шли почти непрерывными потоками в обе стороны. Чтобы держать среднюю скорость пятьдесят, приходилось совершать опасные для жизни обгоны. Потом ночью начались бесконечные объезды, машины скатывались с разбитого асфальта на грунтовые ухабы, тащились на второй скорости, заваливались иной раз в кюветы.

Наконец проехал я под кольцевой дорогой большого города и выкатил в пустынный, хорошо освещенный жилмассив, на широченный проспект Красногвардейцев. Здесь-то в полной уже, казалось бы, безопасности догнал меня труженик коммунального хозяйства с шестью тоннами воды в цистерне, на скорости девяносто км/час.

Я стоял среди осколков моего заднего стекла и стоп-фонарей, в какой-то луже, в липкой какой-то жиже, и смотрел на бледное пьяное лицо, рукав промасленной ковбойки, кулак, медленно поворачивающий руль на меня.

— Айда починимся! Слышь! Айда починимся! — уже бессмысленно повторял он, а колесо все поворачивалось на меня.

— Куда же ты, сука, отъезжаешь?! — вдруг завопил я не своим голосом и в совершенно не свойственных себе выражениях. — Ведь я же номер твой запомнил, пень с ушами!!

Здесь началось что-то шоковое — я никак не мог уйти от надвигающегося на меня колеса, а он, должно быть, не мог остановить вращения. Время слегка растеклось в том, в чем оно обычно растекается, — в пространстве. Почему-то я очень хорошо запомнил лицо шопера и даже успел сделать какие-то умозаключения.

В принципе это было хорошее лицо, хорошо очерченное, так сказать, скульптурное — впалые щеки, чуть выступающие скулы, крепкий подбородок, если бы не следы нравственной и физической деградации — синюшность губ, круги под глазами, порочная, пьяная, вполне бессмысленная улыбочка. Ночная жизнь даже в поливальных машинах разрушает личность, помнится, подумал я.

Впоследствии, уже в отделении ГАИ, я узнал, что именно в поливальных машинах блуждает по ночам грех этого большого города. Они и девок перевозят куда надо и водку.

Вдруг я сообразил, что еще миг — и он меня раздавит, а раздавив, поедет дальше, все так же бессмысленно повторяя: «Айда починимся!» Я отскочил в сторону, а он поехал по проспекту Красногвардейцев, «гуляя» по рядам, вихляясь, пока не доехал до площади с круговым движением, где в центре была огромная агитационная клумба. Там он остановился.

В тишине я услышал, как вытекает из моей верной машины жидкость, охлаждавшая ее душу.

Хорош ударчик! Задок был смят в гармошку, но и передок не остался цел. Двигатель ушел вперед и разбил радиатор.

Хватит, хватит ездить на автомобиле, говорили мне мать и другие женщины. Куда ты все гонишь? С тех пор как у тебя появилось четыре колеса, ты все гонишь и гонишь. Что за странности? Где ты был и куда едешь сейчас? Почему ты торопишься? Ты едешь в Крым, но тебе там не сидится, и ты пересекаешь с востока на северо-запад Украину, Белоруссию, Литву, а потом едешь на восток, следуя изгибам Балтийского моря, и углубляешься в северную Россию, постепенно приближаясь к Москве, к дому, а из дома, сменив фильтры и масло, катишь на юго-восток через старинные губернии

к новым и в Новороссийске в гибельную ночь встаешь на опасную трассу до турецкой границы, а потом блуждаешь по горным республикам, отвыкаешь от нормальной еды и мытья, а потом в тоске направляешь колеса на север, вроде бы к дому, вроде бы к отдыху, но сам уже знаешь, что отдых обернется для тебя промыслом всяких там шаровых тяг, амортизаторов, сменой фильтров и масла и выправлением документов для пересечения государственной границы с одной целью — движение по новым пространствам, через Румынию в Болгарию, вокруг Болгарии в Югославию, оттуда в Венгрию и поперек Чехословакии в Польшу и далее на магистраль Е-8, чтобы снова вернуться в Москву для смены фильтров и масла. Хватит, хватит уж тебе ездить по дорогам. Ты и машину загонишь и ничего не найдешь из того, что ищешь.

Я увидел, что поливальщик кричит кому-то куда-то и к нему, к агитационной клумбе с ее огромными плакатами и как бы фонтаном из знамен приближаются трое. Три фигуры. Откуда взялись в пустоте эти трое? Из какого пространства?

Он что-то им говорил очень громко, но я не мог разобрать слов. Показывал на меня, и они на меня смотрели. Потом он махнул, запел... это я слышал хорошо... «Стою на полустаночке в дешевом полушалочке»... и поехал вокруг клумбы, а потом куда-то вбок и все увеличивал скорость, пока не исчез.

Между тем трое приближались ко мне. Три фигуры.

— Айда починимся! — крикнул еще издали один из них явно не свою фразу.

— С места не тронусь, пока милиция не приедет! — крикнул я.

— Ты где машину украл? — крикнул второй.

— Давайте ему смажем, — громко предложил третий.

С каждой фразой они приближались — три ночных подонка: один в костюмчике с галстучком, второй в грязно-белом свитере и третий длинноволосый, якобы битовый, в широченных штанах и майке с короткими, но широкими рукавчиками, которые разлетались у него на плечах словно крылышки.

— Ты что, чиниться не хочешь? Да? Да? — быстро спросил галстучек.

— Сейчас мы проверим кто такой. С милицией хочешь познакомиться? — Свитер взялся за задний карман, будто у него там пистолет.

— Эх, беда! — Длинноволосый сделал резкое движение рукой вниз, как бы норовя схватить меня. — Шнурки развязались! — И взялся завязывать свои шнурки, копошась прямо у моих ног и даже иногда приваливаясь головой к моим коленям.

Вот сейчас они меня отделают, а машину ограбят. Странное будет дело на ярко освещенном флюоресцирующем проспекте.

Лица всех троих похожи на бледное лицо поливальщика. Быть может, дело в освещении? Быть может, и я сам сейчас под газовыми трубками похож на поливальщика? Вот будет дело! А ну отвалите, ханыги! У меня монтировка в руке. А вот гляньте-ка, товарищи, у него железка в руке. Надо смазать ему. Жаль, я пистолета не взял сегодня на дежурство, так и разрядил бы мазурику в живот. Машину украл! И чиниться не хочет. Вот так может и жизнь отлететь на пустынном проспекте. Три подонка вытрясут из меня жизнь. А что там у тебя в машине — плащ фирменный? Где украл? Продай краденое! Чиниться не хочет! Давай пройдем со мной, ты что, документа не видишь? Руки убери! Ну-ка, за горло его поддержи! Откуда только берутся силы? Кто посылает тебе силы, когда ты борешься за достоинство своего тела? Кто утраивает твои силы?

Ханыги все-таки свалили меня на асфальт и собирались уже обработать ногами, когда в конце проспекта из тоннеля выехала патрульная машина. ...В полуденный жар, в долине Дагестана... Машина приближалась. Была тишина. Ханьги слиняли в дырявом пространстве.

— А есть у вас свидетели? — спросил командир взвода дорожного надзора капитан Казимир Исидорович Куришкевич.

— Вот они и были единственные свидетели, — сказал я, трясясь. — Трое подонков.

Меня сейчас уже волновала не разбитая машина, не мужское достоинство и не продолжение пути, а некоторая дырявость пространства. Я стал вдруг обнаруживать вокруг прорехи, протертости, грубейшее расползание швов. Откуда взялась вдруг многотонная, плохо управляемая поливалка и почему врезалась вдруг ни с того ни с сего в мой совершенно к ней не относящийся автомобильчик? Откуда вышли те трое? Все вокруг слегка плывет, слегка дрожит паршивая циркорамма, и сквозь ее прореженную ветхую ткань и проходит случайная нечисть. Одно утешение — лица офицеров ГАИ. Они крепки и определены и принадлежат без сомнения к человеческой внутренней сфере. Я старался держать на них свой взгляд. Капитан Куришкевич, майор Калюжный, старший лейтенант Сайко заканчивали оформление дорожно-транспортного происшествия. За окном в утренней сырой тени стоял мой несчастный «жигуленок»-фургон 21-02. В тени он даже и не выглядел изуродованным, а просто поджавшим хвост.

— Значит, вот список повреждений. — Капитан Куришкевич покашлял и стал читать с некоторой торжественностью: — «Деформация кузова с прогибом стоек, деформация заднего бампера, разбиты задние фонари и заднее стекло, пробит радиатор, сломана крыльчатка вентилятора...» Это, как вы сами понимаете... — он заглянул в мои документы, — Павел Аполлинарьевич, только лишь данные наружного осмотра. Остальные дефекты вам установят при калькуляции для Госстраха.

Тут привели беглеца-поливальщика. Он был взят за вполне мирным делом — поливал склад продовольственного магазина, и вовсе не потому, что сторож ему не вынес бутылку, а просто для чистоты. А этот товарищ, он повернул ко мне слепо улыбающееся лицо, этот товарищ чиниться не хотел.

— Тебя, сволочь пьяная, расстрелять надо! — крикнул ему в ухо капитан Куришкевич.

Крикнул громко, но не прошиб. Поливальщик только шире улыбнулся, положил ногу на ногу и попросил разрешения закурить.

Офицеры окружили его, а он сидел посредине дежурки нога на ногу и слепо улыбался. Столько порока было в этом поливальщике, что не снилось и римскому императорскому двору.

— Знаешь, гад, какую сумму тебе платить за эти «Жигули» придется? — спросил его старший лейтенант Сайко. — Две тысячи.

— Трест заплатит. — Поливальщик поеживался, будто нежился в тепле дежурки. — Все заплатит или процентов тридцать... Это как положено, такой закон...

Офицеры Куришкевич и Сайко захохотали. Майор Калюжный вообще не сказал поливальщику ни слова, а только светил на него своим пульсирующим лицом, стоял согнувшись, положив руки в карманы.

— Давай сюда свои права, — скомандовал Сайко и попросту выхватил зачуханную книжечку из руки поливальщика. — Гарантирую тебе — год за руль не сядешь.

Почему-то они были очень злы на этого поливальщика, хотя видели его впервые. Потом я узнал, что в этом городе вообще милиция ночных поливальщиков недолюбливает.

— Могу себя считать свободным? — Слепая улыбка расплзлась все шире, а глазки все еще были замасленными от ночного кайфа. — Разрешите удалиться?

Он был в мятом плаще-болонье поверх замасленной ковбойки. Мне лично сейчас в столовую нужно — сутки не ел. Иди-иди, жди повестки, хмырь с ушами. Жилистое, порочное, подванивающее тело чувствовалось под ветхими одеждами. Сейчас макароны буду есть с маслом. А платить когда будешь две тысячи рублей? Трест определенный процент заплатит. Ну, счастливо оставаться, товарищи! С протянутой ладонью он поворачивался ко всем присутствующим. А ты знаешь, на кого наехал? На артиста! Если бы знал, так соломки бы... На известного артиста Дурова, сволочь ты эдакая, наехал! Если бы знал, так соломки бы постеле... Ты телевизор-то смотришь хоть иногда, чем ты вообще занимаешься? Соломки бы постелил, товарищи. Портреты, часы, график дежурств, красный вымпел... пространство с треском пропоролось в непространство, откуда волной дохнул запах хлорки и куда шагнул поливальщик. Значит, вам, товарищи, счастливо оставаться и вам, товарищ артист, починиться, а я в столовую. Ведь если бы знал, хоть газетку старую бы постелил, хоть бы...

— Простите, — сказал я офицерам, — мне как-то неловко. Вот уж не предполагал, что вы меня узнали. Меня всего дважды показывали по телевидению. К тому же я, увы, не из тех, знаменитых Дуровых. Обычно меня не узнают.

Мне в самом деле было немного стыдно. Я не собирался отказываться от своего так называемого артистического звания, но не хотел, конечно, распространяться, а тем более называть свой жанр.

— Как видите, Павел Аполлинарьевич, вас знают, — суховато ободрил меня майор Калюжный. — Не все в нашем городе такие, как этот... — он заглянул в документы поливальщика, — как этот Федоров. (Обычность фамилии поливальщика почему-то меня поразила.) Мы здесь следим за искусством, в том числе и за вашим жанром. У нас здесь трасса международного значения... а что касается меня лично, то я запоминаю всех, кого вижу по телевизору.

— Это точно, — засмеялись подчиненные. — Майор у нас знаток голубого экрана.

— Ну, хватит, ребята, — сказал майор так, будто ребята уж очень-то разошлись. — Давайте лучше подумаем, чем мы можем помочь артисту Дурову.

Они стали думать, как мне помочь, как и в самом деле мне починиться, чтобы ехать дальше. С каждой минутой ситуация осложнялась. Во-первых, оказалось, что сегодня воскресенье, а значит, закрыта станция техобслуживания, во-вторых, выяснилось, что у них в гараже нет ничего для «Жигулей», далее — лопнула надежда на какого-то Ефима Михина, который мог бы мне радиатор запаять и вообще все сделать что надо, но в данный момент в пространстве не пребывал в связи с отсутствием... и далее... и далее... Как видите, Павел Аполлинарьевич, в сущности, мы вам, к сожалению, помочь сейчас не можем при всем желании и уважении к вашему таланту. Я очень вам признателен за сочувствие и отзывчивость, товарищ майор, и всем товарищам, но уж пожалуйста, какой там талант. Нет-нет, позвольте, Павел Дуров — это имя. Вот уж не ожидал, в самом деле. Ну, не знаем, как в Москве, но в нашем городе это имя. Несколько минут они говорили обо мне как о чем-то вне меня, и я,

слушая их, тоже думал о себе как о чем-то отдаленном, никак не соединяя себя с тем мастером полупозорного жанра по имени Павел Дуров. Нет, даже кораблям необходима пристань, но не таким, как мы, не нам — бродягам и артистам... Так, кажется, поется? Да, где-то поется приблизительно так.

Весь жаркий и пыльный, дымчатый, полуобморочный день я провёл в разъездах на такси по этому городу. Он показался мне бредовым скопищем людей, машин и зданий. Конечно, в объективности меня трудно было бы заподозрить. Мелкие, гнусные, как ссадины и порезы, неудачи преследовали меня. Зуд, ноющая боль в разных частях тела, растертость кожи и пот — все это создавало необъективность в отношении к городу, который, кажется, считается объективно красивым.

Я вбил себе в голову, что мне необходимо сегодня починиться, чтобы продолжить путь и за ночь достичь Балтийского моря. Почему-то мне казалось, что там, на морском берегу, все у меня быстро наладится.

Я искал механика и запчасти, хотел попросту купить новый радиатор и расширительный бачок, но все автобазы были закрыты, что вполне естественно в воскресенье. Раздражение же мое против этого города было неестественным и глупым.

Наконец и раздражение стало затухать и сменяться ошеломляющей свинцовой усталостью. Гонка от Киева, авария и ночь на проспекте Красногвардейцев, потная тяжелая жара и бессмысленные поиски в чужом городе — все это сделало свое дело. Я едва дотащился до отделения ГАИ с единственной уже идеей — разложить сиденья в машине, грохнуться на них и заснуть. Однако здесь оказалось, что любезные мои хозяева-офицеры за это время добыли откуда-то из-под земли знаменитого Ефима Михина, который теперь ждал меня со сварочным аппаратом.

Внешность Михина была до чрезвычайности нехороша, но отчетлива. Речь его состояла из мата с редкими вкраплениями позорно невыразительных слов, но в целом и она была до чрезвычайности ясна. Из нее следовало, что Михин на всех артистов положил и на калым положил и его никто даже и в милиции не заставит работать по воскресеньям, потому что он занятой человек и на все кладет с прибором. Потом он осмотрел разбитый радиатор, сунул мне в руки отвертку и сказал:

— Снимай и в цех его ко мне тащи, икс, игрек, зет плюс пятнадцать концов в энской степени.

У всех сочувствующих, и у Калюжного, и у Куришкевича, и у Сайжо, были дела, и я остался с отверткой в руках наедине с радиатором да с небольшим количеством переминающихся с ноги на ногу безучастных зрителей. Дело чести стояло передо мною — снятие радиатора на глазах у бессмысленно-внимательной толпы. В жизни я не снимал радиаторов с автомобилей, в жизни не откручивал ржавых гаек. Эй, цезарь, снимающие радиатор приветствуют тебя и кладут на тебя, и кладут на тебя, и кладут на тебя! Часу не прошло, как я снял радиатор.

— Ты где, артист-шулулуев, заферегался с чернотурданным радиатором-сулуятором? — любезно осведомился Ефим Михин и запаля радиатор.

— Значит, сейчас поедем? — туповато спросил я Ефима Михина.

— Сейчас поедешь на кулукуй, если патрубок големаный не сгнил к фуруруям, — сосредоточенно ответил Ефим Михин, вытащил патрубок и посмотрел на свет.

Патрубок, оказалось, сгнил к фуруруям.

Ефим Михин отшвырнул его словно капризная балетная примадонна и грязно заругался прямо мне в лицо. Я протянул ему червонец и сказал:

— Давай катись отсюда, Ефим Михин.

— Чего-чего?! — Ефим Михин был очень потрясен. Он, видимо, полагал, что производственный процесс в самом только еще начале, он, видимо, и в самом деле был настроен починить мой автомобиль, но что поделаешь, если физиономия его с длинным буратынским носом и утлогообразным подбородком стала вдруг передо мной дрожать, расплываться и частями вдруг проваливаться в непространство.

— Я тебя видеть не могу, Ефим Михин.

— Ага, понятно. — Впервые в голосе мастера мелькнуло что-то похожее на уважение, и он исчез без единого матерного слова.

Тогда уж я и обратился к командованию с просьбой о ночлеге. Требовалось мне немного — лишь кусок пространства чуть в стороне от дежурного пункта ГАИ. Лишь бы на мотоциклах по голове не проезжали, а все остальное меня не смущало. Отвалю сиденья, сумку под голову, плащ на голову — и поминай как звали. В сущности, я чуть-чуть все-таки еще хитрил — неистребима человеческая натура! Пользуясь образованностью майора Калюжного, я рассчитывал пробраться в гаишный гараж. Оказалось, это невозможно, оказалось, это против всяких правил. Такую ответственность на себя майор взять не мог.

— Единственное, что могу предложить... — он слегка замаялся, лицо его пропульсировало на два отсчета в тишине, — вот единственное, что могу вам предложить, товарищ Дуров, это наша штрафная площадка. Это, увы, единственное, что могу предложить.

Я въехал на штрафную площадку, а майор поспешно прикрыл за мной ворота, чтобы посторонний глаз не проявлял пустого любопытства.

— Влево руль, еще, еще, до отказа, теперь направо, еще чуть-чуть, хорош, стоп!

Это был небольшой двор, заросший сорной травой. Две стены высокие, кирпичные, а две деревянные, с колючей проволокой поверху. Близко к площадке подступал пятиэтажный дом, в котором два этажа принадлежали ГАИ, а в остальных гнездились какое-то явно непуританское, судя по крикам, общежитие. За одной из деревянных стен в отдалении подрагивал маловразумительный силуэт города, за другой, видимо, был казарменный плац — оттуда доносились команды и грохот коллективного шага.

В середине двора в два ряда стояли изуродованные машины, всего, кажется, штук десять, а вдоль одной из кирпичных стен — не менее двух десятков изуродованных мотоциклов. Для полноты картины следует сказать, что за этой стеной не было ничего, оттуда и не слышалось ничего, подразумевалось там что-нибудь вроде болота или свалки.

— Да-с... — Майор Калюжный покашлял. — Вот... если вас не смущает...

— Да просто чудесное место! — с энтузиазмом, правда вполне ничтожным, воскликнул я. — Тишина! Просто дача...

— Я вас вынужден тут закрыть снаружи, — сказал майор, — но если что-нибудь понадобится, кричите. Дежурное помещение рядом. Итак, приятного отдыха. Покидаю вас. Сейчас я буду лекцию читать для личного состава. Жаль, что вы торопитесь, ваше выступление у нас было бы подарком...

Он согнулся в три погибели и шагнул в калитку. Калитка закрылась. Повернулся ключ в ржавом замке. Я остался один и сразу же стал опускать спинку сиденья. Скорей бы, скорей бы растянуться, отдых дать измученному телу, да и об измученной душе не мешало бы побеспокоиться — вполне заслужила, несчастная, короткий отпуск и полет в иные, более прохладные сферы.

Растянувшись, я обнаружил вдруг с удивлением, что уснуть не могу: все что-то во мне трепетало, дрожала жилочка под коленом, мелькали лица прошедших суток, жесты, движение машин, переключение света, сигнальные огни, проворачивались болты, отвинчивались патрубки... лист протокола вдруг косо, словно сорванный осенью, пересек картину, я обрадовался, что засыпаю, но от этой мысли проснулся окончательно.

Казалось бы, плевать мне было на штрафную площадку, где сейчас стоял мой автомобиль, но вдруг она стала объектом моего пристального внимания, я вдруг обнаружил себя в окружении страшных монстров, диких калек, несчастных уродцев, что были еще совсем недавно великолепными аппаратами.

Вот нечто, именовавшееся когда-то «Волгой». Передок у нее выглядит так, словно на нем смыкались челюсти дракона. Даже чугунный блок цилиндров, торчащий из обрывков металла, и тот изуродован. Крыша примята к сиденьям, а на задранной вверх двери висит пиджак с полуоторванным рукавом.

Одна машина была страшней другой. Нечто, то ли «Жигули», то ли «Москвич», выглядело так, будто его долго толкали в ступе. Еще одно нечто напоминало выжатую тряпку. Рядом — довольно аккуратненький остов сторевшего «Запорожца». В нем все сторело: провода, пластик, резина... Торчали пустые глазницы, и казалось, что и фары у него вытекли от огня, словно живые глаза. Любопытно, что изуродованные механизмы в большей степени, чем целые, напоминали биоприроду. Трудно было удержаться, чтобы не сравнить раскуроченные мотоциклы с какими-то огромными погибшими насекомыми.

Волей-неволей о биоприроде напоминало еще и другое: вещи или остатки вещей, принадлежавшие водителям и пассажирам, облекавшие когда-то их биологические тела. Тяжело и неподвижно висел на руине упомянутый уже пиджак. Поблизости подрагивал в скважничке лоскуток яркой материи. Белый пластмассовый ободок свето-защитных очков висел на искореженном зеркальце заднего вида. Впечатляли мотоциклетные шлемы. Расколотые, помятые и треснутые полусферы свидетельствовали непосредственно о головах, в них некогда содержавшихся. Почему же эти несчастные вещи присутствуют здесь, на штрафной площадке, а не забраны владельцами? — подумал я.

— Забирать, по сути дела, некому, — ответил из окна второго этажа майор Калужный. — Здесь в основном представлены результаты аварий со смертельным исходом. Ведется следствие. Обломки транспортных средств и остатки одежды суть вещественные доказательства. Владельцы и пассажиры, увы, практически отсутствуют в нашем пространстве за исключением некоторых, которые в Институте скорой помощи еще борются за свои жизни, в чем, конечно, все наше подразделение желает им большого успеха.

Гладкость, с которой он сообщил все это из окна, говорила о том, что он, по сути дела, уже вошел в роль лектора. И впрямь, ответив на мою мысль, он тихо притворил окно и обратился к своей аудитории.

— Товарищи, правительство парагвайского диктатора. Стрессне-

ра уже давно поставило себя в практическую изоляцию на международной арене...— глухо доносился до меня его голос из-за двойных рам.

Сумерки сгушались. Силуэт города сливался с небом. Кот прошел, словно фокусник, по колючей проволоке и с базарным визгом свалился за кирпичную стену, в пустоту. Гнуснейшее настроение охватило меня. Я подумал о пустоте и никчемности своей быстро, год за годом пролетающей жизни, о пустоте и никчемности того странного жанра искусства, которым я вынужден заниматься на глазах небольшой кучки скучающих зрителей, о пустоте и никчемности своей вполне дурацкой автомобильной жизни, о пустоте и никчемности и той, и другой, и третьей, и десятой моей любви, о ледящей пустоте и о шерстящей, кусающей, трущей никчемности этого нынешнего вечера на штрафной площадке... Дымка, пыльный мрак, грязь подгнивающего лета... Единственное, на что я еще надеялся в эту ночь, был лунный свет. Хоть бы луна взошла.

Она взошла, но совсем не так, как я хотел. Она висела, как на экране, плоско и никчемно, вызывая опасения, как бы не оборвалась пленка, как бы не поехали швы, как бы не потекла краска. Нет, уж никогда не увидать мне, должно быть, луну так, как видел я ее в молодости. Как все было отчетливо и просто вокруг расцвета жизни, вокруг тридцатилетия! Какая была луна!

Какое все было! Какая мгла висела, если уж она висела! Какие дымные вечера! Какие запомнились верхушки кипарисов! Какие звездочки летели над морозом! Какой азиатский был мороз! Какие ветреные, промозглые европейские дни! Как я выходил, перетянутый в талии кушаком плаща, и — шляпу на затылок,— крепко стуча каблуками, весело, на вечном полувзводе шел по Литейному на бульвар Сен-Мишель и дальше на Манхаттан!

Беда, конечно, не в возрасте. В любом возрасте можно естественно жить, если ровно в него вошел. В конце концов, и скачки кровяного давления и спазмы кипок должны восприниматься всякой гармонической личностью естественно, в том же ряду, что луна, ветер, песок, снегопад...

Беда, быть может, в том, что я, Павел Дуров, где-то проскочил мимо поворота, или не попал в шаг, или слишком долго был молодым, или, наоборот, рановато заныл, или не оправдал надежд, или въехал башкой в потолок... Быть может, меня тошнит от человеческой дури, а может быть, и сам я фальшивлю... То ли держусь за право на шарлатанство, то ли стыжусь своего трико, трости, дурацкого цилиндра, текстов, музыки — всего жанра... Короче говоря, он, лежащий сейчас на разложенных сиденьях в разбитой машине на штрафной площадке ГАИ, потерял свои пазы, он не входит уже в них, как точно вмазывался когда-то, словно крышка в пенал, он то ли маловат для этого сечения и болтается в нем, то ли крупноват и не вмещается, несмотря на тупые тычки. Пространство, которого частью он был и не мнил себя иначе, теперь вдруг превращается для него в паршивенький расплзающийся экран базарной циркорамы, и именно поэтому, а не по слепой случайности догоняет его сзади идиотская многотонная поливальная машина с порочным идиотом за рулем.

Лежание на разложенных сиденьях «ВАЗа» 21-02 — изрядная нагрузка для позвоночника. Если он у вас не гибок, как ивовая лоза, вы рано или поздно закричите. Молодым автомобилистам, вступающим на тернистую дорожку автобродяг, советую спать поперек, а не вдоль автомобиля, а ноги закидывать на спинку переднего сиденья, если вы сзади, или на панель приборов, если спереди.

— А лучше все-таки палаточку с собой возить,— услышал я чей-то голос.— Палаточка, спальный мешочек, газовая плиточка на баллончиках... Места много не занимают, а дают исключительные удобства!

В глубине штрафной площадки я увидел человека весьма округленных очертаний. Он вроде бы возился в багажнике изувеченной «Волги», вынимал оттуда какие-то предметы, освещал их маленьким фонариком и внимательно рассматривал. Занимался своим делом человек и уютно так приговаривал — приятная, положительная, надежная личность. Почему-то я смекнул, что зовут его Поцелуевский Вадим Оскарович, но никак еще не мог понять, откуда он взялся.

Тут зазвучал другой голос — низкий тембр, активное мужское начало, некоторая бравада:

— Ты о баллончиках говоришь, Оскарыч, а вот у нас был один мужик такой, Семен, так тот из своих «Жигулей» сделал нечто.

Гоша Славнищев (я был уверен, что именно так его зовут) сидел на капоте сгоревшего «Запорожца», потряхивал что-то в ладони и снисходительно рассказывал про какого-то Семена, который сделал на своем «ноль первом» на крыше отличную коечку, и даже с откидной лесенкой, и там отлично кемарил, а если дождь начинался, то над Семеном подымалась великолепная водонепроницаемая крыша. Кроме того, у Семена, конечно, не пропадал ни один кубический сантиметр и внутри автомобиля и везде были всякие приспособления, так что семейство могло во время путешествия и пожрать, и телек посмотреть, и охлажденный употребить напиток. Был у них такой Семен, фамилию его Гоша Славнищев не помнил, но вот койка на крыше — это, конечно, неизгладимо...

Откуда взялся этот Гоша Славнищев на штрафной площадке ГАИ в ночной час? Как оказались здесь еще и вон те двое, что, не включаясь пока в беседу, возились в углу площадки, кажется перемонтировали колесо, во всяком случае занимались трудоемким делом? Имена этих незнакомых мужланов Слава и Марат были мне доподлинно известны, про Марата Садрединова я знал к тому же, что он прапорщик в отставке, но откуда они взялись здесь, где еще десять минут назад не было никого? Как очутилась здесь суховатая дамочка в прозрачном платице с оторванным рукавчиком? Она прогуливалась среди руин, как бы что-то мельком ища, поглядывая на землю, но явно показывая, что искомое ей и не особенно-то нужно, что она может без него вполне обойтись.

За воротами штрафной площадки прошла к казарме военная машина. Электричество проникло в щели, и один луч на мгновение осветил лицо Ларисы Лихих. Следы многочисленных огорчений лежали на нем вкупе с яркой помадой и краской для век. Вдруг, испустив радостный возглас, она ринулась к закрученной в стальную тряпку машине и вытащила из какой-то рваной щели лакированную дамскую сумочку. Торопливо, с нервной радостью она открыла сумочку и заглянула внутрь, но тут вспомнила, видимо, что сумочка эта ей не очень-то и нужна. Тогда она независимо пошла вдоль забора, небрежно помахивая сумочкой и напевая:

— Такие старые слова, а так кружится голова-ова-ова-а-а-а...

Еще и еще люди появлялись на штрафной площадке в мутноватом свете горячей вполнакала луны. Все они были незнакомы мне, но имена их брезжили сквозь прореженную ткань пространства, а некоторые просто выплывали вполне оформленные и отчетливые, словно золотые кулончики: Олеша Храбростин, Рита Правдивцева, Витас Гидраускас, Нина Степановна Черезподольская, Гагулия Томаз...

Мотоциклисты иные сидели в своих седлах, покуривая, тихо разговаривая и смеясь, иные подпирали стенки, третьи возились с покалеченными механизмами... — в основном это все была молодежь.

Возле машин держалась публика посOLIDнее. Нина Степановна, например, была крупной, даже несколько тяжеловатой персоной с высокой прической и несколькими наградами на отменном костюме-джерси. Она стояла столь внушительно и строго, что вроде бы не подходи, но вот к ней приблизился хитрюга Потапыч в брезентовом грубом армяке, тронул ее без особых церемоний за слегка отвисший бок, и она спокойно к нему повернулась. За воротами в этот момент прошла еще одна военная машина, снова луч электричества проплыл через штрафную площадку, и я увидел в этом луче, как лицо Н. С. Черезподольской, по идее выражающее неизбежность и авторитет, осветилось при виде хитрюги Потапыча простейшей улыбкой.

— Ну что, мужики, — обратился Гоша ко всем присутствующим и тряхнул посильнее что-то в своей ладони, — лампочки пятиваттные кому-нибудь нужны?

— Я у тебя возьму с десятков, — сказал хитрюга Потапыч и обратился через голову Славы к Поцелуевскому: — А вы, Вадим Оскарович, поршней не богаты?

— Я вам скажу. — Поцелуевский, вытирая руки чистой ветошью, обогнул «Волгу» и приблизился, представляя из себя чрезвычайно приятное зрелище в своем замшевом жилете и новейших джинсах «ливайс», «молния» на которых поднималась лишь до середины своего хода. — Я вам так скажу, Потапыч. Запчасти для «М—двадцать один» заводом уже не выпускаются, а машины еще бегать будут долго. Вы согласны?

— Чего же им не бегать, — хохотнул хитрюга Потапыч. — Такая машина! Танк русских полей.

— В свете вышеизложенного, — как бы подхватил Поцелуевский, — вы, конечно, понимаете, какую сейчас ценность представляет из себя поршень «М—двадцать один». Поршень! Вы понимаете — поршень!

— Поршня, — любовно постанывал Потапыч, оглаживая пальцем отвсечивающую в руках Поцелуевского металлическую штуку. — Поршня, она всегда поршня.

— Я уступлю вам его, — решительно сказал Поцелуевский, — но вы, Потапыч, должны мне за то достать пару вкладышей.

— Передних или задних? — быстро осведомился хитрюга Потапыч. Поршень уже исчез в необъятной его брезентовой хламиде.

— Передних или задних, — тяжело, с горьковато-добродушной иронией вздохнул Поцелуевский и заглянул в глаза Потапычу. — Ну, Потапыч, предположим, задних.

— Эх, Оскарыч, задних-то как раз нету! — весело обрадовался хитрюга Потапыч. — Однако не тушуйся, тут у одного мужика должны быть задние вкладыши, я точно знаю. Ребята, — обратился он ко всем присутствующим, — кто Кирибеева Владимира тут видел?

На штрафной площадке наступило вдруг какое-то неловкое молчание. Доносились лишь внешние звуки: грохот сапог проходящего взвода, шорох шин, глухой голос майора Калюжного из-за окон: «...народ Намибии давно уже дал недвусмысленный ответ южноамериканским расистам...»

— Кирибеева Владимира тут пока еще быть не может, — вдруг заявила с некоторым вызовом Лариса Лихих. — Практически Кирибеев еще борется за жизнь на операционном столе Третьей горбольницы.

Вдруг Нина Степановна приблизилась к Вадиму Оскаровичу и стала развязывать неизвестно откуда у нее взявшийся промасленный узелок.

— Практически, Вадим Оскарович, я могла бы вас выручить, потому что имею некоторые основания в смысле собственности Владимира Ивановича, и в частности по поводу задних вкладышей.

— Как приятно, вот радость! — Поцелуевский взял вкладыши. — Значит, вы, Нина Степановна, были в близких отношениях с Кирибеевым?

— Практически да, — сказала Черезподольская. — Он волновал мое женское начало.

— Мое практически тоже, — высоким голосом сказала Лариса Лихих.

Два луча из-за ворот остановились на лицах женщин. Растерянно-детское выражение на величественном лице Н. С. Черезподольской. Мечтательное выражение на наступательном лице Ларисы Лихих.

Среди мотоциклистов в темном углу послышался смех.

— Поцелуйтесь, тетки! — посоветовал чей-то голос, кажется Риты Правдивцевой.

Нина Степановна чуть пригнулась, Лариса чуть подтянулась, и они поцеловались, причем после поцелуя рот Лихих как бы увеличился, а рот Черезподольской как бы уменьшился.

Поскрипывая кожей, прошелся вдоль автомашин литовский ковбой Витас Гидраускас.

— Я слышал, кто-то здесь имеет приличный вулканизатор? Я имею три дверных ручки и четыре ограничителя.

Кто-то предложил ему вулканизатор, кто-то заинтересовался дверными ручками. Олеша Храбростин вместе с подружкой своей Ритой Правдивцевой живо, бойко делились запасом фиатовских свечей, сальниками, прокладками и все спрашивали про задние амортизаторы, пока Томаз Гагулия не принес им эти амортизаторы, которые получил от вновь прибывшего английского туриста Иена Лоуренса в обмен на рулевое колесо в сборе. Последнего кто-то спросил между прочим:

— А вы, Иен, сейчас непосредственно откуда?

— Из Третьей горбольницы, — ответил рыжий славный малый, типичный инглишмен.

— А Кирибеева Владимира вы практически видели?

— Практически мы боролись за жизнь на соседних столах, но он еще там, а я, как видите, уже здесь.

Любопытно, что Лоуренс как будто бы говорил по-английски, но все его понимали, и он всех понимал и, мало того, был в курсе всех событий этого ночного рынка запчастей. Да-да, ведь это именно просто-напросто рынок запчастей, подумалось мне. Весьма все это напоминает паркинг возле магазина «Спорт» на Дмитровском шоссе или ту веселой памяти осиновую рощу за Лианозовом у кольцевой дороги. Только, кажется, денежные знаки здесь не в ходу, идет прямой обмен с неясным еще для меня эквивалентом ценности, но по сути дела это просто-напросто именно непосредственно и практически... Наречия-паразиты облепили мою мысль, и я ее потерял.

— Эх, Вадим, посочувствуй, — сказал вдруг Потапыч Поцелуевскому не без горечи. Кстати говоря, это была первая нотка горечи, уловленная мной за ночь. — Ведь я бы мог сейчас свою машину превратить в игрушку. Глянь, все есть уже у меня для передка, даже облицовка, даже фээргэшные противотуманные фары...

Поцелуевский посмеялся и похлопал Потапыча по плечу:

— Потапыч, Потапыч, ты неисправим. Это ли повод для огорчений?

— А в чем дело? — спросил я тогда Потапыча. — Превращайте ее в игрушку. Что вам мешает?

Со скрипом я открыл свою скособоченную дверь и вылез из машины. Они все повернулись ко мне, словно только сейчас заметили. Я видел удивленные взгляды и слышал даже приглушенные смешки, как будто я нарушил какой-то этикет и явился вроде бы туда, куда мне не по призванию. Один лишь хитрюга Потапыч, копясь в своих брезентовых анналах, не обратил на меня особого внимания и принял вполне естественно.

— Да на кой она мне сейчас ляд, эта игрушка, — пробормотал он. — Конечно, Оскарыч, это не повод, а малость жалко — запчастей-то навалом... — Он завязал мешок аккуратненьким ремешком и тогда только посмотрел на меня. — А ты, друг, чем-нибудь интересуешься или сам чего привез? Ты из какой больницы-то?

— Да я не из больницы...

— Прямо с шоссе, значит? У нас тут есть некоторые прямо с шоссе. Вот, например, Слава Баранов — Славик, ты здесь? — с Лоуренсом лоб в лоб сошлись на четыреста третьем километре. Славка сразу отлетел, а Иен еще на операционном столе мучился. А ты, парень, где же кокнулся? Что-то я тебя...

— Да что вы, Потапыч, не видите, что ли? — сказала с досадой на быстром подходе с разлетом юбочки и взмахом сумочки Лариса Лихих.

— Эге, да ты... — Потапыч даже рот открыл от удивления. — А ты-то как сюда попал?

— Меня непосредственно майор Калюжный... — начал было я объяснять, но тут и меня осенила наконец догадка: — А вы, значит, все...

— Угадал, — с добродушным небрежным смешком, потряхивая в ладони пятываттные лампочки и не слезая с капота сгоревшего «Запорожца», проговорил Гоша Славнищев. — Мы они самые, жмурики.

— Мы все жертвы автодорожных происшествий со смертельным исходом, — солидно пояснил Вадим Оскарович Поцелуевский.

— Понятно. Благодарю. Теперь мне все понятно... — Я почему-то не нашел ничего лучше как отвесить всем собравшимся на штрафной площадке несколько светских поклонов, а потом повернулся к хитрюге Потапычу: — Простите, Потапыч, я невольно подслушал, у вас, кажется, есть в наличии пара остродефицитных задних амортизаторов? Не уступите ли?

Теперь все смотрели на меня с добродушными улыбками, как на неразумное дитя.

— Шел бы ты, друг, в свою машину, ложился бы ты спать, — сказал кто-то, то ли Лоуренс, то ли Марат.

— Вы не думайте, Потапыч, у меня есть кое-что на обмен, — сказал я, уже понимая, что леплю вздор, но все еще пытаюсь нащупать какую-нибудь возможность контакта. — Например, японское электронное зажигание или... скажем... я наличными могу заплатить...

Призраки — а ведь именно призраки с нашей точки зрения это и были — засмеялись. Не страшно, не больно, не обидно.

— Иди спать, милоч, — сказал Потапыч. — Здесь пока что ваши вещи не ходють.

Я повернулся тогда и пошел к своей машине, в которой гостеприимно светился под луной смятый и превращенный в подушку плащ. На полпути я все-таки обернулся и увидел, что они уже забы-

ли про меня и снова занимаются своими делами — возятся с запчастями, вулканизируют резину, рассказывают друг другу какие-то истории, покуривают, кто-то играет на гитаре...

— Простите, я хотел бы спросить — что там, откуда вы приходите? Есть ли смысл в словах Эврипида «быть может, жизнь — это смерть, а смерть — это жизнь»?

Движение на штрафной площадке остановилось и наступила тишина. Зарница, пролетевшая над городом, на миг озарила их всех — пассажиров и водителей, собравшихся как будто для коллективного снимка.

— Иди спать,— сказал Гоша.

— Идите спать,— посоветовала Нина Степановна Черезподольская.

— Не вашего пока что ума это дело,— без высокомерия, с неожиданной грустью сказал Потапыч, похожий сейчас, под зарницей, на старца Гёте.

Тогда уж я, больше ни о чем не спрашивая, влез в свою машину на заднее сиденье, подоткнул под голову плащ, ноги завалил на спинку переднего кресла и тут же заснул.

Мне снилась чудесная пора жизни, которая то ли была, то ли есть, то ли будет. Я был полноправной частью той поры, а может быть, даже ее центром. У той поры был берег моря, и я носился скачками по ноздреватому плотному песку и наслаждался своим искусством, своим жанром, своим умением мгновенно вздуть огромный, приподнимающий над землей зонтик и тут же подбросить в воздух левой рукой пять разноцветных бутылок, а правой пять разноцветных тарелок и все перемешать, и все тут же поймать, и все превратить частью в литеры, частью в нотные знаки, и всех мгновенно рассмешить, ничего не стыдясь. У той поры был уходящий в высоту крутой берег с пучками сосен, домом из яркого серого камня на самом верху и с женщиной на веранде, с женщиной, у которой все на ветру трепетало, полоскалось, все очищалось и летело — волосы, платье, шарф. Счастливо с нее слетала вязаная шапочка, и она счастливо ее ловила. Это было непрекращающееся мгновение, непрерывная чудесная пора жизни. На горизонте из прозрачного океана уступами поднимался город-остров, и это была цель дальнейшего путешествия. Я радовался, что у меня есть цель дальнейшего путешествия, и одновременно наслаждался прибытием, ибо уже прибыл. Где-то за спиной я видел или чувствовал завитки распаренной на солнце асфальтовой дороги, и оттуда, из прошлого, долетала до ноздрей горьковатость распаренного асфальта, сладковатость бензина и хлорвинила. Это было наконец-то непрекращающееся мгновение в прочном пространстве, частью которого я стал. Все три наших печали, прошлое, настоящее и будущее, сошлись в чудесную пору жизни.

Пробуждение тоже было не лишено приятности.

Заря освещала верхние этажи далекой городской стены. Роса покрывала стены, сорную траву и металллом штрафной площадки. Поеживаясь от утреннего холодка, перед моей машиной стояли три чудесных офицера. Майор Калюжный предлагал для ознакомления свежую газету. Капитан Куришкевич принес на подпись акт моего злостного, но вовсе не такого уж и трагического ДТП. Старший лейтенант Сайко — ну что за душа у парня! — застенчиво предлагал бутылку кефира и круглую булочку.

Скрипнула дверь, и в штрафную площадку влез сначала шнобелем, потом всей будкой, а потом и непосредственно собственной персоной мастер — золотые руки Ефим Михин с необходимым инструментом.

— Видишь, артист-шулулуев, я тебе патрубок достал. Сейчас я его в твою тачку задырдачу — и поедешь дальше к туруруям искать приключений на собственную шерупу.

...Итак, все обошлось, только довольно долго еще побаливали шейные позвонки.

СЦЕНА. НОМЕР ПЕРВЫЙ: «ПО ОТНОШЕНИЮ К РИФМЕ»

Павел Дуров импровизирует перед немногочисленной аудиторией знатоков.

...Русская рифма порой кажется клеткой в сравнении с прозой. Дескать, у прозы экое, дескать, свободное течение, разлитое море свободы. Между тем прозаик то и дело давит себе на адамово яблоко — не забывайся, Адам!

По отношению к рифме вечно грызусь черной завистью: какой дает простор! По пятницам в Париже весенней пахнет жижей... Не было бы нужды в рифме, не связался бы Париж в дурацкую пятницу с запахами прошлой весны. Отдавая дань индийской йоге, Павлик часто думал о Ван Гоге. Совсем уж глупое буриме, а между тем кончатит! И Павлик появился едва ли не реальный, и дикая произошла связь явлений под фосфорической вспышкой рифмовки. Расхлябанный, случайный, по запаху, во мгле поиск созвучий — нечаянные контакты, вспышка воспоминаний, фосфорические картины с запахами. Узлы рифм, склонные вроде бы образовать клетку, становятся флажками свободы.

Рифма — шалунья, лихая проституточка. Уставший от ярма прозаик мечтает о мгновенных, вне логики, вне ratio, связях. Шалунья — колдунья — в соль дуну я — уния. Иногда, когда ловишь слепоу, можно больше поймать горячих и шелковистых.

Воспоминание бродячего прозаика.

Лило, лило по всей земле... Лило иль лйло? В лиловый цвет на помеле меня вносило. Когда метет, тогда «мелоб», отнюдь не «мело». Весной теряешь ремесло. Такое дело.

Двойная норма весенних дождей на фоне недостатка кофеварочных изделий уныло возмущала, но к вечеру на горизонте становилось ало, иллюзии двигались к нам навалом по рельсам, по воздуху, смазанным салом, воображение толпы побежало, и можно три дня рифмовать по вокзалам, навалом наваливаясь на «ало», но это безнравственное начало, и, с рыси такой перейдя на галоп, я пробую «ало» сменить на «ало».

Алло — баллон — салон — рулон — телефон...

Постылая иностранщина! Однако немалые возможности. Берешь, например, телефон и просишь билеты в обмен на вечерние чудоштилеты, и если ты «леты» сменяешь на «лату», тогда и получишь билеты по благу...

Фокус разваливался. Пузыри лопались, размокшие фейерверки шипели. Внезапно погас свет, что помогло Дурову избежать объяснений со зрителями.

УСЛУГА ЗА УСЛУГУ

Что такое автомобиль? — задал себе вопрос Павел Дуров. Вот именно, частный легковой автомобиль. Сатирическая дерзость «не роскошь, а средство передвижения», появившись в двадцатые годы, в том же десятилетии и утонула. В недалекие еще пятидесятые автомо-

биль все еще был не «средством передвижения», но символом особого могущества, несомненной роскошью и даже отчасти неким вместилищем греха. Только вот сейчас, уже в середине семидесятых, мы можем без боязни сфальшивить задать самому себе простецкий вопрос: что такое автомобиль?

Итак, конечно же, средство передвижения. Автомобиль — это мягкое кресло, на котором ты с большой скоростью передвигаешься в пространстве. Кроме того, ты можешь перевозить в автомобиле свои личные вещи, и необязательно в чемоданах, ты можешь просто набросать их в багажник и салон как попало. Следовательно, автомобиль — это передвигающийся чемодан. Далее, если ты едешь все время в автомобиле, тебе необязательно зимой тяжелую шубу носить, потому что внутри у тебя есть надежная печка. Следовательно, автомобиль — это еще и шуба, не так ли? Ну что еще? Ну, конечно же, автомобиль — это твой дом, маленький домик на колесах, часть твоей личной защитной сферы, постель, зонтик, галоши... Ну что еще? Итак, автомобиль — это твоё кресло, чемодан, шуба, койка, домик, зонтик, галоши и, конечно же, зеркальце для бритья. Да, конечно, автомобиль — это отличное зеркальце для бритья, думал Павел Дуров, сидя рядом со своим автомобилем и намыливая щеки перед бортовым зеркальцем заднего вида.

Великолепное место избрал Павел Аполлинарьевич для утреннего блаженства. Высота была метров триста над уровнем моря, а море сияло перед его взором, лежа на собственном уровне, но вполнеба. Здесь извилистая асфальтовая дорога, ограниченная с одной стороны обрывом к морю, а с другой отвесными скалами, позволила себе роскошь — карман в скалах, приют усталого путника, родник, блаженство, непрерывающаяся хрустальная струя меж замшелых зеленоватых камней и никаких ограничительных знаков.

Дуров наслаждался тишиной, одиночеством, пеньем птиц в весенних кустах, бульканьем ручья, солнцем, которое вслед за ходом бритвы гладило его щеки, морем, сверкавшим вполнеба... Наслаждаясь, однако, он, как и подобает современному человеку, иной раз думал с легкой тревогой: «Что же это я — один такой умный?»

И в самом деле — ни одной машины не прошло мимо Дурова, пока он брился. И ночь он спал в этом асфальтовом кармане в полной тишине, если, конечно, не считать криков орлов и сов, доносившихся сверху. Так и было: Дуров был один «такой умный». Он еще не знал, что ночью сбился с главной дороги, проехал под кирпич и сейчас блаженствовал в запретной для автотранспорта заповедной зоне. Смешная, согласитесь, картина: блаженствует человек и не подозревает, что над ним навис штраф в солидную сумму, а может быть, и отнятие водительских прав.

Как раз километрах в восьми — десяти отсюда ехал по дороге на мотоцикле егерь заповедника. Уж он-то наверняка бы дуровскую машину или сам задержал, или позвонил на близкий пост ГАИ. Однако встречи Дурова с егерем не произошло, потому что прежде на шоссе появились тетки.

Две тетки с сумками вылезли к роднику прямо откуда-то снизу, из густого кустарника, которым зарос крутой, местами просто обрывистый склон. Они вылезли и изумленно охнули, когда увидели прямо перед собой спокойный частный автомобильчик и обнаженного по пояс ничего себе паренька (Дуров издали производил именно такое впечатление), который мирно брился, заглядывая в этот автомобильчик. Это была редкая удача для теток, и они заверещали от удовольствия. Дуров же не знал, что это и для него редкая удача, и потому не заверещал.

— А ты бы нас, парень, не подбросил к Феодосии? — спросили тетки.

Они были красные, распаренные, одна вроде даже багровая, после подъема. Странно было видеть среди молодой нежнейшей листвы на фоне сверкающего моря этих двух бесформенных теток, одетых еще по-зимнему, перепоясанных шальями, в тяжелых резиновых сапогах и с сумками. У Дурова чуть-чуть испортилось настроение. Присутствие двух больших теток на заднем сиденье ему не улыбалось. Он привык в этот час ехать один, с удовольствием курить и слушать радио, брекфест-шоу с музыкой и разными интервью.

— Вот сейчас добреюсь, потом умоюсь, потом позавтракаю, а потом уже поеду, — сказал он теткам без особого привета.

— Ну вот и отлично, мы с тобой поедем.

Тетки приблизились и свалили свои сумки возле переднего правого колеса.

— Охохонюшки-хохо, — сказала одна из теток.

Что означало в данном случае это емкое слово, Дуров не понял.

Вторая тетка вздохнула более осмысленно. Она развязала свою шаль и сбросила ее с плеч. Краем глаза Дуров заметил густые и, пожалуй, даже красивые светло-каштановые волосы. Тетка подняла лицо к солнцу и вздохнула, и этот вздох ее легко читался. Боже мой, вот и опять весна! боже! боже! — так можно было прочесть теткин вздох.

Присутствие этих теток смазало дуровский утренний кайф, и вскоре они поехали. Между прочим, за три минуты до того, как выехал из-за поворота егеря заповедника. Три минуты отделяли нашего странника от серьезных неприятностей.

— А ты сам-то куда, парень, едешь? — спросили тетки с заднего сиденья.

— В Керчь, — ответил Дуров.

Он все-таки включил свой брекфест-шоу и слушал сейчас сводку новостей.

— Ох, машинка-то у тебя хороша, — сказали тетки. — Папина?

— Почему папина? — удивился Дуров. — Моя.

— Где ж ты на машину-то заработал?

До Дурова наконец дошел смысл вопросов. Возраст. Молод, дескать, еще для собственной машины. Тетки не заметили его морщин, а возраст, видимо, прикинули по внешним очертаниям. С ним уже не раз случилось такое, особенно после недельки, проведенной на пляже, — какое-то недоразумение с возрастом, казавшееся ему почему-то слегка оскорбительным.

— Заработал, — буркнул он и неожиданно для себя соврал: — Черная Африка.

— Ага, понятно, в Африке заработал. — Тетки были удовлетворены.

«Удачное вранье, — подумал Дуров. — Запомним на будущее». В Африке заработал — и все понятно, вопросов нет. Снимаются всякие там разговоры о возрасте и особенно о профессии. Дуров не любил говорить о своей профессии со случайными людьми. Нет, он не стыдился ее, но она была довольно редкой, можно сказать, исключительной и упоминание о ней неизбежно вызывало вопрос за вопросом и странное покачивание головой, и наконец, когда он заговаривал о своем жанре, следовало «а зачем?», и тогда уже Дуров в ярости проглатывал язык, потому что не знал зачем.

— А вы, значит, обе в Феодосию? — спросил он, чтобы что-нибудь спросить.

— В Феодосию, в Феодосию,— сказали тетки.

— Я мужика своего ищу,— сказали тетки, вернее одна из них, конечно одна из них, должно быть, та, с пышной гривой.

— Что? — изумился Дуров.

— Мужик от меня сбежал. Тебе интересно? — весело и быстро проговорила она. — Слушай, парень, давай-ка я к тебе вперед сяду.

Дорога пошла вниз. Открылись больше ярко-серые скалы. Между скалами над морем плавали орлы. Дуров был в замешательстве. Одна из теток перелезала через спинку переднего кресла и вскоре водрузилась рядом, разбросав по коленям полы своего синтетического пальто, шаль, сумку, а волосы раскидав по плечам. Сильно запахло крепкими сладкими духами. Что-то странное произошло с этой теткой, какая-то метаморфоза.

— Давай знакомиться. Меня Аллой зовут.

— Павел Дуров.

Был крутой вираж впереди, и потому он только мельком глянул на тетку. Успел заметить довольно привлекательные груди, обтянутые тонкой кофточкой. Тетка вылезала из своих одежек, обнаруживая внутри, за всеми этими капустными листьями, за шалью, за синтетическим, подбитым поролоном пальто, за двумя крупновязаными кофтами, себя самою, то есть вовсе и не тетку, а скорее девку.

— Ты, может, моряк? Дай сигарету!

Просьба, последовавшая сразу за вопросом, избавила Дурова от необходимости врать. Он протянул сигареты, потом показал на зажигалку. (Автомобиль — это еще и зажигалка для сигарет!) Она умело закурила и затянулась, явно предвкушая длительную и обстоятельную беседу.

— Есть у меня моряк Славик. Высокий, красивый, в загранку ходит, исключительный парень.

На подъеме Дуров покосился внимательнее. Она курила с удовольствием. Выпуклые светлые глаза, попавшие под солнце, казались стеклянными, но на щеке трогательно и живо подрагивал каштановый завиток.

— Так это Славик сбежал от... тебя?

Дуров нелегко переходил с людьми на «ты», тем более не любил случайных с-понтном-свойских отношений, но сейчас почувствовал, что «вы» обидело бы попутчицу.

Может быть, и Алла почувствовала, как он преодолел какой-то серьезный для себя барьер, потому что обрадовалась его вопросу и затараторила:

— Ну что ты, Паша! Славик за мной как пудель на край света пойдет, только свистну! Что, не веришь? Думаешь, я всегда такая те-ха? Знаешь, подмажусь, причесочку заделаю, брючный костюм, платформы — кадр в порядке! Я пивом на автостанции торгую. В кавалерах недостатка не испытываю. Это от меня не Славик, а Николай, пьянь паршивая, смотался! Смотался — и с концами, ну что ты скажешь, Паша, а?

Дуров заметил уже, что случайные попутчики, попадая в автомобиль, вдруг ни с того ни с сего начинают выкладывать подробности своей жизни, подчас весьма интимные. Ему это было не очень-то по душе. Ему казалось, что в ответ на свои откровения попутчики ждут и от него чего-то в этом роде. Неискушенная душа, Павел Дуров не сразу понял, что людям его тайны совершенно не нужны. Случайный попутчик в автомобиле торопится выложить свои беды, а порой и грехи свои, имея в виду, что скорость современных автомобилей и разветвленность автотрасс обеспечат тайну исповеди. Да, по сути дела,

это были как бы исповеди в темноте, но он не сразу разобрался в этом явлении. Во всяком случае, он этого не любил.

— А что... прическа? Ты, наверное, Алла, вверх все начесываешь, да? Такой как бы башней? — спросил он.

Ну что это за вздор? Что это он о прическе заговорил с незнакомой бабой? Ах да, для того чтобы она о своем Николае ничего ему не выкладывала. Славик какой-то да еще Николай — к чему Дурову эти люди?

— Точно, Паша! — Она засмеялась. — Так получается очень эффективно!

— Знаешь, я бы тебе посоветовал не начесывать, а вот просто так, гладко, знаешь ли... ну, просто вниз... вот в принципе как сейчас...

— Ты так считаешь?! — Она была поражена. Повернулась к нему на сиденье, но не смотрела, а вся как бы ушла в себя, потрясенная этим косноязычным советом. — Значит, просто вниз, вот так, да? — Толстые ее пальцы с облупленным маникюром трогали волосы. — Значит, ты считаешь, мне так личит, а? Много более женственно, ага? Ты серьезно, Паша?

Дорога все больше уходила вниз и в сторону от моря. Наконец до Дурова дошло, почему такое безлюдное, тихое шоссе. Заповедник! Он заторопился, стал поджимать на газок и на поворотах прижиматься к внутренней дуге, короче говоря, поехал «активно». Вскоре они проскочили щиты с заповедями заповедника, запрещающие знаки, поднятый шлагбаум. Дуров передохнул — пронесло!

Немедленно после шлагбаума началась реальная дорога. С какой-то стройки на шоссе в тучах пыли выезжала колонна самосвалов. Они не желали считаться с правилами преимущественного проезда и выезжали один за другим, обдавая затормозивший «фиат» пылью, оглушая грохотом, в общем, шуровали по принципу «у кого железа больше, тот и прав».

Дуров начал уже злиться, но потом, когда все самосвалы выехали на шоссе, он разогнался и стал их щелкать одного за другим, пошел вдоль всего ряда, быстро обогнал колонну, что называется, сделал их, и оттого настроение у него подскочило на несколько градусов, хотя, конечно, повод для радости был глупейший.

Справа проплыл, как всегда, миражный силуэт Генуэзской крепости. За башнями еще сверкали куски моря. Заправляться не нужно? Нет, лучше проскочить эту бензоколонку, здесь уже собралась компания — за час не расхлебаешь. Навстречу прощелкивали все чаще и чаще разноцветные «Жигули». Все больше и больше автобусов и грузовиков. Как же ты, черт, выходишь на обгон? Ты что, меня не видишь? Просигнальте ему фарами. То-то, спрятался.

Выше, выше, вот перевал и снова вниз.

Боже, какая чудесная земля! Холмистая золотая долина лежала внизу, а справа, там, где только что были море и крепость, стояли зубчатые скалы. Он с удовольствием спускался, как бы внедрялся в нежную золотистую долину, хотя и понимал, что с каждой сотней метров теряет перспективу.

...а это уже потом Ашотик мне бацнул что видел Кольку в обсерватории я сразу тогда сумки-то собрала и ходу сюда в заповедник потому что Паша-дорогой больше всего боюсь как бы этот дурак опять за руль не сел в прошлый-то раз тоже так началось за руль дескать сяду у меня мол первый класс а как банку возьмет так он и гонщик мастер спорта чемпион Европы так он тогда и поездил в Джанкое может неделю или меньше а потом от милиции драпал а я уж его в Кременчуге подобрала практически без штанов так кой-чего

на заднице висело а еще опять же гордость показывал и демонстрировал свое превосходство ты говори Алка захлебнешься в своем пиве а стихов Есенина не знаешь и душу русского человека вы южные бабы не поймете ты понял Паша как будто мы не русские по крайней мере какая же это говорю Николай польза человечеству от твоего первого класса и твоей души ты посмотри какие русские люди повсюду творят чудеса как помогаем разным многочисленным народам а ты практически в стороне от всего вытягиваешь последние капельки из бутылки роняешь мужское достоинство и вот теперь Ашот Заказанян он газовые баллоны возит сообщил мне местонахождение ну думаю конец обсерватория-то там внизу у самого моря а дороги крутые узкие все думаю пришел моему мастеру спорта финал собралась сюда с сумками а здесь его и след простыл и ребята из гаража всю ночь приставали с дурацкими предложениями а утром завгар сказал что на третий же день он и попер Николая из своего астрономического хозяйства а сейчас единственная возможность что может быть он в Феодосии ошивается у своего кореша по авиации Степки Никоненко если оба не загазовали а как загазуют так черт знает где могут оказаться хоть на Сахалине...

Дуров понял, что она всю эту драматическую историю начала еще в заповеднике и продолжала все время, пока они проезжали через город, мимо крепости и бензоколонки, а он ничего не слышал и вот только здесь уже, в золотой долине, подключился, но, кажется, вовремя. Во всяком случае, в расстановке сил на арене личной жизни Аллы Филиппук, продавца палатки «Пиво—воды», он, кажется, начинает разбираться. Он засмеялся.

— Напрасно смеешься. Дело не смешное, — быстро и сердито произнесла Алла, но потом, вспомнив, видимо, что Паша ей чужой человек, тоже облегченно засмеялась. — Значит, такое выносятся предложения — женственный стиль волос? Все, схвачено, Пашок! Теперь их трогать не буду, отпущу пониже да почаще мыть-мыть, у меня же тут, видишь, волна... видишь, Паша? Ой, Паша, да ведь не девочка же, как я буду с длинными-то волосами ходить при моей попе?

— Ничего, ничего, — ободрил ее Дуров. — Не девочка, но и не тетка ведь старая. Пройдешь.

— Ну... а сколько мне годков кинешь? — вдруг решительно, как в воду головой, спросила Алла.

Дуров тогда еще внимательнее посмотрел на свою попутчицу. Она все больше его забавляла — в самом деле любопытная бабешка! Дуров даже поймал себя на том, что слегка отвлекся от своего внутреннего вечного «самососания», от своего испепеляющего эгоизма. Интересен стал даже и дикий ее Николай — чемпион Европы, его слегка заинтересовал и даже стопроцентный Славик. «Она, конечно же, моложе меня, — подумал он. — Хоть у нее и подбородочек имеется, но подбородочек гладенький, а морщины у глаз крупные — от смеха, от слез, а не от мелких возрастных неприятностей».

— Я, Алла, комплименты делать не умею.

— Нет-нет, ты, Паша, честно говори, как будто врач!

— Тридцать пять, — сказал Дуров, все-таки годика три срезав.

— Ай! — вскрикнула Алла, словно укололась.

Тут вдруг обнаружилась на заднем сиденье вторая тетка, о которой Дуров совсем уже забыл:

— Ты, шофер, трёхнулся? Тридцать пять — это мне, бабе нукудышной, в среду минуло, а Аллочка наша вполне еще конфетка.

Дуров посмотрел в зеркальце заднего вида на осерчавшее то ли всерьез, то ли в шутку лицо второй пассажирки. Ее-то он полагал

вообще пенсионеркой. Невольно, разумеется, вспомнились порхающие в Москве по творческим клубам сорокалетние девочки.

— Ах, неужели, Пашенька, я так уже выгляжу? — с тихим человеческим страданием проговорила Алла. — А ведь мне всего лишь двадцать семь.

Дуров что-то промямлил о своем паршивом зрении, об Аллиных платках, шарфах, кофтах, дескать, они его сбили с толку, и наконец замолчал. Разговор в машине прервался.

Дуров, как ни странно, несколько угрызался, но одновременно и радовался, что с языка не сорвалась «сороковка». Самому ему почему-то всегда казалось, что сорок человеческих лет — это меньше, чем тридцать пять. Как ни странно, ему так казалось еще до того, как пришел личный опыт, но с Аллой этими заумными соображениями он решил не делиться. Скоро уже Феодосия — и гуд бай с концами!

Вдруг он заметил выросший из круглых нежно-зеленых склонов изломанный гребень ярко-серого цвета. Как всегда неожиданно, на горизонте появилась Сьюрю-Кая. Сколько уже раз он въезжал в кокетбельское графство и с запада и с востока и всегда готовился увидеть потрясающий силуэт гор, в котором можно разглядеть при желании профили замечательных писателей, и всякий раз Сьюрю-Кая поражала неожиданностью. Гора эта — она волновала его.

Они катили через Планерское, когда Алла вдруг закричала:

— Паша, Паша, стой, будь другом! Вон Степка Никоненко идет!

Почему-то Дуров сразу понял, о ком речь. По территории поселка среди множества других граждан шел невысокий человек с богатым выгоревшим чубом, в большом пиджаке, надетом на майку, тяжелом черном пиджаке с наградными планками на левой груди и со значками на правой, в пиджаке, быть может, и не собственном, не личном, и в коротковатых, тоже, возможно, не своих брюках. В руке он нес авоську с бутылкой алжирского вина и двумя коробками стирального порошка. Он двигался с неопределенной улыбкой на устах и с некоторой независимостью в походке, что, возможно, и выделяло его среди многочисленных граждан. Так или иначе, Дуров подрулил прямо к нему и остановился, и Степан Никоненко остановился, ничуть не испугавшись.

— Эй, Степа, где мой Николай у тебя прохлаждается, живой еще? — на одном дыхании выкрикнула Алла, хотя Никоненко стоял рядом и вроде был не глухой.

— Алка, кидать-меня-за-пазуху! — мило удивился Степан. — Вот ты где, девка, за Колей-гопником своим интересуешься!

Говорил он с сильным южным проносом, и получалось примерно так: «Вот ты хде деука за Колей-хопником...» Оказалось, что с другом Колей они не поладили, почти, можно сказать, полаялись, а может, и стыкнулись малость из-за различия во взглядах на покорение Луны. Коля прибыл из обсерватории с большой астрономической «подхотоукой», но он, Степан Никоненко, тоже не «хала-бала» и требует взаимного уважения, а потому Коля отбыл из Феодосии в Новороссийск, а его, Степу, баба за стиральным порошком в Планерское послала, а он здесь друга встретил, вот пиджачок его, а у вас, товарищ на «Жигулях», личность очень знакомая, вы, может, в Абрау-Дюрсо работали, нет, не работали? А тогда откуда же? Ага, из Москвы, ну он так и подумал, и не по номеру, а потому, что «ховор какой-то дыкий». Ну ладно, друг, не обижайся, паркуйся вот там, за павильоном, и пошли по делу. И девчат с собой возьмем, кидать-меня-за-пазуху!

— Симпатичный какой господин, — сказал Дуров Алле, когда они отъехали от Степана Никоненко на полкилометра.

— Зараза он! Губитель моей жизни! — вдруг горячо и горько воскликнула Алла.

— Что так?

— Они с Николаем когда-то вместе в авиации служили, он и сманил его в наши края. Так и свела меня жизнь с негодяем Николаем!

Тогда уж, когда они выехали за пределы блаженного коктебельского графства, Алла, словно отбросив какие-то сомнения, вдруг начала все выкладывать Дурову, всю свою жизнь, всех своих мужчин, разные неудачи и страсти, что терзали ее вот в эту пору, когда ей уже двадцать семь, а глядится она, страшно подумать, на тридцать пять.

Дуров уже не удивлялся самому себе и активно участвовал в разговоре, то есть даже переспрашивал иногда Аллу, уточняя детали. Иной раз он видел в зеркальце заднего обзора лицо второй тетки с открытым ртом и ушками на макушке. Тетка слушала Аллу внимательно. Втроем они доехали почти до Феодосии, до бензоколонки у поворота на Керчь, и здесь тетка с неохотой попрощалась, потому что ей действительно нужно было в Феодосию по серьезному протоварному делу. Она предлагала Дурову рубль железом и очень настаивала — на пиво, мол, или на табак, — но в конце концов не обиделась, когда при своем рубле и осталась.

— Кто она тебе, Алла? — спросил Дуров.

— А никто. Повариха из обсерватории. Теперь натреплет ребятам там про меня, ну и пусть.

— Скажи, Алла, а почему ты мне все это рассказываешь?

Спросив так, Дуров на попутчицу не посмотрел. Он засунул шланг в бак своей машины и показал заправщице три пальца — тридцать литров.

— Паша, ты в Керчи спать будешь? — спросила Алла и протянула Дурову из машины отличнейший бутерброд с ветчиной.

Это было очень неожиданно, и кстати, и мило. Чудесный был бутерброд — с сочной ветчиной и мягкая булка с хрустящей корочкой.

— В принципе я там развалины хотел посмотреть, но вообще-то паромом на Кавказ собираюсь, — сказал Дуров.

— Смотри, Паша. Делай как себе удобнее, — тихо сказала она и тоже стала есть.

Когда они отъехали от бензоколонки и встали на Керчь, Дуров опять повернулся к Алле:

— Так почему же все-таки, Алла, ты рассказываешь мне всю свою жизнь?

— А я всегда такая дура, — сказала она с досадой и отвернулась.

Пустая степь, унылые холмы лежали теперь по обе стороны шоссе.

— Потому рассказываю, что хочу тебе вопрос задать, — вдруг проговорила она с силой.

После этого возникла некоторая пауза, и Дуров попытался суммировать для себя поток информации, имея в виду предстоящий еще «вопрос».

В общем, Алла начала свою жизнь очень правильно и самостоятельно, и замуж вышла за хорошего человека, и работала в торговле, и заочно училась в техникуме. Хороший человек дал ей двух детей, двухкомнатную отличную квартиру со всеми удобствами, ковер, пылесос, стиралку, холодильник, телевизор, машина уже была на носу и отличные вообще перспективы, а потом его Алла взяла и турнула. А почему, сама не знаю — просто надоел. Значит, Николай уже появился? Нет, до Николая еще далеко. Тогда вот она начала пивом торговать, в связи с чем появились мужские знакомства. Нет, ты не подумай, что по рукам пошла. Всяких там шакалов Алла отметала

автоматически, а знакомства были довольно содержательные, ведь пиво пьют многие, в том числе и интересные люди. В частности, хотя бы Славик. Он очень за ней страдал и сейчас еще страдает, готов немедленно оформить отношения. Он, Славик, моложе Аллы на два года, красивый штурман, мореходку окончил, по-английски спикает, у девчонок ноги трясутся, когда он по улице идет, джинсы, очки фирменные, усики, но он предпочитает только Аллу с ее двумя детьми и шлет ей радиogramмы со всех морей, а однажды прилетел из Владивостока на два дня. На два дня из Владивостока повидаться — ведь это же настоящая романтика! Столько денег за две ночи, да и то не очень-то удачные — так уж оказалось, — это можно оценить, правда? Она дала ему тогда полное согласие и стала ждать с рейса, а он тем временем из Владивостока пошел на юг и огибал Азию, приближаясь к заветной цели. Да что там говорить, это была настоящая романтика, любая дура бы оценила, но второй такой идиотки, как Алла, видно, еще не родилось, потому что как раз в этот отрезок времени и появился на автостанции проклятый Николай. Чем же он взял? Красивый, что ли? Как ты говоришь, Паша? Стихийная, говоришь, анархическая натура? Никакой у него вообще нет натуры, один перегар. Обезьяна старая, а не мужчина! Вот и ответь мне, пожалуйста, Паша, почему я всех своих денежных и солидных позабыла, на красавцев не хочу и смотреть, а за этой обезьяной воюю от тоски, езжу повсюду, ищу алкаша и жизни себе не представляю без его опухшей будки?

— Это и есть твой вопрос? — спросил Дуров.

— Это и есть.

— Любовь, должно быть. Ты просто-напросто любишь твоего Николая. Так мне кажется.

— Вот это и ответ, — неопределенно покачала она головой. — Любовь, значит, зла, полюбишь и козла?

Она потускнела и стала курить одну сигарету за другой, и беседа пошла сбивчивая и на какие-то все неважные боковые темы: а что, мол, у вас в Москве, можно ли, к примеру, купить в столице элегантную вещь, ну, скажем, красивый парик? — и так далее. Дурову показалось, что он своим ответом как-то подорвал у Аллы доверие к себе. Это его развеселило. Он зло улыбался и думал, какие, оказывается, страсти-мордасти бушуют в пивных ларьках, и это, безусловно, говорит о возросших запросах, о том, что принцессы торговой сети уже перешагнули ступень первичного насыщения. В этом уже есть нечто дворянское, думал он. Это что-то вроде фигурного катания, так он думал. Порядком уже надоела эта чушь, зло улыбался он, не сознавая самому себе, что злится из-за того, что контакт между ним и попутчицей вдруг прервался.

Начались уже пыльные невразумительные окраины Керчи, и Дуров все крутил и крутил по ним на стрелку указателя «к парому», опять же не сознавая самому себе, что только из-за Аллы он и собирается прямо сейчас переплыть Керченский пролив, потому что ей нужно в Новороссийск, и уверяя себя, что он вовсе и не собирался сегодня шляться по развалинам и что ему самому как раз необходимо поскорее оказаться на кавказской земле. Так он и въехал в очередь машин, ожидавших парома из Тамани.

Алла попросила у него пару двушек для телефона и вышла из машины. Он почему-то подумал, что она впервые за все их путешествия вышла из машины и теперь он сможет рассмотреть повнимательнее ее фигуру. Однако он не стал смотреть ей вслед, потому что его посетило вдруг нечто совсем уж неожиданное — сильное желание. Это совсем разозлило его. «Да ты посмотри, посмотри на коровицу, — говорил он себе, — мигом излечишься». Однако он не смотрел, потому

что знал — какая бы она там ни была, он все равно будет ее желать, и все больше и больше. Что за вздор! Какая бессмыслица! Из свободного одинокого путника, который так блаженно сегодня брился в заповеднике, он стал сначала исповедником, а потом и просто шофером дикой бабы, а теперь, возжелав ее, он уже и совсем закабалется. Мысль о неожиданной кабале просто взбесила Дурова. «Возьму сейчас развернусь и слиняю! А шмотки ее куда же? Все эти платки, шапки, пальто, сумки, сапоги резиновые? Да что за дикость — просто хомут на себя надеть!» Дуров, между прочим, всегда злился, когда жизнь предлагала ему повороты, не предугаданные искусством, абсурдные, дурацкие, будто бы отвергающие всю его артистическую природу, смысл его работы, весь его «жанр».

Алла Филипук вышла из-за угла и теперь приближалась. Похо- дочка! Он отвернулся, развалился на сиденье, закрыл глаза. Открылась дверца, машина качнулась, уселась красавица.

— Нет, Паша, это не любовь, — торжественно заговорила она. — Любовь — это когда чувствуешь к человеку уважение, гордишься его успехами, живешь с ним одними интересами, общим делом...

— Это где ты прочла? — спросил он, не открывая глаза. — В газете? В «Черноморской здравнице»?

Алла Филипук внимательно посмотрела на незнакомого мужчину, которого несколько часов называла Пашей. Что-то новое появилось в его голосе. Глаза закрыты, рот презрительный, а на горле хрящик гуляет вверх-вниз. Вдруг она сильно обиделась на него:

— Напрасно вы так. Я понимаю, что вы имеете... Напрасно вы...

Сзади загудело сразу несколько машин. Погрузка на паром началась.

Моря они во время переезда через Керченский пролив не увидели ни клочка: слева вплотную стоял рефрижератор, справа тягач, сзади и спереди автобусы. Чайки, правда, летали над паромом в большом количестве и суматохой своей как бы отражали сверкающее море.

— Ну что, дозвонилась ты кому звонила? — спросил Дуров. — Узнала про Николая?

Он очень боялся, что она поймет его состояние, и потому как-то грубовато форсировал голос и фальшивил.

— Дозвонилась. Узнала. — Алла, в свою очередь, боялась показать, что все прекрасно понимает, старалась отвечать безучастно, а получалось как-то напряженно, вроде бы с вызовом, едва ли не с кокетством. — Видели его в Керчи. Говорят, что какой-то чувак с земснаряда его с собой увез. Они где-то там, уже за Новороссийском, за Цемзаводом у берега стоят. Воображаю, какая там собралась гопка!

За проливом снова началась плоская земля и ровная лента шоссе. Дуров старался ехать «активно», все время шел на обгоны, старался скоростью выбить наваждение, и, кажется, немного получалось. Алла же, сообразив, что опасность вроде бы миновала, и, конечно, несколько разочаровавшись, теперь томно раскисла в кресле и снова перешла на свойский тон и задавала Дурову какие-то пустые, мало ее интересующие вопросы:

— А ты, Паша, если не секрет, кто по профессии?

— Я фокусник.

— Да ну тебя! А серьезно?

— Артист.

— Да ну тебя! А точнее?

— Фокусник.

— Да ну тебя!

К Новороссийску они приблизились уже в сумерках, проехали через город, шоссе стало забирать выше, выше, внизу на поверхности

бухты там и сям стояли огромные ярко освещенные танкеры, бухта и ближнее море были полны движения, блуждающих огней, закат догорал двумя широкими раскаленными шпалами, все настроение вечера было каким-то странно праздничным, будто перед балом.

— Вот здесь, Пашенька, милый, я тебя покину,— вдруг тихо сказала Алла Филицук.

Дуров диковато глянул на нее. Он только что собрался дизельный «МАЗ» обгонять и уже показывал левой мигалкой, но тут затормозил и пошел к обочине, мигая правой. Сзади, конечно, в него чуть не въехала какая-то железка, а в нее следующая и так далее, но когда он остановился, вся куча железа с диким ревом пронеслась мимо так, что он даже и ругани не услышал.

Алла возилась в темноте со своими тряпками, собирала сумки.

— Вот здесь, Пашенька, дорогой, ты наконец от меня избавишься...— приговаривала она.

Он зажег свет в машине и отвернулся, чтобы не видеть ее белой шеи и мягкой складочки под углом челюсти.

— А все-таки я думаю, что помогаю Николаю из-за чувства гуманизма! — вдруг громко и снова почти торжественно заявила она.— Хочу его поднять, протянуть ему руку помощи, чтобы и он стал полноправным членом общества, человеком, короче говоря. Что же ты, Павел, молчишь и отворачиваешься?

— Прости, Алла, но тошно слушать,— сказал Дуров.— Зачем ты мне-то баки забиваешь, случайному попутчику? Может быть, себя саму обмануть хочешь?

Она вдруг то ли всхлипнула, то ли носом шмыгнула, вылезла из машины, но не уходила и дверь не закрывала и вдруг нагнулась и влезла в машину всей своей круглой и сладкой — да, сладкой — физиономией.

— Да что уж там, скажу тебе, Паша. Конечно же, ничего я до Кольки проклятого не чувствовала. Хоть и двух деток родила, а мужика не знала. Ничего не чувствовала, глухая была к этому делу. Колька-паразит меня бабой сделал. Вот тебе, Паша, значит, вся и тайна... Вот и все...

Она быстро-быстро обвела глазами лицо Дурова, его плечи, руки... потом всю машину, будто искала что-то или запоминала. «Ну,— сказал себе Дуров,— втащи ее сейчас внутрь, ты сгоришь, если ее не втащишь, и до Сухуми не доедешь».

— До свидания, Паша,— сказала она.— Спасибо тебе. Заезжай пиво пить, ты знаешь где.

— До свидания, Алла. Обязательно заеду.

Он думал, глядя на нее: «Ну вот, эй ты, Дуров, попробуй применить свой шарлатанский жанр, попробуй вообразить, что там будет дальше, эй ты, боишься?» Он резко взял с места.

...Она еще постояла у обочины в кустах, глядя, как быстро взлетают в темноту красные фонари машины. Потом они исчезли, значит, пошли вниз, к виражу. Исчезли из виду совсем.

Тогда она стала спускаться к морю. Верно, неверно ли шла — она не знала. Огромная зеленая глубина ждала ее внизу. Сквозь путаницу кустарника светилась глубь, глубизна, бездонная зелень. Голый высокий платан стоял на краю обрыва словно чья-то душа. Гравий осыпался под ногами.

Очень точно она вышла к сонному заливику, в котором темными тушами покачивался плавотряд. Самая преобладающая штука с контурами непонятных механизмов — земснаряд. Рядом, как щучка, не-

загруженная шаланда «Баллада». С другого бока приткнулся хмурый боровок — портовый буксир «Алмаз». С буксира на землечерпалку, с нее на шаланду, а оттуда на берег перекинуты трапики.

Наверху рычало шоссе, а здесь была тишина. Слышно, как трапики скрипят под ногами. Темно на кораблях. Есть тут кто-нибудь живей? И вахтенных не видать. Все, конечно, косые, в койках прохлаждаются.

Прямо на трапике Аллу осенила идея — переобуться. «Сапоги резиновые в сумку суну, а на ноги чешские платформы. Конечно, к Николаю хоть в лаптях, хоть в золотых туфельках — он все равно не заметит». Это она только для себя лично, для женского достоинства, лично для себя. От ее манипуляций трапик расшатался, и сапоги бухнули в воду. Один сразу ко дну пошел, а второй еще долго торжественно сопротивлялся. Она уже была на палубе земснаряда, а сапог еще торчал из воды, как труба броненосца. Эй, живые тут есть? Никто не откликнулся.

В глубинах земснаряда кое-где горело электричество, а откуда-то, прямо как из преисподней, доносились глухие голоса. Между тем Николай Соловейкин, худой как волк, совсем неподалеку, в ржавой подсобке, точил зубило. Точил ни богу, ни народу не нужное зубило лишь только для того, чтобы выявить у себя сильные стороны природы.

Алла Филипук заглянула в иллюминатор:

— Здравствуй, Соловейкин!

— Здравствуйте, Аллочка!

Она смотрела на ужасное лицо. Такое лицо, конечно, разрушает целиком всю личность человека.

— А я тебе, Соловейкин, бритву привезла!

— А на хрена мне, Алла, твоя бритва с переменным током?

— Это механическая бритва «Спутник». Заводишь, как будильник, и броешься.

Он фуганул тогда зубило на железный пол, ящички какие-то шмальные начал шмонать, вроде что-то искал, а сам только нервы успокаивал. Нервы сразу, гады, взбесились, как появилась в иллюминаторе сладкая Алкина внешность.

— Заходите, мадам, сюда-сюда... приют убогого чухонца...

В подсобке заполохало взволнованное женское тело.

— Вот, Коля, смотри, какая бритвочка аккуратненькая! Заводишь ее, как будильник...

— Ну, поставь его на полшестого...

— Да это ж, Коля, не будильник же... бритвочка...

— Поставь этот будильник на полшестого, говорю! Чтоб не проспать — мне к министру с докладом!

— Да Коля же! Да хоть окошко-то закрой! Свет-то, свет-то выруби, сумасшедший...

В конце недельных Коли Соловейкина приключений, после бесконечных восторгов, отлетов, улетов, мужских прений с рыготиной, махаловок, побегаловок, всякого разнообразия напитков, в конце всей этой свободы руки и ноги у него очень слабели, голова весьма слабела также, но появлялась исключительная тяга. Выдающийся генератор. Даже так случалось иногда, что измученное тобой существо засыпает, а ты все еще в активе, хотя у головы твоей имеется тенденция взлететь к потолку, как дурацкий шарик. Какого большого достатка эта горячая, медленно остывающая гражданка. Уже два года Николай Соловейкин убегает от этой гражданки и все не перестает удивляться ее достатку.

СЦЕНА. НОМЕР ВТОРОЙ: «САВАСАНА. ПОЗА АБСОЛЮТНОГО ПОКОЯ»

Павел Дуров импровизирует с путевкой общества «Знание» в кармане.

Начнем, как в классике, с маленькой драмы. Действующие лица
Артист и Йог.

Артист. Превратиться в облако, в бессмысленный пар?

Йог. Очень рекомендую.

Артист. Но что же тогда с кипением, с творческим мускусным началом, с рычанием, с этими abordажими, с тяжелыми сундуками ретроспектив — растворится все, что ли?

Йог. Вот именно.

Артист. Нет, не отдам Прометеева огня, вечного источника любви, компрессии, вдохновения! Лучше пристрелю искусителя!
(Стреляет.)

Йог. Ваши пули у меня под лопаткой.

Пауза

Прозаик — завистливое животное. Даже в концентрационной системе драмы мнится ему недоступная его жанру красота, он завидует скобкам, и в глупой ремарке («стреляет») воображается ему вольная проза, что, постукивая копытами по льду, идет, как взбунтовавшийся кавалерийский полк, размахивая значками и шапками в ритме медленного буги. От ремарки же «пауза» просто холодеет пузо.

Артист плав, раскинув руки, над малыми странами Европы. Гляньте, что за облако, шептались в Монте-Карло, форма, цвет и качество, будто кант из марли. Нежен лик безбрачия, вот учитесь, воры, умилялась публика чопорной Андорры. Он этому не внимал. Волны праны протекали через него. Он уже не ощущал себя облаком, поскольку не ощущает же себя облако.

Между тем внизу малые страны Европы разбросаны были, как цыганские пласты на драной скатерти континента: Монте-Карло, Сан-Марино, Лихтенштейн, Тьмутаракань, Шпицберген... Геноссе публикум, покупай, не клянчи! Одна страна, как бубликум, другая, как кала(н)ч!

Струя отдаленной иронии, именуемая еще праной, покачивала то, что прежде было Артистом. Так продолжалось бы вечно, увы... все эти лоскутные монархии, карликовые княжества и опереточные республики выделяли застойную мольбу, переспелые надежды, и весь этот пар охлаждался на крылышках облаковидного Артиста и превращал его в тучу, которая в конце концов пролилась в Европу. Все-то радости всего-то было — зрелище мокрой зеленой земли, минутное превращение геополитики в простой ландшафт, но все-таки...

Йог. Вставайте. Теперь вы уже не облако.

Артист. Кто же? Если не облако, то кто же я?

Йог молчит.

Аплодисменты. Наконец-то! Аплодисменты? Свист. Крик: «Сапожники!» Выходит, пленка порвалась? Выходит, «кина не будет»? Путевка не подписана.

ВНЕ СЕЗОНА

- Ну скажи, а как ты половинные триоли играешь?
- Как? Вот так... та-да-да-ди-ди... Понял?
- А на три четверти?

— Та-да-да-ди-ди-да-да... Понял?

Такого рода разговоры вот уже полчаса досаждали нам, хотя и не видно было, что за музыканты беседуют. Мы сидели в так называемой климатической кабинке на пляже в Сочи. Был конец февраля. Солнце гуляло веселое, море, как говорится, смеялось, и в климатической кабинке, которая закрывала нас от ветра с трех сторон, казалось, что вокруг июль. Холщовые стенки, однако, нисколько не предохраняли от звуков, и поэтому нам уже полчаса досаждали лабухи. Они подошли откуда-то сзади и расположились вплотную к нашей кабинке, чуть на голову нам не сели. В том, что это именно лабухи, трудно было усомниться. Они громко, на весь пляж разговаривали о своих триолях и половинных нотах, о каких-то роскошечертовских интригах, и в эти основные их темы иной раз сквознячками залетали обрывистые фразы о девчонках, о фирменных вещичках, о каком-то Адике, который все никак не может с:о своим арбузом расстаться, не двигается, лежа кайф ловит, жрет мучное, арбуз отрастил пуда на два, так что даже перкаши трясти ему трудно...

Когда-то, лет пятнадцать назад, я водил дружбу с этим народом и по молодости лет восхищался их сленгом и манерой жить. Конечно, и музыкой их я восхищался, можно сказать, просто жил в музыке тех лет, но времена джазового штурма прошли, исчез из жизни герой моей молодости, я потерял своих музыкантов и вот теперь удивлялся живучести того давнего сленга. Оказывается, они до сих пор говорят «чувак», «лабать», «кочумай» и так далее. Голоса были громкие, уверенные, очень московские. Без сомнения, московская шайка расположилась рядом с нами.

Между тем мне совсем ни к черту не нужны были ни сами эти шумные соседи, ни наблюдение над ними, ни воспоминания об их предтечах. Со мной рядом в климатической кабинке загорала милая женщина Екатерина, и мне больше всего хотелось быть с ней наедине и продолжать тихую юмористическую беседу, легкий такой разговор, вроде бы ни к чему не обязывающий, но на самом деле похожий на ненавязчивую взаимную рекогносцировку, выяснение интересов, вкусов, симпатий.

Мы познакомились вчера в подогреваемом бассейне, случайно, слово за слово зацепились, и вдруг выяснилось, что даже знаем немного друг друга, что где-то в Москве «пересекались». Екатерина была здесь одна, жила в санатории и лечила на Мацесте какую-то свою «старинную болячку», как она выразилась.

— Вот ведь черти какие! Слышите, Екатерина?

Рядом галка гремела, пересыпалась под ногами лабухов. Они там развозились, взялись вроде с понтом играть в футбол, дразнить Адика с его арбузом. Адик этот, оказалось, присутствует. Кто-то из них не удержал равновесия, схватился за нашу климатическую кабинку, и она покачнулась.

— Что за публика бесцеремонная! — возмутился я. — Ох и типы!

— Кажется, вашего цеха люди, Дуров? — с милым лукавством спросила Екатерина. — Или приблизительно вашего?

— О нет! — поспешил возразить я. — Это лабухи, имя им легион, а в моем цехе, наверное, человек пятнадцать, больше не наберется. Раньше нас было больше, но мы вымираем.

— Знаю-знаю, — мило покивала Екатерина. — Я слежу за вашим жанром. Как раз принадлежу к той части населения, которая поддерживает вас своей трудовой копеечкой.

— Это с вашей стороны... — начал было я очередную осторожную

шутку, но в это время в климатическую кабинку угодил мяч и я завопил как последний жлоб: — Юнчайте, парни! Что за безобразия!

— Пойдемте отсюда,— предложила Екатерина.— Еще подеретесь с ними. Вижу-вижу, что вы храбрый, но я просто замерзла. Еще болячка моя проснется. Пойдемте, Дуров.

— А что за болячка у вас, Екатерина? Радикулит какой-нибудь?

— В этом роде. Не беспокойтесь.

Я стал сворачивать климатическую кабинку и тогда уже разглядел всю гопу. Их было пятеро. Ничего особенного, обыкновенный биг-бит: длинные усы, джинсы, темные очки — обыкновенная такая «группа» в умеренной цветовой гамме. Трое было тощих, один, вот именно тот Адик, действительно под зеленой английской майкой лелеял бахчевую культуру, а пятый был хоть и старше всех, но сложен отлично, как тренированный теннисист. Парням этим было лет по двадцать пять, один лишь этот пятый был значительно старше, и волосы у него были совсем белые, седые кудри до плеч. Сергей. Только мне пришло в голову это имя, как кто-то крикнул: «Пас. Серго!» — и седой красавец побежал через пляж, по-дурацки выпятив задницу, изображая, видимо, какого-то футболиста. Как ни странно, я знал когда-то этого альт-саксофониста. Кажется, он играл с Товмасыном или с Брилем. Нет, я слушал его несколько раз в кафе «Темп» на Миуссах. Да-да, Сергеем его звали. Серго.

Когда мы пошли прочь с пляжа, они все пятеро смотрели на нас, в первую очередь, конечно, на Екатерину, смущенно пересмеивались и перебрасывались мячом.

— Вечно ты, Адик, мешаешь приличным людям кайф ловить,— сказал кто-то из них для смеха.

Потом кто-то из них показал в море, где у края бетонного волнореза подпрыгивал маленький нырок: «Ребята, смотрите, нырок! Доплывешь до нырка? Я... уши отморозишь! Кто у нас самый основной? Кто доплывет? Серго доплывет! Серго, доплывешь? Пусть Адик плывет на своей подушке!» — и так далее.

Мы поднялись по лестнице к гостинице «Ленинград», возле которой стоял мой фургон. Есть один ракурс — когда смотришь на «Жигули» 21-02 сзади и сбоку, он кажется очень большим и солидным автомобилем, нечто вроде «лендровера». С этого ракурса сейчас мы и приближались к машине. Заднее сиденье у меня было отброшено и превращено в платформу, а на ней стояли ящики и лежали яркие целлофановые мешки с реквизитом. Чрезвычайно солидный кар!

— Что вы там возите? — спросила Екатерина.

— Реквизит. Только лишь самое необходимое.

— Разве вы здесь по делу?

— Нет, но люди нашего шутовского жанра всегда возят с собой свой реквизит. Конечно, только лишь самое необходимое.

— Не понимаю, зачем вы едете сюда из Москвы автомобилем? Ведь по всей России снег, заносы...

— Я сам не понимаю.

— Вы позер, Дуров?

— Конечно.

Так, посмеиваясь, мы забрались в изделие волжских автоумельцев, я отвез Екатерину на процедуры, и мы расстались до вечера. Я отправился в гостиницу и стал читать занятную книгу, малосерьезную инструкцию по нашему жанру с цветными вклейками-репродукциями из Босха, Кранаха и Брейгеля, вроде бы совершенно не относящимися к делу, но неожиданно освещающими наше не очень-то почтенное ремесло бликами смысла.

Между тем на пляже музыканты вконец разгулялись. Они толкали друг друга в воду. Ну давай плыви до нырка и обратно! Давай заложимся на коньяк, тогда и поплыву! Давай заложимся! Ага, боишься? Ребяга, Серго боится обморозиться! Пусть Адька плывет, он весь жирком утепленный! А кто у нас самый основной, самый молодой — Серго у нас самый молодой, самый основной! А кто у нас самый мощный, самый жирный — Адик у нас самый жирный!

Три гитариста — Шурик, Толик и Гарик, — с их волосами и бородами похожие на Шекспира, Диккенса и Чарльза Дарвина, подначивали и друг друга, но в основном подначка шла в сторону Адика и Серго. Общепризнанным козлом отпущения в их коллективе, постоянной мишенью остроумия был перкашист Адик. Он все это вроде терпеливо сносил и добродушно пыхтел, хотя в душе его добра было не так-то много.

Недавно Адик по каким-то еле заметным признакам почувствовал, что у него есть конкурент на место козлика, а именно сам блистательный Серго. У Серго оказалось вдруг тоже весьма уязвимое место — возраст. В этом смысле он был фактически белой вороной в молодом коллективе вокально-инструментального ансамбля «Сполохи». Почувствовав это, Адик оживился, активизировался и старался использовать любой случай, чтобы вытолкнуть Серго на свое место.

Серго это тоже чувствовал, конечно не отчетливо, не осмысленно, но временами очень ярко. Временами темень поднималась со дна его души, когда он улавливал потуги Адика, этого мелкокурчавого толстяка с маленьким капризным лицом.

Можно еще раз сказать, что все это были глубинные, неосмысленные движения, а на поверхности, то есть в действительности, все они были друзья, настоящие друзья, что не раз проверялось в разных сложных ситуациях, вместе все они, вот эти пятеро и остальные шесть, трудились, и труд их был нелегкий и хлеб не всегда сладкий. Сейчас они расслаблялись перед вечерним концертом, возились на гальке, как пацаны, спорили, почему-то сосредоточив все свое внимание на маленькой чашечке-нырке.

Нырок покачивался на зыби метрах в сорока от берега, он был очень мал, крохотный черный комочек, который иной раз просто падал в игре света и тени. Иногда он нырял, лапки вверх — и уходил под воду. Нырки потому так и называются, что умеют и любят нырять глубоко и далеко, но этот почему-то выныривал сразу же и снова возвращался на свое место недалеко от края волнореза и плавал там тихими кругами. Что его там держало, трудно сказать, быть может, он смотрел на пятерку парней, бесившихся на берегу.

— Пойдем на спор — подшибу нырка! — сказал кто-то из парней и бросил гальку.

Она упала метрах в пяти от цели, да парень вовсе и не метился. — Лажук! — захохотал другой. — Смотри!

Камень полетел вверх очень высоко и рухнул в воду за нырком, подняв фонтан.

— Чуваки! Разве так бросают в нырков?! — закричал кто-то еще из парней, задыхаясь от хохота, и пустил гальку в сторону нырка блинчиками.

— Вот смотрите — бросает железная рука! — Еще кто-то из них швырнул здоровенную булыгу и сильно промазал, зато шуму и брызг получилось много.

— А я из пулемета, из пулемета! — Пятый выпустил в нырка один за другим целый заряд камешков.

Смеху тут было — сорок бочек арестантов!

Над пляжем проходила набережная, и гуляющие стали останавливаться, привлеченные великим шумством. Там, по набережной в Сочи, гуляют представители всех часовых и климатических поясов, и в силу различных исторически и психологически сложившихся темпераментов разные представители реагировали по-разному. Одни громко возмущались, другие молча возмущались, третьи соображали, что делать с нырком, если его подобьешь,— жарить, что ли? Говорят, они не особо вкусные, мясо жесткое, рыбой пахнет. В воду выбросить — пусть выживает на природе. В природе есть циклы, он в циклах выживет отлично или погибнет. Можно юным натуралистам в школьный кружок отдать, потому что в зоопарк не возьмут: порода не редкая, массовая порода пернатых друзей.

— Ребята, давай на коду! А то еще попадем! — кричал, хохоча, один из лабухов, а сам все бросал и бросал, не мог остановиться.

— Попадем — зажарим! — хохотал другой.

— А кто жрать-то будет?

— Адька срубает! Ему всегда мало! — крикнул Серго.

— А ты, Серго, уже не потянешь, а?! — взвизгнул Адик. — Зубы уже не те, да?!

Среди общего свиста, хохота и безобразия эти двое вдруг остановились и посмотрели друг на друга в упор.

— Поди на конюшню и скажи, чтоб дали тебе плетей,— процедил Серго свою любимую шутку, которая много лет уже восхищала всех ребят во всех составах, где он когда-либо работал.

Град гальки поднимал фонтанчики вокруг нырка, как будто его обстреливало звено истребителей. Нырок же покачивался невредимый и, очевидно, не понимал опасности. Иногда он нырял по-прежнему неглубоко и недалеко и возвращался к своим кругам. Вполне возможно, он полагал, что с ним играют, и, собственно говоря, не ошибался — с ним действительно играли.

Все это дело увидели в бильярдной, которая помещалась в бетонной нише здесь же на набережной. На всех трех столах прервали игру и стали следить за бомбардировкой. Петр Сигал, девятнадцатилетний студент, потрошитель этой бильярдной, с трудом оторвался от увлекательной игры, потому что партнер его Динмухамед Нуриевич отвлекся в сторону моря.

Петр Сигал, студент биофака, юноша бледный и нервный, мало бывал на воздухе, на солнце и спортом никаким не занимался, если не считать бильярда. Бильярд был страстью Петра, и он так натренировался, что найти себе достойного партнера было для него проблемой. Вот он приехал на каникулы в Сочи, вроде воздухом морским подышать, так он и сам себя уверял, но на самом-то деле влекла его уютная бильярдная в нише на набережной, которую он запомнил по предыдущим гастролям. Каникулы давно уже прошли, но он все направлял себе с помощью сочинской тети липовый бюллетень день за днем, неделю за неделей, потому что нашел наконец себе достойного партнера — знатного хлопкороба Динмухамеда Нуриевича. Среди коричнево-черной пиджачной массы посетителей бильярдной юноша Петр Сигал в ярчайшей нейлоновой куртке выделялся как нездешняя мало-подвижная странноватая птица.

Вот и сейчас он вылетел из ниши на пляж как неуклюжая яркая птица с бледным лицом. Что заставило его вдруг так горячо и неожиданно для всех, и для себя самого в первую очередь, вмешаться в эпизод с нырком? Почему вдруг его длинное горло перехватило кольцо сочувствия к мелкой морской твари и страха за ее судьбу? То ли вспомнил вдруг свой биофак и вообще чудо живой природы, изучению которой собирался до бильярда посвятить жизнь, то ли вдруг ри-

сувок нынешней партии с Динмухамедом Нуриевичем подготовил этот эмоциональный взрыв — так или иначе Петр Сигал взорвался.

Он по-вербляжьи перепрыгнул через парапет и стал метаться среди музыкантов, хватать их за руки:

— Не смейте! Не смейте в водоплавающее! Зачем оно вам?! Прекратите!

Конечно же, никто из лабухов не собирался губить малую птаху и садизма в них не было никакого, может быть, только мозги малость поехали от морского озона, но хватать себя за руки они Петру Сигалу не позволяли.

— Эй ты! Чего лезешь? Уйди, лопух!

Слегка ему дали по шее, слегка ногой под зад, но он все метался и орал что-то уже невразумительное, наседав грудью, длиннющие волосы развевались, очи горели. Явно напрашивался.

— Поди на конюшню,— сказал ему Серго,— скажи, чтоб дали тебе плетей.

Камни, однако, летели в нырка все реже и реже. Парни поскучнее-ли, все это вдруг показалось им скучным и дурацким. Бросали уже просто так, для самолюбия. Тут как раз все и увидели, как один камушек средней величины угодил точно в голову нырку и как тот сразу же пошел ко дну.

Петр Сигал сел на гальку и, словно забыв сразу про свою битву, вперился горячим взглядом в горизонт.

— Пошли, пошли, ребята,— сказали друг другу музыканты.

Они забрали свои куртки и сумки и медленно пошли с пляжа на набережную, с набережной на лестницу, с лестницы на бульвар. Гуляющая публика еще некоторое время провожала взглядами живописную группу, а потом вернулась к прогулке, к оздоровительному дыханию и неутомительным разговором.

— Кто утку убил? — спросил кто-то из музыкантов.

Остальные забормотали:

— Черт его знает, вроде не я. Все бросали. Черт знает кто попал. Все мы утку угробили. Да подумаешь, ерунда какая — уточка. Их тут миллиард, если не больше... Комара, скажем, давишь — не жалко...

— Все-таки противно, парни,— сказал Серго.— Лажа какая-то получилась. Согластись, что произошла какая-то дурацкая история. Абсурдная паршивая история, и подите вы все на конюшню...

— А ты-то сам?! — повысил тут голос Адик.

— И я сам пойду на конюшню и скажу, чтоб дали мне плетей.

Адик совсем уже огорчился и взял старшего товарища за руку. Заглянул в глаза:

— Да брось ты, Серго. В самом деле, вот еще повод для смура. Ребята правильно говорят: комара давишь — не жалко. Нырок это вшивый или комар — большая разница...

— Да ладно, ладно,— пробормотал Серго, смущенный таким сочувствием.

Они пошли дальше молча и больше уже не говорили про утку, хотя у всех оставался какой-то стойкий противный вкус во рту, как бывает, когда ненароком съешь в столовке что-нибудь недоброкачественное, и они не сговариваясь завернули за угол гостиницы «Приморская» и там в буфете выпили по стакану крепкого вина, перебили гадкий вкус и все забыли.

Юноша Петр Сигал продолжал неподвижно сидеть на пляже, и Динмухамед Нуриевич счел нужным подойти к партнеру, развернуть на гальке носовой платок и сесть рядом.

Динмухамед Нуриевич в погожие дни гулял по курорту в прекраснейшем официальном костюме со знаками отличия на обоих бортах.

На голове носил твердую фетровую шляпу. Тюбетейку Динмухамед Нуриевич обычно надевал в дни крупных собраний, чтобы создавать пейзаж для кинохроники, в жизни же предпочитал европейский головной убор.

— Принципиально говоря, очень тебя понимаю, Петька, — сказал он юноше. — Бильярд иногда вызывает отрицательную реакцию, отрыжку вот здесь, под кадыком, если принципиально говорить. Я вспоминаю тогда про плантации белого золота. Тебе, Петька, надо ко мне в колхоз приехать. Я тебе сабзы дам, дыню дам, редиску дам, плов дам, кошму дам, мотоцикл дам, будешь с дочкой кататься.

Динмухамед Нуриевич очень симпатизировал юноше, хотя тот выиграл у него довольно много денег.

Черноморская волна тем временем подкатывала все ближе и ближе к пляжу убитого нырка с бессильно болтающейся головой. При ближайшем рассмотрении можно было заметить, что камень попал ему не в голову, а перебил шею.

Вечером мы с Екатериной пошли в концерт. Так вдруг собрались, ни с того ни с сего. Гуляли по городу, увидели афишу: «Вечер советской и зарубежной песни: лауреаты всесоюзного конкурса артистов эстрады Ирина Ринк и Владимир Капитанов в сопровождении вокально-инструментального ансамбля «Спалохи», Москва». Я вдруг подумал: может быть, там играют те самые лабухи, которых мы видели утром на пляже, в том числе и Серго? Интересно послушать, как сейчас играет Серго, да и вообще любопытно узнать, что сейчас из себя представляет эстрада. Я пригласил Екатерину, и она неожиданно мимолетно согласилась. Впоследствии выяснилось, что про лабухов тех она к вечеру и думать забыла и эстрада ее не очень интересовала, а просто она хотела продемонстрировать новое платье. Впоследствии, то есть спустя совсем непродолжительное время, она мне очень мило в этом призналась. Это приглашение на эстраду стало для нее, оказывается, своего рода толчком, будто бы началом полета. В самом деле, думала она, привезла с собой исключительное платье, а надеть-то его и некуда. Вот как раз удивительная возможность прогулять свое платье под яркими лампами театрального фойе.

Мы быстро доехали до ее санатория, и не прошло и четверти часа, как Екатерина выбежала в новом платье и с шубкой на руке.

— Платье какое у вас удивительное, — сказал я и заметил, что она просияла.

— Дуров, — сказала она, — вы растете в моих глазах! Платье заметил!

— Страшно сказать, но уж не парижское ли, уж не от Диора ли? — осторожно сказал я.

— Ну, Дуров! — только и воскликнула Екатерина. Просто сияла! Немного, право, нужно женщине, совсем немного.

Эстрада, честно говоря, не принесла нам никаких сюрпризов. Ирина Ринк была довольно хорошеенькая и двигалась недурно, и если бы она не пела, совсем было бы приятно, но она пела, самозабвенно пела, просто упивалась своим маленьким голоском. Владимир Капитанов, напротив, очень оказался горластым. Наступательным своим, молодежным баритоном он заглушал даже бит-группу, но, к сожалению, двигался он очень паршиво и был очень нехорошеньким — Владимир Капитанов. Наши шумные соседи с пляжа, Адик, Серго, Шекспир, Диккенс и Чарльз Дарвин, а также еще шестеро молодцов — все были в униформе: в ярко-оранжевых длинных пиджаках и черных бантах на шее. Играли они на трех гитарах, двух саксофонах, двух трубах, на барабанах, рояле, скрипке, тромбоне плюс подключались, конечно, временами перкаши, кларнеты и электронная гармошка. Игра-

ли чистенько, скромненько, вполне репертуарно, такие гладенькие послушные мальчики, что прямо и не узнать. Смешно было смотреть, как они, уходя в глубину и становясь тылами Ирины и Владимира, слегка подыгрывают содержанию очередной песни, вздыхают, или со значением переглядываются, или головами крутят в смущении, или еще как-нибудь жестикулируют. К примеру, солисты поют:

Не надо печалиться,
Вся жизнь впереди...—

и при этих словах бит-группа «Сполохи» ручками показывает — впереди, мол, впереди. Так, должно быть, по мысли их руководителя, осуществляется на сцене драматургия песни.

Лучшим среди них, конечно, был Серго. В двух-трех местах, где ему приходилось выходить вперед, он играл порывисто, резко, со свингом. Всякий раз, то есть именно два-три раза, я даже вздрагивал — так неожиданно это звучало среди детского садика «Сполохов». И Екатерина в этих местах чуть-чуть присвистывала. Так никто из них не мог играть, как Серго. Он и в те далекие времена, в кафе «Темп», считался хорошим саксофонистом, не гением, но «в порядке», а это в те времена, когда новые джазовые герои появлялись каждую неделю, было нелегко. Я вспомнил вдруг, что у него была любимая тема, эллингтоновское «Solitude» («Одиночество»), и он, когда бывал в ударе, очень здорово на эту тему импровизировал, и знатоки даже переглядывались в мареве «Темпа», то есть чуть ли не приближали его к гениям, к тогдашним знаменитостям Козлову, Зубову, Муллигану. Вот даже какие подробности я вспомнил про этого седокурого красавца Серго.

Я собирался этими воспоминаниями о Серго поделиться с Екатериной после концерта, но упустил момент и забыл, совсем забыл про этого Серго, отвлеченный скромным, малозаметным великолепием Екатериного нового платья. Конечно, я и не предполагал, что мы в этот вечер еще встретимся с альт-саксофонистом.

Мы гуляли по высокому бульвару над морем. Кипарисы и пальмы были слева освещены огнями гостиницы, а справа созвездиями, молодым месяцем и бортовыми фонарями плавкрана, которые покачивались в кромешной темноте моря. Вечер был тихий, и пахло весной, но, как ни странно, не южной весной, а нашей русской, бедной и тревожной весной. «Кому-то нужно даже то, что я вдыхаю воздух...» — так вспомнилось.

— Что, Дуров? — как будто услышала Екатерина.

Я повторил вслух.

— Вы к цирку, Дуров, конечно, не имеете отношения? — спросила она.

— К сожалению, никакого.

— А к артисту Льву Дурову?

— Увы, ни малейшего.

— Знаете, Дуров, я хотела вам сказать кое-что насчет вашего жанра. Я видела несколько раз эти представления... да-да, я знаю, что вас мало, не беспокойтесь, я видела как раз тех, кого вы имеете в виду, и вас, сэр, в том числе... так вот, знаете, мне это по душе, но временами посещает мыслишка: а не дурачат ли меня, не мистифицируют ли? В конце концов что это — клоунада, иллюзион, буфф или нечто серьезное, а если серьезное, то что же — пластика, цвет, звуковые куски, да-да, тексты? Все это как-то одиноко, периферийно, что ли... Есть ли какая-нибудь философия в вашем жанре?

— Ну и вопрос вы мне задали, Екатерина!

Я понимал уже, что не отшучусь, что придется как-то отвечать, как-то выворачиваться...

Что же мне ответить Екатерине, если я и себе-то не могу ответить? Если я и сам сомневаюсь в своем искусстве, да и в искусстве вообще, и перекачиваюсь за рулем автомобиля с севера на юг, с запада на восток, будто бегу от своих сомнений. О, как я когда-то был уверен в силе и возможности искусства, а свой жанр вообще считал олимпийским даром, резонатором подземных толчков, столкновением туч, прорастанием семени, чуть ли не полным оправданием цивилизации. Если бы тогда она спросила меня об этом! Сейчас я бегу, бегу, бегу и знаю, что так же, как я, бегут и другие из числа пятнадцати. Все-таки надо что-то отвечать и выхода нет — буду дурачиться.

Мы приближались к длинным полосам света, падавшим из высоких окон ресторана на асфальт. В этих полосах стояла кучка людей и смеялась. Это были музыканты. Один из них — конечно, Серго — чуть отделился и протянул мне руку:

— Что же ты, старик, нос воротишь?

Я даже остолбенел от неожиданности. Неужели и он меня узнал? Ведь я всегда был для него только слушателем, одним из многих «фанов». Мы даже и не пили никогда вместе.

— Зазнался или не узнаешь? — спросил он.

— Нет, я тебя сразу узнал, — пробормотал я. — Но видишь ли, Сергей, столько лет прошло, а мы...

У него лицо чуть покривилось — быть может, из-за упоминания о быстротечном времени.

— Помнишь «Темп»?

— Еще бы!

— Вот видишь, ничего из меня путного не вышло, хотя и прочили судьбу, — сказал он легко и не без юмора. — Но ведь и ты, старик, как будто не вышел в дамки, а? О тебе тоже ничего не слышно... Так что мог бы и узнавать современников.

Чудесно он это сказал — легко, беспечально и ненавязчиво.

— Да я-то как раз из-за противоположного комплекса к тебе не подошел, из-за скромности, — невольно улыбнулся я и повернулся к Екатерине, собираясь их познакомиться.

— Из-за ложной скромности? — улыбнулся он, уже глядя на нее. —

Мы поколение ложных скромников, — сказал ей Серго.

Они пожали друг другу руки.

— Давайте я с мальчишками нашими вас познакомлю, — предложил он.

Я подумал, что он хочет нас познакомить в основном для того, чтобы самому услышать мое имя, которое он забыл, а скорее всего и не знал.

— Дуров, — громко сказал я. — Павел Дуров. Павел Аполлинарьевич.

«Мальчишки» дарили нас своими рукопожатиями, я бы еще не удивился, если бы меня только, но и Екатерину. Не особенно уверен, но кажется, в этом есть что-то от современного психологического состояния — наши вьюноши как бы дарят себя восхищенному человечеству, в том числе и противоположному полу. Впрочем, справедливости ради следует сказать, что это было только в первые минуты знакомства, а потом все больше и больше компания стала играть на Екатерину, все стало более естественным, и постепенно внутри нашего кружка образовалось то особое нервное приподнятое настроение, что возникает в присутствии красивой женщины. Что-то постыдное чудится мне всегда в таком настроении и одновременно что-то чарующее;

ясно, что в эти моменты жизнь натягивает свои струны. Я видел, что и Екатерина понимает постыдное очарование этих минут и, конечно, не может ими не наслаждаться: ночь, бульвар над морем, новое платье, дюжина мужчин вокруг и у каждого, конечно, сумасшедшие идеи по ее адресу. Пусть наслаждается, лишь бы понимала. Любопытно, как она хорошо понимает все, что и я понимаю! Кто она такая, эта Екатерина?

Вдруг что-то произошло, и настроение мигом было сорвано, как скатерть со стола рукой обормота. Я не понял, что случилось, но, проследив за взглядом Серго, увидел, что от толпы гуляющих отделился и идет прямо к нам высокий юноша с маленьким бледным лицом и в ярчайшей нейлоновой куртке, похожий на страуса юнец. В повисшей плетью руке он нес что-то маленькое, с которого капало, какой-то комочек. Юношу сбоку сопровождал обычный сочинский отдыхающий, узбек в костюме с орденами. Они шли быстро и прямо к нам. Мне стало не по себе — темный хаос, казалось, надвигался по стопам странной пары.

— Дзинь, — сказала грустно Екатерина, тут же угадав мое настроение. — Дзинь, дзинь, модус инферно.

Перед тем как они подошли вплотную, я успел еще заметить лица музыкантов. Все они были застывшими как бы на полужестком, полужелком, полужестком.

Подойдя вплотную, юноша протянул руку. В ней было нечто страшное: мокрая дохлая птичка с болтающейся головкой.

— Берите! — сказал юноша. — Берите! Что ж не берете?

Узбек оттягивал его за куртку, что-то бормотал, играл глазами — то подмигивал нам, то ему, то еще кому-то, то угрожал, то упрашивал, все глазами. В нашем кругу никто не двинулся, никто не брал трупик. Юноша разжал руку, и трупик птички шмякнулся на асфальт как небольшая, но очень мокрая, а потому тяжеленькая тряпка. Затем оба они, узбек и юноша, Петр Сигал и Динмухамед Нуриевич, резко повернулись и пошли прочь, некоторое время еще мелькая в полосах света, но быстро растворяясь в ночи.

Вдох прошел по кругу, и круг пришел в медленное движение, и с каждым градусом поворота от круга отлетала одна фигура за другой — кто уходил отмахиваясь, кто с плевком, кто без всяких эмоциональных движений. Не прошло и минуты, как над жалкой мокрой гадостью остались только трое: Серго, я и Екатерина.

Гулкий голос спросил из глубины ночи, как будто бы из-за невидимого горизонта:

— Помощь не нужна?

— Нет, спасибо, — ответила Екатерина и повернулась ко мне. — Вот вы еще ни разу не спросили, Дуров, какая у меня профессия, чем занимаюсь. А между тем я женщина, оживляющая подбитых птиц.

Она присела, взяла трупик в ладони и прижала его к груди, к своему исключительному платью. Почти мгновенно из ладоней ее выскочила точно на пружинке живая славенькая глуповатенькая головка нырка. Екатерина раскрыла ладони, и нырок встал на них, деликатно отряхиваясь и поклевывая себя под крыло. Екатерина подняла ладони, и нырок взлетел. Он набрал высоту по спирали, поднялся метров на двадцать и стал кружить над нами.

Не надо печалиться,
Вся жизнь впереди, —

пел нырок популярную в этом сезоне песенку.

— Неплохо поет, а? — спросил я Сергея не без гордости.

— Неплохо,— согласился тот.— Слегка железочкой отдает, чуть-чуть скрежещет, но в целом неплохо.

— Сейчас он в море полетит,— сказала Екатерина.— Он больше любит воду, чем воздух.

Она вытянулась стрункой, подняла руку и махнула. Нырок прекратил вращение и полетел с высоты откоса к морю. Летел и пел:

Не надо печалиться,
Вся жизнь впереди,
Вся жизнь впереди,
Только хвост позади.

Он летел, пел и постепенно растворялся в темноте.

СЦЕНА. НОМЕР ТРЕТИЙ: «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК»

Ночной паркинг. Зрители — спящие рефрижераторы. Дуров развешивает на ближайших кустах жестянки и стекляшки: это воспоминания.

...Всякий раз как я встречал его на улочках того дистрикта, мне вспоминались университеты и не отвлеченные понятия высшего образования, но университетские территории, то, что в тех краях называют кампусами.

Он был поэтом и сам себя, кажется, вовсе не связывал с университетами, с какими-то закрытыми учеными товариществами, а, напротив, быть может, полагал себя человеком улицы, бродягой, забубенным стихоплетом вроде Франсуа Вийона.

Я встречал его редко, но всякий раз, как мне сейчас представляется, где-то или в саду, или в аллее, всякий раз под какими-то огромными свисающими ветвями. Человек с таксой на поводке, а сам похожий на ирландского сеттера, рыскал по дистрикту в поисках созвучий. Мне казалось, что ему следует бежать всего того, что похоже на слова «концентрат», «суррогат», «автомат»...

Однажды пришлось мне посетить городок Блумингтон, где в соответствии с названием процветает старый университет и колоссальные везде произрастают деревья. Ночью студенты бессонные шляются по пиццериям, в предгрозовой духоте проплывают они как медузы, угри и тритоны. Там мы с дружкой передвигались в ночи. Там нам вдруг вспомнился человек с таксой, вдруг одновременно в память пришел и связался с университетом. Вероятно, все же существовала в невидимом мире двусторонняя связь между ним и университетами.

Прошлой весной было отмечено, что деревья в том дистрикте весьма произросли и поднялись над крышами. Той же весной стало известно, что человек этот убит хулиганами. Шутки ли ради или по слепоте судьбы, но он попал в криминальную статистику, в разряд невинных жертв.

Какая бессмыслица — так подвывали сквозняки на тех углах, где он когда-то резко заворачивал со своей таксой. Какая бессмыслица — так грустно шелестели посеребренные луной деревья в тех садах. Любой злой умысел бессмыслен — так печально полагала луна.

Не так ли? Бессмыслен удар железом по голове, но проломленная голова полна смысла. Нелеп выбор невинной жертвы, но сама невинная жертва полна смысла, лепости и благодати.

Кварталы тех домов; мигающих робкими огоньками, шумящие сады, полные тихих лепечущих душ, тротуары, на которых с каждым

дождем проступают легкие следы поэта, что рыскал здесь с таксой на поводке в подслеповатом розыске созвучий...

Дуров тихо аплодировал зрителям: чудесная публика. Приблизился, деликатно шипя пневмосистемами, еще один ценитель жанра — «КамАЗ» с двумя прицепами. Над паркингом стояла луна. Тень артиста пересекла масляные лужи...

АВТОСТОП НАШЕЙ МИЛОЙ МАМАНИ

Грубиян-водитель Бирюков Валентин высадил Маманю сразу за порядками птицефабрики «Заря».

— Дальше, Маманя, топай пехом, — сказал он. — Начинай марафонский забег.

Вот такой этот Валентин Бирюков. Никогда не поздороваётся, не попрощается, а вместо искренних приветствий всегда грубость скажет.

Маманя развязала свой узел, достала кошелек и полезла за серебром.

— А я тебя, Валяня-голубчик, награжу, — пропела она. — Сейчас дам тебе на пиво.

— Рехнулась, Маманя! — взревел грубиян, и вместе с ним грубо взревел и «МАЗ» огромный.

Засим они уехали. Маманя в душе была довольна и Валентином и «МАЗом» его огромным. Они провезли ее дальше договоренного километров на двадцать, и серебро к тому же осталось все целое. Долгий путь начинался с удачи.

Маманя так и рассчитала, что от птицефабрики «Заря» путь ей будет до развилки километра три пеший. Как только грубиян повернулся к ней огромным темно-голубым затылком, выпустил вредный синий газ и ушел, так тут же Маманя привязала на ремешке с одной стороны узел, с другой стороны сумку довоенную «радикул», в правую руку взяла корзинку с гостинцами для невинных внучат и захромала по тропинке вдоль шоссе.

Утро было пасмурное, и даже накрапывал маленький дождичек, то есть языческий местной волости бог дождя Мокроступ благословлял Маманю на долгую дорожку.

Елки да осины окружали всю Маманину жизнь с голоногого детства через молодые на средние хляби к нынешнему зрелому веку. Теперь Мамане хорошо наслаждаться в здоровой городской обувке, хотя и стала уже подсыхать правая ножка.

«Великие Луки» — было написано на щите и километраж. Луки Великие, забормотала Маманя, Великие Луки, Великие Огромные да Веселые, Луки вы мои Лучища озорные, Луки вы Лученьки окаянные, Луки-Лучины-Разлуки-Излуки Великанские-Атаманские, и где же вы засверкаете, запсете, да когда ж вы взыграете, Луки-мои-Луки, Лучата-мои-Внучата Великие да Прекрасные.

Так Маманя обычно бормотала себе под нос какую-нибудь несурязицу, когда судьба иной раз оставляла ее наедине с самой собой, что, правду сказать, случалось редко. Так она обыкновенно бормотала, и каждое словечко в несурязице играло для нее, будто перламутровое, в каждом, раз по сто повторенном, видела она какую-то особую зацветку. Маманя любила слова. В этой тайне она и сама себе не признавалась. В молодости, бывало, чуть ли не плакала, когда думала о том, как много слов в мире. В нынешние времена родичи порой удивлялись: включит Маманя «Спидолу», сидит и слушает любую иност-

раннюю тарабарщину, и лицо у нее такое, будто понимает. Никакого беса Маманя, конечно, не понимала, ее только радовала и радостно изумляла огромность мира слов.

Так незаметно под «Луки-Лученьки» Маманя дохромала до развилки, то есть до того места, где их районная дорога упиралась в шоссе межобластного значения и где стояло на опушке леса несколько известных каждому устюжанину предметов: беседка, столб с автобусным знаком, преогромнейший плакат с цифрами и фигура гипсового лося.

Многие устюжане пересекали эту грань и исчезали в пространстве. Мамане прежде не приходилось. Еще в те отдаленные времена, когда поставили здесь лося и пошли слухи среди районных крестьян, что золотое поставили животное для всех, Маманя (совсем-совсем нестарая еще тогда была Маманя) упросила деверя свозить ее на перекресток — такая была жгучая тяга. И ох как понравились ей тогда золотой великан, и широкая областная дорога, и отдаленное кружение облаков над бесконечными видами земли. Маманя вспомнила сейчас, как захотелось ей немедля утечь в отдаленное пространство, но деверь мужик был серьезный и непонятного не понимал. Подколупнула тогда Маманя лесного великана, спрятала себе на память малость позолоты и благополучно отправилась с деверем назад в Устюжино.

И вот сейчас Маманя стояла на заветном рубеже. Серенький мокренький денек. У лося-красавца за долгие годы совсем уж стал затваренный вид, но крепость в ногах уцелела. Маманя, влажная аккуратенькая старушка, с шустрым интересом озирается. Казалось бы, надо ей сейчас ужасно волноваться, ведь вот-вот — и улетит она со своей устюжинской планеты, но она совершенно почему-то не волнуется и никакой не испытывает горечи за прожитые годы. Путь дальнейший, почитай, в пятьсот километров ничуть ее не пугает.

Безусловно же расширились нынче горизонты даже и у сильно оседлого населения. Голубой экран и беспроводное радио безусловно приблизили к Устюжину всю нашу малонаселенную, но порядком уже цивилизованную планету. И вот: крохотная старушка Маманя, да еще и с подсыхающей ножкой, уверенно стоит на асфальтовом распутье, не боясь ни мрака, ни зрака, ни лихого человека. А между прочим, путь Мамане предстоит через три северорусских области, в крошечный по масштабам лесопункт, к родному сердцу, дочери Зинаиде, медицинскому работнику — фельдшеру.

Быть может, некоторые читатели не поверят, но Маманя просчитала всю дорогу по автомобильному атласу племянника Николая. С карандашиком произвела калькуляцию, и вышло так, что на попутных ей будет и сподручнее и дешевле, чем на железной дороге и автобусах с пятью пересадками. И вот, как видим, первый почин оказался удачей — полста километров уже позади, а серебро все целое. А вот и вторая Маманина удача появилась — с бугра скатывался, разбрызгивая лужи и шуруя щетками по стеклу, махонький красивенький автобус, на каких Маманя еще не каталась. «Это мой», — подумала она, подняла ручку и личиком сделала скромный привет.

Шофер в этом транспорте оказался совсем не похожим на грубияна Бирюкова, да и вообще на устюжинских волосатых парней. Стрижка у него была короткая, тугой на шее висел галстук, на пальце граненное кольцо. Человек ученый-неученный, но вежливый, молчаливый, улыбающийся.

Маманя попыталась было ему рассказать всю свою историю — и про Зинаиду и про ейную проблему, — но он, улыбаясь, включил радио, и рассказ потонул в красивой музыке.

К слову сказать, Маманя как выехала за свои районные пределы, так все и старалась попутчикам рассказать свою житейскую историю.

Будто бы что-то подмывало ее выговорить свое наболевшее, набрякшее этим незнакомым людям, стремительно несущимся по дорогам. Мы, однако, прибережем Маманин рассказ до встречи с другим героем нашего повествования, благо и недалеко уже осталось.

Однако удача-то с маленьким автобусом была не ахти какая удачная. Как стали прощаться в Псковской уже области, водитель радио выключил и скривился на серебро в коричневой ладошке:

— Мало кидаетшь, мамаша!

Маманя ахнула, сердце заколотилось, подсыпала из «радикула» еще парочку монет.

— Бумагой платить надо, милая,— пожурил ее водитель, да так вежливо, что Маманя его даже, как волка, испугалась.

Из трех бумажек, что оказались после этого в дрожащей Маманиной руке, из пятерки, трешницы и рублика, водитель выбрал самую новенькую, чистенькую — трешницу. Даже пятеркой побрезговал из-за поношенности. Выбрал и отпустил тогда Маманю с миром и даже два пальца приложил к непокрытому лбу.

Как она горевала по этой трешке! Ведь на автобусе-то и двух рублей не натянуло бы от сих до сих! Трешечка трешечка моя трешечка трешечка шишечка шишечка с маслицем трешечка кошечка выгляни в окошечко троячок мужичок поволок за бочок куяк не куяк а выкладывай трояк!

Однако дальше пошло сносно. Растерянную Маманю подобрал трактор с прицепами и довез до могучего автохозяйства, что посередине чистой прохладной земли мощно рычало и ворочалось в собственной солярке. Оттуда Маманя выехала в преобладающем дизельном тягаче, сверху поглядывая на поля и леса, будто принцесса. Еще солидный кусок дороги одолела Маманя на желтой цистерне «Молоко», и это был путь приятный, подушечка мягонькая, а от водителя Игорехи (как он сам себя назвал) молочком природным потягивало. Конечно, уж больно часто Игореха матерился, и Маманя поначалу немного вздрагивала, но потом привыкла — матерится человек, как дышит, без всякого зла и смысла.

Всем этим товарищам — и трактористу, и дизелисту, и молоковозу — Маманя бросала денежку в кармашек, приговаривая: «На табачок, на конфетки деткам, на пивко-лимонад» — в зависимости от типа водителя. Очень это ловко получалось — малая денежка летела в кармашек, а шоферага только глазом косил. Маманя даже возгордилась, как ей в голову пришла такая славная хитрость — денежку в кармашек. На этом деле Маманя, безусловно, возместила себе безвозвратно погибшую трешницу.

И вот мы наконец видим нашу Маманю, хромающую через большое село Никольское к магистрали — широченной дороге, разрисованной вдоль белыми линиями и со столбиками на каждую сотню метров. Мамане, конечно, село Никольское кажется единственным в мире селом Никольским, в Устюжинском родном районе такого названия нету, и Маманя не подозревает, что в России Никольских-то сел что звезд на небе. Экое преогромное село-полугород и совершенно сейчас безлюдное — во дворах кобели кричат, в избах голубые экраны полыхают, никого не спросишь ни о чем.

Махонькая Маманя в плюшевой жакеточке долго мокла на магистрали прямо за знаком «остановка запрещена». Не снижая скорости, мимо нее проносились и грузовики, и фургоны, и такси. К слову сказать, Маманя все легковые машины называла по-своему — такси. Помнилось, как Зинаида с Константином приехали к ней однажды (еще до деток) пьяные и веселые и все говорили: такси, такси, приехали на такси и уедем на такси.

И вот появилась синенькая, хорошенькая, чистенькая под дождичком «такси», которая, разглядев вдруг Маманю, заморгала ей правым глазом и приблизилась. Опасное, конечно, дело — такси. Того гляди еще попросит опять бумажных денег. Тем не менее Маманя себя и ножку свою занывшую пожалела и влезла в сухое, да теплое, да музыкальное место. Эх, тратиться так тратиться — давай гони!

Водитель «Жигулей» Павел Дуров, артист редкого, теперь почти вымершего жанра, ехал из литовской оконечности нашей державы в неопределенную ее глубину. В гущу, как он сам для себя это выражал. Вот так его кидало из конца в конец — то тянуло к прохладной и пустынной балтийской оконечности, то засасывало прямо в гущу отчизны.

— Ай такси-то у тебя хорошая, ай накатистая, — пропела вежливо Маманя, приглядываясь уже, где у водителя «карманшек».

— Это, простите, не такси, — поправил старушку Павел Дуров.

— Не самосвал же! — хихикнула Маманя и зыркнула глазом по водителю, по синей рубашке с медными пуговицами. — Я, чай, ты моряк будешь, мальчик дорогой?

— Моряк-моряк, — с готовностью покивал Павел Дуров. — Меня зовут Павел. А вы куда путь держите?

— В Новгородскую область, в поселок Сольцы, — не без гордости ответила Маманя.

Павел Дуров левой рукой обхватил руль, а правой открыл автомобильный атлас, прошелся по нему пальцем.

— Почти сто двадцать километров нам с вами по пути... — проговорил он и как-то вроде бы не закончил, вроде бы вопросик повесил, обратился к Мамане вопросительным лицом.

— Ты чего, мальчик дорогой? — удивилась Маманя.

— Ваше имя-отчество?

— А Маманей меня называй.

— Маманей? — изумился Павел Дуров.

— Ага. Меня все Маманей зовут. Ну а ежели не с руки, зови тогда Лизаветой. Лизавета я, значит, Архиповна. Ну вот... — Она устраивалась поудобнее в теплой машине, что, тихонько журча, несла ее по сырой земле, к дочери Зинаиде. — Ну вот, а еду я, мальчик дорогой, к дочери своей Зинаиде, которой мужик Константин, законный супруг, дурака заваял с библиотекаршей Лариской. Вот видишь, мальчик дорогой, получила я письмо от Зины, и сердце захолонуло — от родной дочки такие горечи получать не дай тебе бог! — Маманя развязала «радикул» и показала Дурову исписанную с двух сторон страничку арифметической тетради. — Вот, глянь.

— Не могу читать на ходу, Елизавета Архиповна, — виновато улыбнулся Дуров.

— Тогда я сама тебе прочитаю! — решительно сказала Маманя и надела очки. — Слушай! «Здравствуйте, многоуважаемая моя маманя Елизавета Архиповна! Из далекого леспромхоза, затерянного в живописной новгородской земле, шлю свой горячий привет двоюродному брату Николаю, тете Шуре, дяде Филиппу, маленьким деткам Юрику и Виталику, особенно директору нашей школы Евдокии Терентьевне, которую часто вспоминаю, как в песне поется, «учительница первая моя», подругам и коллегам Нине, Тамаре и Аркадию Осиповичу, если еще помнит, а также всем односельчанам, с которыми прошли мы годы и версты по нехоженным тропам жизни. Если бы Вы сейчас были со мной, мамушка родная, неизбежно не узнали бы родной дочери. Константин фактическим образом не ночует дома, а на глазах всего нашего лесного коллектива носит библиотекарю Ларисе через улицу шампанское и кондитерские изделия. Я не знаю, маманечка, что с со-

бой сделаю! Хоть бы хоть красивая была, сука дорожная! Мне жизни нет совсем, ни месяца, ни звезд не вижу, и хочется плакать, когда слышу эстрадные песни. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. Дети наши отца Константина уже ставят под вопросом и спрашивают — как ножом режут, а мне пожаловаться некому никогда... хоть бы пачку вероналу, но Вы не верьте этим глупостям. Остаюсь любящая Вас дочь Ваша Зинаида. Внучата Алик и Танечка кланяются Вам с глубоким уважением. А может быть, запросы у меня слишком высокие, может, оттого это случилось, что не разглядел во мне Константин человека с большой буквы? Эх, мама...»

Маманя разрыдалась вдруг так бурно и горько, что Дуров растерялся и не нашел ничего лучше как прижаться к обочине и выключить мотор. Полез в походную аптечку, накапал валерьяны.

— Учила! Холдила! Зиночку! Деточку мою! На фельдшера выучила, а отдала злодею!

— Елизавета Архиповна, Елизавета Архиповна! Позвольте пульс!

Пульс у Мамани оказался как хорошие часики. Горький порыв свой она остановила, достала из «радикула» сухую тряпочку и вытерла лицо.

— Ну, мальчик дорогой, что ты скажешь теперь мне, своей попутнице несчастной?

«Бредовина какая-то,— подумал Дуров.— Что я могу ей сказать?»

— М-м-м,— сказал он.— И вы, значит, к Зинаиде двинулись, Елизавета Архиповна?

— Вот так и двинулась!

— А цель вапа?

— Цель? Я им поцелуюсь! Где это видано, чтоб муж при живой жене с библиотекаршей ни от кого не скрывался?

«Где это видано? — спросил себя Дуров.— Действительно, где такое невероятное событие могло случиться?»

— Значит, вы, собственно, не Зину утешать свою едете, а, собственно говоря, активно хотите влиять на Константина?

— У Зинки все лекарства выброшу в уборную, а Костю за руку в дом верну, да еще и уши надеру!

Сказано это было с энергией и решимостью.

Дуров посмотрел на старушечку. Эге, старушечка, как говорят, свое дело знает туго. Да, это, конечно, активная старушечка, знаток человеческих сердец.

— А что же будет делать библиотекарша Лариса, одинокая, красивая, несчастная?

— Как сука дорожная,— процитировала Маманя Зинкино письмо.

Из плюшевой жакеточки, из суконного серенького платочка, из оправы бабской доброты вдруг выглянуло малоприятное, бессмысленное от злости куриное рыльце.

Они проезжали маленький городок. Тетушки-старушки активно и шустро хлопали дверями магазинов, с озабоченными лицами трусилки к автобусным остановкам, тащили кошелки, сетки, толкали тележки кто знает с чем. Может быть, все они такие же, как Маманя? Дуров отмахнулся от промелькнувшего неприятного впечатления. Нет, брат, если тетусек этих выбросить, этих самозабвенных хозяйшек, ничего тогда не останется, пустое будет поле.

Вдруг кто-то на обочине поднял руку, и не просительно, а деловито и беспрекословно, словно военный патруль. Дуров притормозил — и впрямь офицер голосует. Худощавый офицерик с замкнутым, несколько высокомерным лицом приблизился к машине, открыл дверцу, сел на заднее сиденье и только тогда обратился к водителю:

— Мне с вами восемнадцать километров по шоссе.

Затем он открыл толстую книгу и углубился в чтение. Дуров восхитился — вот надежный парень!

— Что читаем? — спросил он, разгоняя дальше свою машину.

— Классика, — сказал офицер.

— А точнее? — Дуров почему-то старался попасть в тон этому офицеру, то есть говорить отрывисто, сухо, без эмоций.

— «Королева Марго», — сказал офицер и перевернул страницу.

«Какого черта я их всех вожу? — спросил себя Дуров. — То я с Алкой-пивницей возился, то старушку-праведницу подобрал, а теперь вот читателя классики...»

— Знакомьтесь, — сказал он, ухмыляясь. — Елизавета Архиповна, знакомьтесь с офицером.

— Зови меня Маманей, мальчик дорогой. — Старушка уже полуобернулась к новому попутчику и ласкала его отчетливую фигуру любопытными глазами.

— Жуков, — сказал офицер и перевернул еще страницу.

— А ты, видать, военный, мальчик дорогой? — спросила Маманя. — Я, чай, летчик или артиллерист?

— В органах работаю, — сказал офицер Жуков. — МВД.

— Министерство внутренних дел, — пояснил Дуров Мамане и опять спросил офицера: — А точнее нельзя?

— Точнее нельзя, — сказал офицер Жуков.

— Нельзя — значит, оно и нельзя. — Теперь уже Маманя пояснила Дурову и совсем повернулась к молодому попутчику, строгому офицеру. — А я, мальчик дорогой, еду к дочери родной Зинаиде, потому что мужик ее Костя...

И далее последовал подробнейший рассказ о коварстве, о любви, о невинных внучатах, зачитывание вслух письма, слезный вопль и разговоры о мерах воздействия.

Дуров слегка злорадствовал, но посмотрев раз-другой в зеркальце на офицера, посочувствовал тому. Вовсе он не был таким железным, каким на первый взгляд казался. Дуров заметил, что офицер Жуков мучается от противоречивых чувств: с одной стороны, прервать чтение «классики», то есть личное дело, казалось ему унижением собственного достоинства, с другой стороны, он испытывал почтение к пожилой гражданке Мамане, а с третьей, возможно, он весьма близко к сердцу принимал страдания неведомой фельдшерницы Зинаиды. Так или иначе, он хмурился, продолжал перелистывать страницы «Королевы Марго», но в то же время и подавал Мамане реплики в адрес коварного Константина. «Непорядок» — такие в основном были реплики. «Конфеты носит ей через улицу!» — скажем, восклицала Маманя. «Непорядок», — говорил офицер Жуков.

Между тем восемнадцать километров остались позади. Начались кварталы городской застройки, какая-то беспорядочная неприглядная индустрия по обеим сторонам шоссе. Движение становилось все гуще, и вскоре Дуров прочно застрял в колонне цементовозов перед закрытым шлагбаумом.

Здесь как раз было то место, куда ехал офицер Жуков. Он сухо, но вполне вежливо поблагодарил, вышел из машины и зашагал к своей цели, которая (или которое) была недалеко. Оно (или она) было зданием темно-красного кирпича, с маленькими зарешеченными окошечками. Жуков подошел к проходной, но, прежде чем войти в нее, остановился, нарвал травы и стал очищать свои высокие тонкие сапожки, прямо-таки надраивал их.

— Видите, Елизавета Архиповна, где работает наш попутчик, — сказал, улыбаясь, Дуров. — В тюрьме.

— Ах батеньки! — Сообщение это почему-то просто потрясло

Маманю. Она выпрыгнула из машины.— Ты меня, мальчик дорогой, здесь обожди! — И шустренько подхромала к офицеру Жукову.

Дуров смотрел, как они разговаривали, как Маманя что-то частила и хватала офицера Жукова за рукав и как тот хмуро ее слушал и иногда постукивал пальцем по циферблату своих часов — дескать, спешу.

Через некоторое время подняли шлагбаум, сразу загудела сзади вся цементная флотилия. Какой вздор эта общительная Маманя, ее пожитки, проблемы, библиотекарша, лесной коллектив. Дуров нажимал на сигнал, но старушка в его сторону и не смотрела. Тогда он переехал через железную дорогу и приткнулся к какому-то покосившемуся заборчику. Грузовики обдавали его удушающими выхлопами, щебенка летела из-под огромных скатов, пыль оседала пластами. Дуров злился. Какого черта он здесь стоит, почему он дает себя вовлекать в разные никчемные истории, зачем он входит в чужие, совсем не нужные ему жизни?

Над пылью захолустья, в чистом небе с увесистым грохотом прошел «ТУ-154». Дуров позавидовал самолету — какая независимость, какой полный отрыв от почвы! «Я еду в Ленинград, где ждут меня друзья, старые книги с обвисшей бахромой, истлевшие нитки, истлевшие связи с почвой... Чугунное вычурное литье, бессмысленное, но чудесное. Тлеющие по каменным островам белые ночи, пользы от которых чуть — жалкая экономия киловатт, — а вреда значительно больше. Затруднительные отношения со своей собственной библиотекаршей. Встреча с Рокотовским, будущая совместная попытка возродить жанр. Рокотовский не стал бы в этой вони ждать Маманю. Выбросил бы ее пожитки из машины и уехал. У Рокотовского в принципе вообще нет никаких связей — ни с чем, ни с кем. В конце концов, может быть, Рокотовский и соберет все угольки в своих грешных ладонях и выдует стебелек огня? Хотя вряд ли...»

Тут подошла Маманя.

— Ай, какой ты честный, мальчик дорогой. А я-то, баба старая, глянула — пропал мой багаж, и пятьдесят рубчиков в нем пропали! А ты, значит, очень честный, мальчик дорогой...

— Спасибо, что оценили, Елизавета Архиповна, — сухо сказал Дуров.

— На-кась!

Глазам своим не веря, Дуров увидел предложенный ему на чистой тряпиче румяный творожник. Рукам своим не веря, взял его. Зубам своим не веря, съел. Показалось — вкусно.

— А Константин таперича у меня здесь! — Торжествуяще Маманя похлопала по пузатому «радикулу».

Они вырвались наконец из цементно-индустриального захолустья и неслись теперь посреди зеленой и привольной, чудной, как столица, русской равнины.

— Простите, что вы имеете в виду? — спросил Дуров.

— А то, что Жуков-офицер может приехать когда надо и в тюрьму его забрать, — похвалилась Маманя.

— То есть как это забрать? Уверен, ему и в голову такое не пришло. Он же не имеет права!

— Насчет прав не знаю, а раз он в тюрьме работает, значит, и упрятать туда человека может. — Маманя поджала губы, но подумав, добавила: — За непримерное поведение.

— Какой, простите, вздор, Елизавета Архиповна! Вы слышали такое слово — закон? Однако как же вы решили своего зятя в тюрьму? — Дуров почему-то разволновался, крепче взял баранку в руки, потому что машину стало заносить на левую сторону.

— Какой же он мне зять, если дочь мою не милует! Не целует ее, не обнимает...— Голосок Мамани чуть дрогнул.— Разве это зять?

— Послушайте, Елизавета Архиповна, позвольте мне заметить, что вы ведете себя не очень-то морально. Не поговорив с Константином, не выяснив его душевное состояние, вы запасаетесь угрозами, к тому же довольно странного свойства...

— Сольцы!— Востроглазая Маманя углядела столбик с надписью.— Вот отсюда мне уже три километра до лесного хозяйства. Останови, мальчик дорогой! Вот тебе на пиво с закуской.

Она хотела было уже подбросить водителю в кармашек горсточку денег, но тот вдруг резко переложил руль, и машина с маху вылетела на гравийную дорогу к Сольцам.

— А вдруг он по-настоящему, глубоко любит библиотекаря Ларису?! Вдруг это его мечта?! Как вы можете так резко вклиниваться в интимные человеческие отношения?!— сердито восклицал Дуров и, волоча за собой хвост гравийной пыли, приближался к темно-синей ровной стене леса, у подножия которого виднелись голубенькие и желтоватенькие строения.

— А ты сколько на морской службе получаешь?— вдруг спросила Маманя.

— В каком смысле?— Дуров передернул плечами. Что-то странное происходило с ним: он вдруг ощутил неуправляемость своих слов и поступков.

— Какой у тебя оклад?— остороженько уточнила вопрос Маманя.— Рублей триста получаешь?

— Триста рублей, а что?— Странный, дурацкий ответ: почему триста, какой еще оклад?

— Жена, детки есть? Алименты выплачиваешь?— совсем уже тихонечко, будто сдунуть боялась, спросила Маманя.

— Нет никого, ничего не выплачиваю. А что?

— Да ничего, мальчик милый, просто любопытствую у дорожного человека. А может, погостюешь у Зинаиды моей, а? Лесная тут дача, видишь? Кислород, тишина, опять же грибочки.

— Новый проект?— зло, но не безучастно усмехнулся Дуров, усмехнулся Мамане почему-то не как равнодушный попутчик, а как свой, вовлеченный человек.— Женить, что ли, меня надумали, Маманя?

Машина перевалила через горбатый мостик, и они въехали на лесную поляну, на которой крестиком раскинулся невеликий поселок Сольцы. Пятна бледного солнца летали по огородам и крышам. Шаландалось на ветру разноцветное белье.

— Бабаня, бабаня с неба свалилась!— закричали двое голоногих детишек лет семи—девяти и бросились к старушечке, которая тут же обмякла от кровных ошеломляющих чувств.

— Маманя! Маманя на личном автомобиле!

Дуров увидел, как с крыльца щитового домика сбегает, хохоча, Зинаида, красивая чудесная баба, как ни странно, в джинсах. Деревенская ситцевая кофточка и джинсы— очень получалось хорошо. И волосы нормальные, не уложенные, не накрученные, не начесанные, а спутанные, густые и развеваются в том же направлении, что и белье на веревке.

Она схватила ослабшую старушечку и всю ее затормошила, она просто разрывалась от хохота и пела:

— Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори до звездной полночи до самой...

Дуров ходил по скрипучему тротуару и с удовольствием разво-

дил руками. Ему здесь оказалось привольно. На шиферной обыкновеннейшей крыше в обыкновеннейшем гнезде стоял аист.

— У вас здесь аист,— сказал Дуров Зинаиде.

— Он сольцы́ хочет! — расхохоталась она.— Летел-летел аист из Индии в Голландию, увидел внизу Сольцы и сольцы захотел. Здравствуй, аист, здравствуй, аист, как хорошо, что мы дождались!

Зрачки у Зинки были огромные и еще как будто бы расширились с каждым словом.

Маманя тем временем уже окрепла и теперь важничала на правах приезжего человека.

— А кто директор этого коллектива? — тонким, на всю улицу голоском вопрошала она.

«Здесь я обойдусь и без Рокотовского. Это место, волшебным образом возникшее для волшебства. Быть может, именно здесь я попробую сейчас применить свой жанр. А если меня не поймут местные жители, если меня здесь избыют, я останусь и повторю весь номер и буду повторять его до тех пор, пока они не привыкнут. Бывает же так, правда? Вот один певец несколько лет пел так, что его всякий раз били, а сейчас без него ни одна свадьба не обходится. А ведь поет он все так же, не изменил ни формы, ни содержания. Просто люди к нему привыкли, и это их право. Люди имеют право на привычку. Итак, за дело, здесь и немедленно».

Так размышлял Павел Дуров, бодро шагая в сельпо за третьей уже поллитрой. Уже стоял над бором закат. Серенький денек вдруг превратился в огромный фантастический вечер. Дуров шел от заката, но все время оборачивался и радостно принимал лесные и небесные чудеса. Низкий силуэт леспромежовских крыш с контуром аиста на Зинкиной крыше казался ему сейчас не менее волшебным, чем в свое время контуры Праги, скажем, или Манхаттана.

Кто-то сзади его догнал и взял за руку.

— Здравствуй, дорогой!

Стоял незнакомый мужик.

— Ты Константин?

— Я Иван.

— А я Павел.

— Вот и познакомились. Ты машину мою на турурупуй не видал? Потерял ее к туфалуям кошачьим.

— Какая у тебя машина?

— «Колхида»-гнида, савандалайка заледареванная.

— Ты сквернословишь ни к селу ни к городу, дружище,— укорил Ивана Павел.

— Признаю. Стыжусь. Пошли машину мою поищем.

— Айда. Немедленно ее найдем.

Немедленно вдвоем они нашли грузовик Ивана, а в нем обнаружили еще одного мужика, Вадима.

— Быть может, мы все трое пойдем в домик под аистом? — предложил Павел.— Там наша Маманя пельмени приготовила.

— Я не пойду,— сказал Иван.— Боюсь. Зинка всегда ругается, что я ее хватать буду.

— А мне, когда выпью, бабу не хочется,— покрутил головой Вадим.— А тебе?

— Мне хочется чуда,— признался Павел.

— Во-во, мне тоже всегда добавить хочется.

На столе дымилась гора пельменей, а вокруг сидело склеенное Маманей семейство: детки в чистых одежках, Константин при галстукке, Зинаида и сама Маманя.

Зинаида была в голубом египетском пеньюаре, этом первенце молодой химической промышленности, на европейский манер открывавшем верхнюю часть груди. Глаза Зинка намазала страшнейшим образом, как в девичестве, бывало, делала, когда захлестывала ее хулиганская стихия, а губы ее, раскрытые в постоянном хохоте, с помадой, размазанной горячими пельменями, напоминали сейчас разломаченную осеннюю хризантему, хотя в сердцевине ее поблескивали вполне свежие зубки и огненный язычок.

— Ну смотри, смотри, Кастянтин, где такую еще найдешь? — увещевала зятя Маманя. — Глянь на себя-то в зеркало, ты мужик ай-я-яй какой невидный, весь ты оплыл в дурацкой жисти, ни богу свечка, ни черту кочерга. Глянь таперича на Зинаиду, голубку лазоревую. Да была бы я мужиком, чичас же накрылась бы с ней одеялом.

— Вы, Маманя, впрочем, несуразности при детях... — морщась, перебивал тещу Константин.

— Папаня — бесстыжий! — ликовали с набитыми ртами детишки. Константин морщился. Такая произошла незавязица, готовился к серьезному разговору, да позволил себе намешать, и вот сейчас клинышек прямо в висок, клинышек деревянным молотком кто-то вгоняет.

— Стою на полустаночке в веселом полушалочке... — хохотала Зинка.

Что с ней стало? Глаза горели. В такую бабу без преувеличения целиком футбольная команда может влюбиться.

Тут двери открылись и в горницу влез прибранных дел мастер — «морячок» Павел Дуров, полные руки веселых напитков.

— А вы, Павел Аполлинарьевич, быть может, рассказали бы нам о заграничных государствах, где что есть, какие цены, — светским тоном обратилась Маманя.

— Я сейчас видел в лесу костер, — заговорил с блуждающей улыбкой Дуров. — Смотрю, за соснами трещит, полыхает, напоминает что-то непережитое, то ли будущее, то ли прошлое, что-то несказанно прекрасное, неназванное... Понимаете, Зинаида? Что это у вас тут феи в коллективе, нимфы? Эллада? Хочется почувствовать у себя на ногах копытца. Близится время чудес.

Константин повернулся к гостю, кривой улыбкой на пол-лица выдавливая «клинышек».

— Вот у вас, я вижу, товарищ Дуров, фигура спортивная, а если приглядеться бдительно, личность вы немолодая.

— Молодая! — вдруг гаркнула Зинаида, словно проглотив сразу весь свой хохот и лукавство и выставившись в центр комнаты ожесточенным измученным лицом. — Айдайте на спор, Константин Степанович, — кто моложе, вы или они? Хотите, сейчас же проверим?

Детишки, привычные к родительским беседам, тут же дружно заревели.

— Зинаида, Зинаида, — мягко урезонила дочь Маманя.

Однако Зинаида снова уже хохотала и лихо открывала все подряд бутылки, принесенные Дуровым, где вилок, где ногтями.

Это неременная картина,
Когда в сиянье юности огня,
Когда тебя я вижу, Зинаида,
Все сердце уж ликует у меня! —

так завопили за окном две пещерные пасти.

— Друзья, — сказал Дуров. — Редкие люди.

— Вадька да Ванька, пьянь да рвань, — повела египетским плечом Зинаида, встала и подошла к окну. — Ну чего, чего, — говорила она

вниз в окно, где что-то ворочалось косматое и иногда поблескивали то глаз, то бутылка.— Ну чего вам? Идите прочь! Толку с вас! Ладно, ладно, дуйте отсюда, опилки...

Дуровпил какую-то наливку, которая, казалось, язык приклеивала к небу. Ладная баба, вполне ладная баба. Взгляните, какая линия спины, ни дать ни взять охотница Артемида! Вы, Константин, неприкаянный дружище, напрасно бросаетесь такой бабой. Вы бы сохранили ее на всякий случай.

— Я жизни другой захотел,— сказал ему «неприкаянный дружище».

Белесые волосики прилепились к высокому лбу.

— Замечательно вы сказали, незадачливый мой дружище! — Дуров положил ему руку на плечо и заглянул в глаза.— А что, Лариса придет? Надеюсь, приглашена?

— Надеюсь, придет,— пробормотал Константин.— Только она не пьет. Покушает маленьчко. Слегка покушает, конечно, если в нее Зинка горячим чайником не бросит.

— Алик, включай телевизор,— сказала Маманя внучонку.— Сейчас ваша детская будет вещания «Спокойной ночи, малыши».

Четверть девятого по московскому. Дуров прислушивался ко всем звукам, к великому множеству звуков, окружавших его в лесном краю. Быть может, спустя долгое время, если он вспомнит этот вечер, все разговоры вокруг покажутся ему скучными и глупыми, а собственное поведение нелепым и позорным, но сейчас все звуки вокруг, все речи, вздохи и междометия казались ему исполненными далекого смысла, да и сам он себя сегодня нравился, казался подтянутым, веселым и накрученным, готовым к любой неожиданности, более того — ждущим, вызывающим на себя эти неожиданности. Это было лучшее его состояние, которое появлялось в последние годы все реже и реже, а ведь именно вслед за ним, за этим состоянием, начиналось самое чудесное — открывались шторы заветного театра, начинался «жанр».

— Паша, можно тебя на минуточку в огород на фулуфуй? — нежнейшим тоном спросили из окна два косматых друга.

Он вышел под песенку «Спят усталые игрушки», в тот момент, когда Маманя начала драть Константину уши вроде бы шутливо, но очень больно, о чем можно было судить по застывшему на пухлом лице Константина изумлению.

Зинаида вальяжно, как нейлоновая Клеопатра, приглашающая Помпея во внутренние покои, поднимая широкие рукава, удалялась из горницы в опочивальню.

Дитяти, пофунивая и побунькивая, засыпали уже на тахте под телевизионным излучением.

— Щас из леса приходили, Павлуша, говорили: все четыре колеса у черестеганного «фиата» сымем,— сказали Дурову Иван и Вадим. Они лежали в огороде среди молодой картофельной ботвы, подложив под головы собственные ботинки.

— Кто приходил? Пан? Сатиры? — поинтересовался Дуров.— Кто здесь бродит ночами по лесу? Откуда запахи эти одуряющие?

— А я не чувствую,— сказал Вадим.— На теребафер нюх мне отшибло. Зинка выйдет, Паша?

— Короче говоря, товарищ проезжающий, пять рубчиков дашь — будут твои колесья целые,— официально предупредил Иван.

— А если десятку дам? — поинтересовался Дуров.

— А если десятку, значит, и фары останутся.

В это время офицер Терентий Жуков приближался на собственном мотоцикле к поселку Сольцы. «Куда еду? — спрашивал он себя. — Какова цель? Цель — морально поддержать пожилую гражданку в ее нелегкой борьбе за целостность семьи, а цель, как пишут умные люди, оправдывает средства. Никогда сам себе не признаюсь, что сжигает любопытство к брошенной гражданке Зинаиде и к морально невыдержанному библиотекарю Ларисе». В пятиэтажном доме, где Жуков жил, сроду не происходило ничего подобного, а на работе вообще все было нормально. Кроме того, рассчитывал, конечно, Жуков получить в лесной библиотеке что-нибудь из классики, к примеру «Лунный камень».

Он не подозревал, конечно, что въезжает в зону чудес, да, признаться, так и не заподозрил до самого конца, и чудеса, которые ему попадались, таковыми не считал. Жизнь многообразна, так полагал офицер Жуков, и то, что мы порой принимаем за чудеса, на самом деле явления природы. Вот, например, огромный костер, который ослепил его при въезде в поселок. Другой бы подумал — чудо. Офицер Жуков решил — шлаки жгут. Женская тонкая фигурка извивалась в огне. Кто-нибудь сказал бы — ведьма, нимфа, саламандра. Офицер Жуков прикинул — здесь сегодня получка.

Между прочим, не ошибался офицер. Все мы угадали в Сольцы в день аванса. Тут уж, как обычно, то ли накушаешься с удовольствием, то ли голову сложишь.

— Вы здешняя? — спросил Жуков девушку.

— Меня оскорбили, — отвечала она. — Я хотела раскрыть ему новые горизонты, а он лишь увлекался моей плотью.

Она приблизилась к мотоциклисту и протянула узкую закопченную ладонь.

— Давайте знакомиться. Лариса.

...Довольный сделкой и все еще настроенный на чудеса, Дуров долго толкался в сених, опрокидывая клетки с молодыми курами, разливая какие-то жидкости, пока не шмякнулся боком в войлочную дверь и не ввалился с ходу в опочивальню.

Печальная картина предстала перед ним. Ему показалось даже, что грубая, ржавая, саднящая, с жесткими нечистыми швами и щетиной в складках грубятина жизнь надвигается и вытесняет гладкое, как воздушный баллон, чудо, созданное уже им, но только не явленное еще миру. На полу сидела, разбросав отяжелевшие ноги и опустив набрякшие груди, постаревшая на двадцать годков Зинаида. Ни хохота, ни блеска не было уже в ее лице, но лишь тощица, глухая пудовая тощица. Одна лишь правая ее рука трепетала, будто пойманный стриж, и все хватала, все хватала пустую склянку-четвертинку, катавшуюся вокруг по полу.

— Эй, кто ты такой? Помоги! — глухим, незнакомым голосом приказала Зинаида вошедшему.

— Ну, знаете ли, Зина, это не дело, это не дело! — горячо, не узнавая себя, на высоком подъеме заговорил Дуров. — Ваш смех, ваше чудо не из склянок этих дурацких, но из других сфер, дражайшая Зинаида!

Он отшвырнул ногой эту дрянь и стал поднимать Зинаиду с пола, засунув ладони ей под мышки.

— Кто ты такой? Кто ты? — вдруг детским голосом захныкала Зинаида. — Пожалей меня, человек! Пожалей как можешь!

Как кипятком охваченный восторгом, он взялся ее жалеть...

— Ты, Кастянтин, будто жисти не знаешь,— все обрабатывала в горнице теща зятя, а сама уж косила глазом в привычную, неизбежно сосущую глубь телевизора.— А жисть каждый раз открывает нам виды. Съешь-ка стюдную шматок, гляди — полегчает. За непримерное поведение тебя добрые люди могут в тюрьму устроить. Какие такие новые жисти тебе Лариска открыла, окромя своих мослов? Вам нынче все предоставляют, а вы только рыгаете. Да взъярися ты, кислый человек, на-кась выпей браги!

Но Константин, однако, уже облегченно только улыбался, только лишь обвисал на стуле, а очи у него затекали, и не видел он сейчас перед собой ничего, даже сладенькой своей Ларисочки, которая всегда читала на ночь прямо в ушко «Дон Кихота», испанскую книгу, даже ее не видел...

— Я лично работаю в бухгалтерии областной тюрьмы,— тихо повествовал офицер Жуков своей новой знакомой.— Я лично с преступниками разных мастей фактически не имею воспитательного контакта.

Они шли, держась за руки и раскачивая свое рукопожатие как бы в такт неслышной музыке, как в кино.

— Судьба послала мне знакомство с недюжинной натурой,— сказала, глядя в светлые ночные промывы на небе, библиотекарь Лариса.

— Это с кем? — поинтересовался Жуков.

— С вами.

Они перелезли через низкий заборчик и оказались во дворе дома, все окна которого ярко пылали. В торцовых окнах куковала перед телевизором старушечка Маманя. В боковых висело имущество. На задах в огороде два мужика заглядывали в следующее оконце, ухали, валились в ботву. Поблизости остывал под бродячей луною шестиоконный темный «фиат». Под ним и вокруг бегали молодые куры.

— Как давно уж мне не приходилось есть петушатины,— вздохнула Лариса.

Жуков тут же бросился в темноту как пловец и поймал того, на кого намекнули.

На экране телевизора Маманя вдруг увидела председателя своего колхоза Фомича. Тот гулял по весенней земле, а в рот ему совали большущий клубень — микрофон.

— Мы увеличиваем с каждым днем масштабы подъема зяби,— воспитанным голосом говорил Фомич.

— Зяби, зяби вы мои, зыби, зыби зыбучие засыпанные! — во весь голос тут (благо вокруг все спят и за стенкой в опочивальне угомонились) возопила Маманя.— Зыби, зоби, зябкие, озьябанные, постные, зяби наши пскопские, зыби озерные осиянные!..

Тихо посапывали на тахте невинные внучата, и Маманя тихонько скребла им розовые пяточки для пущего улучшения улыбчивого детского сна.

Дуров проснулся среди ночи, услышав какой-то сокровенный треск, будто пальма сухая трепетала на ветру, и понял, что это аист на крыше крыльями разговаривает. Он посмотрел на спящую рядом фельдшерницу и пожелал ей добра. Пусть добро ее хранит, пусть подальше она живет от темной бутылки, пусть блаженствует в добре.

Он сполз с высоченной кровати и вышел в огород. Там его встретила молодая колдунья с закопченным счастливым личиком. Она протянула ему жареное куриное крыло и жестяную кружку с напитком.

— А вот и путешественник, о котором ходят уже толки в нашем лесу,— с милым жеманством произнесла она.

Над ней неподвижно висел в воздухе большущий аист, предлагал свои ноги для полета то ли в Индию, то ли в Голландию.

Дуров сунул поджаренное крылышко в карман и взял в свои чуткие ладони тонкие закопченные девичьи руки. Они смотрели друг другу в глаза и улыбались. Он чувствовал, что она его понимает.

— Ну! — говорила она. — Ну! Ну! Ну!

Аист, устав висеть, одним крылом облокотился о луну. Светило тем не менее чудесным светом заливало всю землю, и виден был каждый листик на картофельной ботве, и офицер Жуков мог прекрасно читать библиотечного «Дон Кихота». Два мужика тем временем, Вадим и Иван, сквернословили, как галерные каторжане. На задах огорода скособочился дуровский «фиат». Колес как не бывало, стоял на трех чурбаках и домкрате. Фар как не бывало, из зияющих дыр торчали зеленые ветви с ягодами.

— Удастся ли Мамане восстановить лесную семью? — спросил сам себя Дуров.

— Дальнейшее в вашей власти,— со странным проникновением говорила Лариса.— Чьих рук дело эти холодные костры? Откуда такая прыть у пожилого аиста? Вы и меня, скромную девушку, за восемьдесят рублей зарплаты можете сделать колдуньей! Решайтесь, Павел Дуров, и действуйте, завершайте свое чудо, ваш жанр.

Он вдруг упал — голова закружилась. Легкое дурацкое падение — дескать, вы меня не за того принимаете. Она заплакала.

— Нет, не решаюсь,— пробормотал он.— Извините, Лариса, пока не вытягиваю. Желаю вам всем счастья и засыпаю.

Дрожа от холода, он заснул, а проснулся от благости и тепла. Пели недобитые петухи. Чудесное солнце грело растерзанную грудь. Он смотрел из-за лежащей рядом с его головой оловянной кружки на весь земной порядок. Он не совсем отчетливо помнил события прошедшей ночи, чувствовал какую-то утрату, понимал: вот что-то было близко, но не свершилось, разгорелось почти вовсю, но погасло,— и все-таки он чувствовал себя счастливым оттого, что приблизился, почти уж решился распечатать мешки с реквизитом, был в двух шагах от «жанра».

Утро было простое, отчетливое, с далекой обнадеживающей перспективой. Снизу, с поверхности земли, он видел дорогу. По ней, прихрамывая, удалялась Маманя. Она вела за ручки двух детей, Алика в красных штанишках и Танечку в желтой юбочке, своих невинных внучат, переданное через поколение семя. На бугре вся троица остановилась — цветные пятнышки на небе, черное, голубое, красное, желтое... Дуров приподнялся на локте. Маманя обернулась и сказала ему через полверсты:

— Пока мужик да баба промеж себя разберутся, я деток млеко отпою, витамином обеспечу, а вам, значит, всего хорошего...

СЦЕНА. НОМЕР ЧЕТВЕРТЫЙ: «ГЛЯДЯ НА ДЕРЕВЬЯ»

Фокусы в городском парке. Музыкальное сопровождение — гарнизонный оркестр. Вальс «В лесу прифронтовом». Дуров среди гуляющих.

...Все в лунном серебре — так произнес японец, мечтая возродиться сосною на скале. Славянским многоглаголивым заменяя дальневосточную сестру таланта, будем говорить так.

Благороден лик могучего создателя! Все тело сосны суть ее лик. Плюс корни. Корни сосны суть ее страсть. Плюс ствол и крона. Суть сосны — ее суть. Отсутствуют окольные помыслы, страх и угодничество. Еще бы раз родиться сосною на скале!

Иногда сомневаюсь: не мала ли для человеческой души сосна? Иногда сомневаюсь: не велика ли? Иногда не сомневаюсь: кому-нибудь да удалось совпасть.

Венцом живой природы повсеместно признан человек. Умолчим о том, кем он повсеместно признан, и воспоем хвалу огромным деревьям, которые не претендуют на венец, но украшают флору.

Семиствольный пучок гигантских язв с трепещущими под ночным ветром верхами — заблудись среди семи стволов и прислонись щекой к коре. Стань человеческим подкидышем в семье секвой, чудакотатым попрошайкой-императором меж двух гвардейских кипарисовых колонн.

Огромные деревья наполняют душу спокойствием: могущественная протекция. Под защитой, под покровом, под сенью буков, дубов, кленов, каштанов, берез, эвкалиптов чувствуешь себя надежнее, хотя они, казалось бы, не охраняют от зла, от тех персон, которым на флору наплевать, а такие среди нас есть. Отрешишься, однако, от этих сомнений и положишься на деревья. Насколько хватит тебя учиться у них героизму.

Вспомни и о листве. В юности белые ночи выводили на перекрестки, где под балтийским ветром кипела листва, а в ней мигали желтые светофоры. Глядя на листву, всякий раз вспоминай свое поколение, что прошлепало сомнительными подошвами по Невскому на закат, к Адмиралтейству, и растворилось в кипящей, пронзительно холодной листве.

Прогулка частично удалась. Несколько встревоженных взглядов. Два-три случайных поцелуя. Слетевшая с чьей-то щеки ностальгическая слезинка. Обошлось без проверки документов...

МОРЕ И ФОКУСЫ

Сейчас вокруг Харькова есть окружная дорога, а года два назад автомобилистам приходилось пробираться через весь огромный город, чтобы снова выйти на трассу Симферопольского шоссе. Конечно, все плутали, не только я. Помню, однажды раза три выезжал я кругами все на ту же Сумскую, главную улицу города, и всякий раз догонял там серенький «Москвич» самого первого выпуска, набитый людьми так, что, казалось, дряхлое железо выпячивается под боками, плечами и задами. Они, как видно, тоже плутали, бедолаги, и тоже меня приметили.

У светофора водитель «Москвича», небритый малый лет сорока в пропотевшей ковбойке, ни дать ни взять золотоискатель, высунул из машины и спросил:

— Ты тоже в Крым едешь?

Водители у нас почти всегда обращаются друг к другу на «ты», как будто их связывает нечто общее, нечто спортивное. Это отголосок старых, дожигулевских времен, когда тяжелые высоченные «Волги»

единицами плыли среди полей, словно барки в опасном океанском рейсе, и водители казались самим себе чем-то вроде капитанов, соратников по опасному делу русского автомобилизма. Впрочем, сейчас-то как раз, в годы массовой автомобилизации, опасности на дорогах стало не меньше, но больше. Один солидный офицер ГАИ как-то рассказывал мне, что рост автотранспорта в десять или больше раз превышает рост автодорог. Я это чувствую на собственной шкуре. Казавшиеся раньше широкими и привольными, трассы теперь забиты сплошными встречными потоками копящего, ревущего железа. Еще недавно я хитрил и выезжал ночью, чтобы проскочить подмосковную, скажем, зону без помех. Теперь ночная езда почти потеряла смысла: сотни таких же «хитрецов» шпарят по неостывающему асфальту, спят друг друга фарами и раздраженно сквернословят. Вот еще любопытное явление: за рулем у нас сквернословят даже воспитанные люди. Тоже атавизм, конечно. Я, дескать, за рулем, эдакий брутальный мужчина... особый сорт... дело серьезное, резкое, железное... А дело-то как раз вполне обычное, нормальное, хотя и опасное. Должно быть, те, кому полагается, должны задуматься над приведенной выше грубой статистикой. Малопривлекательная фантастика, транспортный коллапс вполне может стать реальностью. Впрочем, я вовсе не собираюсь сейчас заниматься социологической публицистикой. Я собираюсь просто-напросто ответить на вопрос небритого малого в пропотевшей ковбойке.

— На юг еду, — ответил я.

— Я вижу, ты тоже плутаешь, — улыбнулся он. — Давай за мной. Теперь я точно выезд накнокал.

Я ему улыбнулся в ответ. Он меня просто очаровал этим словом — накнокал.

Тут дали зеленый свет, и все поехали. Я держался за «Москвичом». Сейчас такие машины уже редко увидишь, а скоро они станут музейными. Помню, мальчиком в 1948 году ошивался я как-то возле стадиона «Динамо», и тут подъехал знаменитый форвард Бобров в таком автомобиле, а на капоте плюшевый мишка. Незгладимое впечатление!

Сколько же напикал этот «золотоискатель» к себе народу? В маленьком заднем стекле виднелись две или три детские головки и, кажется, две еще женские впереди. Две женщины на одном сиденье? Трудно представить. На крыше у «Москвича» был привязан гигантский тюк всякого добра, должно быть дряни, разной ерунды, необходимой в хозяйстве. Сзади на буксире катила еще тележечка с багажом. Больше всего, однако, меня удивил номер — «ТЮ» 70-18. «ТЮ» — что это за индекс? Какая область? Ведь не Тюменская же, в самом деле. Впоследствии выяснилось, что именно Тюменская, что именно из Тюмени в Крым на собственных четырех колесах везет свою семью храбрый мужчина Леша Харитонов.

Так или иначе, но оказалось, что «ТЮ» 70-18 действительно верный выезд из Харькова «накнокал». Прошло некоторое время, и наш маленький отряд оказался на Симферопольском шоссе. Был уже вечер, в город тянулись колонны отработавших грузовиков, но на нашей стороне шоссе было свободнее, и потому нам пришлось расстаться. Конечно, «золотоискатель» очень старался, давил изо всех сил на железку, но, увы, там, где старенький «москвиченок» уже кончает, то есть на семидесяти км/час, новенький «жигуленок» только начинает. Я немного проехал вровень с ним, открутил правое стекло и сказал:

— Извини, друг!

«Золотоискатель» мрачно кивнул:

— Понимаю, понимаю. — Вдруг он просветлел неожиданно и ярко: — Через год и у меня такая будет!

— Ну вот и отлично. Пока,— сказал я.

Из «Москвича» меня на прощанье облаяли. Оказалось, там еще и собачонка где-то копошится. Трое детей, две женщины и собачонка. Я рассмеялся. «Золотоискатель» тоже. Мы расстались дружески. Я чуть поджал педаль акселератора и вскоре исчез из виду.

— Столько дыр в доме, а он «Жигули» собрался покупать,— глядя в окно на догорающие головешки украинского заката, сказала теща.

— Вам плохо, мама? — резко отозвался Леша Харитонов.

Обжорка залаял. Дети засмеялись.

— Леша, Леша,— полусонно пробормотала жена.

— Остановите, Алексей, я выйду! — потребовала теща.

Так она с самого начала все порывалась выйти — и среди сибирских болот, и в Уральских горах, и в Заволжье.

Вдруг — гломп! — лопнула камера! Задняя левая. Леша крепче вцепился в баранку, сбросил ногу с газа. Заднее левое проскрежетало ободом по асфальту. Значит, надо выходить переоборудовать шину — в который уж раз! — вулканизировать последнюю запасную камеру, которая хоть и запасная, но с двумя дырками.

В общем, не соскучишься. Проклиная тещин черный глаз, Леша приступил к делу. Привычное семейство высадилось, посыпалось через кювет в поле запаливать костерок, ужинать. Леша уродовался с шиной, прислушивался к визгливому тещиному голосу и думал, что зря он ей самолетный билет не купил. Таким бабам на самолетах надо летать. На них лучше не экономить. Пусть самолетами летают, с глаз подальше. Честное слово, пусть бы лучше в самолетах летали, места в автомобиле не занимали. Пожалуйста, вот вам билет на самолет, а мы без вас поедем, своей семьей, своим первичным коллективом, и Обжорка, к слову сказать, будет меньше нервничать. Летайте самолетами, выигрыш — время!

Шина вдруг легко пошла под монтировку, и Леша Харитонов с неожиданной легкостью вытащил диск колеса. Тогда подумал он иначе. В общем-то, подумал он, в присутствии тещи есть какой-то смысл. Не было бы ее, на кого бы тогда злился? На супругу, значит, Наташку, на ребят, на Обжорку, а еще, чего доброго, и на автомобиль свой несчастный. Теща в семье, подумал он, это нечто вроде заземления. Пусть так, пусть едет. Будем лаяться за милую душу.

Конечно, нерзы у семейства Харитоновых были уже на пределе. Они ехали из Тюмени двенадцатый день, и бесчисленные поломки, ночевки в поле, в дрянных кемпингах, у дальних родственников — все эти удовольствия вконец их доконали.

Лешина машина родилась почти как некое мифическое существо — из грязи. Кузов он нашел на свалке, выколотил его собственноручно, отгриховал и покрасил. Все сам своими золотыми. И дальше все — и задний мост, и передний, и движок, и буквально каждый шпунтик Леша годами собирал, где покупал по дешевке, где выменивал и вот к текущему сезону собрал чудо на колесах. Конечно, техосмотр пройти на таком аппарате даже в Тюмени нелегко. Трижды являлся Харитонов в ГАИ и трижды хлебал фиаско. Наконец «купил» инспекторов сносшибательным приспособлением — электрическим табло «пристегните ремни». Садись, ключ поворачиваешь, а машина не заводится, и только табло мигает. Пристегнешь ремни безопасности — табло гаснет и движок начинает стучать. Вот такая технология под названием «самострой»! Инспекторы чрезвычайно Лешей восхитились и выписали техпаспорт. Ну, Харитонов, сукин сын, как говорится — алло, мы ищем таланты. Сам Леша себя талантом не считал, но по ав-

томобиллям с ума сходил. Был он инженером домостроения, но настоящее свое призвание видел только в автомобилях, пылал к ним огненной страстью. Дружок, работавший по контракту в Алжире, присылал ему заграничные автожурналы, и Леша всегда был «в курсе». Бывало, дико огорчался, когда узнавал, к примеру, что фирма «Фольксваген» собирается прекратить выпуск своих «жуков». Казалось бы, что ему в Тюмени до «Фольксвагена», а он переживал. И вот наконец первые реальные плоды — путешествие к морю, к умопомрачительно далекому теплomu морю. Леша, полечись, советовали друзья, не доедешь. Полечись заранее, а то потом не вылечишься. Шутите? — усмехался Леша. Шутите, ребята? Шутите, что ли? Семья в него верила — и супруга Наташка, и старшая девочка Светка, и малышка Людочка, и Обжорка, собачий сын, а особенно Витаська восьмилетний, тот весь прямо трясся от веры в папку и в чудо-автомобиль. Не верила, конечно, теща, но и она, как видим, поехала. Они давно уже все мечтали о море.

— Алексей Васильевич, прошу к столу, — ядовито из-за кювета проскрежетала теща. Каждую трапезу у костра она вот так ядовито ему предлагала, будто и в том он виноват, что не ждет их в поле стол с крахмальной скатертью.

Суп макаронный, однако, был горяч, хорош.

— Ну что, починил, папка? — басовито спросил Витасик.

Леша Харитонов поднял голову от кастрюльки и заметил, с какой измученной надеждой смотрят на него члены семьи, как мерцают их глаза.

— Порядок, — сказал он. — Железо. Сейчас поедем.

— Глядишь, через месяц и доберемся, — сказала теща.

— Эх, мама! — Леша вдохнул всей грудью теплый пыльный украинский воздух. — Хоть бы уж завязывали язвить. Гляньте, мама, вокруг Украина. Знаете вы украинскую ночь? Слышите звуки? Слышите, стригут на полных оборотах? Цикады...

В травах действительно жужжали, стригли насекомых, и хотя это были еще не цикады, а простые жуки и кузнецы, все семейство, включая, кажется, и тещу, поверило — цикады, а Светка положила папе на плечо свою одиннадцатилетнюю головку.

Между тем я — про меня-то, Павла Дурова, не забыли? — гнал свою машину в темноте на ровной скорости, что-то около сотки, курил и думал о своей дороге. Куда опять меня понесло? На юг, сказал я тому «золотоискателю», что вытащил меня из Харькова. Это был самый простой ответ. Между тем в кармане был заграничный паспорт, и я мог в любое время пересечь государственную границу. Несколько друзей ждали меня в дешевом отеле на Золотых Песках — один болгарин, один японец, немец из Берлина, американец, поляк, двое наших. Вместе со мной должно было собраться семеро. Семеро из пятнадцати. Артисты архаичного, вымирающего жанра. Договорились только отдыхать, болтать, ни слова о работе, о распроклятых муках творчества, ни слова о «жанре». Каждый, однако, понимал, что после первой же рюмки начнется неизбежное — бесконечные, когтящие душу разговоры, споры, жалобы, и все на одну тему. Мы вымираем. Никто уже почти не приходит на площади. Не вынести ли все на природу? Хорошо, если государство окажет поддержку. Что ж в этом хорошего — превращаться в музейные экспонаты? А если мы никому не нужны, то, значит, мы и вообще не нужны. Мы сами себе нужны, а для меня это главное. Однако согласитесь, что мы все что-то теряем, уже потеряли. Не будем ли мы сами вскоре смеяться над нашими скачками поперек площади, над музыкальными фонтанами, над светящимися красками,

над всеми этими взрывами, дымами, провалами в преисподнюю, гениальными виртуозо и гулким чтением в ухо соседу? Недавно какой-то оператор снимал выступление одного из нас — и получилось! Забавенький такой получился придурковатый сюжетик. А ведь не должно ничего получаться! Киноплёнка не может фиксировать наш жанр! Мы теряем не только поклонников — мы теряем уверенность, вдохновенье, самих себя; наш жанр убегает у нас из-под колес...

К чему приведут все эти разговоры? Разве можно нашему брату собираться в таком огромном количестве — семеро! — на одном берегу? Словом, я не торопился поворачивать колеса в сторону Болгарии. Поеду просто на юг, как-нибудь не торопясь доберусь. Как-никак доеду до Одессы, а там погружусь на морской паром до Варны, а может быть, через Киев к западной границе, в Подрубное, и дальше через Румынию... В общем, торопиться не буду.

Как только решил я не торопиться, так сразу и увидел справа от дороги на холме силуэты машин, большой костер и фигуры людей. Так часто на дальних трассах машины сбиваются к вечеру в кучку и водители коротают ночь у костра. Иногда там бывают разные чудачки, смельчаки, весельчаки. Я приткнулся к обочине, заглушил двигатель и сразу услышал взрывы хохота. Вот здесь и переночую, раз торопиться некуда. На первой скорости я переехал через неглубокий кювет, взобрался на бугор и подъехал к костру.

Там стояли здоровенный рефрижератор, два грузовика и несколько легковых. У одной из них был разворочен передок. Облицовка разбита, фары вывернуты, крышка капота коробом. Хозяин пострадавшего «жигуленка», крепкий молодой парень, желтая майка клочьями на широченной груди, громко и слегка истерически хохоча, рассказывал — должно быть, не в первый раз — о своем «дорожно-транспортном происшествии».

— ...а кто виноват? Он виноват! Я левую мигалку врубил, а он нет!

Я попросил его повторить свой рассказ, и он охотно повторил. Происшествие оказалось хотя и дорожным, но не совсем транспортным, только лишь наполовину. Парень пер на юг, держал все время скорость сто двадцать, обгонял все машины, так сказать, щелкал их одну за другой, и вот на одном обгоне лоб в лоб сошелся с кабаном. Чья вина? Конечно кабана. Парень левую мигалку-то включил, а кабан забыл, нарушил правила обгона. Ну, скорость у лесного великана тоже была приличная, вполне капитальная была скоростенка! От такого удара даже мотор у парня (его звали Владя) заклинило. Пришлось двумя машинами растаскивать передок. А что кабан? С ним все в ажуре — нашли! Жарим! Сейчас все будем угощаться. Сейчас Владя нас всех угостит своим кабаном. Вон там внизу его жарят.

Я посмотрел — за бугром в песчаной яме горел еще один костер, и там несколько фигур (среди них один инспектор дорнадзора) крутили импровизированный вертел, на котором солидно висела туша нарушителя правил обгона. Помните о кабанах, друзья! Всегда включайте левую мигалку при обгоне.

Очень веселая подобралась в этом лагере компания. Никто не собирался спать, и один за другим все рассказывали дорожные истории. Как-то естественно подошла и моя очередь хоть что-нибудь трепануть, и я рассказал о путешественниках из Тюмени, которых недавно обогнал, и, конечно, приврал, что они не из Тюмени едут, а из Иркутска, а на буксире, мол, везут ящики с черноземом, в которых выращивают редиску.

В середине ночи еще произошло одно событие. С бугра кто-то увидел на лунном асфальте неторопливо катящего монстра. Огромный американский конца шестидесятых годов, что называется, «четырёх-

спальный» автомобиль ехал на север задом, красными невидящими стоп-сигналами смотрел вперед, а фарами светил назад. Что за чудо? Я даже подумал сначала — не подкидывает ли мне этот трюк кто-нибудь из наших, а то, чего доброго, уж не сам ли я колдую? «Кадиллак», однако, оказался вполне реальным. Увидев наш костер и бивак, он свернул с шоссе и полез в гору — и все на задней скорости! Вышли из него два немногословных худощавых парня в кожаных куртках. Оказалось, киноавтотрюкачи Алик и Витя перегоняют гроб с музыкой на «Мосфильм» из Ялты, где он помогал изображать заграничную жизнь. За Зеленым Гаем полетела коробка передач, включается только реверс, то есть задняя скорость, но ничего — бывало в жизни и не такое, доедем, не сдохнем, благо ночь лунная, пожрать тут у вас не найдется?

Очень быстро оба каскадера притерлись к собравшемуся у костра обществу, хотя, казалось бы, к шуткам не были расположены. Нашлось там и вино, дешевое крымское «било», и гитарка, и девочки там какие-то шмыгали, а вскоре все стали угощаться жареной кабанятиной. Я понял, что каскадеры не очень на свой «Мосфильм» торопятся, как и я не очень спешу в Болгарию.

Открыты Дели, Лондон, Магадан,
Открыт Париж, но мне туда не надо! —

пел Алик хриплым голосом, почти как оригинал.

Кто там был — точно не помню. Что там было — точно не знаю. Отчетливо остались в памяти запахи: звезды над степью пахли чебрецом, кабан аппетитно смердил болотом, мимолетное веселенькое существо благоухало кондитерскими запахами пудры и помады. Конечно же, я не знал, что глубокой ночью мимо бивака прокатил «ТЮ» 70-18 и Леша Харитонов с мгновенной завистью глянул на холм, на силуэты бродящих вокруг костра людей. Проснулся я, когда из машины моей кто-то ушел. Белесая, как облачко, луна еще висела в светлом небе. Разгоралась заря. Видимость была чудесная, каждая складочка рельефа отчетливо обозначалась до самого окоема. Чуть-чуть знобило от легкого восторга. Похлопал себя по карманам, заглянул в «бардачок» — все цело. Нет-нет, мизантропии нет места в этой округе. Чудесные повсюду люди, великолепные! Включил зажигание. Бензина в баке было много, литров тридцать. Нужно немедленно уехать, чтобы так все и осталось в памяти: чебрец, болото и сласти. Пока, народы!

Шоссе в этот час было почти пустое, сухое и чистое, я разогнался на славу и шел больше часа, почти не снижая скорости. Тогда еще не было на дальних трассах ограничений. Бывает такое состояние, когда вроде и спешить некуда, но ты гонишь, гонишь и малейшее снижение скорости тебя огорчает, будто что-то потерял. Именно в таком состоянии я и проскочил мимо перевернувшегося вверх колесами «ТЮ» 70-18.

Я только успел лишь заметить, что все, кажется, живы. Машина лежала на крыше в глубоком кювете. У обочины стоял патруль ГАИ и «скорая помощь». В кювете копошилась небольшая толпа, в которой возбужденно размахивал руками небритый «золотоискатель», а пассажиры его, женщины и дети, кажется, сидели на траве и, следовательно, кажется, были живы. Отчетливо я увидел только девочку лет одиннадцати в грязном платьице. Она стояла в стороне от всей суматохи и горько плакала, плечики тряслись. Остался и жест ее в тот момент, когда я проносился мимо, — она поднимала локоток, закрывая лицо, а другой рукой стирала со щек слезы. Слезы, видно, были неудержимыми. Профузное, как говорят медики, слезоточение. Вот загадка, подумал я. Почему человек плачет в моменты потрясающих огорчений? Что означает это влаговыведение? Защитная реакция? От чего же защищают слезы? Почему организм избавляется от влаги в моменты горя? Влага — жизнь, тело состоит на девяносто процентов из влаги.

Избыток жизни, что ли, вытекает? Избыток жизни — влажная медуза горя? Что же я за сволочь? Почему я так гнусно рассуждаю и не снижаю скорости, не торможу, не поворачиваю к месту происшествия? К чему я им там, однако? Кажется, там все на месте — и врачи и милиция. Все, кто может помочь. Я-то ведь ничем им реально не смогу помочь. Машину можно перевернуть только краном. Народу там много, милиция на месте, врачи на месте. Конечно-конечно, и мне слезы ребенка дороже радужных перспектив человечества, но чем я могу помочь девочке? Своим «жанром», своим маловыразительным шарлатанством? Это ей сейчас ни к чему. Она должна выделить свой избыток влаги. Это защитная реакция организма.

Так я рассуждал, злясь на себя, и начал уже курить и радио уже включил, нащупал бодрые голоса брекфест-шоу, а сам все гнал и гнал и, не глядя на спидометр, знал, что у меня получается уже за сто двадцать.

Между тем на шоссе становилось все веселее. Все больше встречных и попутных. В середине, впрочем, было достаточно места для обгона, и я щелкал попутные одну за другой, забываясь лишь о том, чтобы встречные не высовывались, орудуя, стало быть, мигалкой. В зеркало я видел, что за мной идет, держа метров сто дистанции, точно такой же, как мой, «фиат», только голубой. Он шел на той же скорости и делал все как я, повторял все маневры. Так мы мчались: техника, Европа!

Впереди появился высоченный шкаф рефрижератора. Привычно, почти уже рефлекторно я пошел на обгон и вдруг в самом начале маневра почувствовал, что он, то есть рефрижератор, не хочет, а если и хочет, то не очень. Не знаю, характер ли подлый был у водителя, или он просто устал и слегка клюнул носом (скорее всего второе: водители междугородных холодильников в основном приличные ребята), так или иначе длиннющая громадина все больше набирала скорость да к тому же отклонялась все ближе к осевой полосе, то есть выталкивала меня на сторону встречного движения. Конечно, я обогнал бы его, потому что выше сотки «ЗИЛ»-рефрижератор не сделает, и я уже был в середине его длинного туловища, но тут из-за поворота навстречу мне выскочил еще один «фиат» — желтый! Все, что дальше произошло, взяло времени меньше, чем нужно для прочтения этой фразы. Встречный «фиат» обладал преимущественным правом проезда, и он неумолимо желал им воспользоваться. Не снижая скорости, он гневно сигналил мне фарами — прочь, мол, с дороги! Он не понимал, что я уже не успею спрятаться за холодильник, а делал все, чтобы я не мог и вперед проскочить. Мы шли лоб в лоб. Конец, подумал я и ничего не вспомнил, что было в жизни, ни единого пятнышка, а только лишь представил, какая сейчас будет неслыханная боль. Нога ударила в тормоз.

В последнюю секунду встречный тоже не выдержал и ударил в тормоз. Затем произошло следующее: холодильник проскочил вперед, меня раскрутило вправо, встречного влево. Между двумя крутящимися машинами пулей пролетела третья, та, что шла позади и делала все как я. Не удержавшись на шоссе, она вылетела вправо, перепрыгнула через кювет, чиркнула боком по дереву, уткнулась носом в кустарник и заглохла.

Вокруг орали, а я сидел неподвижно в своем кресле совершенно невредимый. Машина нависла передними колесами над кюветом. Я тупо смотрел, как из голубого «фиата» выходят невредимые люди. Никто не пострадал в этом страшном мгновении. Адский огонь лишь опалил всех участников.

Мгновенная дикая лихорадка вдруг протрясла меня от макушки до пят. Адреналиновый шторм колошматил сердце о ребра. Как это случилось? Как произошло то, что я уцелел? Это мгновение было конечным, безошибочно летящим прямо в лоб. Мизансцена была поставлена точно, мастерски, но странно, невысказано — режиссер зазевался и чей-то палец выключил пульт в последнее мгновение. Как выразительны слова «последнее мгновение», как продолжительны! Так же продолжительны, как и мгновенны! Смерть без подготовки, без отпущения грехов... Все свои грехи в охапку — и марш! И ни о чем не вспомнишь из огромной покинутой жизни, ничего из так называемых сильных впечатлений не промелькнет в течение последнего мгновения! Даже самое свежее сильное впечатление, образ плачущей девочки, не возникло перед тобой. Все твое гигантское «последнее мгновение» было заполнено заячьим страхом боли...

Я выкрутил колеса, вырулил и, не глядя на остальных уцелевших (впрочем, и они ни на кого теперь не глядели), поехал в обратную сторону, на север.

Очень быстро я оказался в том месте, где все еще лежал колесами кверху несчастный «ТЮ» 70-18. Милиция и медицина уже уехали. Из любопытных и сочувствующих остались три-четыре человека. Глава семьи лежал в траве и остекленело смотрел в небо. По кювету был разбросан тюменский скарб — дряхлые чемоданчики, кастрюли, миски... Семейство молча сидело посреди разгрома. Мальчик бессмысленно строгал палочку. Старшая женщина держала на руках малютку. Та, что помоложе, должно быть жена водителя, заплетала косу, и это тоже было долгое бессмысленное дело. Девочка уже не плакала, но дрожала. Беспородная смышленная собачка тихо скулила. Конечно, она понимала, что ей бы тоже надо помолчать, но не могла сдержаться и скулила, виновато поглядывая то на одного, то на другого.

День над всеми нами уже образовался и висел теперь серый, теплый и давящий, гнусный день беды.

— Что же ты теперь собираешься делать, друг? — спросил я «золотоискателя».

Он вскинулся:

— Понимаешь, тормоза провалились! А впереди автобус шел! Тормоза провалились! Трубка лопнула!

Должно быть, в сотый раз уже он выкрикивал эти фразы, теперь уже с бессмысленным ожесточением. Я присел рядом с ним и нажал ему ладонью на плечо.

— Я тебя не о трубке спрашиваю. Какие дальнейшие планы?

— Вы что, издеваетесь? — сказала старшая женщина.

— Скоро гаишники кран пригонят. Перевернемся. Чиниться будем, — стертым глухим голосом произнес глава семьи.

— А вам-то какое дело?! — вдруг со злостью повернулась ко мне девочка. Глазки у нее выпучились, как у лягушонка. — Все равно мы до моря доедем! Папка машину починит — и доедем!

Мальчишка вдруг размахнулся и швырнул свою палочку прямо мне в лоб. Я успел, однако, протянуть руку и поймал ее.

— Алле! — сказал я. — Разрешите представиться. Павел Дуров, артист непопулярного жанра.

Палочка встала торчком у меня на ладони и, конечно, тут же распустила крылья. Какие чудеснейшие оказались у нее крылья, всех красок спектра и чуть-чуть потрескивающие. Подброшенная с ладони, она поднялась метров на пять и оживила серый день своим великолепием. Кажется, фокус удался — день катастрофы чуть-чуть ожил. Как будто меньше стало гнусности. Да, кажется, этот день потерял немного своей гнусности. Я протянул мальчику веревочку:

— Держи. Дарю тебе этого змея. От души отрываю.

— Почему же вы непопулярны? — спросила жена.

— С такими фокусами можно прославиться, — сказала теща.

— С такими — да. Но у меня, увы, другие. — Я улыбнулся им всем печально — дескать, не только они одни у судьбы в загоне.

Печальная улыбка понравилась, кажется, не меньше, чем цветной калифорнийский змей. Вскоре я познакомился со всеми Харитоновыми.

— Слушай, Леха, — сказал я (так уж пошло — Пашуха, Леха). — Ты здесь со своей тачкой не меньше недели продудохаешься, а семейство твое сгниет.

— Это точно, — кивнул он.

— Есть предложение. Я всех их забираю. Всю твою мешпуху, а ты пока починишься. Только тарелки не возьму. Обжорку, конечно, возьму. Короче, всех беру и за один день доставляю к синему чуду природы.

У всех Харитоновых вспыхнули глаза, но криков радости не последовало, напротив, они настороженно замолчали, явно не решаясь согласиться или возразить, выразить восторг или презрение, явно медля с ответом. Ответ зависел, конечно, от Светланы. Непосредственный Обжорка, тот просто подбежал к девочке и положил ей мордочку на колено. Выяснилось вдруг, что именно это одиннадцатилетнее существо дает ноту всему септету.

— Что это значит — синее чудо природы? — осторожно спросила она. — Море, что ли?

— В данном случае Черное море, — сказал я ей. — Древние называли его Понт Евксинский.

— Надувательства не будет? — Она чуть-чуть подняла глаза в направлении калифорнийского кайта, который все еще с дурковатым нейлоновым оптимизмом потрескивал щедрыми крыльями.

Я был слегка пристыжен.

— О Света, можешь не волноваться. Море будет настоящее.

— В таком случае... — протянула она.

— В таком случае едем, едем!

И вот мы едем к Черному морю и приехали к Черному морю. Оно шумело за холмом не очень сильно, но явно. Я его хорошо слышал, а мои пассажиры нет — ведь они никогда не встречались с морем за исключением тещи, которая в 1951 году побывала в санатории имени Первой пятилетки, но тогда она морем не особенно интересовалась, а больше ударила по сухому вину.

Вокруг были кирпичи — запретные знаки. На автомобиле прямо к берегу теперь нигде уже не проедешь, только в Планерском осталось, кажется, местечко у старой котельной. Пейзаж — серые холмы, известковые обрывы. Мне он казался романтичным, потому что связан был с воспоминаниями, на пассажиров же вроде лишь тоску нагонял. Восточный Крым.

— Дядя Паша, скоро мы увидим море? — спросила Светланка.

— Терпение, ребята, терпение, — слукавил я. — Пока что сделаем привал.

Мадам Харитонова с маменькой взялись готовить очередной пикник, а я посадил крошку Людочку себе на шею и предложил ей собственные уши в качестве руля. Пригласил прогуляться Светку и Витасика — дескать, ноги хочу размять. Обжорка — кстати говоря, деликатнейшая собака с умеренным аппетитом — в приглашении не нуждался. Мы пошли в гору.

Медленное движение. Светка собирает жесткие полупустынные растения в классный гербарий. Витасик крутит носом, показывает са-

мостоятельность. Я дико волнуюсь — настоящее ли откроется нам чудо природы.

Оказалось — истинное! То самое, кому «не дано примелькаться». Огромное, свежайшее, то самое, что всякий раз вызывает во мне юношеский восторг. То самое — «Гомер, тугие паруса...». Гремучая бессонница, бесконечная живость и далее — бескрайнее воображение.

Как ни готовились дети к этой встрече, но были ошеломлены. Все тут нахлынуло на них и все настоящее — и ветер, и запахи, и мокрая галька, и сладкая, может быть, тревога будущей жизни. Они не закричали, не завизжали, не засмеялись, не запрыгали, но молчали в провинциальной застенчивости. Светка в ее едва просыпающейся женственности смотрела на море исподлобья, как на внезапно вошедшего в комнату огромного сокрушительного Дон Жуана. Витасик пыжился — дескать, ничего особенного, — а сам трепетал. Людочка у меня на шее притихла. Один лишь Обжорка, который черт знает что видел в море, кроме восторга, разрываясь от лая, бросился вниз, был отброшен волной и мокрый, неслыханно жалкий закрутился волчком. Мы сели на гребне галечного пляжа. Вокруг было пустынно.

— Вот это море, — сказал я.

— Приехали, — тихо сказала Света.

— Вы не смущайтесь, ребята, — сказал я. — Море хотя и чудо, но в нем нет ничего особенного.

— А то я не знаю, — прокарбасил Витасик.

— По сути дела, мы, люди, тоже чудесны, хотя в нас нет ничего особенного, — добавил я.

— А то мы не знаем, — сказал Витасик.

Неожиданно я снова сильно разволновался. Мне показалось, что приближается сокровенная минута. Мне захотелось вдруг показать усталым детям что-нибудь из нашего «жанра». Мне захотелось, чтобы на горизонте появился сейчас розовый айсберг. Мне неудержимо захотелось сделать это немедленно, но я боялся, что ничего не получится.

Розовый айсберг появился на горизонте и весьма отчетливо приближился. Сияли под летящим солнцем отвесные стены розового льда. Сладкий айсберг тихо и торжественно приближался к нам, ко мне и детям. Линия морского горизонта поднялась над ним, и он вошел в медлительный дрейф вдоль берега. Я понял, что он приплыл сюда из Болгарии, что это не только моих рук дело, но и тех шестерых, что ждут меня на Золотых Песках, а раз так, то, значит, есть все-таки какой-то смысл в нашей дружбе, в нашем союзе.

— Видите, ребята, айсберг? — спросил я.

— Он настоящий? — спросила Света.

— А мы с тобой настоящие? — спросил я.

— Не знаю, — сказала она. — Может быть, мы тоже чьи-то фокусы.

— Возможно, — сказал я. — Но почему бы и айсбергу не быть с нами? Розовый айсберг — чем плохо?

— Красивый, — сказала Людочка.

— Он на четыре пятых скрыт под водой, — пояснил я.

— А то мы не знаем, — пробасил Витасик.

СЦЕНА. НОМЕР ПЯТЫЙ: «РАБОТА НАД РОМАНОМ В ВЕНЕЦИИ»

В Клубе интересных встреч электролампового завода. Обмен зарубежными впечатлениями. Дуров развешивает цветные фонарики со свечками внутри.

...Ослепительная жара на площади Святого Марка. Сажу у маленького столика со стаканом швепса и чашкой кофе. Пишу эту сцену. Лучшего мне не надобно наслаждения. В отдалении струнный оркестр кафе «Флориан» играет вальсы. Мимо идет однокурсни́к, выне профессор естествознания. Он в составе туристической, специализированной по естественным наукам группы.

— Ты и Венеция — как-то не вяжется. Что ты здесь делаешь один?

- Здесь, в Венеции, один я работаю над романом.
- Ты и роман? Как-то не вяжется. О чем будет роман?
- О том, как я работал над романом в Венеции.
- И тебе за это деньги платят?
- Нет, я сам за это плачу.
- Но стаж-то идет?
- Стаж, конечно, идет.

Стаж увеличивался с каждой минутой венецианского наслаждения. Вот одно из чудес века социального обеспечения — оптимистический рост стажа с каждой минутой и день за днем. Жизнь утекает, стаж растет. Расширение зоны надежности. Броня благоденствия.

Шарлатаны голуби стайками перелетают от туриста к туристу, и вслед за каждой стайкой надвигается чучело фотоаппарата на скрипучей треноге. Пронто! Пронто! Бойко выцелкиваются лиры из карманов. Я поднимаюсь и, шаркая индийскими босоножками, плетусь по солнцепеку к колоннаде. Исполненное достоинства бегство. Мне лиры нужны самому для работы над романом в Венеции.

Мой стаж увеличился еще минут на сорок, когда на мосту Риальто я встретил соседа по гаражному кооперативу. Он был в составе профсоюзной, специализированной по охране окружающей среды группы. Сразу специализированности подробности наших пустяковых взаимоотношений. Например, он обращается ко мне всегда почему-то в третьем лице. Скажем, звонишь ему, называешься и слышишь в ответ: «Он звонит? Ему что-то нужно?» Сейчас, на мосту Риальто, сосед приветствовал меня каким-то странным жестом с привкусом неожиданной спортивности:

— Ха-ха, вот и Дуров! Говорят, он здесь работает в новом жанре? Пишет роман?

- Слухи точны,— сказал я.
- Он чувствует на себе здешнюю сырость? — спросил сосед.
- Пока нет,— ответил я.
- А замечал он в каналах страшную грязь?
- Не очень.
- Согласен,— хохотнул сосед.— Вода приблизительно чистовата.

Город относительно великолепен.

Над Гранд-каналом работают светофоры, пропуская транспортные потоки — корабли-автобусы, баржи-грузовики, катера-такси. Прожариваясь на слепящем солнце, я пишу роман в Венеции.

Маленький канал, над которым я живу, действительно слегка подванивает юношескими воспоминаниями. Я пью у окна кофе и пишу о том, как крепкий настой вытесняет из головы миазмы прошлого. Через канал я вижу три окна на высокой терракотовой стене и вывеску «Дженерал консулат оф Грейт Дьючи оф Люксембург». В одном из окон я вижу и самого генерального консула Великого Герцогства. Он почти всегда неподвижен. Быть может, он тоже пишет роман в Венеции? Во всяком случае, каждая минута шлепком глины ложится на массивную скульптуру его консульского производственного стажа.

Вчера ночью под нашими окнами одна за другой проплыли однанадцать гондол, это получал сговоренную в проспекте дозу романтики

американский чартерный круиз «Магнолия». Гондольеры шестами и двусмысленными улыбками зарабатывали стаж. На последнем судне каравана гондольер пел серенаду через усилитель, так, чтобы до всех долетала.

— Уи фил грейт, абсолютли марвелоус! — пищали американки.

Сегодня я вижу из окна нечто новое: под аркой консульского дома появилась восковая скульптура, сделанная под «Портрет мальчика» Пинтурикьо. Однако не слишком ли? Конечно, сделано неплохо — и длинные волосы, и цвет лица, и шапочка, и средневековая блуза, но... все-таки... восковые куклы для улады чартерных путешественников... Не слишком ли старуха Венеция обеспокоена своим производственным стажем?

Мимо прошла баржа с чемоданами из отеля «Эксцельсиор», и волна захлестнула босую ступню. Восковая кукла поджала ноги и оказалась живым существом, одним из сотен тысяч европейских мальчишек, что шляются из страны в страну во время вакаций, как когда-то шлялся здесь юноша Пастернак.

Мудрейший книжник — лев с венецианского флага — лицом своим располагает к чтению, когтями же — к писанию. Вода течет и омывает плетни кириллицы, чугуны латыни, керамику арабской вязи и башни иероглифов. Бог даст всем пишущим довольно стажа для настоящих книг. Гуд бай!

Колоссальные киловатты! Любопытно, как можно заснуть на электроламповом предприятии? Однако свечи потухли и зал храпит. Тем не менее путевка подписана. Штамп. Резолюция: к оплате 14 р. 75 к.

СЛОВЕСНЫЙ ПОРТРЕТ С БАКЕНБАРДАМИ

Он покидал лазурные края и ехал напрямик в прорву, в черноту с синевой, к надвигающемуся грозовому фронту. Между тем левый дворник, как раз особенно нужный, у него не работал: стерлись шлицы на штырьке и поводок вместе со щеткой падал на капот после первого же хода. «Весело мне сейчас будет, ох весело», — думал Дуров и оглядывался иной раз назад, то есть смотрел в зеркало заднего вида. Над покинутым балтийским городом еще светилась голубизна, но становилась все ниже, все уже: то ли Дуров очень стремительно летел в черноту, то ли грозовой фронт надвигался с не меньшей стремительностью.

Жалкая, пришибленная природа по сторонам шоссе замерла в ожидании неминуемого наказания. Какие-то кочки, болото, что ли; тонкие деревца уже начали раскачиваться, уже упруго потянуло с юга жестоким хладом; все вымерло, округа опустошенно трепетала перед экзекуцией.

Как раз в такой вот подходящий момент на шоссе вылез солдат с автоматом. Это был мальчик-акселерант, высоченный и худой, с маленькой головкой и развинченной — армия еще не обработала — походкой. Он приказал жестом остановиться, приблизился не торопясь и сказал ломким голоском:

— Группа поиска. Откройте багажник.

— Что-что? — спросил Дуров. Он не понимал, между прочим, почему остановился, почему послушался первого же жеста этого мальчишки в обвисших штанах, но потом догадался — жест-то был произведен автоматом: не просто рукой, но стволом ему было приказано остановиться.

— Багажник,— лениво сказал солдат и стволом автомата показал на багажник.

Видно было, что ему нравится это делать — лениво ходить по дороге и показывать автоматом. Он как бы играл в мальчика с автоматом, хотя и в самом деле был мальчиком с автоматом.

Дуров разозлился, весь чуть-чуть задрожал от злости, вышел, открыл багажник и пригласил солдата — прошу, мол. Тот глянул через плечо в захламленный отсек автомобиля.

— Порядок. Закрывайте.

— А где у вас «здравствуйте», «пожалуйста», «извините»? — совсем разозлился Дуров. — В школе не проходили?

— А? — сказал солдат.

— Держи два! — рявкнул Дуров.

Он сел за руль, хлопнул дверцей, резко отъехал, успев, правда, заметить в зеркальце заднего вида изумленную маленькую физиономию с открытым ртом.

Физиономия быстро стерлась, но мальчишеская фигура в линялом хаки еще некоторое время маячила в зеркальце, пока не пошел вдруг со всех сторон невыносимой силы дождь. Так и казалось — лупит отовсюду! Гигантский, на полвселенной куб режущих капель и в центре куба беспомощный ослепший жучок — автомобиль Дурова. Он включил габаритные огни, фары дальнего света и остановился, ехать было невозможно — не видно ни дороги, ни обочины. «Только бы сзади не наехал на меня какой-нибудь бесноватый поливальщик. Как раз не хватает в этой прорве цистерны с пятью тоннами воды». Даже непрерывные разряды молний не освещали округи, но лишь ослепляли Дурова. Громы, как ни странно, успокаивали. В них слышалось Дурову что-то божье, а значит, и человеческое, одушевленный звук среди бессмысленной стихии.

«Что такое автомобиль? — в который уже раз спросил себя Дуров. — Зонтик от дождя. Странное убежище на дороге. Путник, если ты натолкнешься в этой свистопляске на мой автомобиль, входи смело. Человеческие существа ободряют друг друга среди разверзающейся неорганики. Отчаявшийся путник, помни, что биология, частью которой человечество имеет честь быть, хоть и мала, но все-таки не бессильна. Сопrotивляйся стихии, иди, ободренный громами, а встретишь в пути прибежище на колесах, входи, не стесняйся».

Путник не заставил себя ждать. Возникнув прямо возле машины в слепом ртутном пространстве, он деликатно сунулся в дверцу и спросил:

— Можно к вам?

— Должно! — весело крикнул Дуров. Мысли об одушевленности грома и гибкости биологии развеселили его.

— Не понял,— сказал путник.

— Входите, дружище, без церемоний! — крикнул Дуров.

Путник влез внутрь, втащив за собой потоки воды. Он оказался милиционером, лейтенантом милиции, однако промокший до нитки лейтенант милиции как бы понижается в чине трудно сказать, на сколько рангов, быть может, скатывается до положения простого дрожащего путника.

— Сейчас я вам дам кофе из термоса,— сказал Дуров.— Сейчас согреетесь.

— Вот это здорово,— бормотал молодой путник, глотая дымящий кофе.— Вот это отлично. Вот это повезло.

— Может, хотите свитер? — спросил Дуров.— Снимите форму и в свитер влезайте.

— Это не положено,— улыбнулся офицер.— К сожалению,— до-

бавил он.— Ничего,— снова улыбнулся он.— Я уже согрелся. Мы привычные. Скажите, вы тут автоматчика на дороге не встречали?

— Встречал. Он проверял у меня багажник за несколько секунд до грозы. Не знаю, что он там искал — животное, растение, предмет? Это ваш друг?

— Кто? — спросил лейтенант милиции.

— Автоматчик.

— Прикомандировали его ко мне. Салака по первому году службы.

— Вы, значит, группа поиска? — спросил Дуров.

— Это он вам сказал? — Лейтенант прищурился по отдаленному адресу, потом усмехнулся.— Вот деятель! Кто его просил в багажники заглядывать? Я по телефону пошел звонить на хутор, а он, значит, в багажники решил заглядывать...

— А что, и патроны у него есть? — поинтересовался Дуров.

— Полный комплект,— вздохнул лейтенант.

— М-да,— сказал Дуров.

— Это точно,— вздохнул лейтенант.

— Все-таки кого или что вы ищете? Секрет? — спросил Дуров.

— Фактически не секрет,— сказал лейтенант.— Всесоюзный розыск.

— Шпион? Бандит?

— Нет, не догадаетесь.— Лейтенант немного заважничал.— Фактически мы ищем отвратительного субъекта. Фальшивомонетчика.

— Бывают еще такие? — изумился Дуров.— Для меня фальшивомонетчик — это нечто, знаете ли, почти мифическое, нечто вроде кентавра.

— Да-да,— покивал лейтенант.— Бывают еще такие. Как вы думаете? Если бы не было, не искали б!

— И какие монеты у него? Рубли железные?

Мысль о присутствии в этой кипящей округе фальшивомонетчика почему-то восхитила Дурова. Представилось ему одинокое согбенное существо в каком-то темном балахоне с капюшоном, нечто вроде Слепого Пью из «Острова Сокровищ», бредущее с мешком фальшивых рублей по враждебному пространству, где циркулируют нормальные деньги.

— Пятидесятирублевые банкноты,— с полной уже важностью сказал лейтенант.— Третьего дня в ювелирном магазине сбыл несколько бумаг. Вчера разменял в гастрономе на окраине одну. Вот сделали у нас в лаборатории словесный портрет. Гляньте, товарищ, не встречали такого?

Лейтенант расстегнул портфель — у него оказался школьный чехлый портфелишко,— полез было туда, но отстранился: в портфель потекла влага с лица и рук.

— Словесный портрет — это, значит, по рассказам? По рассказам очевидцев? Позвольте, я достану — у меня руки сухие.

Лейтенант позволил, и Дуров извлек из портфельчика словесный портрет негодяя.

На мгновение у Дурова даже задрожала рука. Он и не предполагал в себе такие запасы любопытства. На него смотрело словесное лицо, лицо как лицо, похожее на любое человеческое лицо, в том числе и на его собственное. Из особых примет на лице имелось: два глаза, два уха, один нос, рот, что-то еще, в общем, то, что составляет особые приметы всякого человеческого лица. Единственное, что окрыляло это лицо, были пушистенькие бакенбарды, слегка напоминавшие Беккенбауэра, футболиста-миллионера из Западной Германии. Бакенбауэры Беккенбарда — недурственно получается, а?

— Ха-ха,— сказал Дуров.— Встречаю таких ежедневно десятками, если не сотнями. Передайте привет мастерам словесного портрета.

— Юмор понял,— сказал лейтенант.— Конечно, лицо без особых примет. Бачки, конечно, не примет.

— Даже я это знаю,— сказал Дуров.

Посмеиваясь, он вернул словесный портрет милиционеру. Тот тоже засмеялся, но вдруг осекся:

— А вы... — начал он фразу и снова осекся.— А вы... куда... — Новая осечка.

Дуров увидел, как меняется цвет его глаз, как жиденькая голубизна сменяется мутно-серой стынью.

— Да вы, дружище... — Дуров расхохотался.— Да вы, я вижу, меня стали подозревать!

— Нет... что вы... — Лейтенант смутился.— Только вот вы сказали «даже я»... А кто вы?

— Ха-ха,— сказал Дуров.— Теперь я под подозрением. Без бакенбардов, но с двумя глазами, с носом, со всем прочим. Знаете, дружище, я мог бы и рассердиться, но во имя этого металлического пузырька, выложенного изнутри хлорвинилом, соединившего нас с вами в этот грозный час, я не сержусь. Я Дуров Павел Аполлинарьевич.

— А точнее нельзя? — осторожно, но неумолимо спросил лейтенант.

— Можно-можно. Вот паспорт, вот удостоверение, вот, наконец, почетная грамота.

— Выходит, вы вроде артист? — Голубизна понемногу возвращалась в милицейские глаза.— А какого вы фактически жанра?

«Боги! Какое вопросец.. Группа поиска смотрит в корень, в корень, висящий в воздухе, в сокровенную пустоту моей жизни...»

— Какого фактически жанра? Я артист оригинального жанра.

— Понятно, товарищ артист, понятно. Не обижайтесь, такая служба. К тому же всесоюзный розыск.

Милейшая деревенская, на постном молоке разведенная синька теперь уже снова плескалась в глазах лейтенанта. Паспорт, а затем и удостоверение вернулись к Дурову. Почетная грамота чуть-чуть задержалась.

— «...за постановку спортивного праздника «День, звени!»...» Значит, это вы, Павел Аполлинарьевич, в нашем городе устраивали праздник?

— Я там мизансцены разводил,— скромно промямлил Дуров.

— Вот повезало! — воскликнул лейтенант.

— Кому повезало? — удивился Дуров.

— Мне. Буду рассказывать в подразделении, не поверят хлопцы.

— А вы, друг мой, значит, лейтенант милиции? — спросил Дуров.— Две звездочки вполне меня убеждают. Нет-нет, не нужно документов. И бакенбардов вы никогда не носили? Нет, умоляю, никаких документов. У вас своя профессия, у меня своя. Словесный портрет похож на любого человека, но люди моей профессии умеют отличать тех, кто не способен к изготовлению фальшивых дензнаков. Уж такие-то задачки для нас семечки! Уверяю вас. Посмотрите, дружище, радуга! Вот новое чудо — радуга на все небо. Знаете, мне стыдно признаться, но еще несколько времени назад я адресовал этому свирепому дождю неместные эпитеты — видите, и сейчас говорю «свирепый»... — мне казалось, что я выброшен в мир неживой равнодушной природы, но сейчас — посмотрите, как все преобразилось! Радуга через все небо! и малые радуги там и сям меж кустов! капли повсюду висят и блестят! пузыри валандаются в лужах! асфальт проясняется,

дорога стремительно проявляется из тумана, будто кто-то трет пальцем переводную картинку! какие стволы черные! вот вам красота черного цвета! положите сюда любое — и любое засверкает, но мокрое черное среди зелени — всегда жизни! — да-да, сейчас-то я понимаю, что и это неистовство было направлено к нам не просто так, но по адресу... быть может, как напоминание, но в конечном счете как ободрение... Ты согласен, офицер?

— Счастливого вам пути, — сказал лейтенант. — Вон мой Юрка появился. Значит, счастливо.

— Но вы согласны со мной? — настаивал на вопросе Дуров.

— Оптимистически с вами согласен.

Они пожали друг другу руки и расстались. Лейтенант быстро пошел по шоссе, разбрызгивая лужи и грозя пальцем автоматчику Юрке, который медленно, нога за ногу, приближался и разводил руками, жест, означавший что-то вроде «а-я-то-здесь-при-чем-без-меня-меня-женили».

Дуров поехал дальше, глядя на волшебное завершение грозового процесса в небесах над большой территорией Европы. Музыка попросила его душа и тут же ее получила. В приемнике зазвучало что-то из Моцарта. Лиюющие скрипки. Дуров радовался сейчас неизвестно чему, то есть радовался чисто и истинно, но в то же время он как бы и побаивался своей истинной радости: как бы не дорадоваться до горя!

Такое ощущение было уже привилегией его возраста. Он знал это по собственному опыту, по хмельным откровениям товарищей, по литературе и кинематографу: ранние сороковые дают подобную неуверенность, страх перед полной радостью, вечную тревогу — не досматриваться бы до слез.

Что-то должно присутствовать в этом ликовании паршивое. Для устойчивости полная радость должна быть все-таки неполной, должна хоть с краешку замутниться хоть крошечной дрянью. Он стал искать свое дрянцо и, конечно же, быстро нашел.

Во-первых, несколько жестких волос за воротником оставило все-таки это мимолетное подозрение, дурацкий словесный портрет с бакенбардами, предъявление документов, полусмешная, но все-таки настаивающая идентификация личности. Пусть ерундовая, но все-таки паршивинка, и она все-таки утяжеляет, а значит, и укрепляет чудеснейшую радугу, волшебно зовущую в свои ворота сорокалетнего человека.

Во-вторых... что-то тут есть и во-вторых... да, конечно же, вот свернулась трубочкой на мокром из-под милиционера сиденье паршивенькая эта почетная грамота, удостоверение халтурщика. Да-да, эта штучка отличным окажется противовесом для послегрозового ликования, и ликование еще подержится в пространстве, не соскользнет прежде времени в мутную маету.

Так он решал и вроде бы успокоился, но чем дальше ехал, тем чаще смотрел на паршивенькую трубочку и убедился наконец, что произошло незапланированное: трубочка перетянула. Ликование и моцартовские скрипки отправились в космические высоты, а сам он опустился в бухгалтерию стадиона, где получал пять колов за постановку спортивного праздника «День, звени!». Пять колов, или полкосой, то есть пять сотен дубов, короче говоря, пятьсот рублей.

Эту синекуру схлопотал ему старый приятель Т., один из тех пятнадцати, которых Дуров «считал», не выделяя и самого себя из этого количества. Вдруг при случайной встрече, когда Дуров стал жаловаться на безденежье, оказалось, что есть возможность поохотиться, что старый кореш, блистательный Т., давно уже не чурается охоты на синих курочек по зеленым вольерам стадионов. «Три дня поорешь

в матюкалку, раскидаешь гимнастов налево, акробатов направо и получаешь пять колов. Только, пожалуйста, выключайся, Пашуля. Только жанра не трогай».

Блистательный Т. был жанристом экстра-класса и в те времена, когда публика нуждалась в колдовстве, и в те времена, когда зарастали народные тропы. Он сам себя уверял и Дурову сказал, что стадионные упражнения нисколько не влияют на его потенцию. Напротив, говорил он, постоянный и вполне основательный доход освобождает меня. Конечно, времени для размышлений меньше, но если уж мысли приходят, то не замутняются такой чепухой, как долги, концы с концами, паутина в холодильнике. Никому своего метода жить не навязываю, но рекомендую попробовать.

Дуров попробовал, и действительно все получилось непринужденно, необременительно и даже непротивно. Пятьсот рублей оказались у него в кармане, да и праздник, между прочим, удался, все было довольны: и публика, и спортсмены, и начальство, да и Дурову самому это понравилось, хотя он и сказал себе на прощанье с праздником: первый и последний раз.

Отчего же последний раз? Ведь вроде все прошло совсем безболезненно, и не потрачено было ни грамма священного титана, никаких вообще «расщепляющихся» материалов. И все-таки первый и последний — так без всякого надрыва, с улыбкой подумал Дуров и забыл про «День, звени!», но вот сейчас паршивенькая трубочка почетной грамоты, которую и сунули-то ему без всякой торжественности, второпях в той же бухгалтерии, вдруг стала перевешивать все огромное окружающее ликование. Она лежала на мокром сиденье уже основательно помятая, с загнутыми краешками, что-то вроде... ну конечно же, не напоминание о грехе, это будет слишком уж сильно, но и не индульгенция, что очевидно. Короче говоря, Дуров ехал теперь под сверкающими промытыми небесами в прочном и надежном плохом настроении.

На границе республики он подъехал к автозаправочной станции. Здесь было две колонки бензина АИ-93. У одной заправлялась черная «Волга», к другой подрулил Дуров. Вслед за ним на станцию въехала суматошная бабенка на сиреневых «Жигулях» и сама в сиреновом мини.

— Мужчина, вы мне очередь не уступите? Так спешу!

Дуров посмотрел на нее. Здоровенная на голове начесана башня из обесцвеченных волос. Стало быть, южнорусский этикет в виде обращения «мужчина» уже проникает и в здешние срединные края, и значит, он вправе назвать ее женщиной.

— Женщина, мне быстрее будет заправиться, чем вам место уступить.

Дуров налил себе уже бензину, как говорится, под завязочку, когда водительница вновь обратилась к нему:

— Молодой человек, не можете? Пробка не отворачивается.

Теперь в связи с тугой пробкой он был повышен в чине, из «мужчины» превратился в «молодого человека». Нужно ответить взаимностью:

— Все в порядке, девушка. Пожалуйста! — сказал он, отвинтив пробку.

Оценила! Аппетитно хихикнув, помахивая сумочкой, направилась к операторше платить за бензин, но обернулась пару раз — дескать, не будет ли вопросов?

Вопросов не было. Дуров стал отъезжать от колонки и тут заметил, что обе дамы на него смотрят — и операторша и сиреневая жигулистка. Операторша высунулась из своего окошечка, смотрела пристально и хмуро, заглядывала себе в ладошку и снова смотрела на Ду-

рова, как бы слышала. Она что-то тихо и быстро говорила своей сиреновой клиентке, и у той стремительно менялось выражение лица — от безмятежности к панике.

Что это с бабами происходит? Женщины все чаще ведут себя странно. Даже самые заурядные тетки иной раз позволяют себе странные выходки. Последнее, что Дуров успел заметить, — телефонную трубку в руке операторши.

Он выехал на шоссе и через десять минут оказался в другой республике. Поездки по малым странам и республикам всегда его восхищали. Проскочить за сутки несколько стран — это ли не соблазн? Затемно выехать, скажем, из Бухареста, весь день покачиваться на холмах Трансильвании, к вечеру миновать венгерскую границу, стремительно под молодой луной пересечь плоскость северо-восточной Венгрии, проскочить Мишкольц, въехать в спящую Чехословакию и по брюшку этой продолговатой страны пробраться к ее хребту, к Высоким Татрам, чтобы оттуда в присутствии все той же молодой луны скатиться в Польшу... Каков соблазн — за сутки пересечь четыре древних европейских истории! Быть может, у жителя малой страны так же силен соблазн внедрения в бесконечность России, Бразилии или Канады и возможность сутки за сутками мотать на спидометр их непомерные пространства.

«Однако какого черта эта операторша так на меня смотрела?»

После крутого подъема взору открылась обширная влажная чисто-зеленая восточноевропейская местность с двумя-тремя городками в долине, с развалинами замка на низком холме, с двуглавым костелом на горизонте.

Дурова вдруг осенило: «Она слышала меня со словесным портретом!»

Закрытый поворот и спуск. Тормозить двигателем! Слева под каштановым шатром старое католическое кладбище с полуразвалившимися ангелами скорби, впереди тихая темная река с остатками висячего моста. Поток встречных, ревущих на подъеме дизелей, увы, разрушает и романтику распада.

«Да она же заподозрила во мне фальшивомонетчика!»

Правая нога Дурова непроизвольно поджала педаль акселератора, как будто ему нужно убежать от подозрений. Скорость увеличилась до сотни, потом еще выше. Несколько мужиков, бредущих по обочине с лопатами и пневмомолотками на плечах, проводили стремительно несущийся «фиат» удивленными взглядами. «Должно быть, здесь так быстро не ездят. Я не заметил в панике ограничительного знака. В какой там еще панике? Отчего мне паниковать? Что я — действительно фальшивомонетчик, что ли? Совсем я не паниковал, а просто не заметил ограничительного знака. Не заметил и увеличил скорость. Вот мужики дорожные и посмотрели поэтому с удивлением. Конечно, подозрение значительно увеличилось вместе со скоростью. Операторша телефонила, должно быть предупреждала вперед по линии о подозрительном автомобиле. Теперь если кто-нибудь спросит этих работяг, они сразу же припомнят — точно, подрывал тут один подозрительный на синеньком фургоне. Номер, конечно, кто-нибудь заметил — или операторша сама, или эти дорожники...»

Дуров принужденно рассмеялся. «Вздор какой-то! Я, кажется, начинаю и впрямь чувствовать себя в роли фальшивомонетчика. В самом деле — что за вздор? Ведь никогда в жизни я не изготовлял и не сбывал ненастоящих денег. Я абсолютно чист, и документы у меня в полном порядке. У меня никогда не было даже похожих идей. Даже в мальчишеские годы, когда черт знает что фантазируешь, я не помышлял себя фальшивомонетчиком. Да и вообще — вот удивитель-

ное открытие — я никогда не преступал закона! Какое приятное, в самом деле, открытие в условиях всесоюзного розыска! Конечно, и у того, кого ищут, у этого дурацкого фальшивомонетчика, должно быть, документы в порядке, но у него нет такого внутреннего спокойствия, как у меня. Он прохвост, а я честный человек. Я чист перед законом, я обыкновенный законопослушный человек, хотя и профессия у меня странноватая. Профессия, однако, вполне допустимая в рамках современной цивилизации и даже понятная любому человеку, если хорошенько объяснить. Во всяком случае, моя профессия совсем не повод для тревоги в зоне розысков преступника».

Так Дуров думал, успокаиваясь и слегка посмеиваясь над собой, и ехал уже спокойно, держась правил, фиксируя все знаки, и только лишь в населенных пунктах да перед постами ГАИ он произвольно как-то сжимался, концентрировался, как бы стараясь всеми силами произвести впечатление нефальшивомонетчика.

Видимо, это получалось у него хорошо, и он без всяких помех пересек уголок очередной малой республики и въехал в следующую, огромную. Он приближался к крупному городу и спокойно уже мечтал об обеде, когда вдруг его прожгла отвратительная мысль: пятидесятирублевки! Боже, в кармане у него, в наружном кармане куртки лежало десять новеньких, как будто только вчера отпечатанных полусотенных бумаг! Да, вот именно, пятидесятирублевками заплатили ему в кассе стадиона. Он еще на миг восхитился тогда — какие новенькие и довольно большие бумажки! Восхитился, сунул их в карман и забыл. «Нет, непросто, непросто все это задумано в природе! Новенькие полусотенные в кармане, а вокруг ищут фальшивомонетчика с полусотенными... Не исключен хитроумный заговор природы против меня... Кажется, других-то денег просто никаких у меня нет, кажется, последние мятые рубли и монеты выложил на бензостанции...»

Дуров хотел остановиться, чтобы проверить карманы и все сусеки автомобиля, но тут новый подвох — знак «остановка запрещена», а зона действия три тысячи метров.

Так под этим знаком Дуров и въехал в городскую черту, в сутолоку движения, на незнакомые улицы, где тоже почему-то долго мог остановиться — то свет вдруг загорался зеленый, то фильтрующая стрелка возникала и сзади начинали гудеть, то вдруг появлялись милиция, ГАИ, дружинники, которые все почему-то смотрели на него.

Так он доехал до самого центра города, до памятника какому-то кавалеристу, который когда-то, в незапамятные времена, этот город прославил. Памятник стоял в середине бульвара, на обоих берегах которого кишела довольно бойкая торговая жизнь. Далее, за бульваром, открывалось большое торжественное пространство площади, а на ней другие памятники и трибуны.

Дуров приткнул машину на торговом берегу бульвара и сразу же увидел тетку с пирожками. Расхваливать свой товар ей не приходилось: основательная очередь горожан ожидала блага из небольшого голубого ящика. Даже еще не видя пирожков, Дуров глотнул слюну, почувствовал едва ли не голодную спазму. «Вот все-таки как проголодался, вот ведь все-таки как проголодался, — весело забормотал он себе под нос, вылезая из машины, становясь в очередь, небрежно шаря в карманах мелочь, небрежно, небрежно (совсем без всякой тревоги!) перекладывая из одного кармана в другой пачечку полусотенных, честно заработанных и полученных из государственного источника, и находя вот таким мимоходом в одном из глубоких ку-

луаров завалыщенький, свернувшийся, как дождевой червячок, рубль,— вот в самом деле как проголодался!»

Пирожки кончились человек за семь до Дурова. Горожане тут же молча разошлись, а Дуров не нашел ничего лучше как спросить тетку:

— Где тут у вас можно поесть?

— Вы что?

Тетка считала выручку и на вопрошающего не посмотрела.

— Жрать хочу до смерти,— сказал Дуров.

Она подняла глаза:

— Ты что?

— Я интересуюсь... столовая какая-нибудь... закусочная... кафетерий?

— Да ты в своем уме?

— Не волнуйтесь, пожалуйста, не обижайтесь, любезная пирожница, но если уж у вас не завалылось для меня полдюжины пирожков, то я должен открыть вам свой маленький секрет — я немного не в своем уме, чуть-чуть того, слегка неспокоен от голода. Столовую ищу. Где?

Последнее слово он произнес очень громко и весьма близко к уху реципиента, то есть тетки с пирожками. Он полагал, что сейчас возникнет какой-нибудь скандал, он вызывал на себя этот опасный скандал, чреватый даже возможным разоблачением (разоблачение!), но не было сил терпеть мрачное и грубое величие продавщицы пирожков. Странное дело, годы шли, а Дуров все больше страдал от хамства. Казалось бы, привыкнуть уже вполне можно, но он не привыкал, ущемлялся, бесился.

Скандала, однако, после оглушительного вопроса не последовало. Тетка вдруг улыбнулась:

— А ты, парень, я вижу, и в самом деле кушать хочешь. Может, ты забыл, какой сегодня день недели?

— Да пятница, кажется,— пробормотал Дуров.

— Именно, значит, пятница,— торжественно сказала пирожница.— Кто ж тебя по пятницам в столовую пустит, если не приглашенный?

— Простите, не понял, но рад уже, что вы сменили хмурое и столь неподобающее вашему ремеслу величие на...

Дуров не успел закончить велеречивой фразы, одной из тех, что он обычно пускал в ход для того, чтобы выделиться из тусклой массы тех, «которых много», перед избранницами судьбы — продавщицами, официантками, билетершами. Запели фанфары. Над городом распространились серебряные звуки. В просвете бульвара, в торжественном асфальтовом половоде главной площади появился медлительный клин мотоциклистов в белых шлемах и белых крагах. За ними катил открытый «ЗИС-110» и в нем пучок фанфаристов, поворачивавшихся разом то туда, то сюда и оглашавших городские окрестности звуками радости и скромного величия. Засим покатали «Чайки» и «Волги» с укрепленными на крышах металлическими пересекающимися окружностями. Вся эта процессия огибала систему памятников. У Дурова произошел прилив крови к голове — в последнее время такое с ним случалось перед лицом загадочных, безнадежно непонятных явлений. И не столь поразили его маленькие розовые детские фигурки, привязанные, словно жертвоприношения, к хромированным пастям автомобилей, сколь скрещенные металлические окружности на крышах автомобилей, что просто изумило его. Показалось даже — уж не радары ли, уж не по его ли, дуровскую, душу? И вдруг осенило! Как

будто с ближайшего облачка пропели фанфары в самое ухо — обручальные кольца!

Да ведь свадьба же! Все сразу стало ясно, чудесно, немного смешно и мило: конец недели, апофеоз, звенящая серебром ассамблея Дворца бракосочетаний, все городские столовые арендованы под тур свадеб — таковы традиции этого города, и, конечно, удивительно, что проезжий фальшивомонетчик этого не знает.

Известно, что голод вдохновляет, и Павел Дуров вдруг почувствовал молодое вдохновение. Он зашагал бодро вслед за свадебными звуками и на углу упруго остановился, подхваченный порывом ветра, с удовольствием ощущая, как полетели у него под ветром волосы. Пирожница удивленно смотрела ему вслед. Она давно уже привыкла не замечать людей, алчущих пирога, то есть большую часть человечества, но вид персоны, охваченной мгновенным вихрем голодного вдохновения, несказанно поразил ее и приковал внимание. «Ишь ты» — так думала она, глядя вслед Дурову.

— Чудесных благ тебе, милейшая пирожница! — донеслось с угла, где стоял малопонятный человек.

Ахнула — догадалась!

Дуров видел, как метнулась тетка к двум парням с красными повязками, как выбросила она обе руки в его направлении.

— ...и не по-нашему говорит! — донеслось до Дурова, и он тогда спокойно и легко, пружиня на ветру, начал пересекать бульвар, иногда оглядываясь на дружинников, устремившихся в погоню.

Любопытная получалась картина, странная диспропорция движений. Дуров медленно пересекал бульвар, а дружинники бежали за ним словно спринтеры, но достать не могли. Чудесная забавная ситуация — ты идешь не торопясь, руки в карманах, а тебя преследуют, несутся, обливаются потом, догнать же не могут. Мило. Эксперимент не из легких, но в то же время ничего чрезвычайного — в жизни так случается.

— Да подожди ты, старик, давай поговорим! — взмолились дружинники. — Хочешь — по-русски, хочешь — по-английски.

— Почему же по-английски? — удивился Дуров.

— Да мы умеем по-разному. Дай догнать себя, старичок! Остановись!

Дуров остановился. Дружинники приблизились, но все-таки не смогли его взять. Он стоял, а они бежали рядом, уже задыхаясь и хватаясь за бока, но взять его не могли. Два здоровенных парня в плоских кепках, синих шляпах, резиновых купальных шапочках, один кучерявый, другой с большими залысинами, по виду тяжеловесы дзюдо, но уже потерявшие форму из-за усиленного питания.

— Да что же это такое? — почти с отчаянием восклицали они. — Почему мы тебя взять не можем?

— Потому что я не фальшивомонетчик, — просто ответил Дуров.

— Уверен? — крикнули они. — А со словесным портретом совпадаешь!

— Не более, чем вы, — сказал Дуров. — Не более, чем каждый из вас.

— Ладно, парень, иди куда идешь. Иди-иди! Только не стой на месте, а то люди смотрят и глазам не верят. Двигайтесь, гражданин, не обижайте дружину!

— Я на свадьбу иду, — сказал Дуров. — Очень хочется пообедать.

— Законно, — кивнули дружинники. — Иди в «Лукоморье». Мы там тебя возьмем. Там свадьба сегодня швейного комбината. Там ты пообедаешь, а после потолкуем. Лады?

Дуров кивнул и направился к вечернему кафе «Лукоморье», где

уже всюду, без всяких там увертюров гуляла свадьба швейников. Никто, конечно, не намерен был туда его пускать, но тем не менее он прошел — то ли охрана в дверях уловила знаки двух преследующих его дружинников, то ли вновь подействовало неожиданно слетевшее к нему вдохновение. Так или иначе, но он оказался внутри и даже нашелся для него стул за огромным П-образным столом, нашлись и стул и салфетка, тарелка и рюмка, жидкость ркацителли и блюдо отварного языка с хреном.

Он скромно, но напористо ел, и в унисон подключался к тостам, и вместе со всеми присутствующими славил невесту-многостаночницу Лилу, и жениха — слесаря-наладчика Олега, и родителей, и руководство комбината, и товарищей, и шефов — артистов местного театра оперетты, из которых один, а точнее одна, амплуа Сильвы Вареску, смотрела на него через три секции стола большими романтическими глазами.

Между тем дружинники, два дзюдоиста, которым места почему-то не нашлось, циркулировали от дверей к перекладине стола и тихо предупреждали руководство свадьбы о возможности изъятия опасного незнакомца.

Вскоре вся свадьба была, что называется, в курсе, все теперь смотрели на Дурова, по рукам осторожно гуляя «словесный портрет». Последней была просвещена романтическая Сильва. Она ахнула круглым ротиком и тут же подняла подбородок, показывая этим жестом, что если ее поняли, то поняли неверно, что незнакомец отнюдь не «герой ее романа». Тяжело проползло по скатертям старинное суеверие: дурная примета — фальшивомонетчик на свадьбе...

— Да я, друзья мои, вовсе не фальшивомонетчик, — сказал тогда громко Дуров. — Прошу вас, веселитесь спокойно!

Свадьба, иными словами коллектив человек триста, молча смотрела на него. Дзюдоисты снова подходили. Один из них нес Дурову целиком жаренного индюка, второй, приближаясь, делал успокаивающие жесты — дескать, ешь, не волнуйся, насыщайся без всякой паники. Быть может, инстинктивно оба охотника чувствовали, что насытившийся, отяжелевший Дуров станет для них легкой добычей. Смешно. Наивным ребятам было не понять, что Дуров в этот вечер был практически неуязвим. «Должно быть, они еще ни разу не сталкивались с людьми нашего жанра, — печально думал Дуров, глядя, как на глазах у всей почтеннейшей публики жареный индюк начинает прорастать удивительными цветами и превращаться в красивую, но несъедобную клумбу. — Они еще не сталкивались с нами. Они не знают, что если на нас «находит», то долго не пропадает. Жалко ребят, но им не объяснишь, как тщетны их потуги... Печально другое, — продолжал думать артист старинного жанра, обводя глазами весь зал и напряженные лица людей, которым он испортил свадьбу. — Печально то, что с каждым новым моим трюком, с каждым очередным фонтанчиком жанра эти люди все меньше будут верить мне. Главным чудом было бы убедить их в том, что я честный человек, что я полностью, на все сто процентов не фальшивомонетчик, но до таких чудес я еще не дорос, да, может быть, и никто не дорос из нашего цеха. Дорастем ли когда-нибудь? Быть может, мы шли когда-то по верной тропе, когда лунные цветы «хаси» дрожали на наших одеждах, но потом потеряли дорогу, рассеялись и пропали во мраке».

— Друзья мои, поверьте... я знаю, как это трудно, но попробуйте поверить, что я не фальшивомонетчик... — заплетающимся языком заговорил Дуров. — Взгляните на словесный портрет... Ведь я похож на него только числом парных и непарных органов... Я знаю, конечно, что

бакенбарды не примета, но, поверьте, я никогда не носил таких больших и пушистых...

— При чем здесь бакенбарды? — послышался резкий голос. Он шел из самой сердцевины свадьбы и принадлежал невесте. — Что вы там бормочете, товарищ? Ешьте спокойно, все вам верят. Правильно, Олег?

Говорят, что супруги становятся похожи друг на друга после долгой общей жизни. Два лица в глубине свадьбы были похожи уже сейчас — узкие молодые лица с прохладными серыми глазами. Среди сотен лиц, повернутых к Дурову, теперь он видел лишь эти два, особенно сильно освещенных чем-то.

— Порядок, — сказал жених. — Мы верим, что вы не фальшивомонетчик. Добро пожаловать. Здесь все вам верят.

Две белозубые улыбки вспыхнули в глубине. Ошеломленный Дуров не нашел ничего лучше как вынуть из кармана и развернуть веером десять новеньких полусотенных бумаг.

— Внимание! — гулко сказал в микрофон председатель свадьбы.

— Вот единственная веская улика против меня, — сказал Дуров. — Десять новеньких полусотенных банкнотов. У фальшивомонетчика точно такие же, но я прошу вас верить мне, что эти настоящие и получены мной честно.

— Кто же вам не верит? — сказали многостаночница Лиля и слесарь-наладчик Олег. — Все верят.

— Конечно, конечно, — заговорила вокруг Дурова вся свадьба. — Сразу видно, что бумаги настоящие! Настоящие великолепные деньги! И товарищ этот вполне честный, это же видно было сразу, что товарищ, который кушал отварной язык, именно с незапятнанной репутацией.

Дуров покачивался, вытирая рукавом лицо, потрясенный свершившимся чудом. Триста пар глаз смотрели на него, излучая дивный фантастический свет ни на чем не основанного доверия. Дзюдоисты-друзинники издали приветствовали его руками, сцепленными над головой. Сильва протягивала ему бокал шампанского.

— К вам претензия, товарищ нефальшивомонетчик, — гулко сказал председатель. — По вашей вине свадьба буксует. В принципе еще никто не захмелился.

Чудеснейший смех, восхитительный добрый хохот поразил видавшего виды незадачливого колдуна. Он поднял руку выше и позволил своим честным деньгам утиным клинышком перелететь через зал и лечь на скатерть перед молодоженами.

— Извините, это мой свадебный подарок, — сказал Дуров. — Извините, я глубоко потрясен и должен побыть в одиночестве. Я поздравляю молодых и весь комбинат и удаляюсь в сокровенную тишину нашей земной ночи.

С этими словами он вышел из-за стола, прошел через зал, пожал руки дзюдоистам, толкнул стеклянную дверь «Лукоморья» и исчез.

— Что будете с подарком делать, ребята? — спросил председатель свадьбы.

— Холодильник купим, — тут же сказал Олег. — Финский.

— А может быть, и цветной телевизор, — высказалась Лиля. — Если, конечно, местком немного добавит.

— В чем не сомневаюсь, — сказал председатель в микрофон.

— Между прочим, когда этот товарищ вошел, — задумчиво говорил мастер цеха раскройных машин Гурьяныч, — как только он вошел, я сразу подумал, что честный человек, не фальшивомонетчик, но потом, к сожалению, подозрения усилились.

— А я вот наоборот, — призналась бухгалтер Сонникова. — Я сра-

зу подумала, что гад, что фальшивые деньги печатает, а вот как Лилечка сказала, так я и раскаялась — хорошего человека не разглядела. Спасибо тебе, Лилечка. Спасибо и вам, Олег.

— Спасибо, спасибо, — доносилось со всех сторон.

— Шампанское в бокалах! — гулко объявил председатель.

Все встали и выпили, и каждому этот бокал показался особенным: теплое переслащенное пойло преподнесло всем присутствующим облачко знобящего и сверхвысокого восторга. Потом свадьба вошла в свою колею и покатила установленным порядком с тостами, танцами и даже легкими безобразиями, которые, впрочем, легко пресекались представителями народной дружины.

Дуров тем временем на малой скорости пересекал ночную индустриально-аграрную равнину. Три лесные полосы одна гуще другой угадывались в темноте. Они уходили волнами, большими темными накатами к горизонту, желая, видимо, слиться с ним в этой безлунной ночи, но не сливались, ибо за горизонтом присутствовал химический завод, который отчетливо выделял лесные профили своим розоватым с желтизной сиянием. С другой стороны шоссе было темнее, но и там на разных глубинах светились полосы окон модернизированных инкубаторов. В небе под северным ветром летели нервно растрепанные белесые тучки, за ними величаво, или, говоря нынешним языком, стабильно, стоял небесный свод с его звездной перфорацией, сквозь которую уверенно в различных направлениях пробирались метеоспутники. Благоговейно Дуров внимал всем звукам ночи. Обычную эту нелепую ночь своего века вбирал он сейчас в себя с благоговением. Все стекла в машине были опущены для беспрепятственного проникновения ночи. Дуров старался запомнить, вобрать в себя все блики и запахи ночи — запахи мокрой листвы и полихромдифенилметатоксина, вековой болотной гнили и мазута. «Как неожиданно пришла эта ночь свершившегося чуда! Ни грома, ни молний, ни световых, ни звуковых эффектов не понадобилось. Чего же стоили эти долгие годы работы, те «блистательные достижения», которыми восхищались немногие сохранившиеся знатоки? Чудо массового доверия, раскрытая единая душа трехсотголовой свадьбы... чудо пришло ко мне будто со стороны... и неужели я поймал пропавший жанр?.. поверят ли друзья?.. смогу ли сохранить летучую искру?»

Слева недалеко от шоссе открылись обрывы, похожие на белые утесы Дувра, — известковый карьер. Там работала ночная смена, освещенный, будто корабль, огромный экскаватор и несколько сверхмощных «БелАЗов». За карьером сразу подступал к шоссе лес, расчеченный просекой высоковольтной передачи. Конструкции мачт одна за другой уходили в темноту, словно череда триумфальных арок, воздвигнутых для неведомых еще торжеств. У подножия одной из опор трепетал маленький костерок, и рядом угадывалась человеческая фигурка. Дуров понял, что ему нужно туда. Он понял вдруг, что именно для этой встречи сорвался он из блаженного «Лукоморья», со свадьбы швейников, где только что произошло одно из долгожданных чудес жанра.

Он хотел было оставить машину на обочине, но увидел в свете фар вполне подходящий спуск и осторожно стал съезжать в высоковольтную просеку. Человек, сидящий у костра, кажется, заметил огни приближающейся машины, но навстречу не встал. Дуров проехал немного по твердому грунту до кустарника, возле которого обнаружил спящий фургон-«фиат», почти такой же, как и его собственный,

быть может несколько иной окраски. Он оставил свою машину и дальше пошел пешком.

Человек у костра смотрел на подходящего Дурова, но не прерывал своего дела. Он брился. Медленно длинным тоненьким лезвием старомодной бритвы он не без удовольствия снимал со своего лица пушистые бакенбарды. Костер освещал его лицо и как бы вздувал его. Лица, освещенные снизу красным огнем костра, всегда кажутся вроде бы вздутыми, слегка преувеличенными. Все будто вздуто — щеки, нос, надбровные дуги. Тем не менее Дуров немедленно узнал Сашу, одного из их бродячего цеха.

Когда-то, лет десять, а то и двенадцать назад, они дружили, были почти неразлучны, своего рода тандем, Саша и Паша, Сапаша, как иной раз называли их девушки и приближенные. Так было в зените успеха, когда весь жанр вдруг ожил и древние традиции грубоватого площадного колдовства вдруг поразили мир словно какое-то откровение, будто послание инопланетян. Быть может, и следовало держаться традиций, смирить гордыню, не искать сомнительных секретов, не стремиться улучшить жанр, не рисковать — быть может, не потеряли бы. Они не смирили гордыню и терпели крах за крахом, рассеивались и пропадали в неизвестности. Где был ты, Саша, эти десять лет? А где ты, Паша, пропал эти двенадцать?

Дуров сел к костру и прикурил от уголька.

— Привет, Пашка, — сказал друг.

— Привет, Сашка, — сказал друг.

Рядом с костром, словно третий собеседник, сидел, или лежал, или стоял туго набитый кожаный мешок с веревочными завязками. Дуров потянул веревку и запустил в мешок руку.

— Зачем тебе это надо было, Сашка? — не удержался он от укора. — Боже мой, глупость какая!

Он вытащил из мешка пригоршню пятидесятирублевых и швырнул их в костер. Деньги затрещали, словно олады на сковородке, и тут же исчезли.

— Я отчаялся, — ровно, без эмоций сказал Саша.

— Как глупо, Сашка, как обидно... ты помнишь тот карнавал на Ай-Петри, что мы устроили вдвоем?.. И теперь фальшивые деньги... словесный портрет... бакенбарды... какая ерунда... — Дуров страдал от горечи, явственной как изжога.

— А ты разве не отчаялся, Пашка? — с каким-то подобием светского прохладного любопытства осведомился Саша. Он сбрил уже один бакенбард, но второй, пушистый и пронизанный красным светом костра, сидел на его щеке словно шлепок сахарной ваты.

— Представь себе — нет! — запальчиво воскликнул Дуров. — Тысячу раз был близок к отчаянию и тысячу раз выплывал! А сегодня, Сашка, мне показалось, знаешь ли, мне показалось...

И он стал рассказывать старому другу весь этот рассказ сначала.

...Свадьба швейников в кафе «Лукоморье» между тем перевалила свой пик и в дымном грохоте биг-бита покатила к финалу. В какой-то момент все забыли о молодоженах, и они остались вдвоем. Пальцы их соединились под скатертью, и Лиля прижала свою длинную ногу к ноге Олега.

— Знаешь, Лилька... — слегка задыхаясь, заговорил Олег, — конечно, мы с самого начала у всех на виду... и большое спасибо комбинату за товарищескую заботу... но знаешь, Лилька, я хочу тебе сказать, что с ума по тебе схожу, что мне всякий раз отлепиться от тебя сушая мука...

У Лили сильно кружилась голова.

— А для меня, Олег, ничего уже нет в мире, кроме тебя, кроме всего твоего тела. Ты истинная половина моя, а не так, как говорят...

Недели три уже назад эти молодые люди начали любить друг друга, вступили в полосу чудес, но впервые вот так друг другу высказались.

...Саша начал непринужденно, улыбочиво, в прежней своей легчайшей манере слегка колдовать. Он встал, поднял кожаный мешок и порциями стал вытряхивать в костер фальшивые деньги. Всякий раз костер вспыхивал ярче, и в восходящих токах раскаленного воздуха возникал «словесный портрет с бакенбардами», тот самый, распространенный в зоне розыска, правда чуть измененный грустноватой улыбкой. Очень быстро все деньги сгорели. Потом Саша поднял руку, и сверху, с ночного неба слетели в костер одна за другой еще десять бумажек.

— Это те, что я сегодня разменял в торговом центре «Приволье»,— пояснил он Дурову.— Изымаются из обращения. Настоящие деньги возвращены в кассу. Скажи, достоин я снисхождения?

СЦЕНА. НОМЕР ШЕСТОЙ: «БЕГЛЕЦ»

Выезжая из автомойки и отряхиваясь, Дуров наталкивается на старых грузей-музыкантов, с которыми вместе когда-то, на заре туманной, глотал шпаги и вынимал из уха голубей. Вот встреча! Что ж, тряхнем стариной? А что ж? Ну вот хотя бы сможешь ли выдуть мыльный пузырь и там, внутри, Дон Жуана? Почему же не попробовать? Многое зависит от аккомпанемента. Давайте попробуем. Марш в домовую контору! И вот мы в домовой конторе.

...Ненастным, но сухим утром он покинул свою любовь, пока она спала, и вышел на улицы города прямой, с изжеванным лицом под старомодной шляпой, в узком черном пальто, в галошах, с длинным английским зонтом.

Дон Жуан, убегающий от любви, в наши дни не диво. Уехать куда-нибудь сейчас не проблема. Компьютерная система распределяет билеты. Беглец, словно командированный, словно деловой человек, не вызывая подозрений, проходит анфиладами вокзала. Бегство — древняя страсть. Беглец — человек древности, и потому его озадачивает сочащееся сквозь стены освещение и прокатывающиеся над головой огненные цифры.

Прощальный миг. Сплошная полоса тяжелой зелени. Последнее мгновение. Он позабыл любовь, крапивную рубашку, что жгла его сто лет. Растенья и селенья мелькают за окном. Сто лет с горячей кожей чего-то стоят. До исчезновенья любви крапивной он предполагал, что жжет его глагол, страдал с благоговеньем: вот сила, дескать, обжигающая власть глагола, человеческого арта. Совокупленье творческих начал — биомеханика? Он взялся позабыть прикосновенья крапивного холста, ожоги, пузыри на коже, неожиданные поползновенья спасти, прижать к осиротевшей без боли груди хотя бы память, знак, хотя бы дуновенье с тех берегов, где некогда он целовал ее.

Где целовал свою любовь сбежавший Дон Жуан? На бетонном волноломе, в сельском доме приезжих, в номере люкс на ковре, в каюте парохода, в железнодорожном купе, на песчаном пляже, на гальке, на занозистых досках, на арендованных вонючих пуховиках, в веселых травах, перед экраном телевизора, за экраном телевизора, в подъездах, в палатках, под дождем, на снежном склоне, на балконах...

Он стал хватать воздух ртом. Сбились две скорости: экспресс ровно и мощно несся вперед, воспоминания налетали и ураганами, воющими порывами швыряли назад. Могло бы кончиться трагикомично, если бы не внезапная остановка: кто-то повесил авоську с апельсинами на стоп-кран.

Дон Жуан осторожно глянул в окно и увидел свою любовь за полотном, на лужайке. Она лениво курила, валяясь, нога на ногу, на берегу маленького пруда или, если угодно, большой лужи. Многозначительный ветерок чуть морщил водную поверхность. Над лужайкой летало облако. В нем отражалась лужа. Луженая глотка пела за лесом соло паяца.

Однако я никогда не целовал ее вот так, за полотном, на лужайке, у лужи и чтобы луженая глотка пела за лесом. Строго покашливая, он стал пробираться к выходу. Бегство обернулось новой встречей. Стотысячное бегство Дон Жуана.

В целом удалось, сказал начальник ДК ЖСК «Розы Гименя». Образ Дон Жуана, в общем, выдувается. Однако...

Тут прибежали: прорыв горячей воды в шестой секции!

ДОЛИНА

В последнее время что-то странное происходит с моим внешним видом: иным я кажусь основательно пожилым гражданинчиком, другим — неосновательно молодым, «парнем». И то и другое слегка коробит. Основательная пожелтоватость огорчает, неосновательная моложавость кажется постыдной. Вот недавно какие-то сельские девушки обратились ко мне на дороге «вы, дядечка» — фу, какая неприятность! — а спустя некоторое время юнец-хиппи говорил мне «ты, чувак» — тоже что-то паршивое.

О последнем, между прочим, стоит немного рассказать. У нас, конечно, хиппи не так сильно произрастают, как в Америке, но имеются, и даже больше, чем предполагают люди, не путешествующие по автомобильным дорогам, словом, больше, чем хотелось бы.

...Юный Аркадиус кушал из пакета молоко пониженной жирности, когда на шоссе появились синие «Жигули», а за рулем чувак в желтой майке, то есть я. Аркадиус двумя руками сдвигал пакет и, пугаясь молоком, выскочил на обочину. Я, конечно же (мало было дураку науки), тут же остановился, и хиппи влез ко мне, прыщеватый, сальноволосый, с симпатичной придурковатой улыбочкой, в жилетке из плохо обработанной овчины и с надписью на майке «A human being» («Человеческое существо»).

— Предупреждаю, денег нет, — сказал он мне.

— Бесплатный транспорт, — ответил я.

— Супер! — воскликнул он.

Мы поехали.

— Откуда едешь, чувак?

Вот это меня и покорило — что за нахальство, право! Я надел на нос дымчатые очки и посмотрел на попутчика.

— Ты знаешь происхождение слова «чувак»?

— Ну! Ты! Мэн! — воскликнул он с удивлением. — Ты, я гляжу, задаешь вопросы!

— «Чувак» то же самое, что и «мэн», а также соответствует надписи на твоей груди, — академическим тоном пояснил я.

— А что означает эта надпись? — Он рот открыл.

— Она означает «чувак», — усмехнулся я. — А происходит это

слово от обыкновенного «человек». Когда несколько часов подряд дуешь в трубу или в саксофон, язык во рту распухает и нет сил выговорить обыкновенное «человек», а получается «чэ-э-эк», «чвээк» и в конце концов «чувак».

— Супер!— с детским восхищением воскликнул он.— Ты где учишься?

Настала моя очередь изумиться:

— Учусь? Да я, дружище, давно уже отучился. Ты, должно быть, заблуждаешься насчет моего возраста.

— А сколько тебе лет?

— Сорок,— сказал я, слегка все-таки слухавив в сторону улучшения, то есть уменьшения горестного числа.

— Супер!— снова вскричал он и вдруг осекся.— Как же это может быть? Отцу моему вон сорок...

— А что из этого следует, сынок?— ласково спросил я.

— Супер...— тихо пробормотал он.

После этого со спокойной уже душой я начал его расспрашивать. Мне приходилось раньше возить хиппи и на родине и за границей, и обычно это был народ молчаливый, отчужденный, малопривытный в общении. Юный Аркадиус оказался иным. Он охотно рассказывал о себе. Школу бросил — надоела. В армию не взяли — плоскостопие. Захиповал, но стало скучно, и вот сделался автостопщиком, наколесил уже тридцать тысяч километров по Союзу то один, то с братом, то с девочкой какой-нибудь. Сейчас едет в Москву посмотреть на Джоконду. Ее, Мону Лизу — вы, конечно, знаете, чувак?— везут домой, в Париж, из Японии, но по дороге она сделала стоп в нашей капитолии, чтобы, значит, встретиться с Аркадиусом.

До Москвы было не менее двух тысяч километров, и я поинтересовался, есть ли у малыша деньги. Оказалось, есть, целая пятерка! Правда, нужно еще захватить за одной гёрлой, с ней скучковаться, но у нее, кажется, тоже есть рубля три, так что доберемся. Им много денег не надо. Хлеб они берут бесплатно в столовых. Водители в основном народ добрый, а жалобы за версту видно, к ним не просятся. В случае крайней нужды Аркадиус продает стихи по копейке за строчку. Чьи стихи? Свои собственные. Хотите купить? Вот, пожалуйста:

Я разобью театрик без рампы и кулис,
Входите без билетов — приехал к вам артист!
Расскажет вам историю
Про шхуну из надежд,
Которую построили
Четырнадцать невежд.
Корабль из речки меленькой
Отчалил в океан,
Четырнадцать бездельников
И капитан Иван...
На деревенской улице театр без стен и крыш,
Артист играет весело, а получает шиш.

— Я тебе, Аркадиус, за эти стихи дам десятку.

— Не десятку, а двенадцать надо,— надулся хиппи.

— Двенадцать не дам, а десятку получишь.

— Почему же десять, мэн? Двенадцать строк — двенадцать копеек.

— А я тебе десять рублей даю, понял? Не копеек, а рублей — дошло? Плачу тебе как начинающему поэту по девяносто копеек за строчку и вычитаю восемьдесят копеек, твой первый налог. Получается круглая десяточка. Вот, держи! Стихи-то давай!

Я получил стихи, записанные на разорванной обертке сигарет «Па-

мир». Аркадиус был потрясен хрустящей розовой бумажкой. Он сказал, что таких денег и в руках-то никогда не держал. Потом он что-то забормотал, кажется прикидывал, не сможет ли теперь, когда судьба так резко повернулась, взять с собой на Джоконду не только Эмку, но еще и другую гёрлу, Гёлку, а может, и бразеру позвонить, и тогда?.. Потом глаза его вспыхнули ярко, будто солнце попало в хрусталики, и он надменно протянул мне бумажку обратно — дескать, унижить его не удастся, а если хочешь помочь, то гони двенадцать копеек, а паршивые колы забирай. Я с трудом убедил его, что никакого унижения нет и что стихи его мне просто-напросто очень нужны.

— Для чего же они вам?

— Для того чтобы где-нибудь в горной деревне разбить театрик без кулис, без стен, без рампы и без крыш, чтобы играть там и вспоминать про четырнадцать бездельников и в конце концов попытаться понять, что из этого получится. Видишь ли, Аркадиус, тебя судьба мне послала с твоим глупым стишком. Как ни странно, ты определил теперь мое направление, и я теперь понял, куда еду.

— Куда же, мэнь?

— В горы.

— Да у меня там про горы нет ни слова. Наоборот, море.

— И все-таки я еду в горы!

— Зачем это вам, товарищ? Кто ты вообще такой, между прочим, мэнь? — Аркадиус теперь вполне непринужденно перепрыгивал с «ты» на «вы» и обратно.

— Я артист-шарлатан, деревенский колдун.

— Супер! — вскричал он. — Возьмите меня с собой!

— Тебя ждет Мона Лиза, старик. Невежливо обманывать даму.

Расстались мы дружески. Он бодро закосолапил в развевающихся на ветру широченных джинсах искать свою гёрлу, пообещав все-таки меня еще где-нибудь встретить хотя бы уж для того, чтобы другую стихозу толкнуть по хорошему тарифу.

Странное дело, я действительно переменил направление и поехал в горную страну. На деревенской улице театр без стен и крыш, без стен и крыш, без стен и крыш... Я повторял придурковатые строчки и видел почему-то горбатую улицу горного села, дикий вздыбленный горизонт, дома с плоскими крышами и нескольких зрителей в косматых шапках, каких, быть может, сейчас уже нигде и не найдешь, таких людей, которые в связи с незнанием языка и высокогорной терпимостью не будут вдаваться в подробности, задавать наводящие вопросы, выяснять первопричины, первоисточки и позволят наконец-то провесте задуманный акт до конца и сотворить чудо.

Четырнадцать бездельников и капитан Иван... Какое странное совпадение чисел! Четырнадцать бездельников и капитан Иван — всего, значит, пятнадцать. Как раз столько нас и осталось. Боже! Меня вдруг бросило в жар — да ведь есть же и Иван среди нас! Вернее, был среди нас Иван, неизвестно, существует ли до сей поры. Он когда-то долго блуждал по дальневосточным морям и прикидывался капитаном. Были времена, когда мы еще поддерживали друг с другом связь, когда еще витала над континентами идея собраться всем вместе и попробовать что-то сделать сообща. Иван никогда не был нашим капитаном, он был просто-напросто «капитан» — так мы называли его, посмеиваясь. Среди нас не было капитанов, мы все друг друга считали ровней в те времена, вначале. Как давно мы уже потерялись на земле! Иногда я ловлю себя на том, что мне не особенно и приятно-то вспоминать о товарищах, о товариществе. Иногда, когда судьба вдруг посылает какие-то знаки, я тоскую по ним и мечтаю о встрече, правда весьма

отвлеченно. В этом случае, конечно, имя Иван и числа 14+1 были знаками судьбы.

Я повернул к югу, проехал сотни две километров по отвратительной разбитой и узкой дороге, выбрался на хорошее столбовое шоссе, протянул по нему еще километров триста, прежде чем приткнуться на ночлег к кемпингу, и пока тянул, все думал о Долине. Обычно я еду, участвуя во всем, что происходит на дороге, стараясь разглядеть и встречных, и попутных, и пейзаж по обе стороны, сейчас я отсутствовал, потому что думал о Долине. И в кемпинге «Садко» я не прислушивался к звукам за фанерной стенкой, потому что думал о Долине. Так вот все это соединилось, все, о чем я размышлял в последние месяцы, все странные встречи во время моих блужданий, все импульсы и последний в виде стихоплетства прыщавого юнца — все почему-то сплелось для меня в слове «Долина».

Теперь пришло мне время искать Долину, шептал я, и слышалась мне в этом слове неведомая благодать. Я закрывал глаза и видел ее, Долину, будто на экране, будто проекцию отличнейшей цветной пленки. Она медленно проплывала передо мной, горная благоухающая Долина с быстрой речкой внизу, с тихим поселком вдоль реки, с развалинами замка на близкой зеленой горе и с грядой снежных шатров на огромных дальних. Там, в Долине, снизойдет наконец ко мне истинное вдохновение, там я обрету наконец чудо жанра.

Реальная долина, разумеется, оказалась и похожей и не похожей на эти полудремотные видения. Здесь была речка, но не было развалин замка. Долина оказалась гораздо уже, чем воображаемая, и снег лежал на ее скатах там и сям или пятнами, или длинными языками, или подобием распластанных овечьих шкур, а в двух местах он подходил прямо к жалким строениям поселка огромными, сверкающими на солнце белыми склонами. Это была большая суровая высота, что-то около трех тысяч, может быть, и больше сотни на две. Двигатель несколько раз заглох, пока я крутил по серпантинке бесчисленные повороты: карбюратор хандрил на голодном пайке разреженного воздуха. Почему я полз именно сюда до самого упора, в этот неказистый поселочек, похожий скорее на лагерь в Антарктиде, чем на идиллический альпийский виллаж?

Десяток продолговатых, барачного типа домиков, стоявших в ряд вдоль некоего подобия дороги, встретил меня. Один из домиков был наполовину раздавлен обвалом, камнепадом, и забит спекшейся грязью. Рамы с разбитыми стеклами поскрипывали. Ветерок посвистывал в дырах. Раздавленность и заброшенность этого недолговечного строения опечалили сердце. Кажется, и остальные целые домики поселка были пусты.

С опечаленным сердцем я остановился, затянул ручной тормоз, поставил первую передачу, да еще и подложил каблучки своему фургону под задние колеса, чтобы он, чего доброго, не покатился из горной пустыни вниз, туда, где произвел его на свет человеческий гений. С опечаленным сердцем я двинулся вдоль ряда домов вверх и тут заметил, что печаль моя легка. Да, это была высокая, спокойная, такая молодая и почти забытая печаль. Кажется, я был уже готов ко всему.

Навстречу мне шел «капитан» Иван. Я узнал его сразу, как будто и не прошло много лет, как будто мы все за эти годы и не декорировались всякими там усами и бородами, как будто только вчера пили кофе на втором этаже Общества Деятелей Искусств над улицей Горького.

- Привет, Павел.
- Здравствуй, Иван.
- Благополучно добрался?

— Вполне. Что это за поселок?

— Это, знаешь ли, лагерь ученых, гляциологов, но сейчас он полностью эвакуирован в связи с лавиноподобностью.

— Вот как?

— Да-да, нам повезло. Пойдем! Тебя все ждут.

Между пятым и шестым домиками был спуск к реке и тихая лужайка, окруженная кустарником, если только можно назвать лужайкой каменное поле с редкими пучками травы. Там стояло несколько грубо сколоченных длинных столов и скамейки — видимо, летняя столовая гляциологов. За одним из столов сидели все мои друзья, весь наш цех: Александр, Брюс, Вацлав, Гийом, Дитер, Евсей, Жан-Клод, Збигнев, Кэндзабуро, Луиджи, Махмуд, Норман, Оскар. Они весело, с аппетитом обедали. И откуда только все взялось?! Кто приготовил? Три здоровенных горшка с горячим бараньим супом, отлично выпеченный хлеб, колобки свежего масла, айсберги ноздреватого сыра, толстенные плети лука, киндза, сельдерей, прочая зелень, развалы редиски и помидоров, дымящиеся на шампурах куски мяса, глиняные кувшины с вином — все естественное, без малейшего запаха химии, все от матери природы. Зрелище этого стола наполнило меня оптимизмом. Все-таки живучие твари эти бродячие артисты! Добыть такой харч в лавиноподобной пустыне — для этого нужен талант! Оказалось тут, что и я пришел не с пустыми руками. Четыре гулких арбуза вывалил на стол!

Збигнев и Кэндзабуро чуть потеснились и посадили Ивана. Оскар чуть подвинулся, и мне нашлось место. Обед продолжался с хрустом, с бульканьем, со смачным чавканьем, с легким смехом и без всякой сентиментальной слезливой приправы. Друзья все чудесным образом постарели, но посвежели, поседели, но загорели, словом, все были хороши. Беседа текла легко, никто никому не говорил ничего лишнего.

— Кто из нас за эти годы пережил счастье в любви?

Оказалось, все пережили.

— Кто из нас тонул, погибал, выплывал, выкарабкивался?

Оказалось, всем приходилось.

— Кто из нас предал молодость за большие или малые деньги?

Не было таких.

— Кто унывал и бесился от отчаяния?

Каждый.

— Кто присбрел в путешествиях наглость, жестокость и свинство?

Никто из нас не приобрел этих сокровищ.

Оказалось, что у каждого из пятнадцати был неожиданный импульс, позвавший его в горы. Импульсы были разные: у меня вот записанные выше стишки, у другого неожиданный вкус воды в каком-то роднике на дороге, третьего толкнул к рулю запах брынзы в базарных рядах... — так или иначе, но у каждого в воображении появился странный, расплывающийся образ горной долины. Никто не думал в эти моменты о товарищах или почти не думал, во всяком случае никто не представлял себе подобной фантастической встречи.

Что ж, ребята, ведь если нас собралось так много, то мы здесь сможем наворочать невесть чего! Должно быть, у каждого накопилась куча идей и реквизит теперь у нас совершенный, а гибкость суставов и сила мышц отнюдь еще не утрачены! Если уж начинать, то начинать сейчас, иначе никогда не начнем. Все вместе мы сможем сотворить здесь настоящие чудеса, мы можем эту долину обратить в рай! Мы обратим ее в рай и осядем здесь до конца жизни, а к нам будут приезжать люди со всего света. Они будут приезжать сюда и потреблять

здешние чудеса, как в Мацесте они потребляют грязь. Они будут приезжать сюда и купаться в чудесах, дышать чудесами, есть чудеса, спать в чудесном и играть с чудесами, и уезжать отсюда они будут чудесными, и заряда чудесности будет хватать им на год, на два, на пятилетку, до следующего приезда. Мы здесь утвердим свой жанр на века и позаботимся о потомстве...

Ну что ж рассусоливать, пора начинать. Все сыты? Все готовы? Тогда — начнем!

Мы встали из-за стола и приступили к работе. Не было режиссера, каждый знал сам, что делать. Каждый чувствовал, что именно к этому моменту он ехал столько лет по бесконечным дорогам мира.

Я пошел к своему фургону, открыл багажник и выгрузил сразу все ящики. Самое главное — Генератор Как Будто. Над его схемой я работал долгие годы и, кажется, довел ее до последнего возможного в наши годы совершенства. Несмотря на совершенство, штука была увесистая, и пока я ее втаскивал на вершину скальной балды, что зиждилась над потоком словно Башня Тамары, семь потов с меня сошло.

С балды я увидел всю зону работ. В зарослях ивняка мелькала красная с желтым рубашка Кэндзабуро. Он развешивал там свои знаменитые Тарелки Эхо. Александр почему-то вместе с Дитером катили вверх по овечьей тропе Бочку Олицетворения. Я еще не знал, что она из себя представляет, хотя о ней ходили уже толки в средиземноморских портовых городах. Брюс, особенно не удаляясь, прямо на полянке возле нашего пиршественного стола устанавливал свои Трапеции Кристаллотворчества. В узком кулуаре, над водопадом, как я и предполагал, Вацлав, Махмуд и Оскар мудрили над Мельницей Крупного Плана. Иван и Жан-Клод готовили к запуску Вакхический Пузырь. Збигнев — его фигурку в ярко-синем переливающимся костюме я видел на западном склоне — раскатывал вниз травянистые Ковры для Долгожданных Животных. В поселке с крыши на крышу уже прыгали Гийом и Евсей. Они перебрасывали, закручивали вокруг труб и антенн Шланги Прошлого и Пороховые Нити Будущего. Переплетаясь между собой, Шланги и Нити толстым пучком уйдут в Перпетуум Улитку, которую в этот момент как раз раздувал мехами любитель древностей Луиджи. Норман, белокурая бестия, конечно же, забрался выше всех. Он парил на дельтоплане — раскатывал вниз трапезные струящие долины и чем-то вроде лазера помечал на камнях точки отсчета для своего Внешнего Ока, о котором он прожужжал мне уши еще десять лет назад, когда мы случайно встретились в Калифорнии.

Я знал, что все приспособления доведены ребятами за эти долгие годы до высшего качества, и меня сжигало любопытство увидеть все это в действии. Конечно, больше всего я ждал от своего Генератора Как Будто. Я чувствовал, что здесь его хватит надолго. Быть может, он даже будет делить с другими системами свою энергию метафор.

Закрепив Как Будто на вершине балды, я спустился в поселок и начал окружать рефлекторами раздавленный барак. Здесь было единственное место в долине, которое чуть-чуть угнетало, слегка бередило в душе очажок тоски. Раздавленное, а потому бессмысленное сооружение, казалось, напоминало о хаосе неорганики, о бесчудесном мире нежизни. Именно сюда я решил направить первые потоки энергии. Здесь зародится маленький театрик, и здесь король живой природы Юмор начнет свое дело.

Все было готово. Музыкальная фраза прошла по долине от северного ущелья к южному и пропала за перевалом. Все было правильно — Россини пролетел. На гребень близкой горы, сложив свои крылья, опустился Норман. Збигнев с противоположного склона показал ему на

ладошке стебелек огня. Ответный стебелек появился и затрепетал на правом плече Нормана. Это был старт. За спиной Нормана послышался нарастающий гул...

...Юный хиппон Аркадиус воображал себе свидание с Моной Лизой несколько иначе. Почему-то ему казалось, что он со своими гёрлами останутся втроем в полутемном зале, что луч света будет направлен на шедевр и они, Аркадиус и Эмка с Галкой, часа два будут стоять в гулке пустом зале и ловить кайф от созерцания загадочной улыбки. Он так и готовил своих подружек: чтобы ни звука, ни шороха, стойте неподвижно и углубляйтесь в медитацию, стремитесь к тайне Улыбки.

Все оказалось иначе. В зале было полно света то ли естественного, то ли искусственного — не понять. Останавливаться не рекомендовалось. Поток людей медленно двигался мимо вежливых милиционеров, и те тихо, монотонно повторяли:

— Граждане, просьба не останавливаться...

Тогда Аркадиус понял, что снова будет лажа, что никакой медитации не предвидится, что современный мир с его массовой тягой к шедеврам прошлого снова преподносит ему лажу.

Он увидел картину с бокового ракурса, и сердце вдруг заколотилось. Небольшая зеленоватая картина за пуленепробиваемым стеклом, окруженная драпировкой. Едва он увидел картину, как тут же понял, что это не лажа. Медленно влачилась толпа все ближе и ближе к картине, и Аркадиус, переставляя кеды, уже не помнил ничего вокруг, а только приближался и ощущал лишь свое приближение и страх встречи.

Он хотел было сразу сосредоточиться на Улыбке, чтобы не потерять ни секунды, но внимание его почему-то было отвлечено фоном, видом странной, будто опаленной неведомым огнем безжизненной долины. Улыбка! Улыбка, мысленно крикнул он себе и перевел взгляд на лицо, но тут эта гёрла Мона Лиза подняла руку и тыльной стороной кисти закрыла свои губы. Длинная тонкая девичья рука как бы рассекла портрет, тонкая кожа ладони с голубыми жилочками и линиями судьбы, казалось, написана была только вчера, ее не тронула порча времени. Боль наполнила грудь и живот Аркадиуса. Боль и смятение держались в нем те несколько минут, что он шел мимо портрета. Он понимал, что ладонь Джоконды — это чудо и счастье, которого хватит ему на всю жизнь, хотя в линиях судьбы он и не успел разобрататься из-за подпиравших сзади тысяч, стремившихся к Улыбке.

...и между скальных стен появилась и застыла на мгновение голова лавины. Как, черт возьми, она была безобразна! Мы все успели рассмотреть бессмысленно-глумливую, серую, чудовищно вздутую и нафаршированную камнями харю. В следующее мгновение харя эта вздулась уже выше всех пределов и обратилась в страшное брюхо с ползущими вниз отростками. В следующее мгновение лавина поглотила Нормана, разрубила скальную балду с моим Генератором, пожрала Мельницу и Бочку, а вместе с этим пропали в сером воющем кошмаре одна за другой три яркие фигурки друзей. Я не успел сообразить, кто еще... кто еще... кто еще... а только лишь увидел, что и по противоположному склону летят камни и Збигнев бежит от них, закрывая голову руками, и падает, и пропадает и что повсюду, со всех сторон льются в нашу долину потоки селя, то есть снега с грязью и камнями, а над всеми склонами и зубчатыми стенами клубится снежная пыль и взлетают камни в бессмысленной игре, а в небе стоит неумолчный грохот, как будто армада ракетноносцев зависла над нами для полного уничтожения.

В следующее мгновение я увидел, как камень величиной с танк выпрыгнул словно мячик, расплющил мой «фиат» и запрыгал дальше. В следующее мгновение я увернулся от другого раскаленного танка, но был сбит ударом в спину и тут же наполовину засыпан серой снежной грязью. Мне удалось нечеловеческим усилием высвободиться, вскочить и забежать за угол барака. Это было последнее, что я смог сделать. По улице вниз, бессмысленно кривляясь и воя, неслась всепожирательная лавинная харя. Я увидел, как Брюс успел все-таки рвануть рубильник детонатора и как он был поглощен вместе со своим жалким взрывом. Я увидел, как обнялись на прощание Александр и Иван, и успел пожалеть, что меня нет с ними. В следующее мгновение она выросла надо мной, нависла надо мной... В следующее мгновение она пожрала меня.

...Через час начальник лагеря гляциологов профессор Бепсов вместе с секретарем горного райкома Валихановым вылетели на вертолете к месту катастрофы. Никаких следов поселка внизу не было видно. Вся долина была засыпана слежавшейся лавинной массой.

— Вовремя эвакуировали лагерь, — сказал, слегка поеживаясь, Валиханов. — Конечно, материальные ценности тоже жалко, но человек для нас важнее.

— Я очень доволен! — закричал ему в ухо профессор Бепсов. — Впервые удалось прогнозировать сход лавин с точностью до одних суток! Видите, Зиннур Валиханович, эти три китовых хвоста? Три лавины сошли одновременно по рассчитанным направлениям, и одновременно произошел выброс селя через юго-западный кулуар. Отлично! Надеюсь, здесь никого не было в этот момент...

— Никого не было, — подтвердил Валиханов.

— Ручаетесь? — спросил Бепсов. — Сейчас, знаете, распространились эти бродячие туристы. За ними не уследишь.

— На дороге стояли три поста, и даже на перевале дежурили спасатели, — сказал Валиханов. — Пробраться сюда было невозможно, если, конечно, ты не волшебник.

— Гуд! — сказал Бепсов и сильно потер руки. — Завтра мы высадим здесь группу Караченцева. Будем бурить! Брать образцы! — Он еще раз потер руки. — Гуд! Мульти бене! Зур якши!

Он любил в дни удач иноземные приятные восклицания.

...Трудно сказать, какие явления произошли в тысячетонной массе, пожравшей меня и всех моих товарищей, но ночью я оказался на поверхности. Я обнаружил себя сидящим на плотной, будто бы мраморной поверхности, по которой бродили блики ночных светил. Затихшая после осатанения стихия была теперь даже красива. В некотором отдалении я увидел поднимающегося Брюса. Издалека по ледяному мрамору приближались к нам Александр и Иван, Кэндзабуро и Евсей, Норман, Збигнев, Оскар, Вацлав, Луиджи, Махмуд, Гийом, Дитер и Жан-Клод. Все были целы, никаких следов гибели не мог я обнаружить ни на своем теле, ни на товарищах, разве что платье наше стирало, но нагота еще яснее выказывала неповрежденность нашей плоти. Мы собрались в кружок, а потом повернулись все в одном направлении и увидели тропу, что петляла по застывшей сверкающей массе в тот узкий юго-западный кулуар, откуда вырвались еще недавно потоки селя. Тропинка шла круто и исчезала между скал. Мы вытянулись цепочкой в алфавитном порядке и не торопясь двинулись в путь. Не было ни чувств, ни воспоминаний.

Чувства ожили, когда мы с гребня хребта увидели другую долину. Оказывается, она соседствовала с нашей, но была огромна, как

целая страна, и цвела под хороводом неведомых ночных светил. Восторг охватил нас, когда мы поняли, что это и есть истинная Долина.

Воздух любви теперь окружал нас, заполнял наши легкие, расправлял опавшие бронхи, насыщал кровь и становился постепенно нашим миром, воздух любви. Мы медленно, еще не вполне веря своему счастью, спустились в Долину.

На одном из поворотов мы увидели внизу чудо озер. Множество спокойных, затейливо нарезанных и прозрачных до дна озер ждало нас. Я увидел среди них одно, похожее сверху на смешного бодливого дракончика, и почему-то подумал, что именно там будет теперь мой дом.

Потом началось чудо дерев. Разновысокие пучки дерев окружали нас и трепетали своей резной листвой то ли под чудом ветра, то ли под чудом ночных светил. Мы шли меж дерев по чуду травы. Чудо травы и цветов прикасалось к нашим ногам, животам. Прикосновения эти готовили нас, как мы все уже понимали, к чуду глаз. Вскоре оно наступило, и теперь сквозь листву, и меж стволов, и из-под ног, и из открытых небес смотрело на нас множество глаз, и нам было радостно ощущать их прикосновения.

Потом впереди появился лев. Гигантскими прыжками он приблизился, а потом побежал вдоль нашей цепочки, обнюхивая наши тела. Он пробежал от Александра до Павла и повернул обратно. Чистейшая золотая грива струилась в тиши, а теплый и мощный бок представлял соблазн для поглаживания. Мы гладили его, и всякий раз лев оглядывался и посматривал умным, чуть-чуть ироническим оком. Потом он прыжком возглавил наш отряд и повел нас дальше, в глубь Долины. Мы шли за чудом льва и готовились к встрече с новыми чудесами.



АНТАЛ ГИДАШ



ОСА

С венгерского

Не выскочила, между рам застряла
(за стеклами, здесь, рядом, виден мир —
их май цветущим вишеньем обмыл)
и бьется, бьется — падает, взлетает.

Напрасно тщится, только сломит крыльца.
Стекло как время — вырваться нет сил.
И страшно, страшно, если виден мир
и нет его. И как к нему пробиться?

В слезах цветенье вишни возле стекол.
Сперва звало. Теперь ему вина
Почувствовалась. Прянуть от окна,
да не пускают ветка и жужжанье.

Между двух стекол бьюсь я — труд мой жуток, —
жужжу, гужу, отбил свои крыла,
покуда не пробьюсь из-за стекла
иль упаду в стеклянный промежуток.

ПОСЛЕДНИЕ МЫСЛИ ПАБЛО НЕРУДЫ

Будут шептать,
конечно же, будут шептать
листья,
будут сиять,
конечно же, будут сиять
звезды,
будут летать,
конечно же, будут летать
тучи,
будет шуметь,
конечно же, будет шуметь
город,
когда и меня,
конечно же, и меня,
не станет.

Так оно будет,
 конечно же, так оно будет,
 если никак мне нельзя
 остаться.

НА МОЕ СЕМИДЕСЯТИЧЕТЫРЕХЛЕТИЕ

Пускай меня
 не ставят на
 стеллаж музея.
 Слишком рано!
 Мне не нужна
 роль старого говоруна
 и записного ветерана.
 Я быть во храмах
 не привык
 изображеньем жизни гладкой
 или ложиться на язык
 успокоительной облаткой.
 От этого я отучу!
 Не думайте, что я хочу,
 чтоб, как младенцу
 в колыбели,
 мне пели
 «баюшки-баю»!
 Но твердо я еще стою.
 В моей душе
 отнюдь не серо,
 хотя за тучи
 солнце село.
 Я, может быть,
 с трудом дышу,
 но коль придется,
 так спляшу.
 Я прожил жизнь
 без дураков —
 я так же против
 всех оков
 сегодня, как вчера.

* * *

Как мир велик!
 Всегда есть где-то
 Лето,
 И солнце где-то есть всегда,
 А где-то светится звезда.
 И ты себя присни туда,
 Где лето, солнце и звезда.

Перевел Д. САМОЙЛОВ.



СТИХИ ДЕННИСА ГЛОВЕРА

В веллингтонском аэропорту моей щеки коснулась колючая борода давнего знакомого.

— Это ты, Деннис?

— А кто же еще!..

Новозеландский поэт Деннис Гловер очень популярен в своей стране. В буквальном смысле слова его знает там старый и малый. Его именем прижизненно называют улицы. Еще со времен второй мировой войны он стал прочным другом советского народа. Тогда он, молодой лейтенант союзного флота, конвоировал на своем миноносце английские грузовые суда, направлявшиеся в наши северные порты. Его грудь заслуженно украшает советская медаль «За победу над Германией». Он специально прикрепил ее к пиджаку, встречая на далеких широтах московского поэта. Ведь именно по его приглашению я и приехал в Новую Зеландию летом прошедшего года.

Сам Гловер был в Советском Союзе всего два года назад. Мы встречали его в редакции «Нового мира». Сборник его стихов выпускает в ближайшее время издательство «Художественная литература». Из него мы взяли несколько стихотворений, предлагая этим более широкую публикацию творчества поэта, целиком посвященную нашей стране.

Напомним, что ровно год назад «Новый мир» выдвинул в числе других задач обращение к тематике далеких регионов. В течение наступившего 1978 года мы намереемся дать ряд произведений о людях и странах тихоокеанского бассейна. В них будут освещены проблемы развивающихся стран, разрядки международной напряженности, классовых взаимоотношений. И поездка моя, главного редактора «Нового мира», на юг Тихого океана также имела своей целью выполнение обещания, данного читателям журнала.

Сергей НАРОВЧАТОВ.

СТАРЫЙ МОРЯК

Я ничего не узнал у бранчливого моря,
Видел только горизонты долготерпения
Да зрелище ярких и тусклых пределов мира.
Так мать глядит на сына, не зная горя,
Не ведая, кем он вырастет —
Членом парламента, или убийцей,
Или христосиком добреньким и прекраснолицым.
Итак, я ничего не узнал у бранчливого моря
В вычурном кружевном воротнике,
Кроме бесшабашной решимости
Плыть без иллюзий, налегке.

ОТНОШЕНИЕ К МОЕЙ СМЕРТИ

Когда я тяжко занемог,
В тоске взмолился добрый бог:
«Мой боже, пусть он исцелится,
Вдвоем в раю нам не ужиться.
Пусть у него поэм с полста,
Но не пускай его сюда».

ТРИ ВЕЩИ

Насущный хлеб моего бытия:
 Море, звезда и гора —
 Вот мое триединство.
 Гора — это мышц игра,
 Звезда — высокая сень,
 А море о наш порог
 Полощется дважды в день.

ЭТЮД

Назову тебя феей. Имя как имя,
 Ты моя жена и развеселая подружка,
 Нет различия между ними.
 Люблю тебя одетой
 С дорогостоящей небрежностью,
 Но не меньше люблю, когда ты раздета.
 Люблю все твои прикосновенья и нежности.
 Люблю это тело феи и личико феи,
 Ты мне милее, чем та или эта,
 Желаннее любовного шепота.
 И все-таки я себя не отдам,
 Мне чертовски несносен дневной тарарам.
 Будь со мною,
 Будь моей феей, кумиром, женою.
 Жизнь так лжива, и узор скорбей ее сложен
 Сегодня — так, а вчерашний день
 Завтрашним уничтожен.

ПРОТИВ КЛЕВЕТНИКОВ

Все ваши мысли и разговоры,
 Которым я верил без оговорок,
 Как верит ребенок,
 Были разве что пищей для жадной своры,
 Были причиной драк и всяческих гонок.
 По вашей вине я играл им на руку —
 Им, со слепую гримасою
 Алчущим крови.
 Но успокойтесь, ведь вы, не поверив мне,
 Хотели только добра.
 И я вам желал добра.
 Это был мой первый опыт интриг,
 Мой пост и пикник —
 Жажда продлить каждый миг.
 Попутный ветер снес мои мачты.
 Все эти уловки и недомолвки
 Провели меня ловко.
 Но совесть моя прозрачней льда,
 Ибо я не лгал
 Никогда.

Перевела с английского А. СПАЛЬ.



ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

ВЛАДИМИР АБЫЗОВ

★

ЖИТЬ ЗДЕСЬ — НАМ!

База строительной индустрии... Не было такого словосочетания до этой гигантской стройки. Строительная индустрия — это такая организация, когда все процессы — от изготовления железобетонных панелей и блоков до монтажа здания и его тщательной отделки — объединены в единый конвейер, в единый производственный поток.

БСИ — это бесперебойная работа различного рода заводов (ВВЗ, КПД, ЗМК), комбинатов (ДСК, ДОК), механизированных, строительных и строительномонтажных управлений (УМС, УМСР, СУ, СМУ), транспорта (АХТ), доставляющего на стройплощадки все необходимое для четкой, бесперебойной работы подрядных, как правило, бригад. БСИ — это воплощение замысла проектировщиков и архитекторов, это, в конечном счете, наши с вами, читатель, уютные квартиры и не менее уютные общежития, широкие проспекты и подземные переходы, гостеприимные кафе и столовые, детские сады и школы, магазины, аптеки, Дома культуры и быта, кинотеатры.

БСИ в Набережных Челнах входит в состав Камгэсэнергостроя, превратившегося в крупнейшую строительную организацию страны. Производственное объединение Камгэсэнергострой завершает строительство КамАЗа, наращивает темпы возведения жилых и культурно-бытовых зданий в самом городе и его сельскохозяйственной зоне и, разумеется, строит Камский гидроэнергетический узел.

Совсем недавно Набережные Челны были небольшим серо-деревянным одноэтажным городом с тридцатитысячным населением. А теперь? Конечно же, лучше самому побывать в новых Челнах, прокатиться из конца в конец на трамвае, побродить по широким проспектам, заглянуть в Дом книги или в комфортабельные рестораны «Москва» и «Дружба», осмотреть микрорайоны с детскими яслями-садиками, спуститься к Каме и взглянуть на новые Челны с его фасадной стороны... Удивительный город. Он еще в стройке, но его очертания — четкие, гармоничные, с размахом и выдумкой — врежутся в память как яркое и не совсем обычное явление.

Город без окраин, без сараюшек и баранов. Без предприятий если не отравляющих, то загрязняющих окружающую среду, воздух, — производственная зона КамАЗа привольно раскинулась за широкой разделительной полосой, которая со временем густо зазеленеет лесопосадками. Город без суетливых, скученных перекрестков — их просто нет. А есть подземные переходы, тоннели для транспорта, развязки, объездные дороги. В новых Челнах лишь один светофор, на который смотрят как на анахронизм.

Можно подумать, что и трамвай анахронизм. Ничуть! Модернизированный, скоростной, он приобрел новое качество. В снежную круговерть, туман, слякоть трамвай здесь незаменим. Красные спаренные вагоны деловито идут через весь город, на многие километры протянувшийся вдоль Камы, собирая строителей и рабочих автограда, не оставляя никого и доставляя всех к месту работы в считан-

но короткое время, к нужному часу, к нужной минуте. Не за горами день, когда в час пик в пути будут находиться сразу до 100 тысяч рабочих и служащих автозавода! И потом, трамвай — это что-то основательное, надежное, создающее ощущение устоявшейся, размеренной жизни.

Такое же впечатление производят невысокие дома, прочно вросшие в землю среди высоченных зданий из бетона и стекла, — кирпичные, облицованные темными плитами, они, кажется, стоят здесь вечность, хотя от роду им года два-три.

Сейчас в городе жителей почти в 9 раз больше, чем было; к концу пятилетки их будет 400 тысяч.

И все это — БСИ, база строительной индустрии, тот количественно-качественный сдвиг, скачок, без которого просто невозможно было бы приступить к строительству в таких гигантских масштабах.

Непосредственное руководство подразделениями БСИ возложено на заместителя главного инженера Камгэсэнергостроя Анатолия Васильевича Чистякова.

Чистяков — старожил в этих краях. Окончив лет двадцать назад Московский инженерно-строительный институт, работал на сооружении Волгоградского гидроэнергетического узла, затем, это было уже в 1965 году, был направлен в Набережные Челны для освоения производства ячеистого бетона. Дело это было новое, сложное. Однако, освоив его, собирался обратно в Волгоград, но в Челнах началась стройка, о которой не мог не мечтать такой строитель, как Чистяков.

Мы выехали с ним на основную площадку БСИ, расположенную вдали от города, в степи. На полпути остановились. Чистяков вышел из машины и, ожидая меня, сделал несколько шагов по хрустящему снежному насту — среднего роста, крепкий, неторопливый, основательный, в черном распахнутом полушубке и светлой рубашке с галстуком.

— Посмотрите вокруг, — сказал он, взмахивая перчатками, которые держал в одной руке. — По-моему, интересно.

С той стороны, откуда мы приехали, сквозь туманную морозную дымку просматривались очертания города. Дома казались кубиками на белоснежном листе ватмана. Однако впечатление это рассеялось тотчас же, когда там, вдали, на фоне светлых зданий я увидел движущиеся автомашины. А чуть ближе к нам — трамвай. Трамвай, высекающий искры в заснеженной степи!

В противоположной от города стороне — корпуса КамАЗа, слившиеся в четкую, бесконечно длинную серую полосу. Признаться, они не так впечатляли на расстоянии, как город — приземистые, без труб, без дыма. Какой же это завод, да еще и гигант, если не клубятся над ним дымы!

Трубы виднелись в стороне от КамАЗа — то были ТЭЦ и заводы, принадлежащие БСИ.

— Когда решался вопрос, — сказал Чистяков, — где разворачивать нашу основную базу, мнения разошлись. Одним хотелось разместиться в городе, поближе к реке — производство железобетона требует много воды, — другим, наоборот, вплотную к КамАЗу: дорог-то еще не было! Выбрали золотую середину. И, как видите, не промахнулись: хоть и в чистом поле, зато рукой подать и до города и до КамАЗа.

Первым на нашем пути оказался завод металлоконструкций (ЗМК), как и все здесь, в новых Челнах, поражающий своими необычными размерами. Под высокими сводами пролетов двигались, позванивая, мостовые краны, переноса тяжелые пачки арматурной проволоки, какие-то трубы, ферму — составную часть будущего моста. Вспыхивали огни электросварки, обливая все вокруг слепящей синевой, звенел, скрежетал металл, который прессовали, рубили, гнули на многочисленных станках.

— Впечатляет? — донесся до меня сквозь производственный шум голос Чистякова.

Я кивнул в ответ.

Когда мы переступили высокий порог двери, врезанной в гигантские ворота, Чистяков сказал:

— Завод-универсал.— И тотчас же, усмехаясь, добавил: — Поневоле, — Не понимаю,— искренне признался я, предлагая ему сигарету.
— Спасибо. У меня свой сорт. Астма, будь она неладна, иногда прихватывает.— И Чистяков вытащил из кармана полушубка пачку крепчайших кубинских сигарет без фильтра.— Только этими и спасаюсь... Так вот,— продолжал он, не спеша, вразвалку направляясь к машине,— вы знаете, что мы получаем металлоконструкции со всех концов страны. А они нередко задерживаются в пути. Нет-нет да и проморгают наши снабженцы, не закажут вовремя. А то и так бывает: придет какая-нибудь машина, а в ней чего-то не хватает. Мелочь вроде, а в дело не пустишь. А сроки поджимают! Вот и заделывает эти прорехи наш завод.

— Какой же выход?

Чистяков ответил, когда мы были в машине:

— Надо расширяться. Надо делать все на месте. Самим. Комплектно. Серийно. Как на КамАЗе.

Завод железобетонных изделий (ЖБИ-210) пахнул на нас влажным теплом. Здесь тоже все было гигантских размеров — стены, пролеты, полигоны, на которых отливались панели и блоки, станки с бешено вращающимися полостями, в которых, словно в центрифуге, крутился, принимая нужную форму и затвердевая, бетон. А по соседству — ритмичный стук установки, которая штамповала и подвсеговала обжигу облицовочную плитку... Шум движущихся кранов, нестерпимый треск вибраторов, пар, вырывающийся из форм, в которых в определенном тепловом режиме готовились железобетонные детали будущих зданий, дорог, подземных сводов.

На участке отделки потише. В бетонных коробках, где уже были установлены ванны и прочие принадлежности санузла, девочки и женщины облицовывали стены плиткой. Плитка сочной голубизны, квадратики ее рисовались четко, симметрично. Отличная работа!

— Мощность этого завода двести с лишним тысяч квадратных метров жилой площади в год,— сказал Чистяков, закуривая кубинскую сигарету.

Интересно, подумал я, знает ли его лечащий врач о таком способе лечения астмы?..

— Но нам этого мало, мало! Скоро введем вторую очередь.

— А что вы будете делать с этими гигантами, когда город в основном отстроится?

— Да никогда он не отстроится!— Чистяков круто повернулся ко мне.— Вы видели города — я говорю о нашей стране,— которые прекращали свой рост? То-то же! Нам всегда всего будет мало. Предполагается, что в восьмидесятом году в Челнах будет четыреста тысяч человек. Но ведь это только КамАЗ. А новые заводы? Им тоже потребуются люди и, значит, жилье... Не-ет, дорогой товарищ,— закончил он, плотно усаживаясь на сиденье машины,— перепроизводство нам не угрожает... Ну-с, а теперь куда? Пожалуй, на ДОК.

Деревообрабатывающий комбинат выпускает двери, окна, паркетную плитку. Предприятие самое молодое на БСИ, некоторые участки только осваиваются. Что-то еще не ладится — работает здесь в основном молодежь, а оборудование сложное. Глаз да глаз нужен. И умение. Пока этого не хватает.

Мне очень понравилась автоматическая линия по изготовлению дверных филенок. Станки режут, строгают, нарезают пазы. Встретится сучок — участок, где он находится, вырезается, доска склеивается и снова идет в работу. В цехах комбината пахнет смолой, светло здесь и даже как-то празднично, весело — может быть, оттого, что повсюду молодые улыбающиеся лица.

Когда мы шли по складу готовой продукции в сопровождении директора комбината, Чистяков неожиданно остановился.

— Что это?— хмуро спросил он, ни на кого не глядя.

— Дверные коробки,— ответил директор.

— Брак!—отрезал Чистяков и указал на шероховатую поверхность доски.— Не для кого-нибудь строим. Для себя. Нам здесь жить. В доработку.

Помимо тех предприятий, на которых я побывал с Чистяковым, в состав БСИ входят заводы: крупнопанельного домостроения (КПД-240) мощностью 240 тысяч квадратных метров жилой площади в год, растворобетонные, причем у одного из них участок даже в Казани, заводы железобетонных конструкций в Зайнске, что находится в сорока километрах от Набережных Челнов, керамзитового гравия, красного и силикатного кирпича, цех резки и шлифовки гранита и мрамора... Солидная создана база за эти считанные годы строительства автограда!

В самом начале этого рассказа упоминался ЗЯБ — завод ячеистого бетона. На нем я побывал на другой день, уже без Анатолия Васильевича.

Меня встретил светлоглазый худощавый человек, интеллигентный, предупредительный; на лацкане пиджака — золотой знак лауреата Государственной премии СССР. Это был главный инженер завода Фарит Салимгареев, коренной челинец, начинавший на ЗЯБе, как говорят строители, с нулевой отметки. Отсюда он уходил служить на флот, потом уезжал на учебу в институт и неизменно возвращался на родной завод. В его кабинете, просторном, светлом, образцы изделий из ячеистого бетона: плиты, кубы, какие-то полости.

— В чем отличие ячеистого бетона от обычного?

— А вы возьмите какой-нибудь образец в руки, — улыбнулся Салимгареев, явно предвкушая удовольствие от моего удивления.

Даже неспециалисту известно, насколько массивен, тяжел обычный бетон. Куб, который я взял в руки, был, пожалуй, легче дерева.

— Совершенно верно, — сказал Салимгареев, — кубометр дерева весит шестьсот—семьсот килограммов, а кубометр этого материала по ГОСТу, то есть высшей категории, триста пятьдесят. Наш же завод выпускает ячеистый бетон марки триста. А скоро перейдем на марку двести пятьдесят. Ячеистый бетон, или, как мы его называем, газобетон, ох как пришелся по душе строителям! Легкий, поддающийся механической обработке, это и отделочный материал и заполнитель, причем тепло держит куда лучше, чем обычный бетон и даже кирпич.

— Много вы его производите?

— Много, — ответил Салимгареев и, видно, по привычке тронул логарифмическую линейку, лежавшую у него под рукой на столе. — Судите сами: в шестьдесят пятом году, когда завод только-только становился на ноги, мы дали десять тысяч кубометров, а в прошлом году сто семьдесят шесть тысяч. Однако спрос всё увеличивается, и этот спрос мы обязаны удовлетворить.

— За счет расширения производственных площадей?

— Не только. — Салимгареев попытался пригладить взъерошенные волосы. — Реконструкция участков с устаревшей технологией — раз, переход на автоматизацию — два, улучшение условий труда рабочих — три и, что очень важно, более высокая организация производства.

— Например?

— Вот, скажем, раньше мы как-то не задумывались над тем, что теряли время на противопотоках. Арматурный цех в одной стороне, бетоносмесительный в другой. Что и какими путями идет, не суть важно. Лишь бы сошлось в одном месте — в цехе, где производятся панели и блоки. Теперь все иначе, все последовательно и четко: изготовление арматуры, приготовление бетона, заливка форм. Своего рода поток, конвейер.

По своей структуре завод ячеистого бетона схож с заводом железобетонных изделий. Одно лишь существенное различие: на ЖБИ воздух пропитан влагой, здесь сушь. Технология приготовления газобетона совершенно иная. Цемент здесь смешивается не со щебенкой, а с измельченным песком и известняком. Бетонный раствор заливается в формы не до краев, а примерно на две трети. На оставшуюся треть он подойдет как тесто, роль дрожжей в котором сыграет известняк... Но вот форма заполнилась до краев ровной, блестящей и пышной массой. Теперь ее в печь на очень сильное прогревание. А печь — это большого диаметра труба, куда формы вкатываются на специальных вагонетках — до тысячи тонн

будущего бетона одновременно! А после прогревания отдых. От готовых плит пышет жаром, и этот жар устремляется во все цехи...

Было обеденное время, однако начальника бетоносмесительного цеха Николая Павловича Охотникова мы застали за его рабочим столом. Охотников чуваш, в Татарии живет давно, накрепко осел здесь. Широколицый, располневший, с сединой на висках. Строил этот завод, осваивал производство ячеистого бетона вместе с Анатолием Васильевичем Чистяковым. Мне сказали, что Охотников долгое время был председателем заводского комитета профсоюза. И поэтому я спросил его, как отразилась гигантская стройка в Челнах на жизни заводского коллектива.

— Отразилась, — едва заметно вздохнул Охотников и почему-то посмотрел на Салимгареева. Но тот сделал вид, что ничего этого не заметил. — А по какой линии интересуют вас изменения? По производственной или житейской? У нас, к примеру, рационализаторы хорошо работают. В этом плане очень большой экономический эффект.

Старик хитрил. Но я сказал, что рационализаторы меня пока не интересуют, а вот житейская сторона...

— Откровенно?

— Как же иначе?

— Раньше мы самостоятельными были, подчинялись прямо Москве. Что ни год, то жилой дом, шестьдесят квартир. Идут на работу люди и видят, как поднимаются этажи. Идут и радуются: скоро и мне квартиру дадут! Или вот путевки. Я как предзавкома знал, сколько у меня будет путевок. Поэтому и коллектив знал. А теперь? В общем котле. Дают, конечно, но сколько и когда? Так что по сравнению с прошлым...

— Хорошо. А по производственной линии?

— Такая же пегрушка. Раньше у нас фонды были твердые, снабжение стабильное. Вот, скажем, песок. Поставлял нам его Минречфлот. Сколько нужно, столько и давал. А теперь сокращает.

— Не сокращает, — вклинился в разговор Салимгареев. — Просто потребности у Челнов стали другие.

— Но нам-то от этого не легче! — развел руками Охотников.

— Конечно, нет. Но этот вопрос решается. — Салимгареев повернулся ко мне. — В ближайшее время предполагается построить завод на правом берегу.

— Улита едет, — усмехнулся Охотников.

— Построят, — убежденно произнес Салимгареев. — Вон какой город отгрохали! И какой завод! — Он умолил, затем улыбнулся и совершенно иным тоном сказал: — Может быть, прозы хватит? Может быть, немного поэзии, а? — И выжидающе посмотрел на меня.

Мы спустились на первый этаж и вошли в тесную комнату, вдоль стен которой стояли шкафы с образцами ячеистого бетона, папками, книгами.

— Знакомьтесь — начальник нашей лаборатории Рудольф Алексеевич Фишер, кандидат в кандидаты наук и... скульптор.

— Ну уж и скульптор, — слегка смутился высокий светловолосый человек средних лет, вставая из-за стола и крепко, энергично пожимая мою руку.

— Вот посмотрите, — между тем произнес Салимгареев.

Рядом со столом начальника лаборатории стоял — что бы вы подумали? — женский торс. Я искоса взглянул на Салимгареева. Нет, главный инженер не шутил, говоря о поэзии. Скульптура была светло-серого цвета, мягкие, плавные линии, тщательность отделки.

— Газобетон?

— Газобетон, — рассмеялся Фишер. — Представляете, что можно делать из этого чудо-материала! — горячо произнес он. — Скульптуры, фризмы, колонны для различных интерьеров — э, да что там! Посмотрите на фактуру — глаз не оторвать! Представляете, как это украсит Дворцы культуры, кинотеатры, школы — город!

Когда Фишер высказался и немного успокоился, я спросил у него:

- И давно вы занимаетесь ваянием?
- Да есть уже стаж, — не очень охотно ответил он.
- Показывали свои работы специалистам?
- Да он не только показывал, — сказал не без гордости за своего сотрудника Салимгареев, — работы Рудольфа Алексеевича на выставках бывали. В Казани, в Москве.
- И успешно?
- Судя по тому, что скульптуры не возвращают, да.

Создание мощной индустриальной базы позволило набережночелнинцам развернуть невиданное по размаху строительство — свыше миллиона рублей осваивается ежедневно. В небывало короткий срок завершено сооружение заводских корпусов — свыше двух миллионов квадратных метров производственных площадей! Строится город — только за год сдано 400 с лишним тысяч квадратных метров жилья, 9 детских дошкольных учреждений и 5 школ. Причем все это — и жилые дома, и школы, и детские ясли-садики — по самым последним проектам, улучшенной планировки и наивысшей комфортабельности. Параллельно со строительством автогиганта и города большая работа выполнена в Пригородной сельскохозяйственной зоне, снабжающей, и неплохо снабжающей, продуктами жителей Набережных Челнов, — фабрика свинины на 54 тысячи голов, несколько комплексов по производству мяса и молока, птицефабрика на 200 тысяч кур-несушек, тепличный комбинат площадью 18 гектаров, где даже в лютую зимнюю стужу зеленеют огурцы и лук, а под мощными электролампами румянятся помидоры.

К размаху и темпам нам не привыкать. Магнитка и Днепрогэс, Комсомольск, Братск, Тольятти... Однако такого, что свершается на Каме, у нас в стране еще не было ни по масштабу, ни по размаху капитальных вложений, ни по темпам сооружения. От закладки первого камня до выпуска первого автомобиля — всего лишь шесть лет!

Не было такого и за рубежом. Господин Форд, глава известной американской автомобильной фирмы, побывав в Набережных Челнах, сказал: «То, что вы делаете здесь, на Каме, не под силу ни одной стране с частным капиталом. Мы не в состоянии сконцентрировать такое количество средств и людских ресурсов».

Автоград на Каме строила и продолжает строить вся наша огромная, многонациональная страна. На КамАЗ работают более 100 научно-исследовательских и проектных организаций, им занимаются 8 министерств и ведомств, около 5 тысяч заводов, комбинатов и фабрик из 300 городов поставляют строительную технику, оборудование. Идут поставки из-за рубежа. На стройке трудятся посланцы почти всех наших союзных республик.

В объединении Камгэсэнергострой, крупнейшем строительном объединении страны, 70 тысяч человек, около десятка трестов, или, как их здесь называют в обиходе, управлений: Автозаводстрой, Металлургстрой, Гидрострой, осуществляющий строительство Камской ГЭС, Водстрой, готовящий зону затопления, управление строительства города, домостроительный комбинат, Сельстрой, управление строительства дорог. Их работа неразрывно связана с БСИ — базой строительной индустрии.

Как же управляется, взаимодействует этот огромный, сложный производственный организм?

Разумеется, здесь все централизовано: кардинальные вопросы решаются у начальника объединения и его главного инженера, детализация этих вопросов — в трестах. Ничего необычного в этой структуре нет. Однако в ней есть чисто внутреннее отличие: заместителями начальника объединения Камгэсэнергострой и заместителями главного инженера работают опытнишие специалисты. Это не просто замы. Это полновластные и ответственные руководители, каждый из которых мог бы возглавить крупную стройку. Впрочем, некоторые из них и возглавляли — первый заместитель начальника Камгэсэнергостроя Евгений Никанорович Батенчук приехал в Набережные Челны с заполярного Виллоя, где

руководил стройкой ГЭС. Опытные руководители не только в высшем звене. И в среднем — вплоть до начальников участков, прорабов, мастеров. О бригадире, его роли на стройке будет сказано чуть ниже.

Такая гигантская стройка, как КамАЗ, не могла не вобрать в себя достижения научно-технической революции. Собственно, сама стройка — детище научного прогресса, величайший научно-технический эксперимент. Тут не подсчитаешь с карандашом в руках, сколько, скажем, потребуется металла, леса, транспорта на тот или иной объект сегодня, завтра, через неделю. Тут не арифметика, а высшая математика повсюду, везде.

Информационно-вычислительный центр, а точнее, лишь одна его линия АСУС (автоматическая система управления строительством), полностью решает вопросы «бетон» и «раствор». ЭВМ дает наиболее рациональный график для работы БСИ и строительных подразделений и строго контролирует его выполнение. ЭВМ рассчитывает рейсы автомобилей по часам и минутам, оформляет расчеты за бетон и раствор, ведет учет расходования строительных материалов, железобетона, запасных частей для автотранспорта и так далее. С помощью АСУС многие вопросы строительства решаются быстро, четко и, надо сказать, бескомпромиссно.

Современная, передовая стройка потребовала рабочих высокой квалификации. Это была одна из серьезнейших проблем. На строительстве автограда все максимально механизировано, разработаны сетевые графики. Малейшая заминка в одном звене тотчас же отражается на целом участке. А приезжала сюда в основном молодежь, не имевшая специального образования. Ее надо было учить — на одном энтузиазме далеко не уедешь. Была организована широко разветвленная система обучения — учебные комбинаты, производственно-технические училища, техникумы. Казанский инженерно-строительный институт развернул в Набережных Челнах свой филиал. Московский техникум тяжелого машиностроения создал здесь свой учебно-консультационный пункт. Но и этого все равно было мало. И тогда парни и девушки посылались на учебу в другие города. Ну как тут не вспомнить мистера Форда!

Анатолий Васильевич Чистяков мне говорил:

— По сравнению со стройкой на Волге, где я начинал, уровень специализации и общей культуры среди молодежи вырос неизмеримо. Да что сравнивать со стройкой на Волге! Это заметно даже по сравнению с первыми годами строительства здесь, в Челнах.

За последние годы у нас в стране заметно выросла роль бригадира. В Набережных Челнах, по словам Евгения Никаноровича Батенчука, эта тенденция была доведена до своего логического завершения: бригадир стал полновластным, авторитетным хозяином на порученном ему участке.

Бригады здесь, как правило, большие, комплексные, в которых 40, а то и 60 человек. Работают они звеньями, круглосуточно. Сделанное одним звеном передается другому. Ответ держит вся бригада как коллективный исполнитель. На стройке выросли замечательные кадры бригадиров. Лучшие из лучших недавно удостоены высокого звания Героя Социалистического Труда.

И вот тут, говоря об утверждении бригад как основной строительной ячейки, нельзя не сказать о базе строительной индустрии. БСИ явилась той благодатной почвой, на которой во всю ширь развернулись производственно-творческие возможности бригад. На строительстве автограда неукоснительно растет число бригад, переходящих на хозрасчетный подряд. Вот динамика их количественного роста: 1971 год — 1, 1974-й — 33, 1976-й — 124. В этом году предполагается увеличение хозрасчетных бригад до 250. Хозрасчетный подряд — это не только высокие и стабильные заработки. Это главным образом зрелость рабочих, их умение максимально применить свои силы, показать свои возможности, бережливое отношение к механизмам и материалам. Все это в конечном счете воспитывает коммунистическое отношение к труду.

Не могу сказать, как обстоит дело в других городах, но в Набережных Челнах на подрядный метод переходят не только строительно-монтажные брига-

ды. В управлении механизации строительства (УМС) на подряд перешли десятки подразделений, костяк которых составляют скреперисты и водители автомашин.

Лучней из лучших была в прошлом году комплексная бригада Константина Михайловича Альчинова. Мне довелось присутствовать на чествовании этой бригады, и я считаю, что мне повезло — настолько незабываем был тот февральский вечер. Чествование происходило во Дворце культуры «Энергетик», прекрасном творении самих строителей. На сцену вызвали всю бригаду — 13 человек. Рослые, крепкие парни. Хорошо, со вкусом одеты. Растерянно улыбающиеся. И смутившиеся оттого, что на них налетела туча фотокорреспондентов — и местных и приезжих. А сам бригадир, невысокий, подвижный, с обветренным лицом, радуясь за своих ребят, отошел в сторожку. Он не заметил, что сбоку стоит микрофон. И то, что он сказал вроде бы для себя, услышал весь зал:

— Какие же вы у меня красивые! Первый раз такими вас вижу.

Зал дрогнул от аплодисментов. А оркестр вдруг заиграл туш.

Бригада Альчинова одна из старейших на КамАЗе. И одна из самых уважаемых. Это ей доверили в мае 1971 года уложить первый кубометр бетона в основание пресово-рамного завода. С тех пор бригадой сделано очень много. И не только много, но и добротнo. В 1975 году это была лучшая бригада Министерства энергетики СССР. А теперь вот лучшая в Набережных Челнах. 13 богатырей, из которых каждый и бетонщик, и монтажник, и электросварщик. Стоят вот сейчас на сцене с цветами в руках. Улыбаются, слушая задушевные слова в свой адрес. Это на них работают заводы и участки БСИ. Это им в конечном счете предстоит завтра монтировать металлоконструкции, которые сегодня готовит для них коллектив ЗМК, укладывать плиты и блоки, которые остывают под высокими сводами ЖБИ и ЗЯБа. 13 парней принимают поздравления. А вместе с ними все строители КамАЗа и его БСИ.

В Набережных Челнах время московское. Но светает раньше, чем в Москве, — как-никак добрая тысяча километров на восток, к солнцу. И работа здесь по сравнению с Москвой тоже начинается раньше.

Главный архитектор города Ринат Насыров попросил зайти к нему в восемь утра — иного времени для спокойного и обстоятельного разговора у него просто не было. С большим нетерпением ожидал я этой встречи. И вот почему.

В отпущенное мне командировкой время я старался как можно больше ходить по городу. Многое мне было тут по душе. На оживленных улицах порядок, чистота. Стайки ребят возле мороженщиц — и это в тридцатиградусный мороз! Нет-нет да и встречалась бригада народных дружинников. Побывал я, и не раз, на заводах, на главном конвейере, с которого сходят красавцы богатыри «КамАЗы». С большим интересом останавливался на улицах перед красочными содержательными стендами предприятий и организаций, на которых масса самой разнообразной информации из производственной и общественной жизни коллективов. Мимо стенда, или, как это тут зовется, пресс-центра, Камгэсэнергостроя я проходил каждый день по нескольку раз и невольно задерживался — настолько он привлекателен: мастерски выполненные фотографии, чеканка, стелы, флаги, различного рода сводки, сообщения, в том числе и о БСИ.

И вот, встречаясь с набережночелнинцами, всматриваясь в их лица на улицах, во время бесед и официальных встреч, я волей-неволей иногда ловил себя на мысли: а нравятся ли им тут жить? В городе, построенном пусть по самым совершенным, но все-таки по стандартным, так называемым типовым, проектам? Не случайно возникал он, этот вопрос.

Однажды я побывал на заседании литературного объединения «Орфей». Среди начинающих литераторов люди самых разнообразных профессий, так сказать, разных слоев: инженер и плотник, слесарь и прораб, крановщица и художник, техник-строитель и сотрудник милиции, мастер производственного обучения и экономист. Трое из них студенты-заочники Литературного института имени

Горького. Собралось человек 30. Руководитель объединения открыл заседание такими словами:

— Дорогие друзья, за те две недели, что мы с вами не встречались, в городе появилось несколько новых улиц, проездов и бульваров. Опять к нам просьба дать им названия, имена.

Согласитесь, почетная общественная нагрузка.

По длинному столу, вокруг которого сидели члены объединения, поплыл лист бумаги, быстро заполнявшийся столбиком названий: проспект Молодогвардейцев, бульвар Звездный, улица Ветеранов, был тут и бульвар Начинающих Отцов и даже сквер Шалобаев.

Повеселились. Начали читать стихи и рассказы. Признаться, я ожидал в них откровений о своем городе, о новой жизни, о нарождающихся традициях — это ведь так естественно. Увы! Ни одного сочинения, посвященного Набережным Челнам и его людям, на этот раз я не услышал...

Ринат Насыров оказался высоким человеком с густой сединой. Как-то не вязалась эта седина с его молодежью, обаятельной улыбкой и статной фигурой.

— Простите за нескромный вопрос: сколько вам лет?

— Тридцать пять.

В Набережных Челнах я не раз удивлялся молодости ответственных работников. Насыров возглавил архитектурную службу города, когда ему было тридцать.

На улице ветер, мороз. А в просторном светлом кабинете уютно, тихо и очень тепло. На подоконнике пестрый колокольчик какого-то дикий заморского цветка. В углу кабинета на широком столе схема города, на схеме брусочки из белого поролон. Когда я появился у Насырова, он занимался перестановкой этих брусочков.

— Воспоминания о будущем?

Насыров улыбнулся:

— Воспоминания о прошлом. Да, да. В будущем году гидростроители перекроют Каму, и под воду уйдет большая часть старых Челнов. Вот прикидываю, как застраивать то, что останется.

И он, рассматривая схему, стал говорить о том, что городу триста пятьдесят лет и эту старину надо сохранить. Возвести тут новые, современные дома. Но так, чтобы они не заслонили прошлое, а, наоборот, подчеркнули, оттенили его.

— Но хватит о старине. Потом. — Насыров тряхнул седой шевелюрой и широким властным жестом сгреб в кучу брусочки из поролон. — Вас, конечно, интересует перспектива?

— И перспектива.

— К началу будущего тысячелетия Набережные Челны будут чуть ли не миллионным городом. Современным во всех отношениях. И вот тут-то возникают разного рода «но». Конечно, нашим архитекторам повезло как никогда: планировали наслаждаясь. Все заново! Строить, скажем, в Москве или Казани куда сложнее. Там что-то надо нести, при этом непременно что-то теряя. У нас иные проблемы. Главная — как утеплить, очеловечить город, возводящийся из железобетона и стекла. Вы поняли меня?

Я рассмеялся — именно об этом я хотел поговорить с главным архитектором, направляясь к нему.

— Когда мы начинали застройку города, у нас не было своей базы. Жилые дома — их детали, конечно, — мы получали из Москвы, Ленинграда, Казани, Куйбышева, Уфы. Откровенно говоря, это был день вчерашний. Но надо было строить и размещать людей. Поэтому и выглядят наши некоторые кварталы — в старой части города, в поселке ЗЯБа — несколько устаревшими. Теперь другое дело. Теперь в нашем распоряжении мощнейшая база строительной индустрии. Теперь мы сами разрабатываем проекты жилых домов повышенной комфортабельности и строим их сами! За что, к слову сказать, группа набережночелнинцев получила Государственную премию СССР.

— Главный инженер ЗЯБа в их числе? — вспомнил я золотой знак на лацкане пиджака Фарита Салимгареева.

— Совершенно верно.— Насыров разложил на столе фотографии макета города — его улиц, центральной площади, зоны отдыха.— Как вы уже знаете, Набережные Челны состоят из двух больших районов, протянувшихся трех-четырёхкилометровой полосой по живописному берегу Камы. Городской центр формируется в северо-восточной части этой полосы, на наивысших точках рельефа, и будет обращен к Камскому водохранилищу. Весь деловой центр, торговые ряды и театральная площадь покоятся на гигантской двухэтажной платформе. На ней разместятся также двенадцатиэтажные жилые дома, двадцатипятиэтажные небоскребы, в плане напоминающие трилистник. Уже начато строительство двадцатичетырёхэтажной круглой гостиницы, а сооружение двухзального кинотеатра уже закончено.. Не слишком ли много информации? —улыбнулся Насыров.

— Пока нет. Как же вы все-таки планируете утеплить, сделать город удобным для человека?

— Вот к этому мы и подходим. Нередко журналисты пишут о Набережных Челнах — город будущего. Я категорически против. Это современный город. Здесь все делается для того, чтобы человеку жилось легко и радостно. В микрорайонах для этой жизни есть все — магазины, детские садики, школы, библиотеки, учреждения культуры. Внешний вид зданий, их сочетание, взаимосвязь, интерьер — все это создается в определенном стиле, с учетом задач эстетических, психологических и, если хотите, социальных. Человек создает город. Но и город должен воздействовать на человека в самом высоком и благородном смысле. Поэтому мы не просто планируем — вот здесь, скажем, кафе или уголок отдыха. Прежде чем это сделать, мы обязаны учесть, кто будет в основном этим пользоваться — молодежь, дети или люди преклонного возраста. И еще: все на улицах, бульварах и площадях, все это должно быть человеческих масштабов — простите за профессиональное выражение. Без базы строительной индустрии об этом нельзя было и думать — она сделает, и уже делает, для этого все... Но вернемся еще раз к центру города. Даже здесь, несмотря на масштабность замыслов, все предназначается человеку — п е ш е х о д у. А зона отдыха, непосредственно примыкающая к городу, на живописном берегу Камы? Уверяю, она станет, да уже и стала очень популярной у наших жителей...

Насыров подошел к окну, за которым разгорался новый день, задумчиво посмотрел на пестрый колоколец цветка. Затем, круто повернувшись, рассмеялся.

— Когда кто-нибудь у нас получает квартиру, то старается получить ее в старом городе, на Гидрострое.

— Но почему? — невольно вырвалось у меня.

— Вот именно — почему? — продолжал Насыров.— Конечно, в поселке гидростроителей сейчас уютней — обжито все, налажено. Но я живу в новом городе. Да, там еще много пыли от разрытых котлованов и траншей, маловато зелени... Но поверьте, пройдет год-два — и новые Челны станут удивительным городом. Теплым, человечным. Нам тут жить, нам его и обживать. И обживем!..



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ЕВГЕНИЙ НОСКОВ,
АЛЕКСАНДР ТАРАДАНКИН



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗ УГОДКИ

...партизаны это — благороднейшие граждане подвергшейся нападению страны... Тесно взаимодействуя с армией, партизаны тем самым не только усиливают свои удары по врагу, но и предпринимают более обширные и тактически сложные операции, выбивают целые немецкие гарнизоны из деревень и районных центров, освобождают от оккупантов значительные территории, восстанавливают в тылу немецких войск Советскую власть, — власть не мирного времени, а оцетинившуюся всеми доступными видами вооружения для борьбы с заклятым врагом.

М. И. Калинин.

НА ПОДСТУПАХ К МОСКВЕ

Два документа.

Первый. Сообщение Совинформбюро от 29 ноября 1941 года:
«24 ноября несколько партизанских отрядов под командованием товарищей Ж., К., П., Б., объединившихся для совместных действий против оккупантов, совершили налет на крупный населенный пункт, в котором расположился штаб одного из войсковых соединений немецко-фашистской армии. Ночью после тщательной разведки славные советские патриоты обрушились на ничего не подозревавшего врага. Прервав сначала всякую связь немецкого штаба со своими частями, партизаны затем огнем и гранатами уничтожили несколько больших зданий, в которых расположились воинские учреждения фашистов. Разгромлен штаб немецкого корпуса. Захвачены важные документы. Отважные бойцы-партизаны истребили около 600 немцев, в том числе много офицеров, и уничтожили склад с горючим, авторемонтную базу, 80 грузовых машин, 23 легковых машины, 4 танка, бронемашину, обоз с боеприпасами и несколько пулеметных точек».

Второй. Из Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 1942 года:

«За отвагу и героизм, проявленные в партизанской борьбе в тылу против немецких захватчиков, присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»:

1. Гурьянову Михаилу Алексеевичу.
2. Космодемьянской Зое Анатольевне.
3. Кузину Илье Николаевичу.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин,
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин».

Оба упомянутых документа связывает судьба одного человека, фамилия которого первой значится в приведенном выше указе. Звание Героя он получил по-

сле той операции, названной в сообщении Совинформбюро. Гурьяновым открывается список партизан, удостоенных в минувшей войне золотых геройских звезд.

...К ноябрю 1941 года Серпухов целиком жил войной. В горкоме и райкоме партии, в райисполкоме давно забыли, что такое сон. Вот уже месяц как Серпухов стал тем прифронтовым перекрестком, через который постоянно следовали воинские части, по железной дороге и на машинах везли раненых, боеприпасы, продукты. Сюда через окна в линии фронта пробирались гонцы партизанских подразделений Подмосковья, уже действовавших в тылу врага. Подпольный окружной комитет партии возглавил первый заместитель Московского облисполкома Николай Михайлович Васильев. В сферу его руководства входили Серпухов и несколько районов, в том числе Малоярославецкий, Высокининский и Угодско-Заводский, к этому времени уже почти целиком захваченные врагом.

Секретарь Серпуховского райкома ВКП(б) по кадрам Михаил Ильич Новиков отвечал за формирование партизанского отряда. Днем занимался текущей работой в городе, а ночами часто ходил пешком на лесную базу начавшего активные действия серпуховского отряда «Смерть фашизму». Понятие «текущая работа» для секретаря райкома партии в корне отличалось от мирной поры. На улицах росли баррикады. Дом Советов стал в те дни штабом всей жизни города. Партийные и советские работники, не ушедшие с вечера на партизанскую базу или вернувшиеся со строительства оборонных объектов, домой уже не попадали, ибо здесь многие неотложные дела приходилось решать ночью. Эту пору Новиков хорошо помнит. Как и встречу с нашим героем.

...В один из студеных вечеров в его кабинет заглянул высокий широкоплечий человек в шубе, подпоясанный ремнем. Новиков не сразу признал в нем председателя Угодско-Заводского райисполкома. Небрит, глаза воспаленные.

— Откуда, Михаил Алексеевич? — спросил Новиков.

— Оттуда, — устало улыбнулся Гурьянов. — Приютите до утра?

Новиков знал, что здесь, в Серпухове, у подпольного Угодско-Заводского райкома партии существовали свои конспиративные квартиры и что Гурьянов мог бы остановиться и там. Но раз он пришел сюда, значит, так было нужно. Все могло случиться. Враг стоял слишком близко. Серпухов, как Боровск или та же Угодка, мог быть захвачен противником.

Гурьянов сказал, что должен увидеться с Васильевым¹, а потом на денек съездить в Москву. Новиков собрал нехитрый ужин: открыл банку мясных консервов, принес хлеб, горячий артельный чайник. Трапезу с Гурьяновым разделили еще двое вернувшихся с объектов райкомовцев. А через полчаса, накрывшись шубой и подогнув длинные ноги, Гурьянов уже крепко спал, не обращая внимания на телефонные звонки и сирены воздушной тревоги. В пять утра, словно разбуженный будильником, он поднялся, тихо попросил Новикова:

— Помогите, Михаил Ильич, встретиться с Васильевым. Дайте провожатого.

...Из воспоминаний Н. М. Васильева:

«Согласно инструкции, мы постоянно меняли место нахождения окружного комитета партии. То он работал в доме номер 3 на Серпуховской улице, то в землянке на окраине города, то в подвале текстильной фабрики. С нами были связаны лишь особо доверенные лица.

Так началась моя работа в подпольном окружном ВКП(б). Формировать аппарат нового партийного органа нужно было мне самому. Из Угодского Завода я взял к себе первого секретаря райкома Алихова. А Курбатова — секретаря по кадрам — назначил на подпольный райком. Гурьянова же я хорошо знал еще по работе в Мособлисполкоме. Он приезжал из Угодки решать различные вопросы. Ему тоже была определена сфера будущей деятельности — комиссар партизанского отряда.

¹ Н. М. Васильев до работы в Москве был председателем исполкома районного Совета в Коломне, Дмитрове. Затем — первый секретарь Дмитровского райкома ВКП(б). В конце Великой Отечественной войны Николай Михайлович возглавлял комитет Госконтроля РСФСР. Потом был членом Государственного комитета по внешнеэкономическим связям Совета Министров СССР. Ныне персональный пенсионер, живет в Москве.

В октябре окружном утвердил командиром партизанского отряда военного человека, пограничника, старшего лейтенанта Виктора Карасева, хорошо зарекомендовавшего себя в пору создания и действий там истребительного батальона. К нему я направил комиссаром Гурьянова, хотя прежде он намечался в другое формирование.

В тот раз, в ноябре, Гурьянов пришел в окружном рано утром, и я выслушал его. Он доложил обстановку в районе и о том, как отряд готовится к будущей операции во взаимодействии с военными. Доложил о том, что уже подошла подмога от войск фронта. Предстояло уточнить некоторые детали готовящейся операции, и я, объяснив Михаилу Алексеевичу, к кому еще следует обратиться, санкционировал его поездку в Москву, затем он должен был вернуться в отряд.

Из воспоминаний М. И. Новикова:

«Гурьянов ко мне заглянул только через двое суток. Сказал, что идет назад, к себе. Сказал так спокойно, словно речь шла о чем-то обыденном, а не об опасном переходе линии фронта. Спросил я его о поездке в Москву, о планах. Он улыбнулся: был в обкоме у Яковлева, говорил с военными, теперь надо торопиться, а сообщить пока ничего больше не могу, скоро услышите...»

Через несколько дней на коротком совещании в окружном Васильев нам сообщил: в Угодке проведена крупная партизанская операция...»

Потом было сообщение Совинформбюро от 29 ноября 1941 года. Той операции партизан отведено достойное место в военной и политической литературе. Имя Гурьянова упомянуто в «Истории Коммунистической партии Советского Союза», в «Истории Великой Отечественной войны».

Напомним, что тогда ударные группировки фашистских войск на трех главных направлениях ломались к Ленинграду, Москве и Киеву. На московском направлении враг стоял буквально на каждом километре, и народным мстителям приходилось действовать без преувеличения непосредственно в боевых порядках противника. Здесь, в Подмосковье, родилось активное партизанское движение, превратившееся в грозную силу. По сути дела, тогда и начали закладываться основы тактического и оперативного взаимодействия партизан и Красной Армии.

Силу партизан к осени сорок первого оккупанты почувствовали крепко и вынуждены были это признать. Но признать тайно, с грифом «Совершенно секретно! Только для командования!».

В приказе начальника штаба верховного командования вооруженных сил гитлеровской Германии Кейтеля от 16 сентября 1941 года отмечалось: «С начала войны против Советской России на оккупированных Германией территориях повсеместно вспыхнуло коммунистическое повстанческое движение. Формы действий варьируются от пропагандистских мероприятий и нападений на отдельных военнослужащих вермахта до открытых восстаний и широкой войны...»²

«Приказ Сталина,— подчеркивал позже командующий группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал фон Клюге,— «создать в тылу немецкой армии невыносимые условия для врага» недалеко от выполнения»³.

«...всюду и везде, куда вторгались фашисты, начали активно действовать партизанские отряды, создаваемые и руководимые местными партийными организациями. Уже в 1941 г. на оккупированных территориях было создано более 800 подпольных горкомов, районных партийных центров, более 300 горкомов и райкомов комсомола. Боевая деятельность народных мстителей и тайный фронт подпольной работы стали фактором большого военно-политического значения, который надо было умело использовать для ослабления и уничтожения врага»⁴.

² «История второй мировой войны 1939—1945 гг.». В 12 томах. М. Воениздат. 1975, т. 4, стр. 128.

³ ПА ИИП при ЦК КПВ, ф. переводов, д. 61, л. 269.

⁴ Г. К. Жуков: Воспоминания и размышления. В 2 томах. М. Издательство АПН. 1974, т. 1, стр. 338—339.

Широчайший круг задач постоянно решали тогда и Советы, работа которых в военные годы освещена, на наш взгляд, недостаточно подробно и, бесспорно, требует еще глубокого исследования. В ту пору районные да и другие Советы не имели еще определенных законом полномочий в деле оборонной работы. Это и понятно. Столь суровая обстановка складывалась впервые.

ПО СЛЕДАМ ГЕРОЯ

Гурьянов... Попытки представить себе этого человека в динамике жизни долго нас ни к чему не приводили. Прочитано все что возможно. Увы, это короткие газетные информации и статьи, как правило, по одной схеме: бой в Угодке и несколько абзацев из строгих анкетных сухих сведений биографического характера. И обязательное утверждение: был принципиальным, деятельным, решительным, пользовался уважением людей, имел большое личное обаяние. Вот, собственно говоря, и все. И за сорок лет жизни всего-навсего две фотографии. До обидного мало.

Упомянем книгу «Пароль: «Родина», в основу которой положены, как сообщает аннотация, «подлинные события, происходившие... осенью 1941 года в лесах Подмосковья». В приключенческой этой повести много авторского домысла, но большинство героев названы своими именами и М. А. Гурьянов — один из действующих лиц. Однако опять же его жизнь, кроме нескольких месяцев 1941 года, лишь в общих данных. Авторы «Пароль: «Родина» за это винить нельзя. Они брали за основу короткий эпизод войны, и отступления в прошлое могли бы нарушить динамику сюжета. Но сам Михаил Алексеевич, его путь к подвигу, бесспорно, представляет интерес, ибо он олицетворяет образ многих советских работников того времени.

Гурьянов родился, работал в Московской области. Значит, можно было надеяться найти что-то о нем в архивах. С них мы и начали...

В Государственном архиве Мособлисполкома разговор был недолгим:

— Угодско-Заводский район? В сорок четвертом году он отошел к вновь созданной Калужской области. Все, что связано с ним, поищите там. На многое не рассчитывайте, ведь район был под оккупацией. Документы в большинстве случаев приходилось сжигать, чтобы не достались врагу.

Итак, Калуга. Чистый, ухоженный город. Город великого Циолковского и приветливых, участливых людей. Состоялась встреча с секретарем обкома КПСС Алексеем Васильевичем Аксеновым.

— Имя Гурьянова равно дорого и москвичам и калужанам — он наш общий герой, — говорил Аксенов. — Знаю, что в архивах угодских документов не густо. Попрошу, чтобы в нашем партийном архиве вам помогли...

Беседовали мы и с секретарем облисполкома Александром Яковлевичем Громовым.

— Можете рассчитывать на помощь хранителей и исследователей нашей истории.

Он пригласил к себе Валентину Николаевну Самцову, заведующую архивным отделом. С ее помощью отомкнули шкафы областного архива и краеведческого музея.

С надеждой листали мы пожелтевшие и хрупкие от времени бумаги. Да, Угодско-Заводский район, конечно, упоминается, но слишком скупо. В основном это документы, собранные уже после того, как фашистов изгнали из Подмосковья. И все же есть кое-какие штрихи деятельности Гурьянова в районе.

Из протокола заседания бюро Угодско-Заводского райкома ВКП(б):

«Поручить исполкому райсовета, т. Гурьянову (он был членом райкома. — Авт.) дать указание председателям колхозов об оказании помощи за счет колхозных фондов в первую очередь семьям военнослужащих... Принять к сведению сообщение тов. Гурьянова, что райсоветом выделено необходимое количество сенюкоса для семей мобилизованных, имеющих скот».

Из протокола заседания бюро Угодско-Заводского РК ВКП(б) от 23 июля 1941 года:

«Обязать председателя исполкома райсовета т. Гурьянова закрепить для взводов истребительного батальона на ночное время автомашины с необходимым запасом горючего. Дать указания председателям сельсоветов, колхозов выделить лошадей в распоряжение командиров взводов для выполнения срочных оперативных заданий... Председателям сельсоветов организовать при сельсоветах и поселковых пунктах группы содействия истребительному батальону».

По утверждению людей, связанных с работой райкома ВКП(б), исполкома районного Совета, было еще много заседаний очередных и экстренных. И решений, в которых Гурьянову вменялось в обязанность выполнить то или иное ответственное поручение. Но документальных подтверждений по уже известной причине мы обнаружить не смогли. Только воспоминания, которые собирали после войны местные товарищи. Касаются они главным образом последних дней перед оккупацией. Вроде предельно краткого рассказа Е. И. Ермаковой: «За день перед отъездом (на партизанскую базу. — Авт.) Гурьянова женщины из Трубино спросили его, можно ли забирать скот, который не успели угнать. Гурьянов сказал, чтобы брали скот и резали его, дабы не достался врагу».

А фашисты, как потом мы выяснили, в деревнях Трубино и Стрелковка свирепствовали изощренно. Позволим себе забегая вперед упомянуть в нескольких словах о селе Трубино, ибо до войны в нем часто бывал Михаил Алексеевич и в пору сева и в пору уборочной. Люди там рассказали, что Гурьянову очень нравилось расположение этого села на высоком месте. Раскинувшись на берегу Протвы, оно и ныне видно за простором полей далеко, по какой дороге ни едешь. А вокруг тех полей лесной ореол. Михаил Алексеевич считал, что «красотища тут российская такая яркая и сильная, что пиши с нее прелестные картины». И нравились ему еще древние церкви, сложенные мудрыми руками русских мастеров. Воскресенская, к примеру, была поставлена в 1674 году. А через восемнадцать лет по соседству — Знаменская. Последняя в плане словно корабль. И плыл он через хлебные волны к благодатным берегам великолепных былинных русских лесов, где белоствольные березы соседствовали с плечистыми широкими дубами, золотистыми телами высоких сосен и зелеными пиками елей... Как и все населенные пункты Угодско-Заводского района, Трубино сильно пострадало в дни оккупации. Церкви его оказались начисто разграбленными и оскверненными, много жилых домов сожжено. Мы упомянули Стрелковку, деревеньку вблизи Угодки, где родился Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. Ее немцы тоже почти целиком спалили.

Впрочем, так было повсеместно. Вот подлинный документ, воссоздающий страшную картину разрухи в районе после гитлеровского нашествия. Первый секретарь районного комитета партии (а еще недавно подпольного райкома) Александр Михайлович Курбатов на первой после изгнания оккупантов сессии районного Совета, на которой недосчитывалось больше половины депутатов, докладывал сложившуюся тяжелую обстановку. После подсчета всех потерь и многих молчаливых минут скорби в память погибших было принято это вот постановление:

«...в октябре 1941 года был полностью оккупирован и наш Угодско-Заводский район... 68 дней в нем хозяйничали гитлеровские бандиты. Около 100 человек мирного населения замучили и убили кровавые фашистские собаки... Замучили и повесили стойкого большевика, преданного сына партии и народа, активного борца с подлым врагом Михаила Алексеевича Гурьянова, председателя исполкома райсовета и члена бюро РК ВКП(б). Немецко-фашистские захватчики стерли с лица земли 27 селений, почти полностью разрушили районный центр, 2 фабрики и 4 артели, 2 промкомбината, сожгли 1939 домов, 12 полностью школ, больниц 2, 16 библиотек и клубов, отобрали у колхозников 1700 коров».

Позволим себе воспроизвести одно из партийных собраний в Угодско-Заводском районе. Оно происходило 17 января 1942 года. Протокол фиксировал: «При-

сутствуют 35 членов ВКП(б), 15 — кандидатов, актив... На повестке Дня только один вопрос: «О задаче парторганизации в связи с освобождением района от оккупантов»...»

Сколько нас осталось? — проблема совсем не простая. Потери, понесенные за два с небольшим месяца фашистского разгула, нельзя было сравнить ни с одной из бед, постигавших когда-либо эти земли. Дворы в селах считали больше по черным, обуглившимся столбам печных труб.

Сколько нас? — считают в семьях. Считают в колхозах. А сколько уже погибло? В некоторых деревнях вообще нет ни одного партийца... Но есть актив, проверенный в деле, — депутаты сельского, районного Совета. Правда, и этому звену нанесен огромный урон. И самое печальное — нет вожака. Когда предрика не стало, люди еще больше поняли вдруг, какой великолепный был это человек...

И Курбатова больше всего заботило, кто заменит предрика. Из местных угодских товарищей назвать никого не решился. «Нет среди них таких, как Гурьянов», — сказал в Московском облисполкоме. А именно такой человек сейчас был нужен позарез району.

...Но вернемся к поиску. Нам же хотелось как можно больше узнать о Гурьянове живом. Мы очень рассчитывали на сведения, которые надеялись собрать в селе Жуково — так ныне называется Угодский Завод, а район, соответственно, получил наименование Жуковский.

— Прежде всего вам следует повстречаться там с Александром Дмитриевичем Терешинным, — советовали нам в Калуге, — создателем народного краеведческого музея, страстным собирателем всего, что связано с боевым прошлым родных мест. Кстати, он хорошо лично знал Гурьянова. Терешин поможет вам связаться с бывшими партизанами угодско-заводского отряда.

Начались встречи, беседы увлекательные и порой неожиданные. Мы еще к ним вернемся в ходе повествования. Очень много дала нам и поездка с Терешинным в Обнинск к бывшему секретарю подпольного райкома Угодки Александру Михайловичу Курбатову. Беседы записывались на магнитофонную пленку, с документов снимались копии. Но речь в них опять же шла в основном о Гурьянове-бойце, о Гурьянове — комиссаре отряда. В этом качестве он пребывал лишь считанные дни. А Михаил Алексеевич, как нам было известно, слыл незаурядным советским руководящим работником. И прежде чем приехать в Угодку, прошел хорошую школу.

По прошествии трех десятилетий делалась попытка установить черты его характера, выявить стиль работы в пору, когда он был председателем райисполкома. И мало-помалу стал складываться его образ.

Предстояло еще побывать на его родине — в поселке Петровском Истринского района Московской области. Мы знали, что там он провел детские годы, а затем, поработав на каком-то производстве несколько лет рабочим, был избран председателем поселкового Совета. Из родных Гурьянова здесь, к великому сожалению, в живых никого уже не осталось, не нашлось.

Многое позволила нам установить поездка в подмосковный город Дедовск. Там он поработал председателем поссовета (Дедовск ранее был поселком). Новые штрихи из его детства и юношества дала встреча с женой Михаила Алексеевича Марией Осиповной, проживающей в доме № 10 по улице, носящей сегодня имя Гурьянова. А ведь его супруга не только слышала рассказы матери и сестры героя, но и росла, оказывается, рядом с ним. Нам повезло и в том, что с помощью местных товарищей удалось отыскать очень интересного и нужного человека — приветливую и отзывчивую женщину, бывшего секретаря Гурьянова Екатерину Семеновну Четверякову. Она охотно поведала все что помнила о работе Гурьянова на посту председателя исполкома Дедовского поссовета и о нем самом.

Что же касается месяцев военных, связанных с подготовкой борьбы с фашистскими захватчиками и известной партизанской операцией, то многое дала нам

встреча с Героем Советского Союза Виктором Александровичем Карасевым. В те годы старший лейтенант-пограничник, он в первый же день войны принял боевое крещение на реке Прут и познал всю горечь отступления Красной Армии. Позднее Карасев был направлен Москвой в Угодско-Заводский район для формирования из местных активистов истребительного батальона. Когда приблизился фронт, его утвердили командиром партизанского отряда. Вся его жизнь той нелегкой поры была тесно связана с Гурьяновым.

И наконец поездка в Серпухов, где в 1941 году размещался подпольный окружной партии. Последним в Серпухове встречался с ним Михаил Ильич Новиков, человек, всю жизнь посвятивший партийной работе, ныне персональный пенсионер.

Выше мы привели отрывок из воспоминаний Н. М. Васильева. Новиков дал нам московские координаты Васильева. Приводим разговор с ним по телефону.

— Да, я Васильев,— ответил бодрый голос,— да, тот самый, Николай Михайлович. Руководил в Серпухове подпольным окружкомом.

— Разрешите к вам подъехать?—И мы рассказали ему, что нас интересует.

— Да, встретиться обязательно нужно. Но я погляжу вначале свой график.

Выяснилось, что у пенсионера Васильева дни расписаны по часам, что ведет он огромную общественную работу. И что проще — он сам «забежит» к авторам в свободное окно, предварительно позвонив. И позвонил. И забежал в прямом смысле слова. Он хорошо помнит Гурьянова. В ответ на вопрос, каким тот был, Васильев встал, поднял руки, развел их:

— Высоченный. Вот такие плечи. Глаза умные. Красавец парень. Решительный. Мы с ним много раз виделись до войны, обсуждали свои дела, связанные с советской работой и сельским хозяйством.

Васильев живо рассказал нам все что знал, посмотрел на часы, встал.

— Побегу. Уйма дел, знаете ли...

Мало-помалу биография героя обростала деталями.

Итак, как Гурьянов шел из Серпухова в свой отряд? С помощью бывших угодских партизан мы проследили маршрут. База отряда находилась в Рыжковском лесу, неподалеку от деревни Рыжково. Еще в конце лета начали в глубинке строить землянки. В это было посвящено строго ограниченное число людей. Копали и крыли жилища сами. Поэтому нередко Гурьянову приходилось, впрочем, как и работникам райкома партии, брать в руки лопату, пилу, топор. На его ответственности также лежало обеспечение баз запасом продуктов, одеждой, одеялами. А тут подоспел разгар уборочной страды — созрел урожай, притом неплохой, и поскольку многие хлебные районы страны захватили оккупанты, нужно было собрать все до единого зернышка. И к тому же сено косить, выкопать картошку и отправить как можно больше продуктов для армии и тыла, как тогда уже начали называть ту часть территории страны, куда врага ни в коем случае нельзя было допустить. Но чтобы собрать урожай и успеть вывезти его из района, Гурьянову пришлось проявить все свои организаторские способности, ибо тогда уже остро ощущалась нехватка людей.

Постановление бюро Угодско-Заводского райкома ВКП(б) от 23 июля 1941 года:

«Предложить исполкому райсовета, т. Гурьянову обсудить вопрос об оказании помощи колхозам, в которых будет ощущаться недостаток в рабочей силе во время уборки и в поставке зерна государству».

Позже другое постановление, от 26 сентября:

«Поручить тов. Гурьянову обсудить на исполкоме райсовета вопрос о председателях колхозов и сельсоветов, которые не выполняют график вывозки зерна, и принять к ним соответствующие меры воздействия...»

Когда формировали два партизанских отряда, отбирая в них самых надежных и проверенных людей, в основном коммунистов и комсомольцев, когда тайно

вели в лесах строительство баз, завозили на них продовольствие, одежду, инвентарь, все еще теплилась надежда, что врага сюда не допустят, что Красная Армия остановит его раньше. Однако делали все всерьез, предусмотрительно. Землянки сооружались по всем правилам — хорошие ровные бревна, плотно пригонялись двери. Не забывали и о маскировке, старательно сохраняя подлесок, маленькие елочки и кусты, орешник. И вот эта в основном самодеятельная подготовка потом оправдала себя.

В десятых числах ноября через позиции 17-й стрелковой дивизии генерал-майора Селезнева в тыл фашистов вышел усиленный батальон специального назначения — диверсионно-разведывательный отряд (ДРО) под командованием полковника Сергея Ивановича Иовлева. Это было сильное, хорошо вооруженное и для той поры отлично экипированное подразделение, бойцы которого многое умели. В него вошли взрывники, связисты, спортсмены, владевшие приемами самбо. Задача батальона: проникнуть на занятую врагом территорию и в контакте с местными партизанами уничтожить мосты и переправы, дезорганизовать связь и передвижение по дорогам. Этими действиями бойцы Иовлева должны были по замыслу командования помочь не только обороняющимся, но и готовящимся к контрнаступлению частям фронта. И еще отвлечь на себя внимание гитлеровцев на этом участке.

Угодские партизаны с первого же часа подключились к этому делу, и Карасев выделил своих проводников во главе с лучшим разведчиком отряда Яковом Кондратьевичем Исаевым.

Как нам удалось выяснить, на исходные позиции батальон Иовлева вышел не весь. Часть его под командой заместителя Иовлева капитана Жабо в пути следования попала под сильную бомбежку и задержалась. Полковник решил их не дожидаться. Дал распоряжение не догонять батальон, а остаться с отрядом Карасева, усилив его. Так и сделали.

Когда через несколько дней, выполнив задание, подразделение Иовлева вернулось из рейда, полковник по согласованию с командованием оставил группу Жабо в деревне Муковнино, что находилась практически на линии фронта, в его «щели», разорванной густым лесом. К этой поре там уже начал собираться ударный кулак для будущей партизанской операции. План ее начал осуществляться.

В Муковнино подтягивалось подкрепление: пришла диверсионная группа из Подольска — 45 хорошо вооруженных и обстрелянных людей, уже побывавших в тылу врага под командованием В. Н. Бабакина и Д. К. Коверзнева; небольшую группу бойцов из Коломны привел лейтенант милиции Н. В. Шувалов. Командование сводными силами было поручено тогда наиболее опытному командиру — Жабо, в распоряжении которого находилось более 200 хорошо обученных бойцов. Ближайшими помощниками Владимира Владиславовича стали Карасев и Гурьянов, по сути дела «родители» предстоящей операции. Их отряд согласно прикидке вышестоящего командования должен был стать своеобразным ключом, которым отмыкались бы замки в Угодке. Ведь в отряде почти все бойцы были местными и знали, как говорится, каждый кустик, каждую щель в калитке и дырку в заборе. И знали о всех злодеяниях фашистов, болели душой за каждую деревушку, за судьбы родных и близких. Сердца кипели гневом и жаждой мести.

Гурьянову, как рассказывали нам его товарищи из отряда, больше всего хотелось побывать в своем райисполкомовском кабинете, где, по сведениям, восседал какой-то крупный штабной чин, чуть ли не генеральского звания. И вот теперь, после возвращения его из Москвы, этот день был не за горами...

Ратные друзья Гурьянова вспоминают, о чем тогда ему думалось, о чем он рассказывал товарищам. Увлеченно — о жизни прифронтовой столицы, о том, как его приняли в Москве и что подсказали в связи с операцией. Рассказал он еще о бое, происшедшем в Дубосекове, где небольшая группа героев из дивизии

Панфилова остановила танковую атаку врага. А оттуда, из Дубосекова, до Петровского, родного села Гурьянова, рукой подать. И до Дедовска недалеко. А там он работал, там произошел его первый выход «в люди».

НАЧАЛО ПУТИ

Трудно доставался Мише Гурьянову кусок хлеба. Мальчишкой надрывался половым в питейном заведении купца Миронова в селе Петровском. Чайная, рассказывали, была на бойком месте, у тракта, соединяющего Москву с Волоколамском. Деревянный, с широкими окнами домина крепко стоял на высоком кирпичном фундаменте в центре села. Хотя все окрест обзывали трактир «гадюшником», «рыгаловкой», однако мужики липли к нему, как мухи на сладкое. Вот на таком «предприятии» начинал свой трудовой путь будущий предрик.

Рассказывала нам обо всем этом вдова героя Мария Осиповна, в девичестве Полетанская. Разговор шел на выходящей в сад застекленной веранде небольшого домика в Дедовске, увековеченного мемориальной мраморной доской. Она гласит, что под этой кровлей проживал в 30-х годах Михаил Алексеевич Гурьянов.

Михаил Алексеевич страстно любил природу, с упоением любовался ею, много читал о ней. Обожал Тургенева, Кольцова и Некрасова, вырезал из газет записки Михаила Пришвина и московского фенолога Дмитрия Зуева, которого охотно печатали перед войной столичные газеты «Рабочая Москва» и «Вечерка». А мальчишкой читал домашним выученные наизусть стихи Пушкина из школьной хрестоматии. Потом родители, которые едва разбирали слова по слогам, стали приносить ему разные книжки, московские и петроградские журналы. И учитель давал ему книги из своей библиотеки. Только когда пришлось ему поступить мальчиком в трактир, времени на чтение почти не оставалось.

В петровской чайной украдкой прислушивался к спорам подвыпивших посетителей. Речь больше шла о войне с кайзеровской Германией, немцы напали на Россию и хотят ее поработить. Говорили, что война эта последняя.

В июле пятнадцатого года в мироновской чайной стали появляться запрещенные листовки. Их кто-то регулярно подбрасывал, и они ходили по рукам и столам. В одной из прокламаций сообщалось о том, что полиция расстреляла в Коломне демонстрацию рабочих, что более 50 человек убито и ранено. А в семнадцатом докатилась до Петровской весть об отказе от власти самодержца российского Николая II... Услышали о Советах, объединявших депутатов — рабочих, солдат и крестьян, и что Советы эти стали во многих местах органами восставших, победивших в революции...

Мальчишки из Петровского бегали частенько на станцию Манихино встречать с фронта и провожать на фронт поезда. Случалось, бегал туда и Михаил. Видимо, тогда он и познакомился с ребятами, родители которых работали на сукояной фабрике. Больше всех сблизился он с Иваном Полетанским. Семья Полетанских ютилась тогда в фабричной казарме, сложенной из рыжего жженого кирпича. «Жили мы, — вспоминала Мария Осиповна, — как и все, отгородившись от соседей и будто от мира всего перегородами из дешевенького ситца. Взрослые и дети спали на деревянных двухъярусных нарах-клоповниках. Чайная Миронова по сравнению с нашей казармой казалась, наверное, Михаилу раем».

Мария Осиповна вспоминает, что Михаил приносил из чайной листовки и отец Мария разъяснял молодым их смысл. Однажды Мишу Гурьянова будущий тесть спросил, не надоели ли ему подзатыльники и пьянь, что каждый день в чайной. Может, пора кончать носиться на побегушках? Там, конечно, сытнее, чем ребятам, что работают на фабрике. Но хлебом единым сыт не будешь. Нужна человеку еще пища и для души и ума, гордость нужна. У рабочих такая гордость развита сильно, и живут, мол, они артелью. Предложил: «Помозгуй. Поговори с отцом. И если что, приходи. Поможем». Вскоре отец Михаила устроит сына в Тушине на завод учеником токаря...

После революции Михаил из Тушина перешел на манихинскую суконную фабрику, стал работать у валяльной машины. Но его часто привлекали и к другим делам. Безотказный был парень, а потому и навалили на его плечи огромное количество общественных нагрузок. И не противился, раз нужно! Остаться на вторую смену в цехе у валяльной машины? Ладно, раз нужно! Строить клуб, школу на общественных началах, на энтузиазме — шел, раз нужно. И не только работал, а умел и заразить, зажечь делом других.

— Давай, Михаил, обратись к молодежи, тебя ребята уважают, найди энтузиастов, возглавь,— бывало, говорил секретарь партячейки фабрики.

И он шел, делал. Таким запомнили Гурьянова в Манихине.

Однажды в конце 20-х годов вызвали его в Истринский райком партии:

— Есть такое мнение направить вас как активного и политически грамотного молодого человека на советскую работу. Что, если вам поручат возглавить сельский Совет?

— Так я же рабочий человек! Сколько уже лет на производстве. А тут...— удивился было такому предложению Гурьянов.

— Вот и передайте свой опыт коллективного труда крестьянам. Коллективизация идет...

— И как работать в Совете, мало смыслу.

— Ничего. Голова светлая, читать можете. Дадим книги в руки, своды советских законов. Дело пойдет...

И дело, как мы знаем теперь, действительно пошло. Сначала Михаил был председателем исполкома Красновидовского сельского Совета. Там оставил о себе память — основал новую артель. Позднее по просьбе земляков-односельчан перевели его на тот же государственный пост в родное Петровское. Здесь знал всех и каждого, проводил в жизнь новые постановления партии и правительства о развитии народного образования. Сам руководил строительством школы, и такой она получилась доброй, что в районе обратили внимание и даже премировали Гурьянова шерстяным свитером. А уж потом был Дедовск.

Дедовск раскинулся неподалеку от Москвы у двух дорог — железнодорожной, соединяющей Ржев со столицей, и шоссейной, идущей к Волоколамску. Сейчас это город, а тогда Дедовск значился еще деревней, но растущей вширь, ибо примыкала она к краснокаменной прядильно-ткацкой фабрике, именуемой Дедовской мануфактурой. Самым большим домом поселка была каменная казарма, такая же, как в Манихине. После революции фабрика стала расширяться, возводились новые дома для рабочих, для той поры считавшиеся благоустроенными. В них уже семьи жили в своих комнатах, появился водопровод. Создали Дедовский поселковый Совет, а его первым председателем стал рабочий фабрики Н. Д. Фролов.

В тридцать третьем году этот пост и принял Гурьянов. В райцентре, когда посылали на новое место, предупредили: на жилье не рассчитывай, все государственные и фабричные дома, что строятся в Дедовске, предназначены рабочим, и в первую очередь ударникам труда, так что где устроиться, ищи выход сам. «А он тогда ответил, — вспоминает Мария Осиповна, — что переселюсь, мол, из Петровского вместе с домом. Плечи есть — вот и перенесу его поближе к пролетариату. Как так? — не сразу поняли его товарищи. А в прямом смысле, заявил он. Ведь у меня не только жена Мария, а еще старенькая мать, болезненная сестра. Чтобы всем им было удобно жить, разберу вместе с крышей отцовскую обитель в Петровском и перетащу на новое место. Возражений у райкома и райисполкома нет?»

В поселке помнят, въехали Гурьяновы на нескольких подводах. Транспортom помог колхоз. Место для застройки Гурьянов выбрал и согласовал загодя.

Вернемся к тому времени и попытаемся воссоздать некоторые моменты работы Михаила Алексеевича в Дедовске. В этом нам большую помощь, как мы уже упоминали, оказала бывший его секретарь Екатерина Семеновна Четверякова.

Помнит она, как пришел в исполком поссовета высокий широкоплечий человек. Представился — Гурьянов. Заглянул в кабинет, который ему предстояло за-

нять, перешагнул порог, и сразу стало тесно. Комната была, в общем-то, небольшая, в два окна, у стены письменный стол, а еще один небольшой — у подоконника, с пишущей машинкой для Четверяковой.

«Гурьянов огляделся,— вспоминает Екатерина Семеновна,— почесал затылок, улыбнулся и сочным таким, глубоким басом констатировал: «В тесноте, да не в обиде. А что в окно сирень заглядывает, прекрасно». Он попробовал сесть, но колени не убирались под стол. «Исправим положение,— пробасил он и отодвинул стол от стены.— Так, ладно? Значит, Екатерина Семеновна, будем визави — так, кажется, говорят французы». Встал и тут же уронил стул. Рассмеялся. И всем, кто находился в кабинете, вдруг стало весело и просто».

Дела Гурьянов принял быстро. Послушал не перебивая всех исполкомовских работников, кто хотел что-нибудь сообщить по текущим вопросам или лично переговорить. На следующий день объявил, что должен сам все осмотреть в поселке и определить. Несколько дней ходил по предприятиям Дедовска, на стройки, в учреждения, знакомился с руководителями. И уж после собрали первое заседание исполкома. Тогда и поняли, что глаз у Михаила Алексеевича наметанный, острый — увидел многое. И заданий надавал порядком, и сроки поставил для выполнения предельно короткие.

«Деловым, инициативным товарищам с ним было хорошо,— рассказала Четверякова.— Любой вопрос решался быстро. Где нужно тотчас подключался сам, ехал, добивался, просил, требовал. И спрашивал строго. В людях разбирался — словно в души глядел. И к каждому свой подход. Местные жители очень были им довольны. Как же: и школой он занимался, и помог библиотеке получить хорошие книги, и художественную самодеятельность не обошел вниманием. При нем кинофильмы крутили регулярно, парикмахерская не уступала столичным.

Михаил Алексеевич как-то по-старинному был галантен,— говорила Четверякова.— Он, к примеру, при дамах не расчесывал волосы, не позволял себе курить, не спросив у них на то разрешения, разговаривал с ними стоя... Встречал посетителей вежливо и предупредительно: «Чем могу служить? Присядьте, пожалуйста...» Слушал терпеливо, не перебивая. Но бывал и суров. К тем, кто приходил с кляузами, с необоснованными претензиями, с требованием каких-то особых привилегий. Таких, бывало, без всяких церемоний запросто выставлял за дверь».

В течение дня Гурьянов успевал обойти чуть ли не весь Дедовск, а по вечерам, когда все исполкомовцы уже расходились домой, садился писать, как сам он выражался, «предложения и директивы поссовета».

Иногда просил Четверякову задержаться и тогда ходил и очень складно диктовал свои мысли. Они сразу же излагались как проект решения для предстоящих заседаний исполкома и сессий Совета. Так была разработана им целая программа действий для открытия детских молочных кухонь и питания ребятишек в школе. Так намечались меры благоустройства поселка.

«Помню, зима на носу, а с заготовкой дров в Дедовске прорыв,— рассказала Екатерина Семеновна.— Поступает мне распоряжение: экстренно собрать исполком. «Какой вопрос?» — спрашиваю. А он: «Заготовка дров и промывка мозгов руководителю дедовского райтопа... Постановление? Райтопу обеспечить город дровами! Как?.. Научим на исполкоме... Все... Точка! А еще организовать склад... Частному сектору выделить делянки — «отец, слышь, рубит, а я отвожу»... Пусть на себя и поработают. Что касается школ, детяслей, медицины — побеспокоюсь сам. Ночью придумаю, пока спать буду. Да, разыщите заодно нашего дорожника, пожалуйста, Екатерина Семеновна. Пора ему доложить исполкому о ходе строительства и ремонте дорог в поселке. А не то по весне утонем».

Как-то вечером Михаил Алексеевич, перебрав за столом кипу бумаг, запустил пальцы в густую шевелюру и вдруг выругался. Я с удивлением взглянула на него. Такого вроде за ним не наблюдалось. Довели председателя, подумала тогда я. Гурьянов встал из-за стола, заходил из угла в угол. Пол жалобно скрипел под его ногами. Почесал переносицу. Что-то проворчал про себя.. «Гром не грянет — мужик не перекрестится.— Потом взглянул на меня и виновато извинился.— До каких же пор,— сказал он серьезно и с какой-то обидой,— наши де-

довские женщины будут ездить рожать в деревню, в другие места, бабок-повитух на помощь звать? Давайте-ка сочиним категоричную бумагу в райисполком и копию в Москву. А если достанется за нарушение субординации, укоры снесу. А дело в жизнь проведем».

Когда я напечатала под диктовку нужную бумагу, дал он мне неизвестно когда составленный вместе с врачом Политковским развернутый план строительства родильного дома с обозначением всех организаций и должностных лиц Дедовска, от которых это дело могло зависеть. И другой проект — о приведении в порядок колодцев. «Хорошо бы завтра к утру отпечатать...» «Когда же это можно успеть?» — удивилась я. «А если встать пораньше и сделать часикам к десяти?» «Тогда хоть машинку домой неси», — говорю ему. «И то верно, — отвечает, — где у нас кочерга? У печки?» Взял Гурьянов мой «ундервуд», завернул в скатерть, затянул сверху узел, продел под него кочергу — и на плечо. И зашагал по поселку до самого моего дома... Очень многие тут горевали, когда узнали, что после учебы в Москве не вернули в Дедовск Михаила Алексеевича, а назначили в Угодский Завод...»

ЖИЛИ СОВЕТЫ

Еще до того как гитлеровцы добрались до Подмосковья и, обескровленные упорным сопротивлением советских войск, подсчитывая потери, переводили дух, в Угодско-Заводском районе, равно как в соседних Высокининском, Боровском и других, партийно-советский аппарат проделал колоссальную по масштабам и удивительно кропотливую работу. Перед тем как постановлением Государственного Комитета Оборона с 20 октября 1941 года Москва была объявлена на осадном положении, в лесах заложили партизанские базы, оговорили и определили в деталях каналы связи между будущими подпольными центрами, наметили конспиративные квартиры и верных людей, их содержателей, на которых можно было целиком и полностью положиться. Отбирать таких лиц было не так-то просто... Доверяй, но проверяй.

Основная часть коммунистов находилась либо в действующей армии, либо по складывающейся обстановке заранее была определена на узловые участки предстоящей партизанской войны. Так или иначе, а уже сама причастность к Коммунистической партии не давала возможности открытых действий этим людям и даже их семьям в условиях оккупации. Значит, надлежало совершенно точно знать, на кого из беспартийной массы жителей можно было опереться, если территория окажется вдруг захваченной врагом. И в первую очередь подпольные райкомы видели этих надежных людей среди активных депутатов местных Советов.

Известно, что в тылу врага, даже в населенных пунктах, захваченных врагом, советская власть продолжала жить в лице депутатов сельских, поселковых Советов. К ним, этим беспартийным большевикам, люди и обращались за поддержкой. Многие, смертельно рискуя, проводили в жизнь все, что намечала партия, выполняя задания ее подпольных органов.

В числе депутатов и советских работников оказались тысячи и тысячи безгранично преданных делу партии Ленина людей. Таким был и Гурьянов, которого жители называли хозяином района. Знали: он умеет заглядывать вперед, любит пометать и в то же время человек дел конкретных и четких. Михаил Алексеевич смело решал сложные хозяйственные задачи, а позднее оборонно-массовые. Всегда беспокоился не только за исправное выполнение намеченного в своем районе, а смотрел широко, по-государственному, являясь страстным пропагандистом дела партии. И не случайно поэтому районный комитет партии предложил, а Серпуховский подпольный окружком ВКП(б) одобрил кандидатуру Гурьянова комиссаром угодско-заводского партизанского отряда.

Те, кто близко знал Михаила Алексеевича, вспоминают, что в период непосредственной подготовки к жизни и действию в условиях возможной оккупации он делал все от него зависящее, чтобы не дать врагу покоя на русской земле, мобилизовывал жителей на строительство посадочной площадки, рытье траншей, про-

тивотанкового рва. Помог вовремя перегнать в тыл колхозный скот и отправить зерно.

Многие люди старшего поколения до сих пор помнят беседы предрика. Он приезжал в села и деревни района и не ограничивался разговорами в сельисполкомах, а заходил в избы колхозников, охотно отвечал на вопросы, волнующие хлеборобов. Держался с ними просто, не отказывался, если приглашали, пообедать и поспорить. Понимал и любил шутку, острое слово. Выступал легко, без бумажек, а обещая что-либо, непременно выполнял.

Так было до войны и с началом ее, так было и тогда, когда враг уже захватил район.

Лично участвуя во многих вылазках, стычках, диверсиях, проводимых народными мстителями, Михаил Алексеевич нередко с риском быть схваченным фашистами выходил «на люди», наведывался в дома жителей, как бы стараясь этим подчеркнуть: советская власть жива, сильна и недалек час, когда начнется разгром врага.

К сожалению, авторам не удалось собрать официальных печатных документов той поры, отражающих непосредственную деятельность Гурьянова. Они, как известно, были сожжены накануне захвата гитлеровцами Угодки. Позднее мы стараемся восполнить эту утрату, основываясь на воспоминаниях очевидцев, достоверность слов которых не подлежит сомнению. Но, думается, некоторую общую картину участия советских работников Подмосковья в борьбе с захватчиками помогут нам воссоздать архивные материалы соседних с Угодско-Заводским районов, руководители которых хорошо знали Гурьянова, его дела и совершенный им подвиг. Вот весьма любопытные документы из фонда Калужского краеведческого музея. Несколько распоряжений и приказов, в которых фигурирует комиссар дудоровского партизанского отряда (иногда именуется политруком.— Авт.) Маркин.

19 декабря 1941 года штаб по руководству партизанскими отрядами Ульяновского района приказывает ему и командиру отряда Н. П. Фролову: «21 декабря к 2 часам дня прибыть в райцентр Ульяново в помещение средней школы со всем отрядом, захватить с собой вооружение, включая ВВ (взрывчатые вещества.— Авт.). В отряде должны быть и те товарищи, которые были отпущены временно на легальную работу...»

Кто же такой комиссар Маркин? Есть тому свидетельство — приказ по поселку Дубровский. Вот он:

«Товарищи! Враг, вторгшийся на нашу землю, поспешно отступает под мощным натиском нашей героической Красной Армии, действующей совместно с партизанскими отрядами. Сотни городов и тысячи населенных пунктов уже освобождены от зарвавшихся фашистов. Будем готовы оказать помощь нашей Красной Армии, чтобы окончательно разгромить фашистскую гадину.

...Воспрещается с сего числа всем гражданам призывного возраста, т. е. с 1923 года по 1891 год, проживающим в Дубровском поселке, выбытие с территории поселка.

Приказываю сдать все оружие, боеприпасы, телескопные аппараты не позже 12 часов дня 21 декабря...

Предпоссовета Маркин»⁵.

Небольшой дудоровский отряд, его командир и политрук, судя по всему, держали с сельскими Советами теснейшую связь. Подтверждением тому может служить присланный в их адрес приказ № 5 командира объединенного ульяновского отряда Ильи Ивановича Игнатова:

«Немедленно начать активные действия на путях отхода противника, уничтожать его технику и живую силу. Командиру Н. П. Фролову и политруку Д. Маркину приказываю занять указанный ранее пункт и активными действиями

⁵ Архив Калужского краеведческого музея, ф. IV, д. 10.

мешать продвижению противника. Совершать налеты на населенные пункты, занятые противником, минировать пути, взрывать мосты, делать завалы, организовывать самооборону населенных пунктов, вести усиленную разведку и доносить в штаб отряда».

«Штаб армии,— писал позднее руководителем дудоровского отряда Игнатов,— поставил перед нами задачу обеспечить разведкой населенные пункты Мойлово, Кцынь, Брусно, Сусел, Хотьково, Клиницы. Штаб отряда решил возложить эту задачу на нас. Для этого необходимо выделить постоянных разведчиков 5 человек, послать в Брусно двух товарищей связаться с тов. Косаревым, посланным на работу председателем сельсовета, и ежедневно через него информировать нас о Брусне и Суселе, о движении противника, где огневые его средства и т. д. В Хотьково — двух товарищей, которые разведают Клиницы, Хотьково, связаться с предсельсовета Холмищ тов. Анохиным, через него информировать нас. Также они же, как Косарев, так и Анохин, отвечают за питание наших разведчиков...»

Известно, что с задачей дудоровцы тогда справились отлично: разгромили на своем участке три группы вражеских разведчиков, взорвали кцыньский и древовский мосты на реках Рессета и Жиздра.

К этой поре объединенный партизанский отряд Игнатова набрал такую силу, что до генерального наступления наших войск от Москвы сумел отбить у врага районный центр. 21 декабря (упомянутого в приведенном выше приказе) на территорию Пеньковского Завода собралось около 300 вооруженных людей. А через два дня было занято Ульяново. В нем восстановили советскую власть. Райисполком возглавил один из депутатов — партизан С. М. Сасонов. Заработали пекарня, валяльня, пошивочная мастерская, столовая. В канун Нового года детворе устроили елку, установили радиоприемник, и все слушали новогоднее поздравление Михаила Ивановича Калинина...

Командиром партизанского отряда был и председатель Думиничского райисполкома А. И. Ильин, комиссаром — первый секретарь райкома ВКП(б) К. И. Романов.

Совершая боевые операции, диверсии против врага, они, как и Гурьянов, считали еще крайне важной миссией отряда и лично своей поддерживать у населения района высокий моральный дух, веру в то, что враг будет сломлен и отброшен с нашей земли. Вспоминают, например, как это происходило в селе Притычино. Из выступления А. И. Ильина: «Многие меня хорошо знают, я председатель райисполкома. И хотя кругом немцы, как видите, в тылу вражеских войск на территории села Чернышево, деревень Климово, Притычино, Тимоновка и других действует советская власть».

«Вся районная власть на месте», — отмечали люди.

Местные жители решили тогда передать народным мстителям продовольствие, отобранное у них по приказу фашистов предателем старостой. В лес на партизанские базы ушел обоз из десяти подвод.

А. И. Ильин погиб в бою с карателями у деревни Осиное Болото. Подразделение врага было разбито, но отряд потерял своего замечательного вожака.

Захватив часть территории Подмосковья, гитлеровцы скоро ощутили, что хозяевами здесь они не стали, что покорить людей, воспитанных большевиками, советской властью, просто невозможно.

Любый страх заставлял оккупантов бояться даже детей. Вот свидетельство тому. Приказ командующего 4-й германской армией генерала Клюге по поводу железной дороги (речь идет об участках Малоярославец — Башкино и Киров — Вязьма, на которых партизаны взорвали пути и стрелки, надолго остановили движение):

«Всеми средствами следует препятствовать гражданским лицам двигаться по железнодорожным путям пешком или в вагонах. Особенно нужно остерегаться повсюду снующих мальчишек советской организации молодежи «пионеров». Всякий, кто будет обнаружен на полотне железной дороги, подлежит расстрелу на месте. Во всех этих случаях действовать беспощадно».

КАКИМ ОН БЫЛ

В Угодском Заводе Гурьянов появился в декабре тридцать седьмого года. Московский комитет партии и облисполком дали ему хорошую характеристику и прежде всего отмечали его значительный опыт в деле организации советской работы, инициативность и хозяйственную сметку. Понадобилось не столь уж много времени, чтобы в районе убедились: рекомендовали Гурьянова не зря, человек он большой энергии и трудолюбия, практического и ясного ума. Отмечали и другое — что успешно справлялся Михаил Алексеевич с делами не в силу только каких-то личных данных от природы, сверхспособностей, а благодаря внутренней дисциплине и целеустремленности, умению ладить и работать с людьми. И еще отличался он высокой требовательностью к себе, упорством и постоянной тягой к учебе. Учился, что называется, на ходу, схватывал идеи быстро. Он внимательно слушал и четко запоминал детали любого разговора, запоминал фамилии, имена, цифры. И это помогало ему быстрее добираться до истины и входить в контакт при последующих встречах. Много читал, используя для этого каждую свободную минуту.

Кандидатуру Михаила Алексеевича в депутаты районного Совета выдвигали жители села Тарутино, большого и богатого, а точнее тамошний колхоз, с делами которого Гурьянов хорошо ознакомился в первую же неделю своего приезда. И разобрался как следует, сумел помочь советами, опытом.

Как начинал Гурьянов свою деятельность предрика в районе, помнят многие. Рассказывают, что вначале спокойно присмотрелся ко всему, не торопился взять «новую метлу». Не рубил сплеча, советовался с партийными органами, депутатами районными и сельскими. И с большим вниманием изучал, о чем думают люди, чего хотят, что не нравится им. Нередко спрашивал: «А что вы предлагаете? Как бы вы поступили на моем месте?» И этим как бы заставлял собеседников не только сообщать какой-то факт, но и самих задумываться, размышлять над вопросом, участвовать в его решении. И позднее, когда вошел в курс районных дел, Гурьянов ни из кого не «выжимал» обещания и никогда сам попусту не обещал. Но уж если за что брался, доводил до конца. Он просил, а не требовал. И делал это так умело и тактично, что трудно было отказать ему. Однако обещанное кем-то спрашивал и контролировал гласно, чтобы провинившемуся и не выполнившему обязательство было совестно перед другими, перед самим собой.

Это, так сказать, общая, сводная характеристика деловых качеств и стиля работы Гурьянова, данная теми, кто его знал. К этому добавим еще устный портрет, ими обрисованный. Внешне — глыба. Двухметровый рост, широченные плечи. Движения оттого, что большой, неуклюжие, угловатые. Слушает внимательно. Морщит лоб. Видно, что нервничает, если кто говорит долго, не перебивает. Сам лаконичен предельно, будто жалеет слова. Ко всему у него быстро складывается четкое отношение: да, нет. С ним было и легко и трудно, повторили тут слова Четверяковой. Всему требовал обоснование, целесообразность. Всегда имел свое собственное мнение. Помнят, что даже на заседаниях бюро райкома нередко просил записать в протокол свое особое мнение и понимание обсуждаемого вопроса.

Об этом нам подробно рассказал бывший секретарь Угодско-Заводского райкома ВКП(б) (в войну — подпольного), а затем секретарь Калужского обкома партии Александр Михайлович Курбатов, ныне персональный пенсионер. Вот еще его воспоминания:

«Приехав в район, Михаил Алексеевич начал свою деятельность с изучения и укрепления кадров исполкомов сельских Советов, прежде всего председателей и секретарей, которых он рассматривал как первейших организаторов административно-хозяйственной работы на местах. Довольно успешно выполнил эту задачу. Исключительно деятельное участие принимал он и в подборе председателей колхозов в тех местах, где требовалось укрепление руководства. Должен отметить: из районных руководителей чаще его никто не бывал в колхозах, раньше его

никто не вставал и не приступал к своим делам. Михаил Алексеевич жил в Угодке один. Жена его работала в Дедовске на фабрике и к мужу наезжала лишь изредка.

С Гурьяновым в районе до войны связано много добрых дел. Он постоянно ратовал за увеличение поголовья скота и улучшение пород коров. И не просто красивые слова говорил или подталкивал кого-то, а с головой сам окунался в науку и практику этого дела. Обложится, бывало, учебниками и пособиями, изучает разные книжки, что-то выписывает. Находил нужных ученых и дотошно их расспрашивал. Не пренебрегал народной мудростью, советовался со стариками, знающими животноводство, с ветеринарами, строителями. Потом стал таким специалистом, что мог поспорить с авторитетами и доказать, а то и просто заткнуть за пояс какого-нибудь заезжего мастака-знатока. По поручению райкома партии Михаил Алексеевич курировал строительство типовых животноводческих помещений».

Гурьянов, по рассказам, очень хотел видеть районный центр в городском обличье. Мечтал вслух о хороших дорогах, чистых улицах и «чтобы все было высококультурно». Дневал и ночевал на районных стройках, когда налаживали швейно-вышивальное производство, пищевой и промышленный комбинаты, когда ставили Дом культуры. А ничто в ту пору не решалось просто. Необходимо было «выбивать» и строительный материал и оборудование, изыскивать средства, поднимать, заражать энтузиазмом людей, чтобы пришли и помогли «каждый своим умением».

При Гурьянове открыли немало новых учреждений, в том числе сберкасса и книжный магазин — предмет его гордости. Два первых двухэтажных жилых дома в Угодке тоже возвели при его горячем участии. И детский парк Гурьянов разбивал вместе со всеми, и открывал михайловскую среднюю школу, и строил дорогу с твердым покрытием к небольшой в те времена железнодорожной станции Обнинское. И еще дорогу от райцентра к знаменитому Тарутину. Очень ему хотелось, чтобы больше туда приезжало людей со всей России.

О Тарутине, где, как известно, обозначилось поражение наполеоновского нашествия в Отечественную войну 1812 года, великий наш соотечественник Михаил Илларионович Кутузов сказал такие слова, высеченные на камне: «Отныне имя его должно стоять в наших летописях наряду с Полтавою, и река Нара будет для нас так же знаменита, как Непрядва, на берегах которой погибли бесчисленные ополчения Мамай».

Прокладывали ту дорогу к историческому селу сообща. Несколько деревень объединились и методом народной стройки по инициативе районного Совета взяли горячо за дело. А закоперщиком был Гурьянов и показывал пример.

«Не чурался он самой трудной физической работы, — вспоминал Павел Васильевич Синельщикова, в довоенную пору начальник паспортного стола милиции, а позднее партизан угодско-заводского отряда. — Ему люди говорили: «Ты, Михаил Алексеевич, командуй!» А он: «Нет! У нас есть техник-строитель, который и будет руководить, а я наравне с вами». Лопата или кирка в руках. И повозки грузит. Силы у него было на двоих. Так что его личному примеру далеко не каждый мог следовать. Очень ладно и ловко все получалось у Гурьянова».

«Потребовал тогда, чтобы и ему и мне отвели по определенному количеству метров, рыть кювет, — дополнил картину строительства бывший секретарь райисполкома Филипп Федорович Морковкин. — Мы должны, мол, как все. Чтобы видели люди, какая работа это важная... А после всего вечером ехал в райисполком разбирать бумаги».

В райисполкоме он был всегда выдержанным, аккуратным. Одевался и вообще следил за собой придиричиво. На работу выходил как на праздник. Говорил он мне тогда: «Советский работник со всем населением имеет дело. И чем сам будет трудолюбивее, чем сам обходительнее с народом, тем больше у людей будет уважения к советской власти и доверия к ней». А сам он в этом показывал пример, старался людям и организациям помочь. Но что не в силах был сделать, за то не брался. И неискренности не терпел...»

Очень внимательным был Михаил Алексеевич к делам народного образования. На заседании исполкома вопросы о школах, их строительстве и работе, об условиях труда учителя, об успеваемости стояли часто. Бывший директор тарутинской школы Александр Дмитриевич Терешин, тот самый Терешин, который позднее организовал в Угодке народный музей и ведет летопись славных дел района, рассказывал нам об одном из таких заседаний в Угодке:

«Помню, вызвали меня в райисполком отчитаться в работе. «Почему успеваемость ниже других?» — спрашивает меня Гурьянов. «Знания учеников не тянут на отличные и хорошие оценки», — говорю. «Занижаете», — обвиняет кто-то. А Гурьянов: «Не толкайте, — говорит, — учителей лгать своей совести. Цыпят по осени сосчитаем...» Сосчитали, правда, цыпят по весне. На проверке лучше всех наши тарутинские ребята показали знания. Тогда же успеваемость поднялась, и Гурьянов похвалил.

А потом вызвали меня в исполком с докладом. Никогда не забуду того заседания. Спрашиваю, какой регламент. «Пять минут», — говорит Гурьянов. «Но ведь школа большая, триста сорок ребятишек...» «Проект решения видели? Главные ваши недостатки и успехи правильно отмечены? Рекомендации верные или что добавить нужно?» «Все по существу», — отвечаю. «Тогда самое наиглавнейшее скажите. А на это пяти минут вполне хватит». Начались прения. Один из членов исполкома попросил слово. Гурьянов поинтересовался: «Есть что сказать конкретное?» «Я по поводу тарутинской школы», — говорит тот. «А вы там были? Заранее к этому вопросу готовились?» «Нет, — заморгал глазами желающий выступить, — я вообще...» Гурьянов с досадой: «Ну что же вы тогда, дорогой товарищ, нам скажете? Общие слова пользы не принесут. А суть утонет». Все согласились с ним: такие выступления — ради слов, ради галочки в протоколе — не нужны. И дальше если кто брал слово, то говорил дельно, или давал совет, или предлагал. И все коротко.

Закончилось заседание. Михаил Алексеевич решение под стекло положит и весело так говорит: «Кому что записано, сам проверю». Улыбается. Но никто за шутку не принял, знали: это не слова — стиль председателя. Обязательно проверит...»

П. В. Синельщиков: «Был Гурьянов человек, преданный своей работе, отдавал ей все силы. Потому и завоевал авторитет у всего населения. Сильно переживал Михаил Алексеевич, когда молодежь уезжала из района. Сердился на руководителей, которые недостаточно чутко относились к молодым людям, не умели их заинтересовать делом. Сердился и на меня, если не ставил я его в известность, где и какая сложилась обстановка. По вопросам паспортного режима мы с ним встречались постоянно. Он предупреждал: «С парнями и девушками нужно по душам говорить, убеждать, как здесь они необходимы, на земле своих дедов и родителей. К беседам этим обязательно подключайте райком партии, райисполком, комсомол...»

По рассказам буквально всех и в Угодском Заводе и в Дедовске, Гурьянов очень любил детей (жена его Мария Осиповна печально вспомнила, как он сокрушался, что не было своих). Организации яслей, детских садов уделял много времени. Это его заботой в Дедовске были открыты детские молочные кухни, а потом он добился этого и в Угодском Заводе. Михаил Алексеевич, приезжая в деревни, непременно заходил в школы, порой присутствовал на уроках и был несказанно доволен, когда урок удавался и ребята отвечали хорошо и бойко. Серьезно и внимательно выслушивал старшеклассников, советуя выполнять ленинский завет учиться, учиться и учиться...

«Я рос в деревне Жуково, — вспомнил Семен Федорович Романов, — это рядом с Тарутином, восемнадцать километров от райцентра. В старших классах учился в средней школе Угодского Завода. Там и жили. А по выходным дням утром или накануне вечером мы, ребята из сел, спешили домой с родными повидаться, постираться. Помню, зимой, где-то в январе, бегу домой, снег хрустит, мороз. И вот мчат сзади разъездные легкие санки, лошадь резвая. Сразу узнал

Гурьянова по шубе волчьей мехом наружу, по обличью — больно уж он большой был, плечистый, спортивный. Останавливает санки. «Далеко?» — спрашивает. «В Жуково, домой». «Садись, паренек. — Пригляделся. — А ведь я тебя знаю. На совещаниях в райкоме партии был?» «Был, — говорю. — Я приглашался как член пленума райкома комсомола, а учусь в десятом». «Не Романов? Не тот десятиклассник, которого недавно кандидатом в члены ВКП(б) приняли?» «Я, — говорю, — и есть». «Знаю тогда тебя хорошо, ты нашего райфинотдельского Романа Ивана младший брат. А куда думаешь после школы?» — «В Бауманское хочу». — «Ну молодец. Математика, значит, физика, техника тебя влекут». С интересом расспрашивал Гурьянов о моих друзьях, об их планах. И я очень остался тогда доволен столь близкой встречей с нашим предриком. Это было начало сорокового года. Только не так все дальше получилось у меня. Вместо Бауманки призвали в армию. В воздухе «уж пахло грозой», потом полковая школа, а потом война...»

«Гурьянов всегда очень серьезно относился к вопросам военной подготовки. — Это уже слова Михаила Ивановича Соломатина, тоже бывшего угодского партизана, а до войны старшего оперуполномоченного уголовного розыска. — Я по долгу службы участвовал в составлении мобилизационных планов района на случай войны. В связи с этим часто приходилось обращаться к Гурьянову. Он как председатель райисполкома наряду с военкоматом отвечал за всю работу по подготовке мобпланов на территории района. Рассматривал он эти дела пристрастно, вдумчиво, всегда подчеркивал их важность...»

Еще любопытный мазок к портрету предрика:

«Здание райисполкома находилось на улице Советской. Там, где жила наша семья. Михаила Алексеевича я нередко видала и когда он шел на работу или с работы. Обязательно вокруг него люди. Всем нужно что-то решить. Остановится, выслушает, даст ответ или улыбнется, шутку какую-либо отпустит — и человеку весело. Потом скажет: «По этому делу завтра заходи. У меня сегодня на весь вечер программа. Видишь...» А под мышкой папка с бумагами. Гурьянов был очень прост в обращении, приветлив. Особенно он мне запомнился на выпускном вечере в средней школе. В сорок первом году, в июне...»

Пришел без опоздания, хорошо одетым, веселым, жизнерадостным. Словно хотел подчеркнуть, что выпускникам предстоит большая жизнь и радостное будущее. Пожелал светлых дней, дальнейшей учебы. С нами на вечере веселился, танцевал, подходил, разговаривал, интересовался у преподавателей, кто из выпускников прежних лет какую выбрал профессию. Учительница биологии Александра Федоровна Семенова рассказала ему о своей переписке с бывшими учениками. Вспомнила, кстати, и Сеню Романова, того, что подвозил на розвальнях, который уже служил в армии и учился на младшего командира. «А собирался в Бауманское, — вспомнил Михаил Алексеевич. — Ну что ж, чем черт не шутит. Глядишь, Романов наш и генералом станет...» Потом ведь так и случилось, стал наш Семен Федорович Романов Героем Советского Союза и генералом. Только о своем пророчестве Гурьянов уже узнать не успел...»

Был на том памятном вечере Михаил Алексеевич не до конца. Мы понимали, что дел у него много, и не обиделись. Председатель райисполкома! Но мы были очень довольны и благодарны ему за то, что он пришел тогда... А наутро началась война...»

Это воспоминание оказалось неожиданной находкой. Потому что пришло от человека, которого мы не разыскивали. Он сам помогал вести поиск. И вдруг...

Выпускницей, глазами которой мы увидели Гурьянова на бале в сельской школе, оказалась Анастасия Ивановна Ягнюк, нынешний секретарь Жуковского райисполкома...

Дальше все дела Михаила Алексеевича так или иначе были связаны с войной. Есть любопытный документ той поры — план военной подготовки населения Угодско-Заводского района, разработанный райкомом ВКП(б) в конце июля 1941 года. «Все, кто может носить оружие» — так назывался он. Но речь в нем шла не только о мобилизации и создании истребительного батальона. Людей не хвата-

ло, и вот читаем пункт третий: «Предложить исполкому райсовета, т. Гурьянову обсудить вопрос об оказании помощи колхозам, в которых будет ощущаться недостаток в рабочей силе во время уборки и в поставке зерна государству».

Гурьянов вкладывал огромную энергию в организацию уборки урожая и вывозки продуктов. Несмотря на то, что враг наступал, добился в районе успешного проведения сева озимых. Михаил Алексеевич горячо убеждал людей: «Если и прорвутся сюда фашисты, то к весне их все равно прогоним. Урожай собирать нам». Так и вышло: район полностью рассчитался с государством по картофелю и зерну. А озимые взошли по весне уже тогда, когда врага отбросили от этих мест.

...В начале октября фашисты прорвали нашу вземско-ржевскую линию обороны. Поступило указание об эвакуации колхозно-совхозного скота. Предрику пришлось целиком переключиться на дела, связанные с отправкой в тыл колхозного стада и табуна лошадей, а затем и машинно-тракторного парка. Особенно сложно было находить сопровождающих. В колхозах остались женщины, дети да старики. Михаил Алексеевич ставил сельских депутатов ответственными, а в помощь выделял учителей, комсомольцев, не спал ночами, ездил по району, сам контролировал, объяснял, почему это важно. Колхозы и совхозы скот эвакуировали своевременно.

«Наш контакт с Михаилом Алексеевичем завязался буквально в день моего приезда в Угодский Завод, — вспоминает Виктор Александрович Карасев. — Первый секретарь райкома Виктор Иванович Алехов (позднее переведен на другую работу. — Авт.) представил меня Курбатову и Гурьянову. С первым решайте, мол, вопросы кадровые, со вторым все остальное. Гурьянов-де как предрик хозяин района и сделает все для оказания вам помощи. А меня шутливо представил начальником «будущих местных вооруженных сил». Собственно, так оно и было. Направили меня сюда руководить новым военным формированием из местных жителей. Но сначала предстояло создать истребительный батальон, и без помощи партийных и советских органов ничего бы я не сделал.

Разговор с Гурьяновым был недолгим, но конкретным. «Скажите, что нужно? — спросил Михаил Алексеевич. — Перечислите, я все запомню». Я стал говорить, какой жду от него помощи и как должен организационно строиться батальон. Изложил его назначение: возможно шире охватить подразделениями весь район, нести охрану важнейших объектов и быть готовым к борьбе с вражескими лазутчиками, парашютистами и прочее. Он сидел задумчивый и тербел большой рукой густую непослушную шевелюру. Отвечал сразу: «Это можно. Это тоже сделаем. И это можем. А этот вопрос решим позднее, дайте немного времени подумать. А как такие дела делаются в других местах?»

Я понимал, как сложно ему. Приказы свыше, увы, далеко не на все давали разъяснения, где, что и как брать. За счет чего и кого? Тот же транспорт, жилье... Впрочем, тут мы быстро вышли из положения. Принцип — распределение подразделений по сельсоветам. В больших селах здания сельских Советов будут служить казармами и местом постоянного дежурства. Все бойцы днем, кроме дежурных, работали на своих обычных местах, а с вечера и до утра находились на казарменном положении. Устраивало меня такое решение еще и потому, что у сельских Советов была телефонная связь и по ней можно было быстро обмениваться информацией.

Потом начались поездки по району. Одно дело наметить, другое — осуществить. Михаил Алексеевич порой сокрушался. «Ах, сволочи, ах, подлецы! — поносил он фашистов. — Столько было задумано!» И начинал рассказывать, что где наметил построить, изменить, не помешай война. В нем жил дух страстного создателя. Он хорошо понимал, что можно сделать сейчас, а что в далекой перспективе. Такие люди рождаются, чтобы украшать родную землю. Гурьянова везде слушали с вниманием, и я чувствовал, каким авторитетом пользовался мой спутник.

Вначале Михаил Алексеевич не всегда одобрял то, что я делал. Порой

это шло вразрез с его хозяйственными интересами. Да это, впрочем, легко понять. Люди отрывались от непосредственной работы для военной учебы, дежурств. Но позднее, когда бойцы истребительного батальона поймали вражеского парашютиста, проникся важностью всего, что нами предпринималось. И сам горячо включался в любое дело, связанное с местной обороной. Кстати, с ним мы сочиняли инструкции, памятки, как кому действовать в каких случаях, как оповещать, если жители заметят каких-либо подозрительных лиц. В ту пору в Подмосковье гитлеровская разведка забрасывала немало шпионов и диверсантов.

Батальон готовили усиленно и по всем правилам. Проходили на занятиях науки, которые положено знать одиночному бойцу. Ходили в строю и рассыпались в цепь для атаки, разбирали на скорость винтовку-трехлинейку и единственный на всех ручной пулемет Дегтярева, устраивали стрельбы боевыми патронами. Кому положено, стреляли из личного оружия. Подошла очередь и Гурьянова. И он, всем на удивление, без тренировки, на одном дыхании всадил пулю за пулей в самое яблочко из своего нагана. «Где же вы научились так метко бить?» — спросил Курбатов. «Да был у меня замечательный дружок в Дедовске Вася Корниенко, начальник милиции. В милицейском тире он меня и школил. И с ним пришлось еще за бандитами охотиться...»

Гурьянов называл фамилию Корниенко не раз, и она врезалась мне в память. Отстреляв тогда из нагана, а потом из винтовки, Михаил Алексеевич тут же направил колесить по району. Шла уборочная страда...»

«До чего же трудно было нам в августе в разгар уборки — и вдруг переключить большую массу людей на выполнение очень ответственной оборонной задачи, — рассказывал Курбатов. — Командование Красной Армии обратилось к нам за помощью. У пересечения старой Калужской дороги с рекой Протвой на левом берегу необходимо было вырыть противотанковый ров длиной в семьсот пятьдесят метров. Габариты его как у доброго канала. И все это делалось киркой, мотыгой да лопатой. Руководить строительством поручили Гурьянову и мне. Но я в ту пору был еще организатором малоопытным, особенно в таких вещах. Совсем недавно пригласили меня работать в райком с должности директора школы. На таком деле, как срочное строительство, нужно было хорошо знать людей лично. Михаил Алексеевич знал. И хоть он рекомендовал меня старшим, больше всего хлопотал сам. Очень быстро и, казалось, без особого напора объяснил задачу, мобилизовал в селах и Угодке людей с повозками, наметил, где делать рубку леса. По существу, организатором и руководителем работ был он, а я только помогал ему...»

«После того школьного бала, — вспоминала Анастасия Ивановна Ягнюк, — Михаила Алексеевича я близко увидела снова, когда выехала из Угодки на строительство противотанкового рва у деревни Черная Грязь. Он и Александр Михайлович Курбатов все время были с нами. Гурьянов подбадривал, объяснял, как важно сооружение для обороны Москвы. Сам брал лопату и кидал землю до пота. Среди работающих было немало моих сверстников, недавних выпускников школы. Нам всем очень нравился Гурьянов, мы помнили его слова и пожелания нам светлой жизни, счастья. И теперь, когда по родной земле катилась война, нам, девушкам, хотелось, чтобы он заметил нас, увидел, что мы все понимаем и стараемся помочь старшим, фронту. Он узнавал ребят, хлопал по плечу, успокаивал — мол, все впереди и победа впереди наша.

Позднее, в сентябре, я поступила в торгово-кооперативную школу на станции Перловка под Москвой. Потом приехала в Угодку проводить на фронт отца. Только не застала его. Без пропуска обратно уехать было невозможно. Встретила Михаила Алексеевича. «Немедля уезжай, — говорит, — учеба — дело важное. После войны еще больше образованных людей потребуется. Иди к Федору Федоровичу Морковкину, секретарю исполкома, и скажи — от меня, чтобы такую бумагу выправил. А выучишься — в свой район...»

«В истребительном батальоне день ото дня повышались дисциплина, бдительность, понимание важности военного дела, — рассказывает В. А. Карасев. — Но нужна была активная проверка боеспособности подразделения и всего админи-

стративного аппарата района. Добился решения на проведение учений с имитацией выброски в наш район вражеской группы парашютистов-автоматчиков. По плану операции все должно подчиняться военному руководству и вводной обстановке. Запросил свое московское руководство.

И вот — срочная санкция, причем ночью: «Проводить учения. С полным соблюдением эффекта неожиданности. Для всех, даже для руководства района». В Москве хотели посмотреть, что и как будет.

Сигнал к полной мобилизации вызвал в некоторых службах района растерянность. На рабочем месте сразу оказался лишь Гурьянов. Впрочем, в эту пору он жил в своем кабинете. Узнав, что в районе «высадились диверсанты», тотчас стал проверять готовность людей на местах. Спросил меня: «Что я должен делать, чтобы операция прошла успешно? Приказывайте!..» Уже тогда я остро почувствовал моральную силу и трезвую деловитость этого человека и подумал: с ним можно идти на любое самое трудное и опасное дело...»

«А потом создали тройку, отвечающую в случае угрозы оккупации наших мест за выведение из строя промышленных предприятий и других объектов, — вспоминает А. М. Курбатов. — В состав ее вошли секретарь райкома, председатель райисполкома и начальник райотдела НКВД. Объекты были уже намечены, и нами определялась степень их разрушения, демонтаж или порча. Фронт приближался, и все следовало привести в готовность. Мы тогда же наметили обязанности всех — кто отвечает за порчу какого объекта конкретно».

Всем живым очевидцам памятни тяжелые дни середины октября. Через Угодку везли раненых, уходили обозы тыловых подразделений. Рухнули надежды, что район удастся отстоять. Из окружкома распорядились — без промедления эвакуировать в тыл всех работников партийно-советского аппарата. За это отвечал Курбатов. Он объезжал села, говорил с людьми, отвечал на самый страшный вопрос — «как быть?». «Верить и бороться, помогать партизанам», — отвечал он.

18 октября рано утром команда из Москвы — взрывать все, что определено планом.

В те дни Михаилу Алексеичу позвонили от генерала Г. К. Жукова. Он просил помочь эвакуировать из Стрелковки его мать и сестру. Гурьянов вывез их. Последний раз обходил все подчиненные исполкому службы. «Фашисты уже двигались к Угодскому Заводу со стороны Овчинина, — свидетельствовал бывший работник роно М. Белова, — по телефону об этом сообщили Михаилу Алексеичу. А он еще подписал в роно последний чек. Потом, попрощавшись со всеми, сказал: «Мы еще вернемся»...»

Известно, что Гурьянов лично проследил, чтобы наиболее важные документы, касающиеся хозяйства района и финансовых дел, отправили своевременно в тыл, а все остальные бумаги сжег собственноручно.

«В Угодке после ухода Курбатова (а уйти приказали ему из Серпухова) осталось нас двое: Гурьянов как председатель исполкома райсовета и я, теперь уже не командир истребительного батальона, а командир угодско-заводского партизанского отряда, — вспоминает Карасев. — Почти все бойцы уже находились в лесу. Кроме нескольких подрывников. И вот последние дни. Гитлеровцы уже врываются в район. Мы с Гурьяновым окончательно решаем, какие вывести из строя объекты. В план, по нашему мнению, занесено далеко не все... Итак, взрывать можно. Для этого все подготовлено. Энергетическое хозяйство Белоусской фабрики, Грачевской фабрики, крахмальный завод размонтированы. Наиболее важные детали двигателей спрятаны на дно прудов и рек, станки сдвинуты. А у Гурьянова то и дело возникают новые вопросы. Например, как быть с банком. За два дня выручка. Ее уже нет возможности переправить в Москву. Заведующий в растерянности. Обращается к Гурьянову: «Вы представитель советской власти. Принимайте, расписывайтесь». Принял. Передал деньги в отряд. При свидетелях. Составлять бумаги уже некогда, подтверждение товарищей — устное.

А что делать с магазином? Смотрит на меня. Только я ему в таких делах не

советчик, я военный. Гурьянов решает: раздать продукты населению. Объясняет: «Товарищи, берите и припрячьте и продукты и другие товары. Это потребуются партизанам. Мы просим сохранить. Это все государственное». Делает для себя какие-то пометки. Вздыхает: «Я ведь лицо, материально ответственное перед государством». Он до самого конца был подлинным хозяином района. Не хотел мириться с понятием — война, мол, все спишет. Нет, говорил он, когда она закончится, и бесспорно нашей победой, придется все восстанавливать для мирной жизни и дорог будет каждый гвоздь, каждый болтик.

21 октября фашистские войска вошли в Угодский Завод. Мы уезжали с Гурьяновым на машине. Почти перед носом противника заворачивали в села. Видели предрика люди, подходили: «Что же будет? Когда вернетесь, родимые?» В Марьинском сельском Совете к Гурьянову пришла женщина. Он знал ее по фамилии — Феоктистова. Стала просить, чтоб он забрал у нее корову: «Все равно иначе достанется врагу. А вы ее для партизан возьмите». Гурьянов не сразу согласился. Наконец после усиленных уговоров людей корову приняли, попросил одного из наших товарищей гнать ее на базу. Дал расписку, что после войны семья Феоктистовой имеет право получить корову. Так село за селом объезжался район...»

Предрику приходилось действовать подчас очень рискованно и смело, руководствуясь только своим чутьем, хозяйской сметкой и большевистской совестью.

Угодско-заводский партизанский отряд быстро показал себя дружным и крепким, доставляя фашистам немало хлопот. Совершались диверсии, постоянно велась разведка за действиями противника, его перемещениями и приготовлениями. Эти данные Карасев отправлял через линию фронта советскому командованию.

Чаще всего сведения от Угодского Завода передавались в штаб нашей 17-й стрелковой дивизии генерал-майору Д. М. Селезеву, который хорошо знал Карасева и Гурьянова. Нередко генерал сам ставил перед ними и разведывательские боевые задания. И, как правило, они выполнялись.

Между тем враг гнал и гнал технику. Через Угодский Завод шли танки, автомашины с боеприпасами, военным имуществом. Тягачи тащили длинноствольные и толстые, как бревна, пушки. Маршировали солдаты. Все это валило к Москве в мясорубку, перемалывающую операцию «Тайфун».

Действовали партизаны осторожно, строго соблюдалась дисциплина и тайна передвижения. Сведения о бесчинствах фашистов получали разные: в начале ноября партизаны узнали о том, что протоиерей села Трубино Владимир Виноградов обратился к верующим своего прихода с напоминанием, чтобы они, находясь в плену у врага, не забывали, что они русские, и сознательно или по недомыслию не оказались предателями интересов родины. Михаил Алексеевич, узнав о столь смелом и патриотическом выступлении служителя церкви, решил с ним встретиться и побеседовать. Рассказывают, что Гурьянов сказал при этом: «Хоть попов терпеть не могу, а этому готов руку пожать». И утверждают — встреча произошла... Протоиерей с большой душой говорил о том, что Воскресенскую церковь (которой так часто любовался Гурьянов) в селе Трубино враги разорили. Сняты были ими и выброшены иконы, уничтожен престол, сожжены ризы. А потом-де на святом амвоне появился «священник», по внешнему виду скорее похожий на солдата, чем на лицо духовного звания, при пистолете и через переводчика призывал православных оказывать помощь немецкой армии.

Партизаны, зная, как бесчинствуют фашисты, кипели ненавистью, жаждой мести, но до поры не рисковали, готовя себя к операции крупной.

Идею нападения на тыловой штаб гитлеровского корпуса, который расквартировался в Угодском Заводе, подал Гурьянов. Его поддержал Курбатов. А Карасев и его начальник штаба Лебедев, до этого старший оперуполномоченный райотдела НКВД в Угодке, стали тут же развивать ее, выстраивать планы и расчеты. Однако Карасеву, тактически грамотному человеку, было очевидно: силами отряда, в котором насчитывалось всего 48 человек, осуществить такой

дерзкий налет невозможно. Тогда он начал советоваться. Связался с генералом Селезневым, командиром 17-й стрелковой дивизии, державшей оборону против фашистских войск, сосредоточившихся на территории Угодско-Заводского района. Ходил Карасев через линию фронта, через окна, поддерживал контакт и с руководителями чекистов Московской области. Военные и чекисты сказали, что дело это стоящее, что в такой операции можно не только нанести значительный урон захватчикам, но и заполучить для командования фронта очень важные сведения о противнике. Но соглашались, что такими мизерными силами не справиться. Нужна подмога.

В Москве обещали все обсудить и, если будет возможность, усилить отряд. И даже сделали на этом акцент: возникла необходимость участия в операции подразделений кадровой армии. Но пока судили да рядили, пока получили «добро», утекло немало воды. Минул октябрь, начался студеный ноябрь.

Приближалась двадцать четвертая годовщина Великого Октября. Как и в мирные дни, в газетах были опубликованы призывы ЦК ВКП(б). Но как они отличались от прежних! Теперь главными были: «Ни шагу назад! Остановить врага, отстоять Москву!», «Разобьем и уничтожим врага на подступах к Москве!»...

Когда мы беседовали с бывшими партизанами угодского отряда о делах более чем тридцатилетней давности, никто не мог восстановить в памяти, кто именно принес один-единственный экземпляр московской газеты с призывами ЦК ВКП(б). Но все утверждали, что в предпраздничные дни в одной из землянок комиссар Гурьянов собрал всех и зачитал призывы, разъяснив при этом положение на фронте и свои партизанские задачи.

БЕССМЕРТИЕ

К моменту возвращения Гурьянова из Москвы на базу Жабо с помощью Карасева и начальника штаба Лебедева, отлично знавшего места, в которых предстояло действовать, разрабатывал маршрут движения объединенного отряда к Угодскому Заводу.

10 ноября в Муковнино снова прибыл полковник Иовлев. Он помог тактически правильно все откорректировать, объяснил, почему Москва столь заинтересованно отнеслась к готовящемуся удару по Угодке. Там скрещивалось много важных магистралей. Рядом находилась автомобильная дорога Брест — Москва. Через центр пролегалли пути снабжения фашистских войск на участке Тарутино — Серпухов. Было очень кстати в ту пору деморализовать здесь врага, дать ему почувствовать, что в его тылу действуют большие партизанские соединения, отвлечь его внимание от происходящего в нашей прифронтовой полосе. Там уже концентрировалась сила, способная нанести мощный удар и отбросить противника от Москвы.

Как вспоминают, капитан Жабо понравился партизанам спокойствием, способностью быстро оценивать обстановку и твердой командирской уверенностью. Высокий, белокурый, подтянутый, всегда чисто выбритый, он как бы всем своим видом давал понять остальным: война не терпит нерях, не терпит нервозности. Рассказывал о себе Жабо так: «Потомственный русский шахтер с Донбасса. А по национальности литовец. Неизвестно как получилось, но еще мой дед рубил там уголек. И я поработал слесарем на врубовой машине. Потом Красная Армия, стал командиром, вступил в партию, служил на границе, так же как и Карасев». Воевать начал Жабо заместителем командира 909-го стрелкового полка 247-й дивизии. Бой. Ранение. Госпиталь. И вот — к полковнику Иовлеву в батальон особого назначения.

Главными стратегами на тот период в Угодке, конечно, стали Жабо и Карасев. Первый имел большой опыт руководства крупными подразделениями, второй успел отлично изучить район еще до того, как в него ворвались фашисты.

И вот наконец — пора! Известно, что время начала марша от Муковнина к Угодскому Заводу и время начала операции Москва сама не назначала. Оказав помощь в подготовке, обеспечив подкрепление отряда солидными силами, и

окружком и штаб, находящийся в столице, все остальное доверили определить самим партизанам. На месте и Жабо, и Карасев, и Гурьянов, бесспорно, могли куда точнее выбрать нужный момент. Но важнее был еще и совет бывалого начальника, умудренного многолетним опытом, человека, хорошо знающего общую обстановку на фронтах и умеющего глубоко оценивать детали задуманной операции. Более того, человека, знающего места, где операция эта должна осуществляться. И такой квалифицированный совет партизаны получили от командующего Западным фронтом... До определенной поры, а точнее до 1974 года, мало кому было достоверно известно, кто же из руководителей той операции выслушал этот совет. И вот... Перед нами исторический факт.

«Владимир Владиславович Жабо родился в Донецке в 1909 году. Кадровый офицер-пограничник, он отличался большим мужеством и храбростью. Мне его рекомендовали как исполнительного и решительного командира. Я принял его лично. В. В. Жабо понравился мне своей готовностью идти на любое ответственное дело. Как уроженец тех мест, где отряду предстояло действовать, я знал хорошо местность, где дислоцировались соединения 12-го корпуса противника, и дал ряд советов...»

Это была последняя инструкция старшего товарища, боевого и тогда уже известного генерала.

Сопоставляя теперь, через столько лет, факты, подтвержденные документами и воспоминаниями причастных к описываемым событиям людей, можно смело утверждать, что партизанская операция в Угодке была отнюдь не простым рядовым эпизодом первого года войны, который вписывается в чей-то личный актив, а делом, тщательно и коллективно подготовленным, обдуманном во всех звеньях руководства борьбы с врагом. Повторимся и еще раз назовем некоторые фамилии, говорящие сами за себя. Партийные работники А. С. Щербаков, С. Я. Яковлев, Н. М. Васильев, генерал-майор Д. М. Селезнев и, наконец, Г. К. Жуков. Те же, кому в основном посвящена наша повесть, и партизаны Угодки оказались на острие событий, главными исполнителями задуманного дела. Подав идею операции, они получили поддержку всюду. И это еще лишний раз подтверждает, что партизанская война советского народа против фашистских захватчиков с самого начала обрела четкое руководство, направлялась партией и военным командованием.

В самом начале этого повествования мы привели сообщение Советского информационного бюро о дерзкой операции партизанских отрядов «под командованием товарищей Ж., К., П., В.». Теперь нетрудно расшифровать, что это были за отряды и кто скрывался за большими буквами с точками. Имелись в виду первые буквы фамилий руководителей главных подразделений, участвовавших в той операции: капитана Жабо, старшего лейтенанта Карасева, старшего лейтенанта Пигасова и лейтенанта госбезопасности Бабакина. Мы же возможно подробнее поведем речь о главном нашем герое — Михаиле Алексеевиче Гурьянове, о днях, когда он шагнул в бессмертие.

Позволим себе обратиться к данным, собранным и сверенным группой ученых, архиварисов и краеведов Калужской области и изложенным в книге «Когда бушуют грозы». Она была выпущена к двадцатипятилетию победы в Великой Отечественной войне. Всего две странички посвящены в ней операции, проведенной в Угодском Заводе. Вот что там упоминается:

«22 ноября народные мстители вышли к старой Калужской дороге и расположились лагерем в четырех километрах к востоку от Угодского Завода. В районный центр отправилась небольшая группа разведчиков...»

Поздно ночью они вернулись в лагерь. Было установлено, в каких зданиях расположились вражеские подразделения, где размещены склады, гаражи, штабные учреждения, где и как расположена охрана...

Сводный отряд был разделен на восемь боевых групп, а проводниками назначены местные партизаны. В их задачу входило провести группы к объектам наиболее безопасными путями.

В ночь с 23 на 24 ноября сводный отряд вышел к северо-восточной окраине Угодского Завода и расположился на опушке леса...

За минуту до атаки с северо-западной стороны послышался гул моторов: это шел вражеский танк. Приблизившись, он осветил группу подрывников, подползавшую к мосту по берегу речки. Охрана моста открыла огонь по партизанам.

Услышав стрельбу, В. Карасев дал сигнал к атаке. Партизаны бросились в бой.

Мы не будем рассказывать всех деталей боя, а проследуем за нашим героем. Участники налета вспоминают слова Гурьянова перед боем: «Мне нет покоя, что какая-то сволочь сидит в моем кабинете. Вот я сейчас спрошу, кто из нас настоящий хозяин в райсне».

Вместе с Карасевым он действовал в центральной группе. Под покровом ночи она скрытно вышла в самый центр Угодки. У двухэтажного, тогда самого большого в райцентре здания райисполкома ходили двое фашистских часовых...

«По дороге шли фашистские машины,— рассказывал В. И. Косторнов, боец той же группы.— Мы поползли. Достигли сараев, что находились за зданием райисполкома. Там же была дорожка, на которой стоял немецкий часовой. Помню, он забеспокоился, закричал: «Хальт!» Три раза эдак выкрикивал. Мы этого часового сняли. Потом взвилась сигнальная ракета. «Вперед! Ура!» У нас бутылки с горючей смесью, гранаты. Я стал внизу у дома. А Гурьянов сразу кинулся к дверям. Я сам не был в здании райисполкома. Но видел, как немцы начали прыгать из окон. Стрелял по ним...»

«Гурьянов ударил дверь плечом,— вспоминал Карасев.— Она не поддалась. А в селе уже всюду трещали выстрелы, бухнули разрывы гранат, где-то заработали пулеметы. Нужно было действовать быстрее. Гурьянов выхватил из противогазной сумки гранату, отбежал и бросил ее в дверь. Она разлетелась от взрыва, и он первым ворвался в здание с карабином в руках. Я за ним. Из комнат навстречу выскочили фашисты. Зарево пожаров сквозь окна освещало лестницу наверх. В полумраке началась рукопашная. Мы стремились на второй этаж. И тут неожиданно замигала электрическая лампочка. Я вдруг заметил, что по лестнице, вытянув в мою сторону руку с пистолетом, сбегает вниз вражеский офицер. Вскинул маузер. Но раздался щелчок — патроны кончились. «Берегись, Виктор!» — крикнул Гурьянов. И в этот момент я почувствовал сильный удар в правую руку. Пуля попала в кисть. Гитлеровец, возможно, выстрелил бы в меня еще раз в упор, спас Михаил Алексеевич. Он бросился вперед, свалил того офицера, выстрелил в него из нагана и побежал на второй этаж, в свой кабинет. Я слышал там, наверху, стрельбу. Потом Гурьянов скатился вниз, вынес ворох топографических карт и вещмешок, в который, как выяснилось потом, он напихал штабные документы. Портфель с документами вынес и партизан З. Климов. Это были важные трофеи... Второй этаж дома уже полыхал. Я дал группе команду отходить...»

...Отход. Бывшие угодские партизаны вспоминают, что проводился маневр организованно, несмотря на то, что гитлеровцы бросили на преследование патриотов большие силы. Через фронт первым делом эвакуировали раненых, в том числе и В. А. Карасева.

Гурьянов с партизанами угодско-заводского отряда обеспечивал выход. Однако комиссар не торопился покинуть свой район. Он, видимо, рассчитывал укрыться на одной из лесных баз и продолжать тайную борьбу. Но группа, с которой был Гурьянов, попала в засаду. Уже раненный, он приказал товарищам уходить. Сам отстреливался до последнего патрона, бросал гранаты, но был все же схвачен врагами...

В феврале 1942 года в «Известиях» появился небольшой материал Татьяны Тэсс.

«Он был тяжело ранен в ногу,— писала она о Гурьянове.— Раненного, его повели в Угодский Завод. Его пытали. Длинные сильные руки его жгли раска-

ленным железом. Его били железным прутком по голове. Ему прижигали железом лоб. Ему крутили руки и ковыряли рану в ноге.

Он молчал...

От Гурьянова фашисты хотели узнать, кто он, что за силы совершили столь смелый и губительный налет на корпусной штаб, где расположены партизанские базы и тропы, как удалось им в такой гуще войск противника скрытно проникнуть в Угодку.

Он молчал...

Фашисты приводили разных людей из Угодки, показывали им истерзанного Гурьянова, требуя опознать, кто перед ними. «Не знаем», «Раньше не видели...» — отвечали люди.

Лишь на третьи сутки гитлеровцам удалось выведать через предателя, кто оказался в их руках. Михаила Алексеевича повесили на балконе здания райисполкома. Истерзанный, но не сломленный. На казнь фашисты силком согнали жителей Угодки. И теперь еще многие помнят тот страшный день. Уже тогда, когда палач стал набрасывать ему петлю на шею, он оттолкнул его, выпрямился и, откуда взялись силы, громко крикнул: «Всех не повесите, гады! Я не один — нас миллионы. Смерть фашизму! Да здравствует коммунизм!»...

Так погиб председатель из Угодки.

Из акта судебно-медицинского исследования:

«1942 года января 3-го дня в помещении здания народного суда в районном центре Угодский Завод Московской области в присутствии тт. Борисова Ф. Ф., Домашова Н., Шукиной А. Ф. врачом Соколовой А. А. было произведено судебно-медицинское исследование трупа Гурьянова М. А.

Заключение.

Смерть последовала от повешения на проводе после долгих пыток, за что говорит масса мелких ран на руках, голове, опаленные волосы, изуродованная, развороченная рана правого голеностопного сустава.

Смерть насильственная и рассматриваемая как преступление со стороны немецко-фашистских оккупантов».

Тогда, в войну, о Гурьянове мало что было известно. И написано мало. Разве что тот короткий очерк Татьяны Тэсс. Хоть имя его стоит первым в одном указе с именем знаменитой девушки-патриотки Зон.

Говорят, что парни из этого района превосходно служат в Советской Армии, что солдаты из них получаются образцовые. Может быть, играет роль обстоятельство, на наш взгляд, веское, которое и позволяет на высоком уровне вести военно-патриотическое воспитание молодежи. Многострадальная и славная тут земля: 27 братских могил с монументами, есть индивидуальные именные захоронения героев, мемориальные комплексы. Работают в районе два музея. Один в Гарутине, там, где к мраморной колонне с бронзовым орлом, славящей героев Отечественной войны 1812 года, прибавился монумент советским воинам, выстоявшим и погнавшим врага вспять. Второй музей в Жукове, райцентре, у Дома культуры. Там же стоят неподалеку два памятника. Один, большой поясной, воздвигнут знаменитому маршалу, другой, поскромнее, — бюст партизана, советского работника, отдавшего за родину жизнь.

После кончины Георгия Константиновича Жукова Угодско-Заводский район, его родину, переименовали в Жуковский, а село стало называться Жуково. Улица, что идет возле Дома культуры, кстати построенного с участием маршала, давно уже зовется улицей Гурьянова — в честь героя-предрика.

Молодежь здешняя воспитывается в традиционном уважении к славным делам старших поколений. С особой заботой ухаживает за памятниками молодежь, детвора. Этому в значительной мере способствует работа, проводимая в школах бывшими партизанами и фронтовиками. Но когда начинает рассказывать Александр Дмитриевич Терешин, то даже люди искушенные умолкают и обращаются в слух. Он накопил к той поре множество интересного, мемориальные вещи, фотографии, оружие. Он хозяин редких документов, среди которых, например, трудовая книжка, паспорт М. А. Гурьянова, свидетельства и воспоминания

сратников, личные вещи. Это он отыскал письмо Михаила Ивановича Калининна к матери угодского предрика. Вот оно:

«28 июня 1945 г.

Гурьяновой-Анне Павловне.

Уважаемая Анна Павловна!

Ваш сын Гурьянов Михаил Алексеевич в боях за Советскую Родину погиб смертью храбрых.

За геройский подвиг, совершенный Вашим сыном Михаилом Алексеевичем Гурьяновым в партизанской борьбе в тылу против немецких захватчиков, Президиум Верховного Совета СССР Указом от 16 февраля 1942 года присвоил ему высшую степень отличия — звание Героя Советского Союза.

Посылаю Вам грамоту Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Вашему сыну звания Героя Советского Союза для хранения как память о сыне-герое, подвиг которого не забудется нашим народом.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. Калинин».

Множество мемориальных предметов передал Терешину маршал Жуков — мундиры, фуражки, дубликаты наград, фотографии. С Георгием Константиновичем Александр Дмитриевич не раз встречался. Маршал вспоминал родные места, гордился земляками. Вспоминал и Гурьянова, с которым знаком лично не был, но разговаривал по телефону.

Живет народным музеем А. Д. Терешин. На общественных началах он его директор, научный руководитель и экскурсовод. Объем работы? Судите сами: в год здесь бывает более трехсот экскурсий. Не случайных туристов. Приезжают многочисленные группы из Обнинска, Калуги, Малоярославца, из Москвы — рабочие, колхозники, молодые солдаты и офицеры. Приезжают, конечно, и те, кто были участниками описанных событий. Часто видели здесь дорогого гостя Виктора Александровича Карасева, удостоенного за ту операцию ордена Ленина. Кстати, правительственными наградами за тот бой в Угодке отмечены 11 человек, а М. А. Гурьянов, А. Н. Устюжанинов, А. А. Александров — орденами Красного Знамени. Значит, Михаил Алексеевич был награжден тогда дважды? Да. Случай, бесспорно, исключительный. Но тут следует подразделить дела Гурьянова на две категории. Ордена Красного Знамени он удостоился за бой в Угодском Заводе и спасение Карасева. А Звезда Героя увековечила его подвиг патриота-коммуниста, до последней смертной минуты оставшегося верным делу партии. Он боролся с врагом даже с петлей на шее: «Смерть фашизму! Да здравствует коммунизм!»

Приезжают в Жуково и люди, родившиеся на этой земле и прославившие ее своими делами. Таков, например, Герой Советского Союза Семен Федорович Романов, тот самый паренек, кого Михаил Алексеевич подвез на своих санях, ныне генерал-лейтенант. Он почти каждый год гостит у брата Ивана Федоровича. И уж обязательно приходит поклониться могиле Гурьянова, заглядывает и в народный музей, который на той Калужской дороге стал одной из достопримечательностей. И потому хлопочет его создатель и вместе с ним райком и райисполком о строительстве нового помещения для музея. Пока, к сожалению, решить этот вопрос быстро не удастся. А жаль.

Не ради приезжих гостей создавал музей Терешин, больше всего старался для местной молодежи, чтобы знала она, на какой живет земле и каких эта земля родила богатырей. Ныне каждый парень в районе и поселке, призванный в армию, непременно приходит сюда. От имени трудящихся района вручается ему наказ. В маленькой книжечке выписка из Конституции СССР, моральный кодекс строителей коммунизма, текст военной присяги.

...Новенькое здание райисполкома соседствует с великолепным бором корабельных сосен, откуда и нанесли партизаны удар по штабу фашистского корпуса. Там мы вели наши беседы с бывшими народными мстителями. С ними ездили в леса, где были когда-то партизанские базы, к Тарутинскому комплексу славы

русским всинам. Блокноты и ленты диктофона заполнялись рассказами о Гурьянове.

Мы ехали от Тарутина по земле, носившей раны боевого прошлого. Оставленные для памяти участки фортификации, обелиски над братскими могилами. Заросшие, а зимой еще укутанные снегом холмики убитых войной деревень. А вот старая проселочная дорога...

— Гурьяновская. По ней ближе до Угодки, — сказал Терешин. — Только теперь она ненужной стала. Рядом есть вот такие государственные. Асфальт, бетон... А по старой проселочной гоняют скот. Кстати, вы спрашивали по поводу расписки, которую дал Гурьянов за корову. Так вот, расписка цела, колхозница Феоктистова предъявила ту бумагу и получила по ней корову, когда вернулся колхозный скот.

Делаем поворот у большого села.

— Помните, в архиве смотрели протокол заседания сессии Воробьевского сельского Совета, в котором осталось всего семь депутатов? — вспоминает Анастасия Ивановна Ягнюк. — Вот тут его территория. Все заново отстроили. Везде электричество, газ. Очень высокие показатели производства и заготовок продуктов сельского хозяйства.

Секретарь райисполкома говорит об этом с удовольствием, глаза лучатся. Так же она рассказывала о последнем школьном бале перед войной и о большом человеке, что нарядным пришел тогда к выпускникам. И станцевал с ней вальс. Может быть, последний в жизни. А теперь и она смотрит его глазами на район, на его 15 сельских и 2 поселковых Совета. Беспокоится, хлопочет, чтобы развивались хозяйства, росли урожаи и поголовье скота, чтобы учились ребята и шли в большую жизнь. Она сама мать двоих сыновей...

Рассказывает Анастасия Ивановна о людях, знаменах, которыми удостоен район за высокие трудовые показатели, о том, как осуществляется гурьяновская мечта, «чтобы все было высококультурно».



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АЛ. МИХАЙЛОВ

★

ОПЫТ

*Не Лаокоон, но о живописи в поэзии без установления границ
меж той и другой*

Леонардо да Винчи в «Споре живописца с поэтом» пылко утверждал преимущества живописи перед поэзией, во-первых, потому, что она служит глазу, то есть зрению, по словам Леонардо, более благородному чувству, во-вторых, потому, что представляет чувству творения природы с большей истинностью и достоверностью, чем слова и буквы...

Лессинг в «Лаокооне», наоборот, отдавал преимущество поэзии перед живописью и скульптурой, считая ее искусством более широких возможностей, и устанавливал четкие границы меж ними.

А что же сама поэзия?

Еще со времен Гомера она не пренебрегала искусством изображения — не кистью или резцом, а именно словом, — рассчитывая на естественную способность человека представлять зрительный образ. И если не включаться в вечный и никогда не разрешимый спор, какое из искусств лучше, а попытаться выяснить, как особенности и преимущества одного вида искусства используются другим, то в этом случае нам придется признать право поэзии живописать словом.

Не утрачено ли это искусство сегодня и если нет, то как поэзия обогащает свою выразительность с помощью рисунка, краски, картины?..

Замечательным живописцем в русской советской поэзии был Павел Васильев. В изобразительной щедрости, предметной динамике письма ему трудно найти соперников. Возьмем для напоминания начало стихотворения «Тройка»:

*Вновь на снегах, от бурь поматых,
В колючих бусах из репья,*

*Ты на ногах своих лохматых
Переступаешь вдаль, крапя,
И кажешь морды в пенных розах,—
Кто смог, собираясь в дальний путь,
К саням — на тесаных березах
Таковую силу притянуть?
Но даже стрекот сбруй сорочий
Закован в обруч ледяной.
Ты медлишь, вдаль вперяя очи,
Дыша соломой и слюной.
И коренник, как баня, дышит,
Щекою к поводам припав,
Он ухом водит, будто слышит,
Как рядом в горне бьют хозяев;
Стальными блещет каблуками
И белозубый скалит рот,
И харя с красными белками,
Цыганская, от злыбы ржет.
В его глазах костры косые,
В нем зверья стать и зверья прыть,
К такому можно пол-России
Тачанкой гиблой прицепить!
И пристяжные! Отступая,
Одна стоит на месте вскачь,
Другая, рыжая и злая,
Вся в красный согнута калач.*

Буйная, страстная, плотская васильевская образность приходит в движение, в ней передается ритм жизни, движение — не как действие (это само собой), а как быстрая, почти мгновенная смена впечатлений — распрямляет пружину стиха. Тройка перед скачкой, еще только запряженная, заряжена таким ритмом движения, что ее трудно, почти невозможно воспринять стоящей на месте («...стоит на месте вскачь...»). Гиперболические уподобления еще более усиливают ощущение ритма, стремительности движения. И какая эмоциональная насыщенность всей картины!

...Движение, ритм, действие, развивающееся во времени, — вот что подвластно пластике в поэзии, этим она отличается от живописи и скульптуры, способных запе-

чатлеть лишь один момент, но неспособных передать движение времени.

Поэт изображает предмет, чтобы возбудить в читателе чувственное представление о нем и сделать более живыми и восприимчивыми идеи. Движение, динамика в изобразительном ряду несовместимы с созерцательностью.

Не хочу сказать, что живопись Павла Васильева всегда безупречна, ему изменял вкус, когда поэт перенасыщал стихи физиологическими образами, когда картины его пестрили красками, становясь похожими на лоскутное одеяло. Но в лучших стихах Васильев достиг страстной и необычайно своеобразной пластической выразительности.

В статьях и книгах о современной поэзии, к сожалению, почти не обсуждается проблема пластического образа. Живопись как компонент стиха редко принимается в расчет при анализе поэтических произведений. Между тем мы располагаем опытом, которым нельзя пренебрегать, который заслуживает изучения при оценке способности поэзии пластически воздействовать на воображение и чувства, читателя.

Хочу предложить несколько разборов, дающих, как мне кажется, представление о различных возможностях пластического изображения в поэзии и о характере пластики в стиле того или иного поэта.

Возможно, что опыт работы над сюжетной поэмой способствовал развитию изобразительных возможностей таланта Василия Федорова, ведь именно в его поэмах самые важные, ключевые, движущие сюжет моменты даны зрительно. Повествовательные куски связывают произведение воедино, придают ему стройность целого, а в картинах заложена динамическая сила сюжета, в них раскрываются характеры, обнажая потайные пружины поступков.

Драматический сюжетный узел завязан в поэме «Золотая жила». Деревенский кузнец, туляка и силач Харитон, полюбил красавицу-солдатку Глашу. Их тайные свидания прервало возвращение домой Глашиного мужа, отслужившего свой срок. До мужа дошли слухи о встречах Харитона и Глаши. Он «упредил» жену, но еще и затеял хитрую игру: отлучился из дому, чтобы дать возможность встретиться ей с Харитоном, а сам нагрянул неожиданно. Войдя в дом, молча поставил на стол «бутылку казенной водки», разделся, приказал Глаше поставить закуску, положил перед со-

бою вместо вилки солдатский нож и позвал спрятавшегося в горенке Харитона: «Харитон! Не прячься, выходи. Посидел, помиловался с Глашей, а теперь со мною посиди!».

Человек гордого, независимого нрава, Харитон, конечно, не мог и дальше отсиживаться в горенке, да и что было делать в этой критической ситуации. Он вышел, сел к столу. Здесь придется процитировать довольно большой отрывок, чтобы показать весь эпизод:

Два стакана
В тайном гореванье
Разом над столом приподнялись.
Стукнулись шлифованные грани,
Звякнули —
И мирно разошлись.
Молча выпили по мере русской.
Тут Игнат, недобрый глаз скомив,
Острием ножа поддел закуску,
Сунул в губы гостю:
— Закуси!..—
Замер гость.
И зубы сжались сами.
Напрягая шею, не дыша.
Огуречный ломтик он губами,
Мускулом не дрогнув, снял с ножа.

Гость жует.
Игнат ему ни слова.
С гневом, накопившимся в душе,
Снова наливает он...
И снова
Подает закуску на ноже.
— Закуси!..—
И снова испытанье,
Но теперь в жестокой тишине
Каждый слышит трудное дыханье
Глаши,
Прислонившейся к стене.
Вновь полны стаканы.
С третьим звоном,
С третьим подношением ножа
Глаша на пол рухнула со стоном.
Встал Игнат.
— Ну, погостил — и ша!..

Драматическое напряжение этой сцены выражено средствами пластики, каждый жест передает внутреннее состояние персонажей драмы. Перед нами на редкость емкая, психологически насыщенная, взрывоопасная по содержанию картина, в которой сталкиваются сильные характеры.

Пластический рисунок у Федорова эмоционален, «подземные» толчки страсти ощущаются в каждом жесте, в каждом движении — и в трехкратном подношении Игнатом ножа с закуской к губам соперника, и в напрягшейся шее, в сомкнутых губах Харитона, и в обмороке Глаши..

Выразительность всего эпизода не исчерпывается пластикой. Эмоциональность со-

держания и в эпитетах и в оттенках авторской речи. Уже в начале цитируемого отрывка поднятые над столом стаканы «в тайном гореванье» подсказывают, что здесь столкнулись не честолюбцы в жажде обладания женщиной, а люди, каждый по-своему любящие и страдающие, испытывающие «тайное гореванье».

Недобрый глаз Игната, гнев в его душе, жестокая тишина, в которой соперники слышат трудное дыханье Глаши,— все эти детали усложняют и уточняют эмоциональную атмосферу эпизода, углубляют психологический подтекст картины. Живопись Василия Федорова психологична.

Именно в этом — и, пожалуй, ни в чем другом — с Федоровым сближается Евгений Евтушенко. В постоянном пристрастии к психологической детали, подробности, вещиности письма. «О чем бы он ни писал,— справедливо утверждает Е. Винокуров,— обязательно введет точно зафиксированное физическое ощущение, введет точно подмеченную позу, верно вылепленный жест». И еще: «Он замечает все подробности, все микроскопические черточки быта. Он сообщает о персонажах своих стихов такие подробности (здесь я бы уточнил: чаще он не сообщает — показывает в аэ т. рисует. — А. М.), которые обычно для рассеянного наблюдателя незаметны. Для него всякая мелочь важна, если эта мелочь хоть сколько-нибудь примечательна».

Почему Винокуров обратил особое внимание на эту черту таланта Евтушенко? Да потому что и его манере свойственна предметная, детальная живопись, и его стихи полны подробностями быта, и для него большое значение имеет жест, выражающий психологическое состояние персонажа, его чувства. Вспомним хотя бы давнее:

Моя любимая стирала.
Ходили плечи у нее.
Худые руки простирала.
Сырое вешая белье.

Это пока набросок с натуры. Но вот штрих, заставляющий искать психологический подтекст:

Исквала крохотный обмылок.
А он был у нее в руках.
Как жалок был ее затылок
В смешных и нежных завитках!

Здесь два психологических момента — один относится к героине стихотворения

(может быть, усталость, а может быть, обуревающие заботы рассеивают ее внимание), другой к лирическому герою (чувство жалости и нежности к любимой).

В этом же эмоциональном ключе видятся, читаются и другие подробности картины — как стирающая женщина, «чтоб пенилой лба не замарать, неловко, локтем, убирала на лоб спустившуюся прядь», как, «плечи опустив... смотрела в забыты в окно...» и «от мыла, щелока и соды в досаде щурилась она».

Живопись, портрет, детали картины помогают выявить чувство любви, нежности, обожания.

У Винокурова много стихотворений, где бытовая деталь служит отправной точкой сюжета, в ней как бы спрятано психологическое зерно образа. Но и не только психологическое. Еще чаще в бытовой подробности, в их сочетаниях поэт ищет и находит некий жизненный смысл, нискавший ему репутацию поэта-философа.

Драма жизни у Василия Федорова, философия жизни у Евгения Винокурова, публицистика (об этом еще пойдет речь) у Евгения Евтушенко — вот какие разные направления поэтического вторжения в мир дают живописные сюжеты.

Вернемся к Федорову. Его Бетховен из одноименной поэмы перед лицом Измены, закрыв «глаза от горя и обиды и голову клоня перед судьбою, взревел, как бык, ударенный бичом». Это кульминация драмы. Но главный портретный штрих впереди, он заимствован, поэт не скрывает этого:

И лоб его,
Досель не омраченный,
Тогда и рассекла
Кривая складка.
Что перешла потом
На белый мрамор
И сохранилась в камне
На века.

Картина пластически фиксирует последствия жизненной драмы. Хотя чаще и эффективнее Федорову удается показать в картине назревание драмы и саму драму, как в поэме «Аввакум», например, где поначалу вестником беды показан Никон. «Окаянный Никон» «с воровским лицом», «в ризах, будто в сбруе, рыжим жеребцом залясал, затопа на святом престоле». Таким он мог быть увиден глазами Аввакума. Не предвестие ли жесточайшей исторической драмы уже в портрете Ни-

кона, в его изображении? А сама эта драма раскрывается в вульгарном бытовом эпизоде — драке:

Нижок протопопа
Норовит крестом,
Протопоп владыку
Норовит цепями...

В картине драки — отрывистые реплики супротивников, ругательства и взаимные оскорбления, игра низменных страстей. Для В. Федорова вообще характерен трезвый, без приукрашиваний взгляд на историю. В его, может быть, самом драматическом по внутреннему сюжету стихотворении «Рабская кровь» такой взгляд выразился наиболее отчетливо. Гордясь историческим величием народа, поэт вместе с тем не срезает шипов, не умалчивает о том, что не входит в кодекс доблести и чести. Этому принципу В. Федоров не изменял и тогда, когда любование патриархальной стариной и бужолические картинки старинного сельского быта вошли в поэтическую моду.

Литература давно уже отказалась от совета Дидро сохранять изящество в изображении невзгод и нужды (а также в изображении жестокости, низменных страстей, античеловечных поступков). В русской литературе решительно и властно отверг подобный принцип гений Достоевского, а за ним Горького, показавшего «свинцовые мерзости» жизни. В советской поэзии Блок в «Двенадцати», Маяковский в стихотворении «О дряни» и других пластически резко, в контрастном изображении вскрыли накипь, которая неизбежно образуется на поверхности при крутых поворотах истории. Сегодня, естественно, уже не дискусионен вопрос о правомерности или неправомерности жестоких сцен в поэмах Федорова, ибо в них выпукло, динамично, художественно осмысленно показана правда жизни.

Евгений Винокуров писал: «На ощупь мир правдивей». Это убеждение вынесено из жизненного опыта, опыта, претворенного в поэзию («Есть смысл в поэте только лишь босом: пусть между пальцев проступает глина»). Чувственный опыт, вынесенный из предметного мира и человеческого быта, — обратная сторона философских размышлений поэта. Обыденность, предметность, пластика и отвлеченная мысль — вот точки протистояния в его поэзии.

По поводу одного из стихотворений Винокурова Е. Етушенко писал: «Частично, как все мы, герой Винокурова является причудливым конгломератом быта и порыва...» Можно эти слова приложить к характеристике творчества Винокурова, но они, конечно, не будут исчерпывающими. Винокурову-живописцу жизнь часто представляется гигантским пестрым балаганом, он ищет и находит зрелища там, где далеко не всякий их увидит. «Я верую в не-обозримый тезис, что этот мир был создан напоказ!» Тезис, который позволяет вводить в стихи элементы игры, балагана, скоморошества, актерства. Жизнь как народное действо, как ярмарка красок, как мистерия, в которой действующие лица — все люди. Такой ракурс открывает новые изобразительные возможности, которые поэт использует в нескольких стихотворениях, и, может быть, наиболее эффектно в «Поэме о движении».

...Читатель, наверное, заметил, что в приведенных выше высказываниях Винокурова о Етушенко и Етушенко о Винокурове обращается внимание на приверженность того и другого к быту, к материальной, вещной стороне жизни, к ее пластическому изображению. Может быть, именно этой эстетической общностью и объясняется интерес поэтов друг к другу. Но, как уже было сказано, из общей для них, как и для Федорова, черты таланта проистекают разные идейно-художественные задачи.

У Етушенко деталь, как правило, выписана ярко, выставлена напоказ, ибо картина составляется из таких деталей, которые накапливают эмоциональный, публицистический взрыв. Но вот в стихотворении «Мед» заявка на публицистическое обострение темы сделана уже во второй строке:

Я расскажу вам быть про мед,
Пусть кой-кого ове проймает...

Это рассказ о том, как в «страшном, в сорок первом, в Чистополе, где голодало все и мерзло», выставили для продажи двадцативедерную бочку меда. Продавец меда Етушенко сразу же резко аттестует («Был продавец из этой сволочи, что валяется на горе...»). Но выразительнее в данном случае детали: «рука купеческая с кольцами», рассматриванье «на свету» вещей, которыми голодные люди расплачиваются с ним за мед... А кто эти люди? Старый художник, одною рукой разматывающий шнурки на ботинках, а другою

протягивающий бутылку, затем «собственно и безропотно» идущий по снегу в заштопанных носках; жены солдатские, стоящие «немо, напряженно» с банками и стаканами в руках; девочка, «прозрачной ручкой» тянущая «крохотную рюмочку с колечком маминим на дне»... Детали картины контрастируют: «рука купеческая с кольцами» у продавца меда и рюмочка с маминим колечком в прозрачной руке девочки, покупающей мед. Не просто контрастируют — они кричат, требуют к себе внимания. Однако их крик перебивается вторжением еще одного персонажа, оттеснившего на второй план всех остальных, занявшего центральное место в композиции:

Но —
 сани закричали мощно.
 На спинке —
 расписные розы.
 И, важный лоб сановно морща,
 сошел с них некто,
 грузный, рослый.
 Большой,
 торжественный,
 как в раме,
 без тени жалости малейшей:
 «Всю бочку.
 Заплачу коврами.
 Давай сюда ее, милейший.
 Договоримся там,
 на месте.
 А ну-на пособите, братцы...»

Евтушенко не выдерживает чисто изобразительной манеры, его личное отношение к происходящему, его страсть вторгается в рассказ повышенной экспрессией тропов, нагромождением эпитетов, кричащими деталями портрета. Фигура «сановника» настолько контрастна другим персонажам, покупателям меда, что и без каких-либо дополнительных характеристических строк его нравственная и социальная сущность понятна. Сразу же устанавливается связь между ним и продавцом меда. Торговец и покупатель, они в подобной ситуации свои люди. «Они всегда договорятся». И все же поэт пока сдерживает уже назревший открытый взрыв, снова высветивая толпу, очередь:

Стояла очередь урюмая,
 ни в чем как будто не участвуя.
 Колечко, вываливши из рюмочки,
 упало в след саней умчавшихся...

Вот она, самая выразительная, много говорящая деталь картины, еще раз выставленная напоказ, уже в центре всей композиции.

Сюжет картины красноречив и исполнен так, что как будто не нуждается в поэтическом обобщении. Два момента объясняют, почему Евтушенко все же не ограничился этим сюжетом и завершил стихотворение еще одним кадром остропублицистического содержания. Первый заключен в обстоятельствах общественного развития (стихотворение написано в 1960 году, когда от литературы, и в особенности от поэзии, ждали немедленного, острого отклика на события и бескомпромиссной, четкой их оценки, когда лозунг, декларация, инвектива несли в себе огромный заряд эмоциональности). Второй вытекает из первого, он отражает особенность творческой индивидуальности Евтушенко, поэта, рожденного этим временем. Он сам сказал несколько лет спустя в стихотворении «Эстрада» (1966): «Я научился вмазывать, врезать, но разучился тихо прикасаться».

Для Евтушенко-публициста характерна размашистость и доведенная до логического конца, до резкости определенность в духе Маяковского. Никакого «таинства оттепков», когда дело касается актуальных нравственных и социальных проблем!

Картина, показанная им в стихотворении «Мед», относится по времени к прошлому, но в том-то и дело, что Евтушенко обращает ее в настоящее, и это еще одно обстоятельство, объясняющее необходимость данной им концовки. «Далекий тот сорок первый год...» — отвлекаясь от сюжета, как бы в раздумье произносит поэт и снова гневно сообщая, что жив он, «медолюбец тот, и сладко до сих пор живет». И — по всем законам фельетонной публицистики — конечно, процветает:

..Когда он смотрит на часы
 и гладит сытые усы,
 я вспоминаю этот год,
 я вспоминаю этот мед.
 Тот мед тогда
 как будто сам
 по этим —
 этим — тек усам.
 С них никогда
 он не сотрет
 прилипший к ним
 навеки
 мед!

Определенность и публицистическая резкость концовки, однако, не мешают ввести в нее элементы изобразительности. Поэт и здесь не пренебрегает эффектным жестом, броской, кричащей деталью.

Цвет, штрих, объемный рисунок Евгений

Евтушенко использует не только в публицистических стихах, но именно в них рельефнее прорисовывается подробность, деталь и наиболее отчетливо проступает отличие его индивидуального стиля от стилей других поэтов. Письмо Евтушенко пластично, он любит набрасывать натуру пгтрихами, мазками кисти, иногда даже несколько перегружая композицию деталями. Подробности в его стихах — самые бытовые и самые вместе с тем неожиданные — живут, взаимодействуют, создают настроение. Хотелось бы на одном лишь примере показать, как возникает картина — не непосредственно из визуального наблюдения, а в ассоциативном ряду. Для этого обратимся к стихотворению «Ты начисто притворства лишена...».

Понимаю, трудно передать смысл лирического стихотворения словами критической прозы, но сделать это для разбора необходимо. Итак, стихотворение о любви — интимное, одно из самых проникновенных, предельно искренних, лишнее даже намек на игру, на актерство. Любимая женщина рвет со своим недобрым прошлым и бежит к человеку, который ее любит. Но там, в этом прошлом, осталась частица ее души, там прошли годы ее жизни, где, наверно, не все было мрачно, она еще не знает, любит ли того, к кому «безропотно прижалась», и он понимает это. Он — это лирический герой стихотворения. Вовлекая нас в стихию чувства, поэт обнаруживает и тонкость и такт, душевное зрение, угадывая весь сложный комплекс переживаний героини стихотворения. Раскрывается он через ассоциативный ряд, выстраивающийся уже с первой строфы, с первого сравнения («Ты начисто притворства лишена, когда молчишь со взглядом напряженным, как лишена притворства тишина беззвездной ночью в городе сожженном»).

Сожженный город — исходный образ в ассоциативном ряду. «Он, этот город, — прошлое твое». Стихотворение написано как монолог, обращенный к любимой, или скорее как размышление наедине, когда образ ее волнует своим почти физическим присутствием. Прошлое — город, «он, этот город, на тебя давил угрюмостью своей архитектуры». И хотя мы знаем, что образ города — метафора, раскрывающая нравственный климат жизни героини в прошлом, тем не менее следим за предметным, живописным представлением, видим картину, ибо она пишется для сравнения.

В лирическом сюжете возникают еще детали города: «В нем изнутри был заперт каждый дом. В нем было все недобро умудренным...» Детали не так отчетливо и броско, не так определено и законченно поданные, как в сюжетных стихотворениях (ибо здесь они передают состояние смуты в чувствах женщины), но все же складывающиеся в картину. И бунт героини тоже отражен в этом ассоциативном ряду: прошлое — город.

Тогда ты ночью подожгла его.
Испуганно от пламени метнулась,
и я был просто первым, на кого
ты, уходя, в темноте наткнулась.

Я обнял всю дрожащую тебя,
и ты ко мне безропотно прижалась,
еще не понимая, не любя,
но, как зверек, благодаря за жалость.

Здесь условный ряд перемежается с реальным. Прошлое с настоящим. Зрительный ряд продолжается дальше. Это перелице, куда, «как зачарованную, тянет» поджигательницу. Догадка о том, что она переживает, и эскизный набросок, ассоциативно подкрепляющий догадку, раскрывают психологию образа. Диалектика его сложна и противоречива. Тайственная сила прошлого имеет власть над женщиной («Ты не могла любить его само, ну а его руины — полюбила»).

Город и пепелище, прошлое и настоящее, смена кадров, смена этих условных декораций на арене жизни и маленькая, вызывающая острое чувство жалости фигурка женщины, последний эскиз к картине:

Над тем, что так отчаянно сожгла,
по-детски поджигательница плачет.

Живопись Евтушенко здесь условна, не так предметна, как обычно, но она соответствует строю лирического стихотворения и своему ассоциативному предназначению. А в общем плане она говорит о том, что не только в сюжетных стихах, но и в интимной лирике пластическая выразительность обогащает поэтическую структуру.

Это не значит, однако, что живопись является непременно компонентом выразительности, все зависит от жанра, от характера дарования поэта, от умения вводить рисунок в стиховую ткань. В конце концов пейзажная лирика и непредставима без живописи, стихотворение иногда можно рассматривать и как натюрморт.

Владимир Гордейчев в стихотворении «Арбуз» как раз написал натюрморт и еще картинно воспроизвел всю подготовку к нему: он, «как гирию, на весу», сцепив пальцы, несет кубанский арбуз с базара, ставит в ванне «под живую и леденистую струю», попутно замечая, что арбуз напоминает «тигра с бомбою гибрид», обтирает полотенцем, торжественно ошлепывает со всех сторон и наконец водружает на стол. И вот он, натюрморт:

И только тут, во весь свой глянec,
он блещет пуще всяких лун.
Вот это, брат ты мой, кубанец!
Вот это, брат ты мой, кавун!

Интересно отметить, что Гордейчев чрезвычайно важное значение придает способности художника пластически воплощать замыслы. У него есть стихотворение, где в идеальном представлении искусство пластики таково, что «к холсту с изображением черемух прилетает настоящая пчела». Природа в стихах Гордейчева действительно видима, осязаема, красочна и объемна. И в нее вписан человек:

Под горкой зеленой, где лилия
в зеркальном дрожит озерке,
над заводью девочка милая
склонилась с цветами в руке.
Загад свой секретный на мальчиков
вплела она в звезды венков:
на Ванечку — из одуванчиков,
на Васеньку — из васильков.

Стихи стилизованы под сказку, но сказочная поэтика меньше тяготеет к визуальной изобразительности. А тут «по зелени вод озера поплыли венки ее девичьи, как два обручальных кольца». Восторг девочки, переполняющая это юное существо радость бытия, близость к природе усилены тоже живописной деталью: когда девочка ахнула с лилией, то «даже для пня безучастного, что мокнет у берега тут, ясней обнаружилось ясного, как девочку эту зовут».

Пейзаж у Гордейчева романтизирован, но не переведен в план абстрактной условности, он романтически осмыслен, хотя в деталях живописно реален. Лучше всего это видно в концовке стихотворения «Русская сказка», которое цитировано выше:

Мир в сказочно блестящей озари
увенчан двойной красотой:
той девочки — в утреннем озере
и озера — в девочке той.
И заводь, что рыскою тычется

в муравчатый край бережка,
качает ладьями язычества
девичьими оба венка.

Отвлекаясь от изобразительности, обратим внимание, сколь поэтичен образ: девичьи венки — ладьи язычества; обряд гадания включен в изящную метафорическую формулу.

Нельзя сказать, что современная русская поэзия забыла о пейзаже. Количественно пейзажных стихов пишется много, среди них немало подлинно талантливых, но редко, крайне редко поэты целиком доверяются кисти, редко картина выражает их мировидение, их философию. Живописные фрагменты, детали пейзажа в лучших стихотворениях обычно играют роль фона или ассоциативного ограждения какой-то идеи, состояния, чувства. У Николая Рубцова в «Осенних этюдах»:

Огонь в печи не спит,
перекликаясь
С глухим дождем, струящимся
по крыше...
А возле ветхой сказочной часовни
Стоит береза старая, как Русь,—
И вся она как огненная буря,
Когда по ветру вытанутся ветви
И зашумят, охваченные дрожью,
И листья долго валяются с ветвей,
Вокруг ствола лужайку устлая...

Первое, что можно заметить: поэт не особенно заботится об изобразительной четкости и объемности, кисть его не задерживается на деталях, она размашиста, она доверяет условности. Картина полна символики, видно, что поэт пишет этот пейзаж не ради пейзажа, не ради того, чтобы показать северную осень, что его душа чем-то растрожена, и мы уже ждем, когда прорвется растрожившее его чувство, а оно зреет в чреде ассоциативных отвлечений, мучительно складываясь в формулу одиночества, покинутости, отъединенности от людей, состояния, которое преследовало Рубцова последние годы его жизни и которое он огромными усилиями воли преодолевал.

Я не буду подробно разбирать это большое трехчастное стихотворение, напомним лишь, что в самом конце его выражено страстное желание преодолеть одиночество, чтобы «всегда светила нам, не унывая, звезда труда, поэзии, покоя...».

Обратим внимание на характер живописи. Береза — старая, как Русь; по ветру вытянутые, охваченные дрожью ветви; боло-

то, уснувшее клюквой и овейное сказками и бьюлю крестьянских поколений; взлетающие над болотом яростные птицы — все это мираж, живописная символика, словно бы во сне увиденная, и «в этом сне картины нашей жизни, одна другой туманнее, толпятся...». Условный план для поэта, видимо, больше соответствовал неясным и тревожным симптомам одиночества, страха перед ним. И не случайно в третьей части «Осенних этюдов», в преддверии финального выхода, обретения веры, характер пейзажа меняется, появляются четко выписанные реалии — овин, «снежок в траве обледелой», «почтовый трактор»... Устанавливается живая, непосредственная связь с миром природы, с жизнью людей, высветляется мысль: только в общении и близости с людьми возможно преодоление одиночества.

Перечитывая стихи Николая Рубцова разных лет, мы замечаем, как в пейзаже, в картинах жизни, в характере образности находила отражение душевная драма поэта. С одной стороны, чистая символика: «Кто-то стоит на темном кладбище, кто-то глухо стучится ко мне, кто-то пристально смотрит в жилище, показавшись в полночном огне»; с другой — «ивы, река, соловьи...», «жукоя церковной обители», заросший травой, болотина, канал, вырытый людьми, и «новый забор перед школою...» — все старые и новые, но живые, видимые, осязаемые подробности сельского пейзажа, здесь прошло детство, здесь похоронена мать, здесь корни, с которыми поэт чувствует «самую глущую, самую смертную связь».

В живописной, трогающей душу близости, узнаваемости родного пейзажа близок Рубцову поэт Анатолий Жигулин:

О Родина! В неярком блеске
Я взором трепетным ловлю
Твои проселки, перелески —
Все, что без памяти люблю:

И шорох роши белоствольной,
И синий дым в дали пустой,
И ржавый крест над колокольней,
И низкий холмик со звездой...

Моя обиды и прощенья
Сгорят, как старое жнивье.
В тебе одной — и утешенье,
И исцеление мое.

Пейзажная живопись Жигулина иного толка. Она тоже не бросается в глаза и видима лишь внимательному взгляду. Внимательному же взгляду открываются и

графике и цветковые пятна, составляющие важный компонент выразительности. Жигулин обязательно заметит, как сквозь белую марлю снегов просочилась, пробилась рябина, увидит красноклювые краны, похожие на гусей, бульдозер в красной рубашке, огоньки бересклета в осенних кустах...

В неброском внешнем и таком, казалось бы, простом и привычном пейзаже Жигулина почти всегда особую роль играет цветовая гамма:

И над белой свернувшейся Русью
Красно солнышко
В небе горит.

Торжество цвета — торжество жизни. В этих строках Жигулин неожиданно патетичен.

Иногда ему оказывается достаточно одного яркого мазка, чтобы оживить картину цветом, привлечь к ней взгляд. В стихотворении «Дикие гуси» господствует серый, тусклый горный пейзаж, а на его фоне — гуси с красными и носами.

Но чаще все же поэт не ограничивается одним цветом, а дает сочетание цветов, достигая этим большого художественного эффекта. В воспоминании военных лет угадывается контраст состоящий, когда возникает видение сумрачных крыл мельницы и желтого, пылающего на взгорке около села сена. А стихотворение, воскрешающее в памяти горькие страницы собственной биографии, начинается такими строчками:

Черные листья осины.
Зелень кукушкина льна.
Дивной, неведомой силы
Русская осень полна.

Начало как будто бы и не о себе вовсе. Да и все стихотворение больше о родине, о себе лишь постольку, поскольку сам лирический герой связан с родиной, а она — опора в жизни и отрада, прошлое, настоящее и будущее:

Как бы прошел я все муки
В той неудобной дали,
Если б не помнил в разлуке
Запах родимой земли?

Здесь через сложность ассоциативных связей отзывается и черный цвет осиновых листьев и зелень кукушкина льна...

Иногда тонкая цветовая гамма дает яркую вспышку, как в стихотворении «Туман слонится тонко...». Краски понемногу очень сдержанны, закрая, это видно и по первой

строке. В тумане видна голубоватая рожь, а потом дорогу заволакивает сумрак. На башне водочаки зажигается «красный глаз», придавая всей картине романтический оттенок. Пейзаж получает законченность в последней строфе, в такой подробности:

Но солнце свет прощальный
Еще на землю плет,
Неярко освещая
Летающий самолет.

Снова спокойные тона, никаких эффектов, самолет в небе — это сегодняшний быт.

Жигулин любит осень, особенно в ее предзимнюю пору, любит прозрачные дни перед наступлением холодов, и в его живописной палитре находят свои краски для осеннего пейзажа:

Опять в полях светло и пусто.
Солома, ветер и песок.
И в синем холоде напуста,
И в желтом пламени лесок.

Иное сочетание красок в другом стихотворении: «капустная синяя свежесть. И красные клены вдали», «и зелень свекольного поля на сизом остывшем дугу...», «и женщину в красной косынке над свежей зеленой ботвой...» (разрядка моя. — А. М.). Здесь осень в торжестве плодородия, стало быть, и краски ярче, разнообразнее. И поскольку цитируемые строки стоят не рядом, то не создается впечатления пестроты, перенасыщенности, но сами эти цветовые пятна в таких вот естественных, привычных сочетаниях необычайно одухотворяют пейзаж.

Реже у Жигулина встречаются контрастные краски. В прозрачные осенние дни, когда уже иней или даже снег припорочит

землю, видит поэт в природе контраст белого и черного — белое поле и черную ветлу, белый холодный рассвет и черный колокол, седой от стужи березняк и черные былки польни...

Цветовые эффекты в стихах Жигулина эмоциональны и содержательны, в них угадывается то главное и существенное, что находит воплощение в идее стихотворения. Прочитай: «И за ветками черных ослинок, за сырым и холодным живьем пробивается зелень озимых...» — мы угадываем в этом сопоставлении цветов идею торжества природы над осенним распадом. Вообще пейзаж Анатолия Жигулина невозможно представить без красок.

Итак, на вопрос, не исчезли ли из поэзии рисунок, графика, краски, можно ответить вполне определенно: нет, не исчезли. Подкрепить предложенные здесь разборы можно пластической символикой Егора Исаева и Андрея Вознесенского, графикой Владимира Соколова и Константина Ваншенкина, изобразительным рядом нескольких других поэтов. Не только подкрепить, но и показать — в сравнении — иные возможности красок, рисунка, картины. Я не делаю этого, чтобы не повторять уже написанного о них в прежних работах.

Со времен Лессингова «Лаокоона» никем не опровергнут принцип чувственного представления о теле, предмете, детали, пластически воспроизведенной поэтическим словом. Как бы современная поэзия ни насыщала себя идеями, мыслью, интеллектом, она не перестанет апеллировать к человеческим чувствам, и живопись — динамическая, подвижная, доступная слову, живопись многозначная, эмоциональная — будет обогащать выразительность стиха.



А. ВУЛИС,
доктор филологических наук



ПОЭТИКА ДЕТЕКТИВА

Интерес к детективной литературе у наших читателей очень велик», «Детектив любим читающей публикой», «Немалыми тиражами выходят детективные книги, пользуются они большим читательским спросом» — вот первые строки трех выбранных наугад статей, под которыми стоят подписи таких несхожих авторов, как Ариадна Громова, Н. Анастасьев, Вадим Назаренко. И, надо сказать, само это совпадение, предопределенное фактическим положением вещей, совсем не настраивает на иронический лад. Настораживает в процитированных репликах нотка извинения, одинаково явственная и в шестьдесят пятом году, когда вышла статья Громовой, и в семьдесят третьем, когда выступил Назаренко. И вполне понятная: давно ли детектив расценивался общественным мнением как типичный образец антилитературы!

Иногда пренебрежительное отношение к детективу объявляют давно пройденным этапом. «Сегодня публикация детектива, — утверждает Ф. Светов, — не требует сколько-нибудь оправдательной аргументации». Увы, дальнейшие рассуждения автора опровергают его оптимистическое заявление, представляя собой как раз оправдательную аргументацию. И вывод предлагается знаковый: хороший детектив — это литература, тогда как плохой, разумеется, не литература.

Горькие медитации о низком качестве многих произведений этого жанра не только рядом с «высокой» прозой, но и с неким эталонным детективом и сегодня не столь уж редки и достаточно оправданны. Назовем в качестве примера статью В. Ковского¹.

Но и этот автор за детектив. Через отрицание конкретных произведений к утверждению отвлеченной художественной категории — это несколько парадоксальное построение его статьи все-таки служит интересам «защиты» жанра, направлено на «стирание граней» между детективом и «серьезной» прозой, хотя нередко за счет стирания специфики самого детектива.

Словом, вокруг детектива как литературного жанра в нашей критике сейчас идут теоретические толки, копирующие в общих чертах кульминационные эпизоды самих детективов. Оживленная конкуренция мнений — и отсутствие должной ясности, накал страстей — и варьирование одного и того же фактического материала от неизменно упоминаемой даты рождения детектива (1841 год, Эдгар По, «Убийства на улице Морг») до литературных героев, иллюстрирующих критические тезисы.

Литературная дискуссия в отличие от «приключенческой», той, которая развертывается в книгах, когда ищут преступника, не имеет заранее предопределенного финала. Но вряд ли он нас чем-нибудь порадует, если участники спора станут и дальше заниматься уже поднадоевшим выяснением «проклятого вопроса» — литература ли детектив или не литература?

На мой взгляд, задача теоретиков жанра состоит вовсе не в том, чтобы завоевать для детектива место под солнцем либо указать ему в этом месте. Выявить внутренние закономерности жанра — вот на какую программу натапливает критику сложившаяся в нашей приключенческой прозе ситуация. И, видимо, следует принять за аксиому, что детектив — литература, если это подлинно художественное произведение. Точно так же как мы считаем литературой

¹ В. Ковский. «Я надеюсь, что книга хорошая...» («Вопросы литературы», 1975, № 7).

талантливую поэму (графоманский опус никто к литературе не относит и ремесленную поделку тоже).

У меня нет исчерпывающих социологических сведений о ситуации, которая наблюдается ныне, так сказать, в среде восприятия. Поэтому позволю себе воспроизвести взамен цифр три диалога, свидетелем которых в полном «юридическом», так сказать, смысле слова мне довелось быть.

Итак, в библиотеке.

— Дайте что-нибудь интересненькое.

— Увы, милая, детективы все на руках. «Простор» у Иванова, «Звезда Востока» у Петрова, «Дон» у Сидорова, а «Неман» у Николаева.

— Да нет же, мне не детектив. Мне бы серьезное.

— Ах, серьезное... Так бы сразу и сказали.

В электричке.

— Что за дети нынче пошли! Я ему: «Ты бы, Петенька, Аксакова почитал. Про то, как ловят... этих... ну, как их... мотыльков». А он мне: «Бабушка, а бабушка, мотыльки — это кто? Рецидивисты?»

У телевизора.

— Скажите, Уотсон, что вы думаете о профессии этого молодого человека? — спрашивает Шерлок Холмс, устремив свой взор на зрителя.

— По-моему, это переодетая гувернантка. Столько чуткости! Такая забота о ближнем!

— Так... А ваше искушенное мнение о жанре сегодняшней передачи?

— Цикл инсценированных любовных романсов.

— Ошибаетесь, Уотсон. Этот молодой человек — инспектор милиции.

— Право же... если поразмыслить! Но как вы догадались?

— Очень просто. Он никогда не приходит домой вовремя, питается всухомятку... А кроме того, в последнем эпизоде он выходит на экран в милицёрской форме.

— Вы гений!.. Тогда, значит, жанр сегодняшней передачи...

— Вот именно! Детектив!

Диалоги из этой коллекции иллюстрируют следующее:

а) детектив пользуется в наше время особой популярностью у читателей;

б) детектив, по представлению этих читателей, одновременно и литература в традиционном смысле и нечто ей противоположное;

в) детектив, когда нарушаются законы жанра, с такой стремительностью «теряет свое лицо», что попросту перестает быть самим собой, делаясь чем-то другим.

Тот же «джентльменский набор» проблем и разноречий, что и у критиков. А откуда, собственно, взялась ясности, если ее нет и в среде специалистов? У нас к поэтике детектива (быть может, боясь этого чудовищного в своей неожиданности совмещения понятий) никто, кроме, пожалуй, А. Бритикова, не обращался всерьез.

Когда пишут о серьезной литературе, опираются на серьезную теоретическую традицию. Когда пишут о детективе, теорию изобретают на ходу. А иногда обходятся и вовсе без теории: судят жанр и выносят ему приговоры по законам «серьезной» литературы, хотя к детективу они не всегда применимы.

Представьте себе, что перед вами лежит на столе детектив. Представьте себе также, что вы литературный критик и вам предстоит написать на него рецензию. Как вы поступаете? Ну, разумеется, сначала читаете роман. Потом перечитываете, делая заметки на полях. Потом переступаете невидимый порог — и вот вы уже в мире абстракций. Разбрасываете по рубрикам свои наблюдения, соотносите характеры персонажей с теми, что вас окружают в реальной жизни, и незабвенными героями предшествующей литературы. Работа кипит, впору уже переходить и к выводам. Привычно обращаетесь к какому-нибудь «эталонному» персонажу. Ну хотя бы к мсье Пуаро, главному герою «Восточного экспресса» Агаты Кристи, или Игорю Николаевичу Мазину из повестей П. Шестакова. «Сейчас, сейчас, — думаете вы. — Проследим эволюцию личности...» Да, но ведь о личностях-то, если даже брать «эталонные» фигуры, говорить, по существу, нечего. Настолько они конспективны (особенно в западном детективе). Постоянная болтовня о «маленьких серых клеточках» (мозга), необузданное бахвальство и сверхчеловеческая пронизательность. Вот и весь Пуаро! Да еще страх перед сквозняками. Можно, конечно, задержаться на портрете Пуаро. Только нужно ли? Наверняка рецензенты уже упоминали и эту яйцевидную голову и эти огромные усы...

А как обстоит дело с Мазиним? Лучше, лучше ровно настолько, насколько вообще советский детектив человечнее, серьезнее западного. Мазин исходит в своей деятель-

ности из высоких идейных посылок, воспринимаемая работа в мириады как служение идеалам нашего общества. Добр, но бывает и беспощадным, мыслит диалектически, широко, рассуждает афористично, с иронической аранжировкой. Из других личных качеств заслуживает упоминания некоторый аскетизм. Особых внешних примет, достойных упоминания, у Мазина как будто нет. Во всяком случае, на такой точке зрения, кажется, стоит сам автор.

Вот и все о Мазине.

Что ж, отметим динамизм сюжета, принимаете вы соломоново решение. Можно похвалить сочинителя за мастерски закрученную интригу. Недурен и диалог. А теперь пора, пожалуй, перейти к суровой правде... Даже беспорная изобретательность литератора не может преодолеть шаблоны жанра, выводит ваша рука сама собой привычные строки. Главный герой от первой страницы до последней статичен. Нет в романе и других живых, развивающихся индивидуальностей, ярких характеров...

Не превращается ли у нас порой само понятие «характер» в духовный аналог некоего более или менее благородного металла, обеспечивающего прочность валюты? Пропало золото, обесценились ассигнации. Теперь это никчемные бумажонки, как на сеансе черной магии, затеянном в театре «Варьете» героем «Мастера и Маргариты». Нет характеров — роман выпал из художественной литературы. Теперь это макулатура. Клади в тележку — вези на склад. Дадут талончики — получишь Конан Дойля!. Только ведь Конан Дойль та же самая макулатура, если оценивать его «по линии» характеров.

Нам известно, что в каждом из произведений «серьезной» реалистической литературы своя, неповторимая концепция характеров.

И у детектива, хоть этот жанр не породил бессмертных шедевров, концепция характера тоже своя. Парадоксальная, если подходить к ней с традиционными мерками. И вполне «правильная», если соизмерять ее с художественными целями детектива.

Сквозь призму обычных критериев повести П. Шестакова смотрятся безрадостно. Как объяснить, однако, что критики, знающие толк в детективе, неизменно упоминают произведения П. Шестакова (в частности, «Через лабиринт») среди лучших наших детективов, хотя и поругивают его время от

времени за приверженность классической традиции жанра?²

На мой взгляд, «Через лабиринт» — характерный пример профессионально и талантливо выполненного советского детектива. Как и в любом типичном явлении, многое в повести оказывается (или только кажется) усредненным; не очень ярко обрисованы следователи и «подследственные», не слишком оригинален и убийца. Но разоблачение военного преступника, лишившего жизни юношу, который мог его разоблачить, и инсценировавшего собственную смерть от руки этого человека, проведено автором в сюжетном плане мастерски.

Убийца — мнимая жертва. Такое, конечно, уже бывало. У недавно умершего американского короля детективного романа Гарднера, у Кристи, мало ли еще у кого. Но, странное дело, сюжетные стереотипы, даже если их улавливаешь, нисколько в этом случае не раздражают. Потому что все события повести, включая ошибки следователей и их трудную удачу, реалистически мотивированы, а все «отсутствия событий», все ложные алиби и исчезновения приведены в строгую связь с этими мотивировками. Герои, введенные в открытое действие, соединены прочными нитями с героями, которых перед нами нет. Поступки, известные читателю, вплотную подогнаны к действиям потаенным, скрытым от глаз. И это порождает неуловимый результат, в чем-то подобный эффекту монтажа. Именно этот интенсивный «прирост» представлений о героях в финале детектива и есть то эстетическое приобретение, которое читатель ждет от жанра и только от него. Если прирост идейно значителен, значит, детектив состоялся.

Мрачная изнанка внешне благополучного гражданина (он сотрудничал с гитлеровцами в годы войны) — таков здесь весьма весомый итог художественных (и узкосюжетных) разысканий П. Шестакова.

Но вспомним о характерах. Много ли можем мы сказать о недобитом фашисте Укладникове кроме того, что он фашист? О следователе Мазине кроме того, что было сказано чуть раньше? Об убитом юноше кроме того, что был он, по-видимому, романтиком: любил горы и ненавидел своих (и наших общих) врагов. Да, по существу, ничего! Но автору и не нужно, чтобы чита-

² Сошлось, например, на статьи Ф. Чапачова («Правда», 15 сентября 1974 года) и В. Ковского («Литературное обозрение», 1973, № 2).

тель видел в его героях развернутые характеры. Чисто сюжетными средствами, изломанной осциллограммой происшествий, повторенных в рассуждениях, рассуждений, сопровождаемых происшествиями, он рисует жизнь, а вернее вычерчивает некий условный ее разрез. И получается у него что-то вроде графического изображения, в котором линии и штрихи — это прежде всего события и гипотезы и только потом человек. Не будем, правда, забывать, что через события и гипотезы в детективе Шестакова раскрывается человеческое, что пафос произведения гуманистический.

Не все сочинения, обозначаемые в обиходе как детективы, совпадают по своим жанровым признакам с рассмотренной нами повестью. Поясним поэтому, как понимается термин в нашей статье.

Детектив — приключенческий роман (повесть, много реже рассказ), дающий деяние через исследование, через узнавание (как выразился, на мой взгляд, достаточно точно И. Шайтанов), который принимает остро-сюжетную форму и завершается обнажением скрытых событийных пружин, в принципе необязательно уголовных. Детективу свойственна «проникающая» тенденция: время от времени его элементы вторгаются в серьезную прозу, организуя согласно своим сюжетным законам более или менее обширные структуры — от эпизода до произведения. Но как правило, ситуация «жанр в жанре» разрешается ассимиляцией детективного начала, погашением его приключенческого пафоса, «приручением» троянского коня.

Я могу согласиться с В. Ковским, для которого «несомненная связь» с детективом повестей П. Нилына или романа В. Богомолова «В августе сорок четвертого...». Но добавлю, что ни при каких условиях эти произведения нельзя назвать собственно детективами. Потому что у них особые по сравнению с детективом идейно-художественные установки.

Элементы детектива присутствуют во многих, очень многих произведениях мировой литературы вплоть до самых великих. И все-таки не будем забывать, что нас здесь интересует «чистая культура» детектива. Иначе разговор о современном приключенческом жанре может уйти далеко в сторону, к теме преступления в творчестве Достоевского или Фолкнера, например, или к романам Андрея Белого «Московский чудак» и «Москва под ударом», которые, если вдуматься,

построены на стопроцентно детективном сюжете.

Пожалуй, именно проблема характера становится ключевой, когда мы пытаемся понять поэтику детектива хотя бы в первом приближении.

Риску сказать: характер-конспект, характер-эскиз максимально соответствует образной структуре детективного жанра. Не в том смысле, что здесь уместны по преимуществу бесцветные индивидуальности. Нет, пусть они будут сколь угодно колоритны, не требуя, однако, чтобы сюжетное время затрачивалось на те перипетии их частной жизни, которые, умножая наше знание характера, тормозят авантюрное действие или уголовное расследование. Иначе говоря, лаконизм характера в детективе — это лаконизм маски.

Феномен маски с давних времен используется реалистическим искусством в различных по жанру произведениях, но обычно с одинаковой целью: сосредоточить читательское или зрительское внимание на общественно значимой жизненной проблеме, возникающей помимо воли конкретных лиц. Обобщающие возможности этого принципа типизации хорошо известны не только комедии дель арте, которая берет маску в единстве эстетической категории и реального предмета, но и — намного раньше — народной сатирической сказке. С помощью образов-масок исследуют действительность многие великие сатирики (например, Свифт, Вольтер, Франс). И, стало быть, говоря об образах-масках в детективе, мы ничуть не снижаем требования к жанру.

Второстепенные персонажи детектива — обслуживающий персонал сложного логического построения. Их можно увольнять и обновлять. Это скажется на красках, на оттенках и деталях произведения — и не отразится на его общем замысле, его композиции, его плане, как не отражается перемена «героев» на принципиальной схеме анекдота, кочующего из страны в страну или из эпохи в эпоху.

Преступника в его социальном значении из детектива не выкинешь без ущерба для целого. Эта фигура является, как правило, опорой всего идейно-художественного построения. Идейный смысл детектива несколько резонерскими средствами выражает и следователь. Именно его раздумья, его догадки и ошибки складываются в рисунок сюжета.

«У него есть своя схема, и силу свою он проявляет в ее вариациях,— написал о детективе Брехт.— Делая библиотеку в имении лорда местом убийства, ни один автор детективного романа не испытывает ни малейших угрызений совести в связи с тем, что это в высшей степени неоригинально... Хороший автор детективного романа не вкладывает слишком много таланта в разработку новых характеров или в придумывание новых мотивов преступления... Тот, кто, узнав, что десять процентов всех убийств происходит в доме священника, воскликнет: «Вечно одно и то же!» — тот не понял сути детективного романа. С таким же успехом он мог бы в театре уже при поднятии занавеса воскликнуть: «Вечно одно и то же!»... Существует множество схем детективного романа, важно только, чтоб это были именно схемы»³.

Я умышленно привел столь обширную цитату: помимо основного тезиса, важна и аргументация. И ознакомление с ней, даже самое быстрое, исключает мысль, будто Брехт понимал схему как нетворческий шаблон. Однозначные герои, жесткая, скрупулезно рассчитанная организация жизненного материала на основе «априорной» интриги — это совсем не обязательно штамп. Попробуем назвать некоторые особенности детективного произведения — они настолько типичны, что, повторяясь от раза к разу, сделались признаками жанра. Они настолько негибки, что упорно ассоциируются с общепринятым представлением о схеме.

Детектив — это жанр. Но это еще и тема. Точнее, комбинация того и другого. В самый жанр заложена настолько четкая событийная программа, что мы заранее знаем некоторые основные эпизоды еще не читанного произведения. Открывая детектив, мы несколько не сомневаемся в том, что на второй, третьей или двенадцатой странице нам расскажут о преступлении, на сто восьмидесятой назовут истинного преступника, а в промежутке между этими вехами заставят подозревать во всех смертных грехах более или менее честных людей.

В детективе — заранее определенный в своей профессиональной, а отчасти и человеческой конкретности главный герой. Он следовательно независимо от того, получает ли за эту работу жалованье, гонорар или чисто

моральное вознаграждение. Как личность он отличается наблюдательностью и проникательным логическим умом. Ну и, конечно, раз уж ему приходится доводить до читателя свои соображения, резонерской разговорчивостью.

Детектив — это predetermined композиция. Мы не во всех случаях можем сказать преступнику в тот момент, когда его наконец поймали: «Дорогой, я тебя вычислил!» Слишком искусненно запутывал автор нити, подтасовывал карты, слишком тщательно маскировал своего «избранника». Но, едва ознакомившись с экспозицией, мы почти всегда можем догадаться, какой порядок основных эпизодов будет нам предложен и что примерно в каждом произойдет. Мы даже и не должны вычислять, что завязкой скорее всего будет убийство, вслед за чем на сцене появится малоопытный работник милиции или неудачливый полицейский инспектор, а далее подлинный мастер сыска. В кульминационном эпизоде этот последний потерпит временную неудачу, а к развязке сумеет совладать со злоумышленником. Что тут вычислять, если вся эта то ли эстетическая, то ли генетическая, то ли инженерно-техническая информация закодирована в самих именах автора и его героя, в эмблеме книжной серии, в названии романа или, в конце концов, в жанровом обозначении, нанесенном в подзаголовок.

Детектив — это строго регламентированная концепция человеческих взаимоотношений, взятых в особом патологическом, криминальном срезе. Причем, говоря о патологии, мы берем социально-психологический смысл этого термина, а не медицинский. Вообще разгадка преступлений сравнительно редко приходит из лабораторий или вырастает из экспертиз.

Разумеется, Шерлок Холмс, комиссар Мегрэ и — с намного большей цепетильностью — Мазин или Ляпатовский Анискин, изучая объективные обстоятельства дела, пользуются при этом сведениями из любых источников — от криминалистического института до уличных мальчишек. Ни один из этих героев, заметим, однако, не вычитывает из бумажек, где изложены соображения специалистов — судебных медиков, дактилоскопистов и прочих — свою тактику.

Встречаются, правда, в западном детективе кажущиеся отклонения от этой нормы. Так, например, адвокат Перри Мейсон, герой многочисленных романов Э. Гарднера, строит свои гипотезы на результатах всевоз-

³ Брехт Б., «Заметки о литературе и искусстве» («Иностранная литература», 1972, № 5, стр. 203).

можных лабораторных проб, а в финальных сценах, обычно в зале суда, затоняет преступника в угол с помощью виртуозных правовых уловок. Но и здесь специальные познания разоблачителя играют, если приглядеться, вспомогательную роль.

Аналитическое рассуждение, основанное на полном знании фактов,— вот путь к познанию истины, который избирает сыщик. Аналитическое рассуждение — вот сила, организующая в детективе сюжет. Аналитическое рассуждение — вот, по существу, стержень детектива.

Поэзия мысли в столкновении с прозой жизни — эту вечную тему большой литературы детектив стремится воплотить своими средствами — подчеркнуто рассудочными, интеллектуальными, рационалистическими. Поэтому-то так невыносима умственная пассивность положительного героя в детективном сочинении.

Итак, логика! Именно сквозь ее призму пропущена здесь жизнь. И ею пронизана, упорядочена, осмыслена. Впрочем, в приведенной выше цитате из Брехта вопрос примерно так и трактуется.

Художественная установка жанра обуславливает деловито-напряженный ритм изобразимой жизни, ее исключительно функциональное наполнение. Именно поэтому второстепенный персонаж здесь зачастую образ-средство, образ-инструмент. А еще точнее—образ-версия. Именно образ-версия! Ибо развитие персонажа в детективе протекает как последовательный перебор предположительных вариантов — «кто же он?».

Герой Эллери Квина (псевдоним двух известнейших современных американских «детективщиков»), благообразный секретарь почтенного джентльмена, попадает под прицел сыщика. Потом выясняется, что этот секретарь бывший актер. Потом мы узнаем, что его артистической деятельности предшествовала полоса полного мрака, когда у героя, по его словам, отшибло память. Потом всплывает на поверхность история естествоиспытателя, которого в далеком прошлом загубил почтенный джентльмен, и возникает подозрение, что наш секретарь и есть воскресший натуралист. Персонаж рывками перевоплощается из одной роли в другую, третью, четвертую и в каждом новом своем воплощении обзаводится новыми качествами.

В романе Эллери Квина «Корень зла» мы наблюдаем действующее лицо в реальной динамике, которая, как это часто бывает в детективе, раскрывается ретроспективно.

В других произведениях (скажем, в «Визите к Минотавру» Вайнеров) читателю предлагается динамика оценок, впечатлений, мнений. Но в обоих случаях характер многовариантен, функционален. Это нечто вроде колоды карт, а точнее даже перфокарт, каждая с новым набором информации.

Конечно же, информация информации рознь. Многие из жизненных концепций западного детектива попросту неуместны в советском. То, что там реалистическая деталь, здесь может оказаться недостоверным. Тему «благообразного секретаря», например, у нас никто развивать не станет. Но самый принцип «обновляемого героя» нашему детективу отнюдь не чужд.

«Действительные» герои — следователь и его спутник или помощник — зачастую описываются подробнее, чем те, кого они подозревают и допрашивают. Но и в этом случае личность проявляется односторонне: в дедуктивных и индуктивных суждениях. Портретируя такого героя, писатель пользуется броскими штрихами (ссылками на безобидные чудачества, например). Так лепится запоминающаяся маска, способная переходить из романа в роман.

Сыщик — это активная мысль во плоти, прямолинейная и целенаправленная. «Посторонние» эмоции, биографический багаж, жена и дети, развлечения — все это обычно некий привесок к функциональным свойствам героя. Спутник сыщика (в английской критике его попросту называют уотсоном в нарицательном значении этого имени) — если и мысль, то пассивная. Я уже писал однажды, сравнивая этих героев-двойников: если сыщик в детективе Персонаж-всепрощающий-ум, то спутник сыщика обычно Персонаж-удивленно-разинутый-рот. В мире конкретного произведения эти образы-маски осуществляются как образы-роли, ограниченные узкой канвой расследования.

Вот еще некоторые проявления «детективной» художественной концепции.

Непременное свойство детектива как жанра — конечное торжество добра. Сколь ни изобретателен, сколь ни коварен преступник, финал неотвратим. Порок будет наказан, и добродетель восторжествует. Есть, разумеется, исключения из этого правила. Скажем, в романе австралийского писателя-коммуниста Джуды Уотена «Соучастие в убийстве» злоумышленнику удастся избежать кары. Это так! Но разоблачения он не избежал. А разоблачение в детективе — экви-

валент наказания. Кстати сказать, как и в сатире, хотя там разоблачение принимает принципиально иную форму.

Обычно в западном детективе удача сыщика — скупой луч, пробивающийся сквозь свинцовую сумрачность общего колорита. По ходу событий герои маются в атмосфере беды и взаимного недоверия. Их минутные радости обманчивы, а гнетущие предчувствия чаще всего оказываются пророческими. Их посещают не прозрения, а подозрения. Лишь под конец колдовские чары рассеиваются и человек, очнувшись, возвращается в нормальную жизнь.

Советский детектив не в пример оптимистичнее. Пароксизмы страха не сотрясают его героев, и катаклизмы несчастий поддаются здесь обузданию. Тем не менее чувство нависающей опасности пронизывает многие эпизоды у наших «детективчиков». В своей неотвратимости она тоже, как и в западном детективе, напоминает огнедышащего дракона, который непременно будет пригвожден к земле интеллектуальным копьем инспектора уголовного розыска.

Детектив всегда в какой-то мере условен, о чем речь пойдет позже. И в этом смысле он всегда немножко сказка.

Схематизм детектива оборачивается жесткой экономией изобразительного материала. Подобно математику, опускающему пространные многочлены, если их можно без ущерба заменить лаконичным выражением, автор детектива упрощает многие ситуации. Эпизод, какой в серьезном произведении растянулся бы на пять страниц, сжимается здесь порой в однострочную реплику или ремарку. Жесты действующих лиц, их движения и поступки доведены до сценарной краткости, до минимума, обеспечивающего непрерывность повествования и целостность схемы во всех ее внутренних смысловых связях.

Герои детектива часто пожимают плечами, закуривают, хлопают дверьми, багровеют, бледнеют, выкрикивают «ни за что!», с горечью произносят «да», удивленно вскидывают голову и т. д., и т. п. (Бсерьез резать слух эта стилистика начинает, когда читаешь английские уголовные романы на языке оригинала!)

Советский детектив в лучших своих образцах стремится к преодолению стилистической монотонности. Ну а в худших... Н. Ильина как-то в статье, опубликованной «Вопросами литературы», собрала такой букет детективных штампов и псевдокрасиво-

стей, что вряд ли к нему нужно добавлять новые примеры.

И все-таки стилистическая безыскусность соответствует природе детектива, во всяком случае динамических его эпизодов. Обозначить действие, вливающееся в «бешеный» сюжет, целесообразнее будничным словом, нежели многословным описанием.

На традиционную стилистику детектива иной наш писатель смотрит с недоверием, словно полагая, что именно ему дано преодолеть речевую сдержанность жанра. Но, как верно заметил И. Шайтанов, такие авторы «вступают в область чистой условности, штампа почти всякий раз, как только ими овладевает благородное желание писать Литературу, создавать высокое и прекрасное... по инерции пытаюсь придумывать, закручивать ее поинтереснее, подобно самой детективной интриге».

Расстояния между героями и событиями во времени и пространстве на страницах детектива укорочены, уплотнены, спрессованы. Слово где-то за кулисами бдительный режиссер неустанно печется о динамизме сюжета. Едва герой завершает одно дело, режиссер поспешно усаживает его в кресло, вручает ему сигарету, подсовывает зажигалку и нашептывает неслышно: «Сиди! Сиди! Кому говорю — сидеть! Сейчас зазвонит телефон, и ты услышишь такое!..»

Как послушно звонит телефон, едва Перри Мейсон вбегает в свой оффис с очередной криминальной головоломкой! Звонит, чтобы приблизить загадку. Звонит, чтобы усложнить задачу двумя новыми задачами. И как безотказно бьет пистолет по мишени, чуть только намеки Пуаро наведут тень на эту мишень.

Воздух детектива пронизан, как в драме, магнетизмом совпадений, стягивающими линиями избирательного сродства и избирательного отталкивания. Предметы сами прыгают в руки к «нужным» людям, как чмодам с уликами в руки помощников Мазина за тридцать земель от места происшествия. Люди вступают в деловые и прочие контакты по весьма отчетливому авторскому признаку. Совпадение неизбежно разрешается очередным, естественно, неожиданным для читателя сюжетным поворотом. И будьте уверены: если какой-нибудь персонаж очень вам не приглянулся, если на него пал ваш выбор при подыскании кандидата в преступники, в самом скором будущем он сам окажется безвинной жертвой зла.

В конечном счете функциональная напряженность всех событийных связей в детективе сурово регламентирует жизнь его героев. Трагическое происшествие вырывает людей из естественного контекста взаимоотношений, превращая их в единую «команду», спаянную (и раздираемую) одной печалью — совершившимся преступлением.

Различны позиции этих людей по отношению к жертве. Кто-то из них убил, кто-то ищет убийцу, кто-то ложно обвинен. Неодинаковые, иногда противоположные чувства вызывает у них успех розыска или его временный провал. Но независимо от того, в какие эмоциональные тона окрашена причастность персонажа к событию-доминанте, он втянут в замкнутый цикл уголовного расследования. Контакты с внешним миром, со всем, что остается за чертой главного происшествия, сведены к минимуму. Никаких «посторонних» поступков или реплик. Полное (или почти полное) торжество Аристотелевых трех единств — действия, времени и (очень часто, хотя и не всегда) места. И так пока не разрешится загадка.

Мало того что компактность детектива драматургична — она подчас даже балаганна. Герои в сотнях, тысячах приключений ведут себя подобно марионеткам. Являются в дом именно тогда, когда это и им и автору нужно (чтобы, к примеру, увидеть преступника) или, напротив, когда это нужно только автору (теперь их могут обвинить в преступлении). Выходят точно за пять минут до убийства и немедленно встречают садовника или соседа, как бы уполномоченных снабжать действующих лиц спасительными алиби. Оставляют отпечатки пальцев в самых неподходящих для этого местах. И бредут в результате по тонкому льду подозрений почти до самого финала.

Схема экономна... Но уплотнение ее не может продолжаться беспредельно, иначе детектив сделается конспектом детектива. И схема срабатывает в обратном направлении, нагнетая часы и минуты, сохраняя некую оптимальную длительность действия, без которой сюжетное напряжение упадет до нуля. Это неуловимая величина — сюжетное напряжение. Стоит увеличить темп — оно исчезнет, стоит замедлить — опять-таки исчезнет. Нужна некая золотая середина, а ее никакими формулами не исчислить и никакими приборами не рассчитать.

Интуитивное ощущение сюжетного времени становится неизменной составной частью

авторского таланта, а само время — эстетической категорией. Вот почему редакторы, сокращающие детектив за счет, казалось бы, пустых диалогов и бессмысленных перекуров, совершают тяжкий профессиональный грех. Вместе с водой они вышлескивают ребенка. Фигурально выражаясь, курить в детективе не всегда вредно!

Еще один интересный эффект детективной схемы. Она дает читателю возможность эмоционально оценивать события и героев по их месту на хронологической шкале. Если героя напрямую обвиняют в преступлении задолго до развязки, то он почти наверняка окажется невиновным, как бы основательно ни выглядели улики.

К одинокому павильону в глубине сада ведет цепочка следов на снегу. В павильоне труп женщины и ее рыдающий поклонник. Обратного следа нет. Женщина по всем признакам убита около полуночи, а у поклонника есть алиби: его видел дворецкий в доме далеко от павильона. Это случилось поутру, когда никто еще не знал об убийстве. Но вот недоброжелатель героя выступает с обвинением, которое звучит чрезвычайно убедительно. По этой версии герой ночью прошел к павильону в изящных полуботинках (а он, надо сказать, вернулся с бала), совершил преступление, вернулся в дом, обул болотные сапоги и повторил свой путь, полностью уничтожив старый след. У недоброжелателя целая куча дополнительных аргументов, каждый из которых может отправить злосчастного поклонника прямо на эшафот.

Но мы почти спокойны за героя. В книге сто девяносто одна страница. Если бы он оказался злодеем, то Картеру Диксону (он же Джон Диксон Карр), автору «Убийства в Уайт-Прайери», нечего было бы дальше рассказывать. И действительно, спустя три десятка страниц на место происшествия прибывает эксперт, неопровержимо доказывающий, что следы на снегу появились только утром.

Не исключено, разумеется, что автор применит двойное сальто, то есть, реабилитировав героя, впоследствии снова обрушит на него подозрения. Но искусственный читатель научился разгадывать и этот прием, и все тем же простым способом — поглядывая на бесстрастные цифры в нижней части страницы.

Мы дали эскизное описание детектива, выборочно перечислив «секреты» жанра, ко-

торые, впрочем, мало чем отличаются от секретов Полишинеля.

Теперь несколько слов о «постулате Брехта», о примате «поисковой» логики в повествовательной структуре детективного жанра. Такая логика в детективе, как мы старались показать, это специфический тип художественной условности вроде той, что присутствует в сказке с ее детерминированным набором героев. Однако в отличие от сказки, где этот детерминизм часто опирается на фантастику, детективная условность живет за счет аналитического прочтения фактов.

Создание детективной схемы — творческий процесс. Не берусь утверждать, что он требует такой же душевной отдачи, как работа над романом или поэмой. Вероятно, нагрузка приходится в разных случаях на разные отделы и подотделы сознания. Но настаиваю на одном: хороший детектив не написать без таланта, без вдохновения и мук слова. Существует, разумеется, и ремесленническое понимание детективной схемы. Оно порождает примитивные идеи, которыми изобилует, например, наряду с интересными и верными суждениями капитальный труд американской писательницы Мэри Роделл «Литература тайн — теория и техника».

Любопытно проследить, как формируется, согласно М. Роделл, детективный замысел. Вот, например, письмо, взятое из газеты (цитирую монографию): «Мне восемнадцать лет. Я помогала матери растить моих сестер и брата. Мать вышла замуж вторично. Отчим бьет и оскорбляет ее. На днях, когда я пыталась защитить мать, он спьяну подбил мне глаз. Вправе ли я подыскивать себе службу и уйти от них? И что они могут предпринять в этом случае? Беспомощная».

М. Роделл комментирует: «Давая беглую характеристику семейства, письмо Беспомощной намекает на потенциальный мотив преступления. Мы имеем в виду убийство отчима. Но это было бы слишком очевидно, слишком криминально. Можно ли «вывернуть» ситуацию, улучшить ее? Письмо вызывает симпатию к Беспомощной и возмущение ее отчимом. Представим себе, что этот эффект был намеренно подготовлен. Исходя из такой предпосылки, перевернем картину. Письмо было написано не в отчаянии, а с целью вызвать определенную реакцию у читателя. По какой же причине? Ответ очевиден: по той причине, что истин-

ные факты противоречат их описанию. И мотивом опубликования ложных сведений об отношениях Беспомощной с ее отчимом являются — поскольку мы говорим о детективе — приготовления к убийству. Значит, письмо свидетельствует о смертельной угрозе, нависшей над кем-то. Рисуя своего отчима жестоким и бессердечным, Беспомощная восстанавливает общественное мнение против этого человека, чтобы, когда произойдет убийство, подозрения пали на него».

Согласно дальнейшим планам М. Роделл, Беспомощная обзаводится именем Элен и мотивом преступления: ей не хватает денег. До убийства матери, брата или сестры героиню не допускают, чтобы не шокировать публику. Так возникает в сюжете фигура дяди, который в свое время противился второму браку своей сестры. Когда может встретиться Элен со своей будущей жертвой? Естественно, в рождественские праздники. Поссорив дядю с отчимом и отправив последнего в бар, а первого на прогулку, Элен прихватывает молоток, надевает старые башмаки отчима — и преступление совершается. Отчим попадает в тюрьму. Вот тогда-то на сцену выходит сыщик, который должен прокрутить это событийное колесо в обратном направлении, чтобы в конечном счете добраться до Элен.

Не завидую читателям, которые прочитают книгу, приготовленную по этому рецепту. Ибо, судя по всему, схема в понимании М. Роделл — шаблон, а Брехт говорит о схеме как о нешаблонном способе познания действительности.

Художественное и понятийно-логическое мышления, как правило, приводятся литературной критикой в обоюдные конфликтные отношения. Первое передается в безраздельное владение искусству, второе — науке. Первое истолковывает действительность с помощью образов, реализующихся в сюжете, второе делает своим инструментом мыслительные категории, скрепляя их в замкнутые концептуальные циклы при посредстве схемы. Сюжет и схема — две формы движения мысли в двух разных ее «состояниях».

Детектив прорывается снять конфликт между образом и понятием, между рассуждением и художеством. Детектив — это вторжение науки в литературу. Детективный сюжет формируется согласно принципам научной схемы — в столкновении тезисов и контртезисов, предлагает читателю развитие мысли, а не характера, или, вернее, такое развитие и раскрытие характера, какое не-

обходимо для развития мысли следовательской и одновременно исследовательской.

Повторяю: хаос сменяется и здесь гармонией, как всегда в художественном произведении. Но функцию организующего начала в отличие от «остальной» литературы принимает на себя в детективе, как и в науке, мысль. Саморазвитие характера определяет динамику «серьезного» произведения, так сказать, наводит в нем гармонию. Рассуждение — вот движущий механизм детектива.

Очень ощутима в детективе эстетическая роль (или «претензия») информации. Постоянное обновление данных о герое — эти неостановимо перетасовываемые у нас перед глазами перфокарты — вызывает взволнованную (а то и азартную) заинтересованность читателя, иногда близкую к тому чувству, которое вызывает произведение серьезного искусства, иногда же воскрешающую в памяти переживания футбольного болельщика.

Прирост информации мало-помалу становится в наш век — при определенной, конечно, подаче — художественным явлением. Эта тенденция дает о себе знать уже на уровне элементарного восприятия. Вспомним, что даже бытовые явления почти незаметно для нас распадаются сегодня на более и менее привлекательные по признаку скрытого значения. Образно говоря, когда мы разглядываем кузовок с грибами, наши глаза разгораются ярче, чем при виде авоськи с картошкой.

Детектив в последние годы не обойден вниманием критики. Но статьи о нем, как уже отмечалось, выдержаны в одном смысловом ключе, в одной тональности. Обычно это эссе на тему «мое открытие Америки». А ведь эту Америку открыл американец Эдгар По. «Дар анализа служит источником живейшего наслаждения. Подобно тому как атлет гордится своей силой и ловкостью и находит удовольствие в упражнениях, заставляющих его мышцы работать, так аналитик радуется любой возможности что-то прояснить или распутать...» — читаем мы в авторском вступлении к рассказу «Убийства на улице Морг». Чуть дальше писатель скептически высказывается о шахматах: поскольку в этой игре «фигуры неравноценны» («...им присвоены самые разнообразные и причудливые ходы»), исход схватки «решает внимание». Ему представляется, что талант аналитика более полно выявляют шахки, где «внимание не играет особой ро-

ли», где «успех зависит главным образом от сметливости», и особенно вист: «Мастерская игра в вист сопряжена с умением добиваться победы и в тех более важных областях человеческой предприимчивости, где ум соревнуется с умом... Чтобы хорошо играть в вист, достаточно, по распространенному мнению, соблюдать «правила» и обладать хорошей памятью. Однако искусство аналитика проявляется как раз в том, что правилами игры не предусмотрено. Каких он только не делает про себя выводов и наблюдений!»

Итак, логика, согласно Эдгару По, может «эстетизироваться». Это самое тонкое объяснение парадоксов, сопутствующих детективу в его практике и в его трактовке современной критикой. Детектив, по мысли Эдгара По, изначально парадоксален. Ибо синтетическое начало, олицетворяемое в литературе образом, встречается здесь с противоборствующей силой — аналитичностью, которая влечет за собой формализованные решения. Возникает новый эстетический феномен — образ-проблема.

Теперь пришло время уточнить наше понимание детективной схемы. Ее рационализм — экспериментальные пробы и ошибки игры (недаром По, едва заговорив о новом жанре, тотчас вспомнил шахматы и шашки). Сама схема — игровой прием, который, увы, не может стереть с карты мира все белые пятна или заткнуть все черные дыры во вселенной, но уже существенно расширяет повествовательные и познавательные возможности литературы.

И детективу в этом плане предшествует «накатанная» традиция. Человек издавна изучал действительность при посредстве игры, подобно тому как это делает сейчас, осмысливая мир, ребенок или математик, строящий «формальные модели принятия оптимальных решений в условиях конфликта»⁴.

Особая психическая установка играющего, «который, — по словам Ю. Лотмана, — одновременно и верит и не верит в реальность разыгрываемого конфликта», передается наблюдателю. Он подсознательно воспринимает события игры в тех же двух планах — действительном и условном, — взаимодействующих друг с другом как конкретное и абстрактное, индивидуальное и типическое в художественном образе. В этом смысле игра аналогична искусству, иногда даже

⁴ Н. Воробьев. Игр теория. БСЭ. Изд. 3-е. М. 1972, т. 10, стр. 20.

тождественна. И в этом же смысле определенные конструкции игры вбираются искусством как структурные блоки и тенденции.

Вспомним карнавальные действия с таким их обязательным элементом, как маскарад и срывание масок, разоблачение ряженых, мистификация, как пародийное моделирование жизненных отношений, как выход на закономерность через условность.

Мотивы ряжения и разоблачения — игровые мотивы карнавала — определили структуру комедии масок, ренессансного романа и, осмелимся сказать, современной приключенческой прозы. Более того, принцип разоблачения, принцип срывания масок, является, по существу, ведущим приемом сатиры (и вообще комедийных жанров). И этот же принцип лежит в основе детектива. Здесь каждый персонаж, иногда даже сыщик, — ряженный. И каждый эпизод — разоблачение. Как в сатире. И как в игре.

Мистификация... Карнавальный мотив мистификации оплодотворял шекспировскую фальстафиану и «Дон-Кихота», «Королей и капусту» и «Золотого тельца». Но разве не каждый детектив на протяжении всего сюжета, пока одна догадка сыщика за другой оборачивается блефом, эксплуатирует мистификацию? И не такова ли направленность генезиса: игра — сатира — детектив?

Условный намек карнавального действия — своеобразная модель жизненного явления... Та же цепочка: игра — литература (в частности, сатира и современная фантастика) — детектив. Игра глубоко проникает в детектив и подчиняет характеры своей логике. Из чего не следует, что обобщения, получаемые с ее помощью, несерьезны. Они серьезны так же, как серьезна даже «самая смеющаяся» сатира. Точно так же, как серьезна даже «самая фантастическая» фантастика с самыми невероятными (игра!) условиями задачи.

Понятие, что сатира (особенно сатира последнего столетия) жадно воспринимает детективные сюжеты. В. Шкловский еще лет сорок назад указывал, например, на известную зависимость событийного плана «Двенадцати стульев» от «Шести Наполеонов» Конан Дойля.

Детектив, в свою очередь, усваивает технику комедийных жанров — прежде всего пародийную интонацию. Каждый третий детектив — это еще как бы и пародия на детектив. Типичный образец этой жанровой разновидности — «Берегись автомобиля»

Э. Брагинского и Э. Рязанова, повесть, положенная в основу популярного кинофильма. Пародия на шпионский роман, на Джеймса Бонда у нас представлена достаточно характерно «Джином Грином — неприкасаемым» — коллективным сочинением В. Аксенова, О. Горчакова и Г. Поженяна. Наконец, используя «эффект неожиданного финала», детектив ориентируется на опыт сатирической и юмористической новеллистики, в частности на О. Генри.

Многие наши «детективщики» и критики, нервозно возражая против уподобления детектива сказке, отвергают и взгляд на детектив как на игру. «Для серьезного же анализа этот термин явно не подходит», — пишет А. Адамов, — ибо может только сбить с толку кое-кого из наших авторов, особенно молодых, да и некоторых критиков тоже. А это уже нанесет существенный урон развитию жанра у нас.

Почему же не подходит? Для «Дон-Кихота» или Рабле подходит. А для повестей П. Шестакова не подходит? Или, может быть, полемистов вводит в заблуждение смысловая многозначность слова? У В. Ковского, например, игра вызывает весьма удручающие ассоциации: ребус, кроссворд, е-2—е-4.

Эти его иронические пассажи обращены против Н. Ильиной. Но ведь писательница нигде и не намекнула на такое понимание термина, хотя трижды на моей памяти излагала в печати свою теорию: детектив — это «игра плюс литература». Формулу Н. Ильиной я тоже не могу принять безоговорочно. Хотя бы потому, что игра издавна входит в плоть и кровь литературы и «плюс» даже чисто логически здесь не вполне уместен. А в авантюрной литературе приключение зачастую, хочет того автор или не хочет, становится своеобразным «игровым» испытанием жизни при посредстве теории вероятностей.

Есть такие уголовные романы, к которым понятие игры и в самом деле неприменимо. Это объясняется просто: не всякий уголовный роман — детектив. Превосходное исследование Б. Райнова «Черный роман», недавно переведенное с болгарского на русский язык, в этом плане страдает, как и точка зрения Адамова, односторонностью. Согласно Б. Райнову, полицейский роман, уголовный роман и детектив — синонимы. Между тем уголовный роман может быть и детективом и не детективом, в зависимости от своего жанрового ключа. В очерке, обрисо-

выявляющем историю жанра, Б. Райнов буквально стирает в порошок Шерлока Холмса, доказывая на конкретных примерах, что великий сыщик — никудышный криминалист, человек зауряднейшего интеллекта, что его мнимые прозрения — банальная констатация очевидного и что, стало быть, похождения этого «длинного сухопарого хвастуна» — «литература второго сорта». Словно мы оцениваем в детективах фактический профессиональный уровень сыщика, а не то художественное представление о герое, которое внушено нам автором! Словно Шерлок решает вполне реальные уголовные задачи, а не образные и, стало быть, условные. Вот что получается, если исключить из концепции детектива игру.

Автор книги обходит молчанием Фенимора Купера, чьи романы о Кожаном Чулке интенсивно способствовали проникновению научной мысли в приключенческую литературу и формированию детективного жанра. Это опять-таки естественно, коль скоро центром тяжести в райновской концепции детектива стало именно преступление, а не научное познание с его доверием к экспериментальным возможностям игры.

Любопытно, что литераторы, отрицающие связь детектива с игрой, активно атакуют предписываемые жанру «рецепты» и «правила» (закавыченные слова позаимствованы мною вместе с кавычками из упоминавшейся статьи В. Ковского). В этой позиции есть резон, когда имеешь дело с некоторыми наставлениями М. Роделл. Но есть в ней и элемент легкомыслия, поскольку любой опыт теории детектива (в том числе и статью В. Ковского) ничего не стоит назвать «рецептом». И взять в кавычки.

Между тем «составители рецептов» нередко высказывают весьма резонные соображения. Вот, например, какие требования предъявлял автору детектива Рональд Нокс, английский писатель, активно работавший в этом жанре лет сорок назад:

преступник должен появиться в первых эпизодах произведения, причем эта роль не может быть отдана герою, с чьими мыслями читатель познакомился;

сверхъестественные и противоестественные силы в детективе недопустимы;

не более одной потайной комнаты или потайного коридора на роман;

излишние в детективе неизвестные человечеству яды, равно как и приспособления, требующие затяжного научного комментария в финале;

не следует спекулировать на национальной принадлежности героя;

ни случай, ни сверхъестественная интуиция не должны работать на сыщика;

преступником не должен оказаться сам сыщик;

нельзя прятать от читателя улики, которыми располагает сыщик;

глуповатый друг детектива Уотсон не должен скрывать своих мыслей;

близнецы или двойники не вправе объявляться в детективе без предварительного уведомления.

Я не сказал бы, что этот свод предписаний взят с потолка и отражает капризы эссеиста. Перед нами скорее тезисная характеристика большой группы книг. Так сказать, обобщение накопленного опыта. Кое в чем устаревшее; но в принципе основательное. И вот что любопытно. Рональд Нокс не делает ни одного умозаключения, которое противоречило бы канонам реалистической литературы, хорошему вкусу или здравому смыслу, не предлагает авторам никаких сюжетных отмычек и не диктует волюнтаристских ограничений. Он просто описывает жанр как целостную систему. Вам кажется вопреки Ноксу, что читателю следует посвятить в мысли преступника? Но тогда аудиторию не заинтересует ход следствия. Вам непонятно, почему попали в немилость сверхъестественные силы? По тем же причинам, какие помешали Бальзаку и Хемингуэю вводить в свои романы привидения. И выскажу еще одну еретическую догадку, которая, кстати, напрашивается сама собой. Рональд Нокс, как и другой теоретик жанра, американец Ван Дайн, излагает и аргументирует свои «декреты» с усмешкой пародиста, намекая читателю, что любой прием, в том числе и рекомендуемый, вырождается в клише, если им злоупотреблять. Нигде ни Нокс, ни Ван Дайн не утверждают, что их правила созданы единожды и навеки или что эти правила должны соблюдаться во всем комплексе, «от корки до корки».

Ван Дайн — тот даже перечисляет в последнем абзаце своего «кредо» наиболее примелькавшиеся штампы. Среди них: окуроч, избличающий преступника, инсценировка спиритического сеанса как средство давления на криминальную психику, сфабрикованные отпечатки пальцев, алиби, полученное с помощью манекена, собака, которая не лает, доказывая тем самым, что преступник ей хорошо знаком, подкожные

вырыскивания, ассоциативные тесты, зашифрованные письма, секретные общества и т. д. и т. п.

В журнале «Неман» была напечатана странная история под названием «Смерть манекенщицы», где куклы нагло путаются под ногами у сыщиков, приумножая бесмертие штампа. И это в 70-е годы. А ведь Ван Дайн сочинял свои «запреты» в 1928 году. Так что, право же, не столь уж он прост, этот Ван Дайн.

Речь идет о том, чтобы привести преступника на скамью подсудимых, а не влюбленную пару к алтарю Гименея, говорит Ван Дайн. С Ваном Дайном вступают в серьезный спор, а ведь он просто упражняется в сочинении парадоксов. Хорошо, согласимся с критиками Вана Дайна: он чересчур категоричен. Но не попрекаем же мы Аристотеля декретированием, хотя он и призывал авторов соблюдать в своих сочинениях единство действия. Как универсальная эстетическая программа этот лозунг, может быть, и неприемлем. Но как констатация некоей художественной закономерности он вовсе неплох. И именно так мы сегодня его прочитываем.

Как же все-таки строится детектив?

Композиция произведения «помнит» генетические предпосылки жанра — художественную и логическую, заявляя об этой наследственности структурно.

Детективу свойственна двуплановость. Внешнее действие в его образной конкретности сосуществует с подспудным, скрытым от читательских глаз. Мы видим следствия (и следствие!), но лишь догадываемся о причинах. Наблюдая движение, мы еще только предполагаем наличие движущего механизма. Однако, даже оставаясь незримым, подспудное действие столь же, если не более, реально, нежели внешнее, хотя его реальность почти до самого эпилога скорее «научная», «гипотетическая», нежели живая, осязаемая, художественная.

Внешний сюжет ведет сыщик, внутренний — преступник. Улики — как бы случайные пункты встречи сыщика с преступником. Разоблачительная развязка — как бы обязательное свидание этих персонажей и одновременно этих повествовательных линий, когда математический икс, вопросительный знак, человек-невидимка (таинственный злоумышленник) обретают жизненную определенность.

Как бы ни различались между собой творческие лаборатории писателей, сами предпо-

сылки жанра во многих отношениях уравнивают всех «детективщиков»: положив перед собой чистый лист бумаги, на который вот-вот ляжет начало будущего романа, автор успел мысленно посетить и осмотреть все «этажи» своего произведения, второй и первый (точнее, подвальный). Он удосужился наметить кандидатуры обитателей, предугадав их взаимоотношения, официальные и тайные. Он знает главное происшествие (скажем, преступление), знает преступника, знает его мотив. Ему известно, что об этом знает сыщик, а чего не знает. Он рассчитал уже улики, разметил события во времени и пространстве, разработал причинно-следственные связи. И обеспечил сыщику успех под занавес.

«Дедуктивное» происхождение интриги хорошо просматривается в романах Агаты Кристи. Некий персонаж кажется нам мишенью преступника, в действительности он и есть преступник («Загадка Эндхауза»). Это явно было придумано заранее.

В «Убийстве Роджера Экройда» злодеем, как и в чеховской «Драме на охоте», объявлен рассказчик, участвующий вместе со следователем в раскрытии тайны. Коварный ход: ведь детективная литература приучила нас видеть рядом с сыщиком, будь то Дюпен, Шерлок Холмс или Эркюль Пуаро, наивного комментатора событий — доктора Уотсона, капитана Гастингса и т. п. И к тому же ход запрещенный! Помощник сыщика — убийца! Что ж, едва прописи начинают мешать литературе, она сметает их со своего пути.

У детектива собственная жанровая логика, тесно связанная с областью юриспруденции. Образно говоря, кодекс взаимоотношений, которому следуют персонажи детектива, как бы учитывает суровые параграфы уголовного кодекса.

Один из мастеров жанра научной фантастики, А. Азимов, включил в сборник своих рассказов о роботах «три закона робототехники», позже принятые почти всеми, кто брался писать о механических людях. Эти законы — краткое изложение принципов, обуславливающих структуру произведения, где действуют роботы:

1) робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред;

2) робот должен повиноваться командам, которые ему дает человек, кроме тех случаев, когда эти команды противоречат первому закону;

3) робот должен заботиться о своей безопасности, поскольку это не противоречит первому и второму законам.

В рассказах, где действуют роботы, редко может произойти событие, которое нарушило бы систему и меру условности, негласно принятую этим жанром.

Детективу присуща иная сюжетная условность, которую я свел бы к таким положениям:

1) человек не может совершить преступление, если у него есть алиби;

2) даже если у человека нет алиби, он не может совершить преступление, если у него нет мотива;

3) даже не имея алиби и имея мотив, человек не совершит преступление, если он человек.

Я эту «программу» не изобрел, а почти в буквальном смысле слова вычитал из детективов. Понаблюдайте за героем детектива, проследите, какие этапы преодолевает его мысль. И вы без труда заметите, что следователь идет к разоблачению именно по этой лесенке. Из списка обвиняемых он сперва «выводит» лиц, не имевших физической возможности совершить преступление. Он обеляет незаинтересованных. Он отказывается от подозрений в адрес человека, чьи духовные принципы несовместимы с преступлением.

В строгом литературоведческом понимании проблема алиби — это проблема «вещных» материальных условий, на которые «обречены» персонажи детектива. Проблема мотива — это проблема характера. Это прочтение поступков героя в контексте его индивидуальных и социальных побуждений. Именно здесь, в сфере мотивов, наиболее отчетливо раскрывается идейный замысел детективного произведения. Именно здесь формируется значимость реалистических заявок автора, набирает силу накал страстей, разрешающихся в трагедии преступления и наказания. И хорошо, что в лучших советских детективах ничтожные конфликты, целиком падающие под характеристику «буря в стакане воды», уступили место серьезным жизненным проблемам (в частности, такой, как самоопределение человека в нашей действительности; об этом интересно размышляют П. Шестаков в повести «Страх высоты», Вайнеры в «Визите к Минотавру» и другие).

Третье положение, по существу, повторяет общеизвестную истину: в основе на-

стоящей литературы подлинная человечность. Стоит автору предать забвению гуманистические идеалы — и детектив превращается в инсценированную проповедь цинизма и безнравственности вроде сочинений Микки Спиллейна. Увлекаясь в не столь далеком прошлом публикацией зарубежных детективов, некоторые наши журналы, завороченные блеском неожиданных поворотов авантюрной фабулы, забывали, случалось, об этой опасности, упуская, по справедливому замечанию критика, «тот аспект произведения, который превращает его в продукт определенной идеологии» (Г. Анджапаридзе, «Зигзаги белых димузинов». «Литературная газета», 26 марта 1975 года). Надо сказать, что обсуждение проблем детективного жанра, завязавшееся на страницах нашей печати, и особенно Всесоюзное совещание, посвященное актуальным проблемам развития советской приключенческой и научно-фантастической литературы (январь 1976 года), явно повысили идейно-художественную взыскательность периодических изданий.

Эта статья — попытка бегло охарактеризовать некоторые аспекты поэтики детектива, самого молодого жанра нашей литературы, пока еще не подарившего читателю шедевров. Два слова о тенденциях его развития.

Ведущая из этих тенденций — противопоставление советского образа жизни (и мысли) буржуазному. Наши авторы трактуют криминальные события как факты, неорганичные для новой, социалистической действительности. Соответственно победа следователя становится торжеством нашей социальной логики (в западном детективе триумфальные лавры — удел логики индивидуальной).

Другая особенность советского детектива, как верно отметил А. Адамов в своем докладе на упомянутом совещании, состоит в том, что он пронизан пафосом спасения человека.

Наконец, весьма существенная тенденция нашей литературы (всей, а не только приключенческой) — взгляд на детектив как на вспомогательный жанр, активно способствующий развитию других жанров. Вспомним для примера, что «Двенадцать стульев» и «Золотой телянок» в сюжетном отношении настоящие детективы с Остапом Бендером в роли сыщика. Однако в романах И. Ильфа и Е. Петрова, помимо

детектива, есть еще что-то, и это «что-то» оказывается для нас, как и для авторов, важнее детективного интереса.

Естественно, что картина жанровых исканий наших писателей-«детективщиков» сегодня достаточно пестра. Как уже говорилось, остросюжетные и проблемные вещи написаны П. Шестаковым («Страх высоты», «Через лабиринт» и «Три дня в Дагезане»), Аркадием и Георгием Вайнерами («Визит к Минотавру»), Д. Тарасенковым («Человек в проходном дворе»). Лучшим романом этого направления мне представляется диалогия Ю. Семенова «Петровка, 38» и «Огарева, 6». Ю. Семенов воспринимает детективный жанр как литературу, и, соответственно, его работы воспринимаются как литература.

Сильная, пожалуй, даже наиболее сильная ветвь «уголовной прозы» у нас в настоящее время — многоплановый роман, изобилующий углубленными характеристиками персонажей и обстоятельств. Самый яркий и плодотворный литератор, пишущий в этом ключе, — А. Адамов. В его романах персонажи предстают перед читателями во многих подробностях своей личной, а главное, деловой жизни. Вот почему можно сказать, что это производственные романы из жизни милиции, то есть серьезная литература. Называть их детективами вряд ли целесообразно. Ибо тогда придется мерить эти романы мерками детектива, а детективы — их мерками, что невыгодно как для одной, так и для другой стороны.

На стыке документальной и «традиционной» прозы успешно выступают А. Безуглов и Ю. Кларов, умеющие создавать иллюзию почти очерковой достоверности («Конец Хитрова рыбка» и др.).

Некоторые «серьезные» романисты склонны вводить в свои произведения детективные или авантурные элементы. Так, Вл. Добровольский задался целью рас-

крыть внутренний мир нескольких наших современников, столкнув их с преступлением. В результате появилась на свет повесть «Последняя инстанция», в которой есть убийство, есть расследование убийства и есть, наконец, психологическое исследование «расследователей» и убийцы. Здесь психологический жанр одержал победу над детективным (как и в романе В. Липатова «И это все о нем»).

Еще одно любопытное явление. Некоторые авторы стремятся славить жанр детектива с другими жанрами на уровне композиции. Е. Парнов в своем «Ларце Марии Медичи» чередует с уголовными авантюрно-исторические главы, Вайнеры в «Визите к Минотавру» — историко-биографические.

Среди читателей (и издателей) детективами нередко считают повести о советских разведчиках, заброшенных в лагерь противника. Некоторые признаки детектива и в самом деле характерны для этих произведений. Но все же доминируют здесь приключенческие сюжеты, а не исследовательские. Герой-разведчик, пускай хоть тот же Штирлиц в «Семнадцати мгновениях весны» Ю. Семенова, решает боевую задачу, а не научную загадку. Самый точный критерий различия между приключенческим и детективным сюжетами, по моему, такой: в первом случае читателя интересует, «что будет дальше?», во втором — «что было раньше?».

Детектив — тема обширная. Под тем или иным углом с детективом пересекаются все остросюжетные жанры литературы. Да и не только литературы — театра, кинематографа, публицистики, телевизионного репортажа. Вот почему этическая и эстетическая проблематика этого жанра вправе претендовать на внимание социологов и социальных психологов, педагогов и журналистов. Но прежде всего, конечно, на внимание литературной общественности.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Ааду Хинт. Пядь земли. — Илья Фомяков. За пределами сказок. — Генрих Митин. Верность — сестра таланта. — Н. Анастасьев. Необходимость абстрактных истин.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Ю. Каграманов. Разное о «видеоленте». — А. Вишневский. Актуальные проблемы народонаселения. — В. Турбин. Архивы: родина и чужбина. — Георгий Степандин. Живые страницы истории Индии.

Литература и искусство

ПЯДЬ ЗЕМЛИ

Антон Хансен-Таммсааре. Новый Нечистый из Пекла. Роман. Перевод с эстонского А. Соколова. М. «Художественная литература». 1977. 271 стр.

Первый том пятитомной эпопеи «Правда и справедливость» А. Таммсааре, талантливое эстонское писателя, чье творчество тесно и органично переплелось с судьбой его родного народа, увидел свет в 1926 году. В нем автор показал, как эстонский крестьянин, освобожденный в прошлом веке от крепостного ига, обречен надрываться со всей семьей на помещичьей земле, стремясь выкупить свой надел, чтобы иметь под ногами пядь земли, с которой никто не мог бы его согнать.

Этот роман — вершина творчества Таммсааре и всей эстонской литературы. И четыре следующие книги эпопеи, хотя и с некоторыми оговорками, являются видным достижением нашей литературы. К главной теме первого тома — теме земли — писатель возвращается в пятом, последнем, томе, опубликованном в 1933 году. Эта же тема продолжает оставаться ведущей и в романе А. Таммсааре «Новый Нечистый из Пекла» (1939). Однако идейный итог этого романа куда сложнее, чем он был в эпопее писателя.

Если в последней части «Правды и справедливости» главный герой Индрек Паас припадает к лону земли, чтобы, как Антей, почерпнуть новые силы, то в романе «Новый Нечистый из Пекла» герой Юрка, ли-

шившись своего клочка земли, сжигает хутор кулака Хитрого Антса и при этом сам погибает в огне. Земля, собственная земля, о которой эстонский крестьянин мечтал на протяжении многих веков и на которой герой романа, трудясь с нечеловеческим упорством, надеялся обрести блаженство, стала причиной гибели Юрки и всего его семейства. Откуда такое разительное отличие замыслов в этих двух произведениях писателя? Что произошло за эти шесть лет — с 1933 по 1939 год — с автором и его народом?

12 марта 1934 года, якобы опасаясь победы фашизма в Эстонии, стоящие во главе правительства Пятс и Лайдонер совершили государственный переворот и аннулировали существовавшее до того времени буржуазно-демократическое устройство. Поскольку опасность захвата власти фашистами — приверженцами Гитлера и Муссолини — действительно существовала, немало людей вздохнуло облегченно. Но не прошло и нескольких месяцев, как руководители переворота объявили народ политически «большим» и принялись «лечить» его с помощью запретов и приказов. «Большой» народ лишился свободы слова, собраний и печати, парламент был отстранен от решения государственных вопросов.

Настало время, вошедшее в историю под названием «молчаливая эпоха». В эту эпоху право слова имели власть имущие, у народа же было только право слушать или поддакивать, как это делал Юрка из Пекла: «Вроде бы так». Вскоре стало ясно, что вместо оголтелого фашизма в Эстонию пришел полуфашизм, который отличался от первого разве что несущественными деталями. Все меньше становилось таких, которые еще ждали от переворота 12 марта 1934 года благоприятных перемен.

В 1938 году была объявлена амнистия политзаключенным, из тюрем освободили немало коммунистов, но и большую часть вапсов — членов правой профашистской группировки. Выпущенные на свободу коммунисты попали под строжайший надзор политической полиции. Вот эта-то «молчаливая эпоха», когда уже не крепостники, а Пятс и Лайдонер «лечили» и «перевоспитывали» эстонский народ, и нашла отражение в романе «Новый Нечистый из Пекла». Писатель построил свой роман на фольклорных мотивах и аллегориях, потому что в стиле свойственного его ранним романам правдивого, реалистического повествования эта книга, пожалуй, вообще не увидела бы свет в 1939 году.

Уже само название романа весьма многозначительно. «Põlgurhja uus Vanapagan». Pagan — человек не крещенный, не принадлежащий ни к какой церкви; в эстонской истории и особенно в народно-традиционном понимании это человек, скрывающийся от крестоносцев и церковнослужителей на недоступном островке среди непроходимых болот или в лесной чащобе, чтобы не быть насильно крещенным, не дать окропить себя «святой водой». Некрещенные «паганы» встречались в эстонских пущах еще в XVII и даже XVIII веке. Такими «паганами» были мать и отец Тийвы — героини известной пьесы А. Китцберга «Оборотень». Жизнь этих одиночек, скрывавшихся вдалеке от людских поселений, была неизменно трудной. Опутанные цепями крепостного рабства, крестьяне приписывали им сверхчеловеческие, прямо-таки мифические силу и упорство и относились к ним с боязливым почтением, но и со смешанным со страхом презрением, какое, например, в рассказах Джека Лондона испытывает посаженный на цепь пес к своему собрату в лесу — сильному, свободному, но подвергающемуся постоянной опасности волку.

В романе «Новый Нечистый из Пекла»

среди крещеных, приспособившихся к новой вере и к новой жизни людей появляется Vanapagan — Нечистый — по имени Юрка, чтобы, может быть, и самому принять христианскую веру и обрести блаженство. Время и место, где происходят описанные в романе события, это не порабощенная крепостническая деревня XVIII века, воссозданная Китцбергом в «Оборотне», а деревенское буржуазное общество XX века. Цель обладающего медвежьей силой Нечистого Юрки — доказать, что человек может на земле обрести счастье и блаженство.

Юрка простодушен и доверчив, людям-конформистам он кажется даже глуповатым. В деревне, где поселяется Юрка, нет уже мыз и немцев-мызников. Это новая деревня, деревня «молчаливой эпохи» с ее кулаками — доморощенными серыми баронами — и сельской гольгтьбой, со своими хитрыми антсами и бобылями. Здесь, прикрываясь лозунгами «молчаливой эпохи», Хитрый Антс все откровеннее и наглее эксплуатирует Юрку. Пропаганда «национального единства» ведется только для того, чтобы приглушить классовую вражду; восхваление «трудового эстонства» — чтобы Юрка и ему подобные не покладая рук гнули спину на нового хозяина; «полные колыбели» — чтобы не нужно было ввозить на поля сезонных рабочих из иных малоразвитых стран, а чтобы дешевой рабочей силы хватало в своей стране. Вместо существовавшего в Эстонии ранее обязательного шестиклассного начального образования теперь вводится четырехклассное, чтобы уменьшить расходы на народное образование и избежать перепроизводства интеллигентов и полунинтеллигентов», как пропагандировал ближайший помощник Пятса Карл Эйнбунд, переименованный на эстонский лад в Каареля Зенпалу. И т. д. и т. п.

В романе «Новый Нечистый из Пекла» Антс наставляет Юрку: «Не гордые обретут блаженство, а те смиренные и самоотверженные люди, которые борются за величие и славу своего народа... Молодое поколение нужно учить трудолюбию, трезвости, воздержанию, простоте и честности, а живой человек склонен повесничать, выкидывать разные коленца, красть помаленьку, лгать и обманывать. Если он этого не делает, ему кажется, что он не человек, а нечто вроде животного, растения или камня». «Вроде бы так», — молвил Юрка, будто уразумев мысли Антса, а немного погодя добавил: — Ну и бедовая эта земная жизнь, если она впряду

такая». Под влиянием жены Юлы Юрка иногда начинает упрямяться, и тогда Антс спрашивает его:

«— Кто тебе голову морочит, что ты таким строптивым стал? Уж не Юла ли?..»

— Ребята растут,— отвечал Юрка.

— Ну и что с того? Ребята пусть растут, работники нужны! И сам ты трудиться горазд, и Юла — здоровá, и дети работягами будут.

— Работяги работягами, да придется им спину гнуть на мозгляков.

— Ишь ты! Скажи на милость, чего только Нечистый из Пекла не выдумает,— словно про себя усмеялся Антс.— У меня ты, что ли, выучился?

— Вроде бы так.

— Если у тебя этак дальше пойдет — бунтовщиком станешь!

— Мне бы хозяином стать.

— Ты и есть хозяин.

— А на другого хозяина работаю.

— Уж так на этом свете заведено,— стал поучать Антс,— малый гнет спину на большого, слабый — на сильного, глупый — на умного. Так самим богом устроено. И кто супротив пойдет — тот против бога пойдет, а кто против бога — того ждет погибель. Запомни это, Юрка...»

Несмотря на все запугивания, в Юрке просыпается бунтовщик. Он мечтал о своем клочке земли, мечтал трудом добиться счастья на этой земле, но понял, что все его надежды бесплодны, что Хитрый Антс по-

губил его детей, а теперь отнимает у него и землю. Юрка поджигает свой дом, дом Антса и сам погибает в огне.

Нет более уничтожающей критики на господствовавшую в Эстонии «молчаливую эпоху», чем роман «Новый Нечистый из Пекла».

В начале романа Юрка преисполнен оптимизма, в конце у него не остается даже своего клочка земли, чтобы возделывать его. И сам Антон Таммсааре, переживший «молчаливую эпоху», к концу жизни был настроен весьма пессимистично. В каждом действующем лице произведения художника есть частица его самого...

Свой роман Таммсааре написал накануне второй мировой войны. Живя постоянно в Эстонии, прогрессивный писатель мыслил мировыми категориями. Прислушиваясь к хитрым эстонским антсам, он слышал и знал о речах и делах антсов куда более могущественных капиталистических стран — о делах и преступлениях тех, кто вскоре зажет всемирный пожар, погубивший миллионы и миллионы Юрок. Его книги — проклятые поджигателям войн.

Сейчас, в дни, когда мы отмечаем столетие со дня рождения Антона Хансена-Таммсааре, творчество писателя звучит с особой остротой и актуальностью.

Ааду ХИНТ,
народный писатель Эстонии.
Перевела В. РУБЕР.



ЗА ПРЕДЕЛАМИ СКАЗОК

Елизавета Стюарт. Избранное. Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 1976. 432 стр.

Среди стихов Елизаветы Стюарт есть три стихотворения о Золушке — надо сказать, поэтесса вообще пристрастна к определенному кругу тем и предметов, к иным из них она возвращается по нескольку раз в разные годы. Самая ранняя «Золушка» — самая «сказочная», героине еще только предстоит поверить в то, что «за пределами сказок добрые люди и добрые вещи!». Прозрачное и человеческое стихотворение это написано все же языком в значительной мере книжным, откровенно дидактична его концовка. Совсем иначе звучат стихи о «Золушках сороковых годов», о тех, кому в жизни досталось ждать «не принца, а солдата» с поля боя:

Я помню вас не в пышных бальных залах,
Не в тувельках хрустальных, не в парче,
А у теплушек ночью на вокзалах
С картофельною тляпкой на плече.

Третья «Золушка» находится за пределами рецензируемой книги — стихотворение напечатано в девятом номере журнала «Сибирские огни» за 1976 год в юбилейной подборке Елизаветы Стюарт. Это стихи о нашей современнице, о той, чей принц — занятой интеллектuala, о той, которая умеет, если надо, быть «по-модному сухой и деловой», но в глубине души все так же рвется к счастью. Сравнивая стихотворения, ви-

дишь, не только развитие одной темы, одного образа, но и развитие личности поэта, «диалектику таланта». Между тем даже самая ранняя «Золушка» — отнюдь не «из ранних тетрадей»: она создана в 1955 году уже зрелым и признанным в профессиональной среде художником — Елизавета Стюарт начала выступать в печати (вначале со стихами для детей) с конца 20-х годов.

Как и для многих поэтов старшего поколения, истекшее двадцатилетие стало для Елизаветы Стюарт периодом особенно интенсивной работы как видимой, так и невидимой, ибо работа поэта состоит не только в писании стихов, но и прежде всего в «работе внутренней», той самой, которую имел в виду Заболоцкий, когда писал свое знаменитое «Не позволяй душе лениться». Не случайно именно в эти годы поэзия Елизаветы Стюарт обрела подлинно всесоюзную аудиторию, не случайно в «Избранном» постеснясь, вышедшем в Новосибирске в 1976 году, произведения этих лет составляют едва ли не девять десятых объема книги.

Более ранние вещи представлены весьма скупо, но сказать о них тем более необходимо, что у этих стихов своя биография и судьба: первые «взрослые» книжки Елизаветы Стюарт — «Города будущего» и «Новый дом» — увидели свет во время войны и вскоре после нее, когда нынешний «бумажный дефицит» показался бы сказочным изобилием и печаталось только самое необходимое. В 50-х годах в книжных магазинах Сибири еще нет-нет и попадались тоненькие эти брошюры, изданные на серой остистой бумаге. И я, право, не знаю, какая доля завидней для поэтической книги — нынешняя однодневная «расходимость», не дающая никакой гарантии, что именно своего читателя найдет книга, или такое вот... Тот, кто не ленился тут же, у прилавка, перелистать сборник в мягкой обложке с неприятельным рисунком, бывал вознагражден: при всех издержках литературности («гордая легенда», «жестокое время, суровые годы», «горячая молодость», «дым голубой») в стихах ощущался подлинный трепет поэзии, трепет сердца. Некоторые же стихотворения были совершенно безупречны:

Как это трудно — взгляд последний
кинуть
На комнату. Поправить половик.
На место кресло старое подвинуть,
К молчанию прислушаться на миг.

Взглянуть в окно с далекою звездой
И зеркало в немой голубизне.

В которое смотрелась молодою,
Стеклом тихонько повернуть к стене.

И выйти, унося одну кручину,
И, не разжав сведенных мукой губ,
Поджечь все это тоненькой лучиной,
Чтоб ничего не оставлять врагу...

Как нелегко молчать заставить память.
А возвратясь,
на пепле и золе
Вновь заложить тот самый первый
камень,
Что всех прочнее ляжет на земле.

Как нелегко, все сосчитав могилы,
Не умереть от горя самому.
Как нелегко!..
Но это все под силу
Прекрасному народу моему.

Эти стихи по праву занимают место в «Избранном», а для тех, кому они знакомы, была бы неполна без них и общая картина русской советской поэзии времен Великой Отечественной войны. Думается, что неполной была бы такая антология и без написанной во время поездки с делегацией сибиряков к защитникам полуострова Рыбачий «Гитары» — стихотворения, многократно цитированного:

Землянки были в этот день пусты.
Шел бой.

А здесь от взрывов непрерывных
Подрагивали бледные цветы
В снарядных металлических стаканах...

И сто мелодий в сердце затаив —
Далеких шефов тыловых подарок.—
Откинув бант на тонкий черный гриф,
Лежала молча смуглая гитара.

Но если ухо приложить,
она —
Любой бы то услышал — не молчала:
На каждый выстрел каждая струна
По-своему тихонько отвечала...

Эти строки написаны тонко и достоверно, в них все на месте, начиная с эпитета «смуглая гитара», вызывающего в памяти не только цвет лака, покрывающего деку, но и какие-то далекие цыганские, андалузские, южные ассоциации, столь контрастные суровому воюющему Северу. И, конечно же, не только о гитаре эти строки, но и о душе поэта, отзывающейся по-своему «на каждый выстрел», как бы далеко ни прозвучал он!

К военной теме Елизавета Стюарт многократно возвращается в последующие годы — даже в стихах с названиями сугубо мирными, такими, как, например, «Тишина в Подмосковье»:

И видны становятся утраты:
Вот деревья держат на весу
Павшего собрата,
как солдаты,
С той войны бредущие в лесу...

Образ настолько точен зрительно, эмоционально, исторически и настолько емок, что это четверостишие могло бы существовать при самой минимальной правке и как самостоятельный, независимый художественный организм.

Елизавета Стюарт сибирячка, вся жизнь ее связана с Сибирью — в детстве и ранней молодости с Томском, затем с Новосибирском. Она не принадлежит к числу тех поэтов, которые считают обязательным как можно чаще упоминать общеизвестные географические приметы родного края. Но природа, занимающая немалое место в ее стихах, это по большей части сибирская природа с ее лиственницами и березами, с тихой речкой Уень и синими колокольчиками, поднявшимися «у опор высоковольтной линии». Лучшим ее стихам о природе свойственны глубина и ясность при всем том, что мысли, в них вложенные, порой достаточно сложны:

Высокий дождь — от неба до земли —
Стоял в окне, стараясь объясниться.
Была весна. Подснежники цвели.
Была весна — и он не мог не литься!..
Все лишнее он зачеркнуть спешил,
Лишь главного желая в день весенний:
Он землю влагой досыта поил,
Даря себя для будущих свершений.
Он знал, что по себе оставит след,
Но не хотел ни славы, ни богатства...
И все, что мне мутило белый свет,
Вдруг показалось просто святотатством...
А он весь день стоял в моем окне
И, помогая развернуться листьям,
Не мог понять, что недоступно мне
Его космическое бескорыстие!..

Кроме лирики, в «Избранное» вошли переводы (Т. Г. Шевченко, чувашского поэта Стихвана Шавлы, поэтов Горного Алтая), а также небольшое количество стихов для детей, и, право же, это сделано не напрасно, ибо лучшие строки из раздела «Солнечная денежка» способны доставить радость и самому взыскательному взрослому читателю. Такие, например, как строки о рыбках, резвящихся в пруду:

Любо им водой плеснуть,
Чешуей на миг блеснуть —
Рыбкам выпрыгнуть на воздух
Все равно что нам нырнуть.

Пожалуй, слабее других выглядят в «Избранном» стихи из дорожных циклов, навеянные поездками в Чехословакию, Гру-

зю, Ленинград: творчество «по первому впечатлению», судя по всему, не в природе дарования Елизаветы Стюарт. Порой и в удачных стихах появляются неожиданно слабые строки, разъясняющие концевочные сентенции:

...Нам порой дается тишина,
Чтобы стал слышнее ход событий.

Это из того же стихотворения, откуда процитирована великолепная строфа о деревьях-солдатах, несущих долю павшего товарища.

Иногда и в поздних стихах дает себя знать некая дань литературности. Но «красивые» строки тотчас забываются, когда встречаешься с подлинной поэзией:

Умер сын у бабки деревенской.
И не так чтобы хороший сын...
Но в ее нелегкой доле женской
Оставался он живым один.

Отписала кратко, издалече
Ей сноха ту горестную весть:
Мол, теперь помочь, мамаша, нечем,
Плачь не плачь, а так оно и есть...

Удивительное это стихотворение! Удивительное по волшебству перевоплощения в человека иной социальной среды и опыта, по выразительности и точности каждого слова. Уже в двух этих строфах, по существу, зерно целого повествования; и характеры намечались и время проступило. Жаль обрывать: дальше тоже хорошо. Приведу лишь концевку:

Вышла в поле...
В поле ночь и осень...
Только звезды над простором нив,
Да в колени тычутся колосья,
Головы пред матерью склонив.

Стихотворение глубоко человечно. Я бы сказал, народно, сколь бы ни казалось ответственным такое определение.

Прозаик пишет в своей жизни много книг. Поэт — всегда одну. Книга Елизаветы Стюарт сильная и цельная; при всех отступлении в ней отчетливо звучит главная тема. Тема эта — судьба человека, судьба женщины в годы испытаний и побед, в трудном и сложном мире современности. «За пределами сказок» оказались не только «добрые люди и добрые вещи», но и реальные ценности, то, ради чего стоит жить: чувство родины, дружбы, красоты, радость творчества обретаются тоже в этом непримудном, «несказочном» мире. В нем — и только в нем. Об этом в конечном счете книга Елизаветы Стюарт.

Илья ФОНЯКОВ.

Ленинград.

ВЕРНОСТЬ — СЕСТРА ТАЛАНТА

Владимир Огнев. Грузинские этюды. Тбилиси. «Мерани». 1976. 174 стр.

Эта книга представляет собой ряд литературных очерков-портретов, написанных русским критиком о поэтах Грузии. Две части, образующие книгу, — «Мтацминда» и «Современники» — демонстрируют единый подход критика к избранному жанру. Идет ли речь о В. Пшавела, С. Чиковани, Г. Леонидзе или Г. Абашидзе, Ш. Нишпианидзе, А. Каландадзе (то есть о поэтах ушедших или ныне действующих) — все равно у В. Огнева литературный портрет остроактуален. И не только по самому отбору «моделей». Известно, что портреты чаще всего пишут с живущих, — В. Огнев изменяет этому правилу: добрая половина книги (семь очерков из тринадцати) посвящена как раз тем, кого уже давно нет.

Источником «жанрового» напряжения стала здесь прежде всего личность критика, особенность его отношения к своему читателю — отношения весьма активного. Критик стремится завладеть нашим вниманием по возможности с первой строки, все дальнейшее работает на эту цель: и глубина постижения (первейшее условие — содержательность анализа), и широкий спектр ассоциаций, и, наконец, достаточный арсенал средств формальных (композиционных, стилистических, интонационно-ритмических), которым В. Огнев владеет мастерски, по-писательски.

Можно ли в свете сказанного говорить о личности искусства В. Огнева в жанре литпортрета? Вопрос риторический, конечно. Однако и мера объективности его анализа достаточно велика, ибо обеспечена знанием своего предмета и предельной добросовестностью. А ведь все эти качества не приходят сразу, тем более когда речь идет о погружении в инонациональную культуру. Считается, будто «со стороны виднее», — это заблуждение чревато верхоглядством. Работа В. Огнева доказывает, что серьезный, деловой подход к проблемам грузинской поэзии и истории помогает точнее понять и оценить более широкие проблемы.

Чем дальше от нас поэт, тем очевиднее тонкая работа В. Огнева по актуализации материала — разумеется, без всякого насилия над историей. Предельно неожиданным прием, с помощью которого критик как бы сокращает дистанцию времени в разговоре о Николозе Бараташвили. Вот первая строка очерка: «В 1938 году многотысячная толпа

стояла на обочине дороги, по которой несли прах поэта». Как?! Ведь поэт скончался в 1845 году! Но все верно — это прах поэта переносят из Дидубийского пантеона, поднимая к небу — на Мтацминду, Святую гору, обитель национальных гениев Грузии... Всего полстранички беллетризованного текста — и цель, важная для критика, достигнута: разговор о поэте уже может быть настолько непосредственным и живым, без почтительного соблюдения дистанции, как если бы речь шла о живущем ныне. Вот почему можно с полным правом сказать, что разведение поэтов в книге по разделам «Мтацминда» и «Современники» условно. Ибо все без исключения «герои» В. Огнева воспринимаются как наши современники. В этом смысле литературный портрет у В. Огнева всегда не только жанр для современников, но и жанр о современниках. Впрочем, эта личная особенность не является принципиальным преимуществом данного критика перед другими. Таково знамение времени, сделавшего портрет самым демократическим жанром текущей критики.

Все решает, конечно, мера владения жанром — у В. Огнева, как правило, портреты убедительны и интересны. Другое дело, что, помимо удач, в книге есть и свои просчеты. И тут есть над чем подумать: ведь недостатки бывают столь же поучительны, как и достоинства. Например, безупречно выполнены портреты Н. Бараташвили, Ираклия Абашидзе и во многом спорен портрет А. Церетели. Что это — чистая случайность? Бараташвили и Абашидзе показаны в движении, эволюции, Церетели же схвачен в целом как образ-символ, его портрет выполнен как миниатюра. По существу, перед нами два принципиально различных варианта портрета — исследовательски-повествовательный и поэтически-обобщенный. Один ближе к собственно литературе, другой к живописи (но с той важной оговоркой, что в отличие от живописного портрет этот должен показать поэта в целом, а не в такой-то год его жизни). Думаю, что дарованию В. Огнева ближе первый подход к модели, и вот почему.

Обращаясь ко второму способу, критик ищет наиболее короткие и прямые пути к образу героя, что естественно для портретной миниатюры. Но, к сожалению, не все способы, используемые критиком, ведут к

целя, иные, наоборот, уводят от нее. Так, в миниатюре «Акакий» поэт Церетели сопоставляется сначала с Саломеей Нерис («Акакия Церетели называли «соловьем Грузии». В Литве так прозвали Саломею Нерис — «литовский соловей». Видно, было нечто общее...»), затем... с Н. А. Некрасовым. В связи с последним сопоставлением В. Огнев высказывает ряд мыслей об эволюции русского стиха от Некрасова к Блоку и Маяковскому, о пародийности иных стихов Некрасова, «тайно» адресованных Пушкину и Лермонтову. Это само по себе очень интересно, но несколько не проясняет образа А. Церетели — наоборот, его образ словно бы распадается.

Тот же прием, но с еще большим ущербом для портрета употреблен в миниатюре «Галактион Табидзе». «Галактион, по-моему, был для Грузии сразу Блоком и Маяковским. Он удесятеренно прожил в двух эпохах сразу. Он по-своему захватил и судьбу Пастернака», — пишет критик, не замечая, думается, того, что обилие других поэтов в одном, определение одного через других несколько не возвеличивает определяемого Г. Табидзе, напротив, ибо в таком изложении за общими чертами теряется свое, уникальное, то, чем поэт интересен. Критик едва успевает к концу миниатюры сказать наконец и о том, с чем же пришел в мир именно этот поэт, в чем его непохожесть на предшественников и современников.

Краткую свою рецензию на монографию Г. Цуриковой о творчестве Т. Табидзе критик не зря включил в книгу о поэтах: и здесь, кроме «критики критики», даны штрихи к портрету самого Т. Табидзе. Высоко оценив монографию, В. Огнев особо отмечает, что Г. Цуриковой удалось через анализ переводческих принципов Пастернака и Бенедикта Лившица раскрыть коренные особенности стиля переводимого ими поэта. «Языковой барьер мешает и поэтам, — замечает В. Огнев. — Но для русского критика он серьезнейшее препятствие... Любой, даже частный успех тут — заслуга немалая».

Теперь, в этом месте моих рассуждений, я позволю себе отклониться в сторону, чтобы оценить идеи В. Огнева в статье «Заметки о переводе», образующей в его книге последний, третий и в жанровом отношении инородный, раздел. Но не чужеродный! Ибо представляется вполне резонным именно размышлением о проблемах перевода завершить книгу, в которой русский критик «уга-

дывает» грузинские оригиналы, не зная языка. Правда, он то и дело (редкая оснащенность и добросовестность!) повергает поэтические переводы имеющимися в его распоряжении переводами подстрочными. И пусть подстрочник рядом с талантливым переводом все равно что гипсовая маска рядом с мраморной скульптурой, В. Огнев умело извлекает из него ту необходимую информацию об оригинале, которая бывает упущена переводчиком, иной раз и таким выдающимся переводчиком, каким был Б. Пастернак. Местами В. Огневу приходится цитировать подстрочник вместо существующего перевода. Сие не означает ничего другого кроме того, что перевод весьма неточен, и притом невольно оказывается беднее оригинала (кстати, бывает и наоборот — неточность во имя обогащения оригинала, но это уже нарочитая установка переводящего).

Словом, в «Заметках о переводе» В. Огнева центральное место занял вопрос о точности, верности оригиналу, конечно, далеко не новый. Однако приятно, что критик не только призывает к синтезу исследовательского и творческого подхода к переводу, но и четко говорит о взаимодействии личности переводимого и переводящего: «Иногда приходится слышать мнение, что индивидуальность переводчика не должна восприниматься как самостоятельная величина — достаточно, чтоб была донесена индивидуальность переводимого. Это обратная крайность. Подлинный талант всегда наложит свое «клеймо», «тавро» — назовите как угодно, — примета своей неповторимости всегда будет. Тут уж ничего не поделаешь. Переводчик тоже личность. Уйти от себя совсем — никому не дано».

Непонятно только, почему в приведенном суждении слышится интонация некоего сожаления, что ли. Конечно, с личностью художника переводящего «ничего не поделаешь», но это не «неизбежная беда», а проявление прекрасной сути искусства — его личностной природы! Да, «уйти от себя совсем — никому не дано», но ведь и стремиться к этому не следует, недаром же К. Станиславский подчеркивал: «Огромная ошибка существует в понятии перевоплощения. Перевоплощение не в том, чтобы уйти от себя...» Не в том! Напротив, уход от себя — это измена таланту, поскольку талант — категория личностная, а не мотор, который можно подвесить к любой лодке и он потянет. Иначе говоря, личностное отношение к оригиналу — первое условие пере-

вода как творчества. Такой позиции полностью отвечает следующая, и великолепная на мой взгляд, формула В. Огнева: «Перевод — новое качество, где сплавлено воедино общее достоинство двух индивидуальностей как нечто самостоятельное третье. Вот что такое точность перевода в неплоском, небуквальном смысле». Но формула обязывает! И вот уже с долей скептицизма читаешь осуждение критиком Евгения Евтушенко за то, что тот «внес в форму стихов» Карло Каладзе «некоторую щеголеватость и звонкость рифмы, что свойственно Евтушенко, но абсолютно не свойственно грузинскому поэту». Как согласовать этот упрек с цитированной формулой, утверждающей личностность искусства перевода как всякого искусства? Однако никакого принципиального противоречия тут нет, поскольку, как справедливо замечает В. Огнев, переводы — свои стихи лишь до известной степени, то есть до той черты, за которой просто напросто смысл перевода будет утрачен. А необходимую степень самоограничения подскажет поэту переводящему его художественный такт. Иначе говоря, принцип, даже самый верный, на практике воплощается не автоматически, но творчески, и тут выясняется, есть ли у данного талантливого поэта еще и склонность, способность к искусству перевода.

Справедливо отмечено в издательской аннотации, что автор рисует яркоиндивидуальные творческие портреты поэтов Грузии и через них улавливает самобытный, неповторимый облик всей грузинской поэзии. Такова суть единства этой книги, единства, идущего от темы. Есть в ней и другое единство — от автора, у которого свой почерк и свой путь в современной литературной критике. Свой — и одновременно весьма характерный для определенных поисков нашей критики сегодня.

Здесь придется сказать два слова о дружбе и соперничестве двух жанров — собственно литературы (проза, поэзия) и критики. Разумеется, о соперничестве благородном. Нетрудно понять, что в такой «борьбе» шансы поэзии и прозы предпочтительнее. Вероятно, поэтому-то мы и не знаем ни одного случая, чтобы поэт или прозаик «перековался» в критика, но мы знаем ряд случаев, когда критики «вдруг» изменяют своему жанру и переходят в ряды прозаиков. И — к чести критического цеха! — надо признать, что писатели из критиков получались и по-

лучаются неплохие, иногда и очень хорошие.

В. Огнев тоже вступил на стезю прозы и художественной («Легенда о Монтвиле») и очерковой («Югославский дневник»), последний раз доказав этими отличными книгами, что талант литературный по своей природе едина. Но я как критик с особым удовлетворением хочу подчеркнуть, что Огнев все-таки не изменил своему цеху — он остался на трудном посту критика. Разумеется, это не ново, достаточно вспомнить Ю. Тынянова и В. Шкловского, но ведь кого вспоминать приходится — самых лучших! Да что и говорить: верность — тоже сестра таланта. По крайней мере в критике.

Для крайней степени глубоко закономерен тот факт, что у русского критика мы обнаруживаем не отдельные имена в статье и даже не статьи, а целые книги, посвященные литературам дружб братских народов. Таковы естественные плоды, собираемые нами сегодня с могучего древа дружбы литератур, дружбы народов, — почва для этого древа была возделана Великим Октябрем.

Сегодня вовсе не удивительно, что наши книжки, книжки русских критиков, посвящаются не только русской литературе и выходят не только в Москве, но и далеко от Москвы (как, впрочем, и книжки русских поэтов и прозаиков, связанных узами переводческого искусства со многими национальными литературами). Но отсюда не следует делать вывод, будто все уже хорошо. Нет, книги вроде «Грузинских этюдов», конечно, выходят, но это лишь первые ласточки, их немного — единицы.

Сравнивая нашу нынешнюю работу с работой знаменитых критиков 20-х годов, отмечаешь про себя существенное отличие: они были еще и крупными теоретиками. А мы? Не в упрек будь сказано, а только в порядке констатации примет времени: сейчас критики более склонны к жанру литературного портрета, чем к теории. Исключение — теория перевода (в которой, увы, слишком много эмпирики и маловато философии). Портрет же явно процветает — и в толстых литературных журналах и в тонких. А издательство «Советская Россия» уже много лет с успехом выпускает книги критиков из серии «Писатели Советской России», серии тоже портретной.

В чем же причина «портретного бума»? Я думаю, что появилась настоятельная, страстная, я бы сказал даже — п р и с т р а с т н а я общественная потребность поближе,

«крупным планом» познакомиться с реальной личностью тех, кто сегодня создает нашу литературу,— с любимыми прозаиками и поэтами. Чуткая к читателю критика уловила эту потребность. Именно так — через

жанр портрета — книга В. Огнева вписывается в широкий литературный контекст времени.

Георгий МИТИН.



НЕОБХОДИМОСТЬ АБСТРАКТНЫХ ИСТИН

Торнтон Уайлдер. Теофил Норт. Роман. «Иностранная литература», 1976, №№ 6—8.
Торнтон Уайлдер. Мост короля Людовика Святого. Повесть. День Восьмой. Роман.
Перевод с английского. М. «Прогресс». 1976. 496 стр.

Долгое время бесспорным представителем (даже Представителем!) американской литературы XX века в сознании советских читателей оставался Хемингуэй. Потом эта избирательность уступила место более широкому взгляду — мы открыли и научились понимать Фитцджералда, Вулфа, Фолкнера. А сейчас, в течение последнего года-полутора, на нас буквально обрушился — другого слова и не подберешь — Торнтон Уайлдер. Одно за другим в русском переводе появились произведения разных лет — «Мост короля Людовика Святого», «Теофил Норт», «День Восьмой», «Мартовские иды» («Мост...», правда, был опубликован раньше, в начале 70-х годов, но тогда особенного отклика как будто не вызвал). Поздно произошло знакомство? Хронологически, конечно, поздно. Уайлдер ведь был современником Хемингуэя, Фолкнера, Вулфа, начинал одновременно с ними в 20-е годы. Но и объяснить такое запоздание можно и даже нетрудно. Ведь и у себя на родине Уайлдер был далеко не сразу оценен в истинном своем значении. То есть его книги читали, пьесы ставили, хвалили их в печати, награждали литературными премиями, но ими не жили. Властителям умов Уайлдер, чей творческий путь длился без малого полвека (умер он в 1975 году), так и не стал.

Понятно почему.

В таких книгах, как «Великий Гэтсби», «Прощай, оружие!», «42 параллель», «Оглянись на дом свой, ангел», резко и непосредственно сказалось умонастроение множества людей, переживших кризис традиционных гуманистических идеалов, ощутивших исчерпанность Американской мечты и ищущих избавления — кто в непреклонном моральном стоицизме, кто в безумном карнавале потребительства.

Что же касается Уайлдера, то он как будто жил в другой стране и в другое время.

А может быть, и вообще вне времени. Полуреальна атмосфера «Моста короля Людовика Святого» (1927), повести, принесшей автору широкую известность. Действие происходит в далеком сомнительном Перу XVIII века, участвуют в нем несколько загадочные графини и монахи — из этой откровенно условной ситуации писатель стремится извлечь универсальную формулу бытия. На глазах францисканского священника брата Юнипера рухнул мост, по которому в это время проходили пятеро людей, и эта катастрофа подвигла его на решение грандиозной задачи: «Либо наша жизнь случайна и наша смерть случайна, либо и в жизни и в смерти нашей заложен План. И в тот миг брат Юнипер принял решение проникнуть в тайны жизни этих пятерых, еще летевших в бездну, и разгадать причину их гибели».

Конечно, настоящая литература всегда оборачивается в прошлое, заглядывает в будущее, ищет ответы на так называемые вечные вопросы бытия, но, с другой стороны, оторванная от судеб и нужд своего времени, она рискует лишиться жизненных соков, превращается в праздное упражнение ума, в олимпийскую забаву автора, высокомерно поглядывающего на муравьиное копошение людей там, внизу.

Что проза Уайлдера находится с вечностью в особых отношениях, видно сразу. Неточно было бы сказать, что книги его прослоены цитатами из Данте, Шекспира, Гёте, Беркли, Китса: не прослоены, нет — слова великих полноправно и органично входят в течение повествовательной речи. И хоть дистанция между историческими гигантами и любимыми героями Уайлдера, конечно, сохраняется, пропасть ее назвать нельзя: они, герои эти, по замыслу автора тоже люди на все времена. Современный же смысл его творчества не столь очевиден, выявляет себя не просто и не сразу.

Бесспорнее других в этом отношении выглядят последний роман писателя, «Теофила Норт».

Тридцатилетний преподаватель оставляет работу в школе и отправляется в места своей молодости, в городок на атлантическом побережье Америки — Ньюпорт. Здесь он дает частные уроки иностранных языков, читает вслух за почасовую плату Данте, Шекспира, учит детей играть в теннис. А главное — наблюдает жизнь, классифицирует человеческие типы, ищет, как Шлайман в Трое, исторические пласты современного Ньюпорта — и тщательно избегает при этом любых контактов, выходящих за пределы его профессиональных обязанностей. «Я приехал в Ньюпорт для того, чтобы наблюдать не вмешиваясь».

Но это только фраза. Напротив, как бы и помимо собственной воли Норт только и делает что вмешивается. Он предотвращает заведомо абсурдное замужество юной девицы, возвращает волю к жизни отставному дипломату, излечивает от болезненной застенчивости одного из своих учеников и даже оказывает интимную услугу даме, страстно влюбленной в мужа, у которого, к несчастью, не может быть детей. Более того, в округе распространился слух об «электрических руках» Норта — они якобы обладают магнетической способностью исцелять любые болезни. И вот к его дому, как к Лурдскому монастырю, тянутся страждущие... Во всем этом, конечно, заключена изрядная доля юмора. Но нельзя не почувствовать и того, сколь серьезно относится автор к своему герою — человеку, по всем признакам «положительно прекрасному».

Не всегда, как известно, бывает так, что произведение, последнее по времени появления, становится итогом прожитого и сделанного. У Уайлдера это совпало. Книгу, подобную «Норту», он до сих пор не написал именно в конце — выразить заветное прямо и несомненно. Такая определенность не только благо — она и сковывает творческую свободу писателя. Поглощенный задачей воплощения идеала, Уайлдер вроде и не интересуется той общественной средой, в которой живет его герой. Люди, окружающие Норта, как правило, лишены независимого человеческого интереса, превращены лишь в объекты исцеляющей их силы. Но можно и понять смысл такой именно расстановки художественных акцентов: миф о холодном философе, взвешивающем, остраненно оценивающим идеи, — этот миф развеялся. Читательскому взгляду явился художник, который понимает добро как добро деятельное, ищет способы осуществления гуманных идеалов.

В этом и состоит подлинная современность книг Уайлдера. Ибо такие понятия, как любовь, вера, красота, вовсе не были абстракцией для того поколения американских интеллигентов, что проходило жизненные университеты на первой мировой войне, как и для тех людей, чья зрелость пришлась на 60-е годы.

Столь же ясно, сколь и его соотечественники, люди одного с ним времени, видел Уайлдер стремительное падение морального духа Америки, утверждение практицизма и заурядности как нормы общественной жизни. И не менее болезненно переживал это. Но если Хемингуэй, особенно в раннюю пору творчества, лишь презрительно высмеял слова типа «священный», «славный», «жертва», то Уайлдер, который тоже вполне ощущал их фальшь, сразу начал последовательно возвращать выхолощенным понятиям их истинное содержание, взял на себя учительскую, открыто морализаторскую функцию.

Сочинения Уайлдера принадлежат к разным жанрам — романы нравов («Теофил Норт»), исторические хроники («Мартовские иды»), пьесы, но по сути дела все его творчество — одна нескончаемая притча о непобедимости человека и добра, в нем заложенного. Вот почему романы Уайлдера — это романы идей, а не людей.

Разве помним мы, как выглядит дядюшка Пио, один из персонажей «Моста...»? Нет, нам явлена страсть, заключенная в хрупкую человеческую оболочку: безраздельное служение Искусству. В маленькой голенастой певичке из кафе по имени Перикола угадал он божественный дар, выкупил ее, и с этого момента жизнь обрела смысл: появилась надежда воплотить Идею. «Дядя Пио и Камила Перикола изводили себя, пытаясь установить в Перу нормы какого-то Небесного Театра, куда раньше них ушел Кальдерон».

А разве знаем мы цвет глаз, рост, манеры, вообще облик Джона Эшли, центрального персонажа романа «День Восьмой»? Напротив, черты его с первых же страниц намеренно размываются — «он был ни брюнет, ни блондин, ни высокий, ни низенький, ни толстый, ни худой, ни веселый, ни сучный». В этой книге, правда, больше

живости, чем в маленьких романах прежних лет, — временная (начало века) и географическая (американская провинция) определенность накладывает некоторые обязательства, и автор с обычным мастерством описывает пейзажи и типы городка на Среднем Западе. Более того, в «Дне Восьмом» проглядывают черты традиционного семейного романа: перед читателем проходят два поколения семей Эшли и Лансингов и даже брошен взгляд в прошлое — выявлена родословная героев. Но сделано это с единственной целью — показать, как сменяющаяся среда поколений выделяет из себя таких вот людей, как Эшли, «людей-невидимок», людей, которых никто не замечает, но чьим упорством, волей, а главное, верой жив мир. «Таким чужд страх, неведомо себялюбие; способность неустанно дивиться чуду жизни — вот что питает их корни... Их взгляд устремлен в будущее. И в грозный час они выстоят. Они отстоят город — а если погибнут, потерпев неудачу, их пример поможет потом отстоять другие города. Они вечно готовы бороться с несправедливостью. Они поднимут упавших и вдохнут надежду в очкавшихся».

Слова эти прозвучали в 1967 году, когда в Америке, втянутой в позорную вьетнамскую войну, в Америке, переживающей тревожное время студенческих и негритянских волнений, как раз и были распространены настроения упадка и поражения. Эта духовная атмосфера нашла выражение в книгах ведущих писателей той поры — Беллоу, Апдайк, Чивера, — они точно передавали умонастроения «средней Америки», в них люди узнавали себя. Произведения же, подобные «Дню Восьмому», манили зыбкой надеждой, снова, как и сорок лет назад, казались безнадежно оторванными от реального положения дел.

Впрочем, надежда — во всяком случае, в глазах писателя — была не столь уж и зыбкой, и он всячески стремился доказать это. Ведь подобно героям ранних романов, щедро растративших себя в служении людскому благу, Джон Эшли тоже не просто толкует об идеалах добра — он активно творит его. «Джоны Эшли целиком отдаются делу, которое делают». Приехав в Коултаун, он сразу же занялся разного рода усовершенствованиями, и жизнь местных горняков постепенно начала утрачивать впечатавшиеся черты убожества; в Рокас-Вердесе, на меднорудном прииске, затерянном высоко в Андах, Джон Эшли всячески

радеет не только о телесном, но и о духовном здоровье придавленных нуждой и бедностью рабочих: его стараниями появляется в поселке — фигура в этих краях невиданная — католический священник; наконец, в финале повествования выясняется, что в трудный час он пришел на помощь секте ковенантеров, обитавших на Геркомеровом холме, рядом с Коултауном.

Уже знакомый нам дядюшка Пио говорит о постоянной готовности к «работе жизни», которая отличает избранные натуры, а к ним и принадлежат любимые герои Уайлдера.

Работа жизни продолжается неостановимо, невзирая на трудности, потому можно бы упрекнуть современников, увидевших в том же «Дне Восьмом» лишь эмпирию, красивую мечту.

Но кое-что действительно смущает. Мы вот сказали о препятствиях, и они на самом деле возникают. Теофил Норт сталкивается с бездушием, лицемерием, корыстолюбием, обманом. Джон Эшли — с этого «День Восьмой» и начинается — чудом избегает гибели: по ложному обвинению он был осужден на смерть; а персонажам «Моста...» и вовсе не дано избавления, и тем горше и бессмысленнее кажется их конец, что приходит он в момент просветления, готовности к новой жизни. Но вот удивительно: описана эта гибель так светло и беспечально, что не только трагедии — драмы в ней не ощущается. И тогда вспоминаешь, как сложилась судьба героев. Верно, она была не безоблачна, но слишком уж легко им давалась их работа жизни; словно не стена перед ними, а тонкая паутина, сквозь которую можно пройти, даже и не заметив. Вот чего не хватает в книгах Уайлдера — сопротивления жизненного материала. Они исполнены веры в положительные начала жизни — и это важно, необходимо людям, особенно в обществе, утратившем исторический оптимизм и человека как меру и цель жизненного развития. Но не встречая сопротивления, эта вера рискует немало утратить в своей ценности.

Тут вспоминается еще один соотечественник и современник Уайлдера — Уильям Фолкнер. Он, как известно, признавал принадлежность к одной лишь литературной школе — школе гуманизма. Так же мог бы, по чести, сказать о себе и Уайлдер. Но ему не хватает мужества, отличавшего автора «Шума и ярости», «Света в августе», трилогии о Сноупсах: последний не страшил

ся сталкивать своих героев с самыми немислимыми преградами, напротив, громоздил их одну на другую, полагая, что только таким образом можно проверить стойкость человека, его способность «выстоять и победить». У его героев эта способность — выстраданная, у героев Уайлдера — дарованная. Лишь однажды писатель изменил этому обычаю — и получилась вещь сильная, пожалуй, наиболее значительная в творчестве Уайлдера — «Мартовские иды». Правда, тут «поработало» само время. Роман писался сразу по окончании второй мировой войны (вышел он в 1948 году), которая убедила западных интеллигентов — гуманистов типа Уайлдера, — что одной веры, терпения, любви мало для того, чтобы остановить развужданные силы, покушающиеся на самые основы человечности. Нет, писатель ничуть не утратил своего обычного оптимизма, не усомнился в идеалах, но впервые, повторяю, рискнул испытать их на прочность. Отсюда нетрадиционная интерпретация главного героя — Юлия Цезаря. Отсюда же и выбор времени действия: в истории бывают периоды относительно стабильные, а бывают переломные, остроконфликтные; именно такой момент и изображен в «Мартовских идах» — распад Римской республики.

Конечно, Уайлдер слишком уважал историю (и как художник и как археолог по образованию), чтобы корыстно использовать ее в интересах современности, насильственно извлекать аналогии. Хотя автор и уведомляет, что «воссоздание подлинной истории не было первостепенной задачей этого сочинения. Его можно назвать фантазией о некоторых событиях и персонажах последних дней Римской республики», об этом предупреждении скоро забываешь — настолько живо и убедительно воссоздан самый дух давних времен. Дневники, которые не велись, письма, которые не отправлялись, воспоминания о встречах, которых не было (а книга и построена в виде документальной хроники событий, записей бесед и т. д.), — все это кажется предельно подлинным.

И все-таки трудно не ощутить современность звучания «Мартовских ид». Положим, автор не думал о социально-исторических корнях фашистской диктатуры, как не думал он о природе новой, «холодной» войны, развязанной реакционными кругами США. Такими четкими категориями Уайлдер вообще не оперировал, и это, конечно ограничивало его творческие воз-

можности. Но он ясно видел, что одна катастрофа произошла, а другая возможна (слишком тонка грань между «холодной» и «горячей» войнами), поскольку в обществе царит обывательское равнодушие, молчание совести. Такого быть не должно, в историческом, культурном строительстве посторонних нет — вот главная мысль писателя.

Ею освещена изнутри фигура Цезаря, единственный образ книги, создавая который писатель, кажется, не чувствовал себя связанным историей. Впрочем, положение его в данном случае облегчалось тем, что накопившаяся за столетия гигантская цезариана предлагает совершенно разные толкования личности героя римской истории (краткий свод их приведен в недавно изданной книге известного знатока античности С. Утченко)¹. Но облегчалось действительно только отчасти, ибо автор «Мартовских ид» не вступает в спор и не подерживает ни одну из существующих научных концепций. Его Цезарь располагается просто в стороне от них. Специалисты по-разному оценивают смысл деятельности Цезаря, но все сходятся на том, что он был крупным реформатором, военным и государственным деятелем. Уайлдер же реформам диктатора, государственным его актам уделяет минимальное внимание, а Цезарь-полководец не представлен у него вовсе. Герой «Мартовских ид», хоть и признается в нелюбви к философии, по преимуществу как раз философ, размышляющий о таких предметах, как свобода воли и необходимость, предопределенность и ответственность, поэзия и любовь, религия и духовная независимость. Однако философ, как бы сказать, прагматического склада: его меньше волнует природа вещей, больше их непосредственное, человеческое, актуальное содержание. Цезарь рассуждает о религиозных обрядах и суевериях, но лишь в связи с интересами текущего дня: «Вера в знамения отнимает у людей духовную энергию. Она вселяет в наших римлян — от подметальщиков улич до консулов — смутное чувство уверенности там, где уверенности быть не должно, и в то же время навязчивый страх, страх, который не порождает поступков и не пробуждает изобретательности, а парализует волю. Она снимает с них непременною

¹ См.: С. Л. Утченко. Юлий Цезарь М. «Мысль», 1976.

обязанность мало-помалу создавать свое римское государство».

О каких бы материях ни толковал Цезарь, размышления его пронизаны мыслью об ответственности человека за собственную судьбу и ход истории. Особенный драматизм этой идее придает тем, что Цезарь постоянно примеряет ее к себе, к своим действиям. Правда, примеряет интимно (все-таки диктатор!): ведь письма к другу Луцию Туррину, где и высказываются наиболее сокровенные взгляды Цезаря, — это, по существу, дневник, разговор с самим собой. Сложность своего положения Цезарь осознает вполне: существует роль государственного мужа и приходится быть верным этой роли — ведь исполняется она перед миллионами зрителей. «Как трудно, дорогой Луций, не стать таким, каким тебя видят другие. Раба держат в двойном рабстве — и его цепи и взгляды окружающих, твердящие ему: ты — раб». В конце концов Цезарь эту трудность преодолевает — обращаясь к тому же Луцию, он говорит: «Я радуюсь, что я человек смертный, ошибающийся, но не робкий».

Положим, эта характеристика не бесспорна. «Мартовские иды» написаны как своего рода роман-симфония, на голос главного героя постоянно накладываются другие голоса — Цицерона, Катутла, Клодии, Корнелия Непота и других, чья точка зрения на Цезаря вовсе не совпадает с тем, что говорит (или недоговаривает) о себе он сам. При этом автор и не думает приводить всю эту разноголосицу к некоему обобщающему итогу. Напротив (случай у этого писателя редчайший) — он настаивает на сложности, многомерности образа.

Да, как раз объемности, человеческой живости и непростоты и не хватает Джону Эшли, Теофилу Нортгу — «положительно прекрасным» людям. Потому, сохраняя значение высокого нравственного образца, они все же остаются на некотором расстоянии от жизненного опыта читателя. Можно этому огорчаться (и, напротив, радоваться преодолению инерции в «Мартовских идах»), но не нужно видеть в этом просто писательский просчет. Напротив, такова была творческая задача художника — создать мир идеальный, мир, где господствуют чистые моральные нормы, подинно гуманные отношения...

Литература не просто текст, всегда равный самому себе. Она живет в определенном, меняющемся общественном климате, и эти перемены нередко проявляют открытые до времени грани смысла, придают им особую остроту.

Коммерческая, массовая культура буржуазного общества выхолащивает суть человечности, заменяет ее видимостями, суррогатами: вместо жизни духа — жажда накопления, вместо индивидуальности — мода, вместо творческой сосредоточенности — сиюминутный отклик на злобу дня. Культура «новых левых», или, как говорят, контркультура, верно уловив потребительский, поверхностный характер буржуазных «идеалов», противопоставляет им, однако, чистое отрицание. Долой красоту, потому что это буржуазная красота, долой любовь, потому что общество превратило ее в обман, долой культуру, потому что это буржуазный предрассудок. В такой общественной обстановке не донкихотством, не прекраснотным пустословием, но неотложной потребностью звучат слова, которые Уайлдер повторял в течение всех пятидесяти лет своей писательской жизни:

«Не может быть творчества без надежды и веры»,

«Свобода существует только как ответственность за то, что делаешь»,

«Есть земля живых и земля мертвых, и мост между ними — любовь, единственный смысл, единственное спасение»,

«Литература... есть код сердца...»,

«Человек — один в мире, где не слышно никаких голосов, кроме его собственного, в мире, не благоприятствующем ему и не враждебном, а таком, каким человек его сотворил».

Эта последняя мысль особенно, как мы уже видели, важна для Уайлдера — решающая, собственно, мысль в его идейно-художественной концепции мира. И разве не созвучна она новейшей истории, истории XX века, когда особенно стала ясна безграничная мера личной ответственности человека за все доброе и дурное, что происходит на земле, за настоящее и будущее?

Так обретают живую плоть абстрактные истины.

Н. АНАСТАСЬЕВ.

Политика и наука

РАЗНОЕ О «ВИДЕОЛЕНДЕ»

Телевидение в США. Сборник статей. М. «Искусство». 1976. 223 стр.

Мир американского телевидения, иначе «видеоленд», Джон Кеннеди однажды назвал «великой пустыней». Эстетический максимализм этого суждения достаточно оправдан: американские телепередачи однообразны, их средний художественный уровень весьма низок, о чем уже немало говорилось и писалось. Но практика американского ТВ значительна не столько с художественной стороны, сколько с социологической («пустыня»-то все-таки «великая»). Сравнительно молодое еще по историческим меркам средство массовой информации захватило себе исключительно важное место в жизни нации, породило множество проблем, проблемы же, в свою очередь, породили целую литературу.

Из всего, что написано в США на эту тему, составитель сборника В. Петрусенко отобрал фрагменты исследований, публицистических выступлений, мемуаров и т. д. авторов, стоящих на разных позициях и затрагивающих разные аспекты телевизионного дела. Читателю в этой мозаичной картине помогают разобраться предисловие составителя и введения: к каждому разделу, написанные Н. Голядкиным. Книга вышла интересная, хотя можно было бы охватить предмет и несколько шире (и в то же время можно было бы, пожалуй, пренебречь некоторыми маловажными подробностями).

Как известно, американское ТВ прежде всего бизнес, индустрия. Эфир делят между собой три мощные телевизионные компании, или сети, — Эн-би-си, Си-би-эс и Эй-би-си — и несколько сот мелких. Их товар — время вещания. Покупают время рекламодатели — монополии. Роль рекламодателя на ТВ весьма велика: он должен «поручиться» за ту часть программы, в которую вмонтированы его рекламные передачи, без его одобрения программа не пойдет. А так как рекламой напичканы почти все передачи, то легко представить, что собирательный рекламодатель является на «видеоленде» чем-то вроде лендлорда. Он заказывает музыку даже не в переносном, а почти в буквальном смысле. Для полноты картины добавим, что телевизионные компании обычно проявляют активность и в других сферах бизнеса и потому

сами выступают на ТВ в роли рекламодателей.

Порядок в телевизионных джунглях призвана поддерживать так называемая Федеральная комиссия связи (ФКС), учреждение, которое в Вашингтоне рассматривают как «место ссылки прогоревших политиков или трудных людей, которым нужно дать работу». ФКС регулирует некоторые экономические и технические стороны деятельности телевизионных компаний. Что же касается ее функции «охраны общественных интересов» в эфире, то последняя чаще всего сводится к тому, что ФКС бдительно следит, дабы рыбаки, когда они выходят в море, не оскверняли эфир крепкословием. Содержание телевизионных передач, как и радиопередач, ФКС не контролирует, полагаясь в этом отношении на хозяев телевизионных компаний (тем паче что компании связаны с органами власти многими неформальными узами) и на рекламодателей, на их классовую «сознательность». Можно сказать, таким образом, что хотя телевизионное дело в США и поставлено на коммерческий самотек, все же берега ему заданы вполне определенные.

При его зарождении американскому ТВ не чужды были робкие просветительские побуждения, но свелись они в конечном счете к узкообразовательным передачам. Экран заполняли, по словам ветерана-телевизионщика Гарри Баннистера, «конкурсами красоты, демонстрациями мод, автогонками карликов, борьбой, хоккеем, любительским боксом, уроками домоводства — словом, всем, что двигалось». А все, что на экране двигалось, каждые несколько минут останавливалось, чтобы дать место коммерческой рекламе. Реклама — тридцатисекундная, шестидесятисекундная — стала гвоздем телевизионных программ и их камертоном, основным инструментом, с помощью которого Бизнес ломится в души телезрителей, а для самих работников телевидения — наиболее трудоемкой частью вещания, требующей непрерывно новых, все более хитрых и изощренных придумок, уловок, приманок. Знатки утверждают, что характеры в телевизионных спектаклях и фильмах обычно предста-

влют собой не что иное как развитие, разработку характеров, бегло очерченных в рекламных одноминутках и полуминутках. А по мнению вашингтонского публициста Бена Багдикяна, засилье рекламы — явление для США, в общем-то, нормальное, так как она всегда была там основным элементом массовой коммуникации («Так, газета в США возникла, по сути дела, как печатное продолжение объявлений, вывешивавшихся на специальных досках в тавернах и кофейнях и уведомлявших о прибытии торговых судов и привезенных ими товарах»).

Правда, в США вот уже десяток лет существует так называемое общественное телевидение, выросшее из учебно-образовательного. Оно финансируется из средств государства и благотворительных фондов, прибылей не получает и рекламу не передает. Помимо чисто учебных, общественное ТВ ставит перед собой и культуртрегерские задачи, показывая общеобразовательные программы и художественную продукцию несколько более высокого уровня (в значительной части производства английской Би-би-си). Но интерес широкой аудитории к этим передачам пока еще очень мал. Гигант коммерческого ТВ не считает своего интеллектуального собрата-карлика за серьезного конкурента.

Точности ради нужно сказать, что коммерческое ТВ тоже позволяет себе роскошь изредка показывать качественные программы: из прошлого можно привести в пример некоторые телефильмы Реджинальда Роуза и Пэдди Чаевского (чей фильм «Марти» в кинематографическом варианте известен нашему зрителю). Но это лишь оазисы в пустыне.

Можно было бы подумать: коммерческая вакханалия на ТВ говорит о том, что оно есть лишь сфера распространения уже бывших, так сказать, в употреблении обычаев, принципов и т. д. Это, однако, не совсем так. Телевидение привнесло в американскую жизнь и культуру нечто существенно новое, часто непредусмотренное, порой — для хозяев его — нежелательное. Прежде всего оно ошеломило телезрителя объемом всяческой информации (в широком смысле слова). Чтение требует усилий, посещение разного рода зрелищ, например кино или спортивных состязаний, рассматривается как что-то не совсем обыденное, а ТВ само пришло в дом, обрушило на зрителя по многочисленным каналам невероятную мешанину видимого и слышимого, приворожило, опустылило, сде-

лалось необходимым. «Мы привыкаем, — писал еще на заре телевизионной эры Роберт Шэйон, — к самым диким соседствам — серьезное рядом с тривиальным, комическое с трагическим... Это крушение иерархии ценностей, фантастическое смешение эффектов, напоминающее нагромождение обломков после бури».

О том, что количество в данном случае перешло в некоторое качество, свидетельствует преобразование поколения, явившегося ровесником ТВ и названного телевизионным. Нет оснований не доверять американским психологам, когда они утверждают, что ТВ сделало это поколение во многом не похожим на отцов и дедов — рано повзрослевшим, рано искушенным и в то же время выбитым из колеи, с ослабнувшим стремлением (или способностью) к устойчивому убеждению, мироконцепции пусть в простейшем их виде. Хотя, конечно, нельзя валить на телевизор, как это иногда делают, «вдруг» распространенный среди молодежи инакомыслие и бунтарство — главные причины их объявились через каналы самой жизни. Содержание телевизионных программ как раз имеет целью предупредить любое инакомыслие. Их доминанта — деланное благополучие, их сверхзадача — воспитание бездумного, потребительского конформизма. Развлечь, возбудить, успокоить, убедить что-нибудь купить — вот примерный внутренний ритм телепередач. И все-таки реальный мир то и дело вторгается в этот искусственный садок: новости, документальные передачи, даже пропущенные сквозь сито «автоцензуры», содержат какую-то дозу правды и потому не соответствуют обычной тональности телевизионного попури. Отсюда отношение хозяев ТВ к новостям как неизбежному злу.

Относительная «нерелевантность» — неуместность — новостей сделалась ясной в бурную вторую половину 60-х годов. Невывальные потрясения пришлось тогда пережить буржуазной Америке: бушевали пожары негритянских мятежей, война во Вьетнаме требовала все больших усилий и все больше отнимала надежды на победу, собственная молодежь яростно манифестировала против «истэблишмента». И вот выяснилось, что, несмотря на явно тенденциозное освещение этих событий в теленовостях и документальных передачах, эффект их оказался далеко не однозначным. Например, вьетнамские репортажи — впервые в истории прямо с полей сражений, — позволил

шие американцам видеть войну крупным планом, пробуждали как шовинистические настроения, так и антивоенные. А репортажи из бунтующих гетто не только вызывали страх и злобу у белых расистов, но и будоражили негритянское население и даже, как не без оснований утверждают, в ряде случаев стимулировали новые мятежи.

В конце 1969 года тогдашний вице-президент С. Агню в резкой форме выразил неудовольствие теленовостями, упрекнув сети в необъективности и безответственности. «Вина» работников телевидения не в том, конечно, что они (как это говорят крайне гравые) сплошь неисправимые либералы (либеральные журналисты на ТВ оказывают весьма ограниченное влияние на характер передач), а в том, что в погоне за сенсацией, в стремлении отбить аудиторию у конкурентов они порой пренебрегают (конечно, в известных пределах) неоднозначностью сенсации, стремятся то или иное событие по возможности драматизировать, «подбавить перцу», не слишком задумываясь, каков будет конечный эффект. Скажем (возьмем пример из тех «жарких» лет), кровопролитная стычка черных мятежников с полицией — сюжет, несомненно благодарный с точки зрения сенсационности. Ясно, однако, что, каким бы ни был комментарий к нему, зрелище это разными американцами будет воспринято очень по-разному. Для сравнения укажем, что в развлекательных программах акты насилия обычно совершаются «в прошлом, или в будущем, или в дальних странах», а сами насильники должны вызывать совершенно определенное к себе отношение: они либо «положительные», либо «отрицательные» и в последнем случае бывают наказаны.

Так, по крайней мере, было раньше. Поначалу ТВ вошло в каждый дом, как приходят в гости: чинно, с намерением быть со всеми предупредительным, всех развлечь, никого не задеть, «скользких» и «незастольных» тем не касаться. Геперь такой стиль выдерживать не удается: ТВ стало как бы развязнее, хотя по-прежнему стремится никого не задеть («гость» — коммивояжер и должен каждому всучить образцы товаров), но диапазон разговора стал несколько шире — «болезненные вопросы», по выражению журнала «Тайм» (не путать с «больными» вопросами или «проклятыми» вопросами — их и сейчас нельзя всерьез затрагивать, а можно лишь обыграть!), заняли в нем определенное место. Речь идет прежде всего

о таких вещах, как насилие и секс, проникшие в самые разные передачи. Хотя все-таки в этом отношении ТВ пока еще заметно «отстает», например, от кино и, в общем, благонаравно-успокоительная доминанта соблюдается.

Противопоставляя новости развлекательным программам, не следует, однако, недооценивать значение телевизионного комментатора. Через своих ведущих комментаторов — которые, как говорят, многим зрителям заменили приходских священников — ТВ стремится навязать свой взгляд на события и в значительной части преуспевает в этом. В результате, как утверждает в докладе Анненбергской школы, «к телевизионным новостям относятся так же, как к развлекательным программам», а с другой стороны, «аудитория приписывает развлекательным программам информационную ценность». Так что медаль, оказывается, имеет две стороны. Реальное и вымышленное на ТВ часто сложным образом переплетаются. Американский историк Д. Бурстин пустил в оборот термин «псевдособытие», или «псевдофакт», что значит организованное, подстроенное событие — не вымышленное и не вполне реальное. На ТВ это «псевдо» порою становится едва уловимым. Взять, например, показанный в 1973 году документальный фильм Крэг Гильберта «Американская семья», о котором рассказано в рецензируемой книге. Триста часов наблюдала телекамера за всеми подробностями жизни «типичной» американской семьи, странным образом давшей согласие на столь необычный эксперимент. Двенадцатичасовой сериал выбрал наиболее драматичные эпизоды. Что получилось — документ? Но, по общему признанию, члены семьи вели себя перед объективом не так, как если бы они были в естественных условиях. Где-то вышло «псевдо», хотя в данном случае, быть может, и помимо воли авторов.

Областью продуманных «псевдособытий», и областью чрезвычайно важной, стала на телевидении политическая жизнь. В последний десяток лет вопрос этот привлек особое внимание американских социологов, публицистов и т. д. Выяснилось, что ТВ — принципиально новый и особо тонкий инструмент манипуляции, формирования политических симпатий и антипатий. Если в начальный период телевидения «большая полятика» на домашнем экране действовала средствами традиционной риторики, то в 60-е

годы были выработаны уже специфически телевизионные приемы демагогии.

Существование этих приемов можно определить как театрализацию, сведение к минимуму содержательной, условно говоря, части политической пропаганды, перенесение ее в плоскость лицедейства, зрелища. «Телевидение, — приводит распространенное мнение Артур Шлезингер, — низвело нашу политическую жизнь до уровня аукционов и конкурсов красоты». Благодаря ТВ избирательная кампания — пик политической жизни США — более чем когда-либо нарочито «драматизирована» и сосредоточена на личности кандидатов (в президенты, сенаторы и т. д.), а не на выдвигаемых ими программах. Так, передачи с национальных съездов двух ведущих буржуазных партий освещают всю внешнюю их сторону, выливаются в своеобразные спортивно-политические шоу с поединком «бегущих» кандидатов в центре, с гимнами, парадами девиц и разными красочными интермедиями. А «встречи» кандидатов с избирателями превращаются в хорошо отрепетированные телевизионные спектакли с продуманными мизансценами, максимальным использованием световых и декорационных эффектов, возможностей грима и прочее. Основная часть всех этих художеств — создание выигрышного, способного привлечь избирателей образа кандидата. Соискатель на высокий (особенно высший) государственный пост, чья телегенность уже апробирована, с помощью целой команды специалистов, а также, как говорится, с божьей помощью должен создать на домашнем экране характер государственного мужа по рецептам рекламных и развлекательных передач: выглядеть привлекательным (но не слишком смазливый!), прямым и смелым, но и осторожным, толковым и даль-

новидным (но не эрудитом!), рассудительным (но не говоруном!) и тому подобное.

Вопрос о том, как создаваемый на ТВ образ политического деятеля соотносится с его реальными качествами, журнал «Эдиторизл рисерч» тактично отнес в прошлое: «Все наши лучшие президенты не имели бы успеха на телевидении. У Д. Вашингтона были плохие зубы, и он выглядел и говорил так, что казался бы сегодня смешным. У Т. Джефферсона были бегающие глаза, и он произвел бы впечатление человека неискреннего и уклончивого. А Линкольн был нескладным, у него был высокий, тонкий голос, и ему недоставало убедительности. Пожалуй, единственным президентом, который имел бы полный успех на ТВ, был У. Гардинг». Гардинг же, как известно, едва ли не самый незначительный из всех американских президентов.

Одно время в США распространились опасения, что с помощью телевизионного политического факирства можно как уютно дурочить избирателя, можно убедить его предоставить карт-бланш тому или иному избранику Большого бизнеса, отмеченному благосклонностью телевизионной музыки. В дальнейшем опыт показал, что это не так, что средний зритель все же критичнее, трезвее, чем это иногда думали, во всяком случае его выбор диктуется целым комплексом факторов, не одним только домашним экраном. И все-таки методика «псевдо» в сфере политического ТВ, несомненно, весьма способствует воспитанию у телезрителей политической инертности и конформизма и в какой-то мере гасит «нежелательные» эффекты документалистики и новостей. В этом духе ее питает и поддерживает вся эстетическая и нравственная система «массовой культуры».

Ю. КАГРАМАНОВ.



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ

Б. Ц. Урлани с. Народонаселение: исследования, публицистика. М. «Статистика». 1976. 359 стр.

В средневековой Флоренции существовал обычай: при крещении младенцев в соборе в особый ящик опускали боб. Если крестили девочку — белый, если мальчика — черный. Знаменитому флорентийскому хронисту XIV века Джованни Виллани пришла в голову мысль подсчитать соотношение белых и черных бобов за разные годы. Оно оказалось устойчивым — 105—106 черных на 100 белых. Так был открыт фунда-

ментальный факт — устойчивость соотношения полов при рождении. Так много столетий назад впервые зарождалась демография — наука о народонаселении. Медленно, по крупицам накапливала она свой багаж. У ее истоков немало крупных людей, но большинство из них занималось демографией между делом — торговец Граунт, астроном Галлей, пастор Зюссмильх, выдающиеся математики, физики, ученые-универсалы

Д. Бернулли, Эйлер, Ломоносов, Лаплас. Этот список можно было бы продолжить, но несмотря на долгую историю и обилие громких имен, до относительно недавнего времени интерес к демографии и ее проблемам был невелик даже среди образованной публики. Иное дело наш век. Демографические проблемы ныне приобрели небывалую актуальность и просто не могут не интересовать миллионы людей — так близко они затрагивают каждую семью и в то же время неразрывно связаны с судьбами всего человечества.

Книга, о которой идет речь, именно об этих проблемах. Издательство «Статистика» собрало под одной обложкой наиболее интересные работы разных лет, принадлежащие перу видного советского ученого Б. Урланиса, и не только научные исследования, но и публицистические статьи, появившиеся в основном на страницах «Литературной газеты» и неизменно встречавшие живой интерес читателей. Получилась содержательная книга, дающая глубокое и разностороннее освещение самых главных вопросов современного демографического развития.

Один из важнейших среди них — вопрос о демографическом взрыве XX века. Вот уже много тысячелетий население земного шара растет, однако мало кто представляет себе, сколь медленным и прерывистым был этот рост на протяжении большей части истории человечества. В ряде работ Б. Урланис показывает, что на заре существования человечества население увеличивалось лишь на несколько сотых долей процента в год, в более позднее время — на несколько десятых долей процента. Но даже и этот ускорившийся рост населения был настолько медленным и неустойчивым, что еще в XVIII веке направление динамики населения было неясно и такие широко мыслящие люди, как Монтескье, Кенэ или Дидро, полагали, что население непрерывно убывает.

Перелом наступил лишь в XIX, а особенно резкий — в XX веке. Во второй половине нашего столетия темпы роста мирового населения приблизились к двум процентам в год, то есть стали в десять раз больше, чем в среднем в течение трех столетий, с 1500 по 1800 годы, когда они, в свою очередь, были выше чем когда-либо раньше. Если в XIX веке прирост населения в мире исчислялся сотнями миллионов человек за столетие, то в XX веке счет пошел на миллиарды. Обитатели необыкновенного космического корабля по имени Земля внезапно обнаружили,

что масштабы давно известного явления — роста их собственной численности — резко изменились. При этом не могло не измениться и влияние демографического роста на жизнь людей, равно как и отношение людей к этому росту.

В начале нынешнего века на Земле жило несколько более полутора миллиардов человек. Что несет миру умножение их числа приблизительно до 6 миллиардов к концу нашего, до 10—12 миллиардов к середине будущего столетия? Над этим вопросом нельзя не задуматься. В буржуазной науке существует давняя, восходящая к Мальтусу традиция апологетического истолкования проблем населения. Преувеличивая, абсолютизируя влияние демографических факторов на социально-экономическое развитие, многие западные авторы заявляют, что чуть ли не все беды современного мира — голод и недоедание миллионов людей, экологический кризис, угроза войны — порождены демографическим взрывом. В противоположность им советские ученые, опираясь на труды основоположников марксизма-ленинизма, связывают решение острых проблем современности в первую очередь с коренными социально-экономическими изменениями в мире, в частности в развивающихся странах, которые представляют собой основную арену демографического взрыва. Вместе с тем здесь уместно напомнить о том, что Б. Урланис был одним из первых советских демографов, выступивших против недооценки значения и относительной самостоятельности демографических процессов и порождаемых ими проблем. Отвергая пессимизм буржуазных ученых во взглядах на будущее человечества, он в то же время предостерегал и от «легкомысленного подхода, при котором всецело уповают на успехи в науке и отмахиваются от проблемы населения». Иные авторы не так давно бойко рисовали перспективы благоденствия не только сотен, но и тысяч миллиардов людей на Земле. Подобная «ненаучная фантастика» исходит из ошибочных представлений о безграничности ресурсов Земли, о беспредельных возможностях Мирового океана, якобы позволяющего решить все проблемы, с которыми не удается справиться на суше, и т. п. Б. Урланис не без сарказма напоминает бездумным оптимистам анекдот о незадачливом кавалеристе, который постепенно сполз от седла к хвосту лошади и сказал: «Эта лошадь кончилась, дайте другую!»

Даже для того чтобы Земля прокормила «грядущие 12 миллиардов» (а в возможности этого Б. Урланис не сомневается), предстоит многое изменить и в экономике и в психологии людей, «на природу нужно будет смотреть уже не как на кладовую, а как на естественную фабрику, которая может что-то производить только в том случае, если работа ее организована рационально». Такому отношению к природе человечество лишь начинает учиться, но на пути к успеху немало трудностей, глубоко уходящих корнями в область экономики, политики, общественных отношений. Преодолеть их можно не с помощью пассивной веры в возможность когда-нибудь превратить Сахару в цветущий сад или накормить миллиарды людей синтетической пищей, а прежде всего посредством активной борьбы за коренное преобразование условий, в которых сейчас живет большая часть человечества. Хотя в первую очередь речь идет, разумеется, о социально-экономических условиях, но вместе с тем требуется активная позиция и по отношению к собственно демографическим условиям. Необходимо, пишет автор, проводить демографическую политику, направленную на достижение наилучшего сочетания демографических процессов с экономическими возможностями и перспективами страны.

Для земного шара в целом стремительный рост населения, пожалуй, стал наиболее важной чертой демографического развития второй половины XX века. Основная причина его — длительное сохранение традиционно высокой рождаемости при быстро снижающейся смертности в странах «третьего мира». Стало быть, прекращение демографического взрыва может быть связано только со снижением рождаемости у большей части населения Земли. А в то же время для другой, пусть и меньшей, его части все более актуальными становятся проблемы слишком низкой рождаемости, во многих странах демографы озабочены тем, как приостановить падение рождаемости и более того — несколько повысить ее. К числу таких стран относятся и СССР.

Исследование проблем рождаемости в нашей стране занимает одно из главных мест в научном творчестве Б. Урланиса. Проблемы эти отнюдь не тривиальны. Несложно, конечно, полистав статистические справочники, заметить постепенное сниже-

ние рождаемости у нас, ставшее особенно заметным в 60-е годы. Но как относиться к этому явлению? Какой должна быть рождаемость? Сколько детей иметь каждой средней семье? Одно дело отвечать на эти вопросы, оставаясь на почве обыденного здравого смысла, другое — попытаться дать на них научный ответ.

Если исходить из чисто демографических критериев, указывает автор, то прежде всего необходимо исключить возможность прогрессирующего сокращения численности населения — депопуляции. В современных условиях нашей страны это означает, что на каждые 100 женщин должно рождаться не менее 216, а на каждые 100 брачных пар (с учетом того, что не все женщины выходят замуж) не менее 235 детей. Только при таких показателях будет обеспечено простое замещение одного поколения другим. Но демографический критерий — далеко не единственный. Для того чтобы выработать стратегическую концепцию демографической динамики, которая занимает Б. Урланиса, одного этого критерия недостаточно. Ведь демографические процессы протекают не в безвоздушном пространстве, они затрагивают — нередко весьма существенно — самые различные стороны жизни общества. Поэтому, чтобы подойти к комплексной, всесторонней оценке уровня рождаемости, Б. Урланис рассматривает широкий круг экономических, социологических, военно-политических, социально-гигиенических, экологических, географо-геологических, генетических и социально-психологических аспектов демографических процессов. Каждый из этих аспектов мог бы стать — и, думаю, со временем обязательно станет — предметом специального исследования. По необходимости общий, подчас беглый анализ Б. Урланиса не мог, естественно, охватить всех вопросов. Скажем, говоря об экономических следствиях той или иной демографической динамики, он ограничивается лишь оценкой влияния на экономику изменений численности населения. Между тем с той или иной динамикой численности населения тесно связаны и изменения в распределении его по возрасту, в соотношении работников и иждивенцев, в возрастной структуре трудовых ресурсов — все это может иметь самостоятельное экономическое значение и потому заслуживает особого рассмотрения. Но ценность исследования Б. Урланисом стратегических концепций

демографической динамики заключается не в полноте рассмотрения того или иного вопроса, а в общем верном подходе к оценке демографических процессов в их неразрывной связи со всем социально-экономическим развитием, в идее оптимальной динамики, при которой достигается наилучшее сочетание многосторонних интересов социалистического общества. Идея эта сейчас получает все более широкое признание в работах многих советских демографов, представления о демографическом оптимуме, об оптимальной рождаемости все более конкретизируются. Конечно, многое еще предстоит сделать, но уже сейчас ясно, что если бы примерно половина всех семей имела двух детей, а другая половина на трех, то ни у демографов, ни у социологов, ни у экономистов не было бы особых поводов для беспокойства.

Но если двухдетная семья сегодня достаточно частое явление, то трехдетных становится все меньше и меньше. Особенно же тревожит демографов рост явно «неоптимальных» однодетных семей; если эта тенденция сохранится на относительно долгое время, возникнет реальная угроза депопуляции. С точки зрения демографа, один ребенок в семье — посредственно, два — хорошо, а три — лучше. Эта мысль пронизывает работы Б. Урланиса, посвященные рождаемости, его публицистику. Вместе с тем как ученый Б. Урланис понимает, что одних призывов со страниц газеты для повышения рождаемости недостаточно, и поэтому в своих научных исследованиях уделяет большее внимание обоснованию направлений и методов демографической политики, которая позволила бы превратить желаемое повышение рождаемости в действительное.

Читатель несомненно с интересом ознакомится с предлагаемыми автором мерами демографической политики, хотя, быть может, и не во всем согласится с его предложениями. Не преждевременна ли, например, предлагаемая им линия на сокращение числа мест в детских яслях (при расширении сети детских садов)? Мне, как и Б. Урланису, кажется бесспорным, что путь к повышению рождаемости лежит не через полное обобществление воспитания ребенка, как это иногда представляли себе в недалеком прошлом. Ребенку и в год и в десять лет нужна семья, и он нужен семье. И ясли и сады — лишь помощники семьи, не более того. Но сегодня-то этих

помощников явно не хватает, стало быть, число мест в яслях пока надо не сокращать, а наращивать.

Но в целом предлагаемые в книге меры по облегчению воспитания детей в семье, вероятно, могут оказать положительное воздействие на динамику рождаемости. Разумеется, их реализация требует немалых средств. Б. Урланис подчеркивает, что в общей иерархии очередности затрат «средства, необходимые для поддержания оптимального уровня рождаемости, должны находиться на одном из первых мест. Этого требуют интересы нашей страны, интересы нашего будущего».

Заботой о будущем продиктовано обращение Б. Урланиса еще к одной важнейшей проблеме — проблеме продления жизни. На первый взгляд может показаться, что здесь, собственно, и нет особой острой проблемы. Победы, одержанные над смертью в течение последних ста лет, один из величайших триумфов человечества. Еще в середине прошлого века ни в одной из самых передовых стран того времени средняя продолжительность предстоящей жизни новорожденного не достигала 50 лет, а в России, например, она до самой революции была значительно ниже 40. Ныне в экономически развитых странах этот показатель достигает 70 и более лет. В нашей стране средняя продолжительность жизни за полстолетия увеличилась более чем вдвое — вся предшествующая история человечества не дала и половины такого прироста длительности жизни.

Тем не менее борьба против преждевременной смертности, за более полное использование видового срока жизни все еще остается в высшей степени актуальной. Да, люди обуздали эпидемии, научились предупреждать и лечить смертоносные болезни, сохранять жизнь большинству рождающихся детей — все это так. Но можно ли забывать о том, что и сегодня сотни миллионов людей в мире ведут полутолодное существование и для них еще не ликвидирована угроза массовой смерти от голода? А войны? В рецензируемой книге воспроизведено несколько разделов из капитального исследования Б. Урланиса «Войны и народонаселение Европы». В них убедительно показано — в опровержение доводов многочисленных западных авторов, стремящихся доказать существование мифического «закона уменьшения военных

потерь», — как нарастала за последние столетия истребительная сила войн. 80 миллионов человеческих жизней унесла война XX века. Свыше 10 процентов населения СССР или Югославии, почти 20 процентов населения Польши — такова цена одной лишь второй мировой войны для некоторых стран. Сухие цифры потерь военного и гражданского населения в статистических таблицах выстраиваются в скорбные ряды, звучат как реквием — и как предупреждение. Смертоносность войн катастрофически нарастает, если война не будет исключена из жизни общества, весь долгий путь человечества к победе над смертью может оказаться напрасным.

Впрочем, дело не в одних только войнах. Невиданный прогресс науки и техники дал в руки человека громадную власть над природой — сумеет ли он всегда разумно пользоваться этой властью? Б. Урланис не зря вспоминает слова Маяковского: если на технику не надеть намордник, она искушает человека. Растущее загрязнение воды, почвы, атмосферы, истребление растительности, несчастные случаи на производстве или на дорогах — все эти теневые стороны научно-технической революции, если не удастся их обуздать, представляют собой реальную угрозу не только здоровью, но и жизни людей.

И наконец, у нашего здоровья и нашей жизни есть еще один враг — мы сами. Об этом идет речь в ряде статей Б. Урланиса, в том числе в одной из самых известных — «Берегите мужчин!». Вокруг этого заголовка да и самой статьи было немало шуток, а между тем речь в ней идет о вещах весьма важных. Не все знают, что с демографической точки зрения «слабый пол» — это именно мужчины. Средняя продолжительность жизни у них, как правило, меньше, чем у женщин. В каких-то пределах это, видимо, закономерно. Но вот в странах с наиболее высокой продолжи-

тельностью жизни, таких, как Швеция или Дания, мужчины живут на 4—5 лет меньше, чем женщины; у нас же, когда писалась статья «Берегите мужчин!», жила, к сожалению, на 8 лет меньше, а сейчас даже на 9. И над этой печальной разницей следует серьезно задуматься пьющим, курящим и иными способами сокращающим свою жизнь мужчинам. Впрочем, не только им. Анализ причин преждевременной смертности мужчин подсказывает, что продолжение нашей жизни и жизни наших детей сегодня зависит не только от повышения благосостояния, от успехов медицины или техники безопасности, но и от общей культуры каждого, от умения родителей ухаживать за грудными младенцами, от прививаемых с детства гигиенических навыков и здоровых привычек, от умения перемежать работу с отдыхом, от режима питания, да и вообще от глубокого понимания значительности и ценности как собственной, так и чужой жизни и уважения к ней.

В краткой рецензии невозможно охватить все содержание этой не очень объемистой, но насыщенной мыслями и фактами книги. Я пытался дать лишь общее представление о некоторых из рассмотренных в ней проблемах, не коснувшись целого ряда весьма интересных и важных вопросов экономической демографии, анализа экономического и социального значения возраста людей и возрастной структуры населения, многого другого, что читатель без труда найдет, обратившись к рецензируемой книге. Исследования самых разных лет и сегодня звучат в ней свежо и актуально, а демографическая публицистика очень нужна и важна, интересна и полезна новым и новым поколениям матерей, отцов, граждан.

А. ВИШНЕВСКИЙ,

кандидат экономических наук.



АРХИВЫ: РОДИНА И ЧУЖБИНА

Встречи с прошлым. Сборник неопубликованных материалов Центрального государственного архива литературы и искусства СССР. Выпуск 2. М. «Советская Россия». 1976. 397 стр.

Вполне закономерно, думается, равно интенсивное становление, выявление в нас теперешних, сегодняшних двух стремлений — стремления к сохранению приро-

ды и стремления к сохранению того, что таится в архивах. Или в музеях, библиотеках. Но в архивах прежде всего, ибо архив еще и таинствен как-то — он полон ин-

тригующих тайн, невысказанности. И он для нас теперешних — своеобразный храм, вероятно.

Но храм не может хранить свои тайны вечно, когда-нибудь врагам его надлежит распахнуться и святыням выйти на улицы. И распахиваются врата... А прозаически говоря, ЦГАЛИ приступил к изданию не-периодического альманаха — сборника «Встречи с прошлым»; уже издан второй выпуск «Встреч...», и дело, возможно, идет к тому, что альманах станет ежегодным. Но популярность «Встреч с прошлым» огромна уже и сейчас; тираж удвоился до 100 тысяч, упоминаний в быту, в окружающих нас разговорах все больше; неунничтожимое прошлое ломится в наше сознание так же, как и матерь природа.

Состав сборника? Укорю его составителей: в сборнике одни знаменитости, классики, те, в честь кого названы площади, улицы, города, те, кому воздвигнуты памятники, — Пушкин, Чехов, Есенин, Репин... Упоминания о них в письмах их современников, собственные их письма. Письма попадают такие, что непонятно даже, отчего мы их раньше не знали. Взять хотя бы письма Аркадия Гайдара к отцу, опубликованные А. Важенковой, — это живой комментарий к его классической «Школе» и, шире, это и некое самостоятельное литературное произведение, крохотная документальная повесть о провинциальном подростковом, на плечи которого история обрушила неимоверную ответственность. Письмо за письмом: подросток духовно усложняется, взрослеет. Только что он просил отца, нельзя ли прислать ему с фронта российско-германской войны винтовку, — и вот уже говорит: «...сиджу и размышляю над той работой, которая предстоит с завтрашнего дня мне — вступающему в командование 23-м запасным полком, насчитывающим около четырех тысяч штыков». Да, вырос мальчик! Не по дням, а по часам рос — тут как в пушкинской сказке о царе Салтане, о сыне его, славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче.

И встает, кстати, огромный методологический вопрос, вопрос о том, где начинается литература. С чего начинается? Как? Художественные произведения Гайдара — это литература? Да, конечно. А его письма? Да, вероятно. Но если бы Гайдар не стал Гайдаром, а остался бы Аркадием Голиковым, тем подростком, который наивно просил у папы винтовочку, а вскоре уже

стал озабочен судьбой вверенных ему четырех тысяч штыков? Письма некоего человека, известного лишь в узком кругу военных историков, его жизненная драма — они были бы литературой? Да, были бы. Точно так же как произведениями литературы стали сегодня какие-нибудь бережливные грамоты XIV века, найденные в Новгороде. — бытовые записочки, домашние толки наших предков, нечто такое, что применительно к нашему веку можно было бы приравнять, скажем, к стенографической записи телефонных переговоров — один просит другого прислать что-нибудь, сходить куда-нибудь. Такой телефонный разговор, беседа — литература? Казалось бы, нет. И все же ясно, что не пройдет а столетия, как выявится значительность, неповторимость, а вместе с ними и своеобразная художественность многих атрибутов нашего быта, повседневности нашей. Пожалуй, мы излишне загнипотизированы мнением о том, что литература, искусство — это едва ли не исключительно классика, в замкнутой сфере которой и осуществляется «литературный процесс», и порождается сия классика как-то спонтанно, пребывая вне «мирской суеты». Вопрос о границах литературы сейчас духовно и методологически первостепенен, потому что это вопрос о внутреннем зрении человека, его умении видеть в себе художника, произведения которого со временем могут встать в ряд с самой что ни на есть канонической классикой. Право же, бабушка, жившая пятьсот лет назад в забытой богом деревне, напевая песни и сочиняя сказки, не знала о том, что она гениальна и что побасеночки ее будут штудироваться в университетах. Но не будет ли штудироваться там и то, что мы сегодня почитаем чем-то бросовым и не стоящим внимания серьезных людей? Записочки и отрывки из личных дневников? Письма сыновей к папам? Рисуночки малышей?

Мы часто говорим о «Литературном наследстве» — издании, которое стало эталоном культуры публикаций, значительно же реже вспоминаем о старинном русском журнале «Русский архив», а если и вспоминаем его, то для противопоставления: «Литературное наследство» лучше, чем «Русский архив». Что ж, методы исторической критики документа неизмеримо выросли, но «Русский архив» обладал одним качеством, доныне не превзойденным: журнал был свободен от заранее постулирован-

ного шлетета перед великими. От высокомерия. На страницах его обретали равноправие и человек прославленный, и современник его, затерянный в пучине истории. И сохранить бы эту традицию, развить бы ее! На сборники ЦГАЛИ глядишь с удвоенною надеждой, тем более что архив обладает уникальными коллекциями дневников и воспоминаний и что-то из них давно пора обнаружить.

Но пока «Встречи с прошлым» имеют в виду лишь великих. Их биографии. Судьбы. Что ж, пусть так, тем более что сборники получаются единопроблемными, цельными. Как-то вышло так, что «сюжетной» основой последнего сборника стал преимущественно один момент, я бы назвал его моментом «пересечения рубежа», моментом, когда «герой» той или иной публикации переходит некую предустановленную границу — временную или пространственную (на рубеже отрочества и мгновенно наступившей юности дан нам тот же Аркадий Гайдар).

Родина и чужбина... Францию покинул для веселого и причудливого путешествия по России прославленный Александр Дюма. Летом 1858 года он пишет стишок — забавное четверостишие, восторженно-туристическое. Пометка: *Près le lac Ladoga*. Эта самая Ladoga — наша Ладога. Стало быть, Дюма навещался сюда: неунывающие любознательный, он пользовался радушием и хлебосольством русской интеллигенции, и выходит, что творец «Трех мушкетеров» с присущим ему бурным темпераментом закладывал фундамент современного междувародного туризма.

Итак, пишет с чужбины веселый француз. И наши, русские, тоже пишут с чужбины. Но только не веселенькие четверостишия пишут они, потому как горько им там и тревожно. И мысли их возвращаются на родину. Михаила Бакунина пишет Николаю Тургеневу, «патриарху нашего русского свободного дела»: «Я перестал быть революционером отвлеченным и стал во сто раз больше русским, чем был...» Бакунин «понял, что русскому человеку надо действовать по преимуществу в России и на Россию, а если хотите шире, так исключительно на славянский мир». И прозрение это, и какая-то удрученность прихотливой судьбой, бросившей Бакунина из сибирской ссылки в туманный Лондон, чувствуется в подспудье его торопливых строк (а уж

Бакунина в славянофильстве и в предубежденности к Западу не упрекнешь).

С чужбины торопится мыслью домой Иван Тургенев, хлопочет об устройении родимого Спасского-Лутовинова. Штрихи из жизни Бакунина и Тургенева воссоздаются в талантливой публикации В. Черных (а архивные публикации, как и все на свете, могут быть и талантливы; архивист призван чувствовать, ощущать дух современности, может статья, живее, острее самого пламенного публициста, иначе же он в прошлом просто-напросто ничего не увидит).

Публикация К. Кириленко посвящена великому артисту Леониду Собинову, его письмам к Елизавете Садовской. И снова — родина и чужбина. Собинова в отличие от Бакунина за границу привели гастроли. Пишет он из Ливорно, из Милана. Уж чего бы, казалось, благополучнее. Но из-под пера артиста сыплются колочие эпиграммы, прямо-таки фельетоны-миниатюры. Артист разит склоки, сплетни заморских собратьев, острит по поводу дешевых сценических штампов. От заморского комфорта ностальгия в душу вливается, домой хочется. И родное мерещится. И фельетонит наш прославленный тенор в письмах к любимой: «Пока я пишу, у меня не выходит из головы добросовестная физиономия тенора, и я все не мог, никак не мог придумать, с чем его сравнить. Сейчас меня осенило: это честный дворовый пес Барбос, здоровенный, преданный и глупый». Видимо, пребывание на чужбине у нас, русских, даже и какую-то устойчивую поэтику порождает, в основе ее несоизмеримость чего-то инородного, хотя и изящного («тенор»), с неброской прозой жизни какой-нибудь ярославской деревни («дворовый пес Барбос»).

М. Рашковская выступает с публикацией «Марина Цветаева за рубежом». Письма из Парижа, Ванден — с берега Атлантического океана. 1926—1927 годы. Боль от внутриэмигрантской грызни: на эмигрантском литературном олимпе ссорятся и уедают друг друга с каким-то особенным сладострастием. С пера поэтессы срывается: «Познакомилась с...» — следуют имена, даются характеристики: «Первый — само благородство, второй — само чванство, третья — сама пошлость». Здесь же: «Кончила большую статью о критике и критиках (здешние — хамы...)...»

«Чванство», «пошлость», «хамы». Да, тошно жить! И не только в том беда.

что франки и кроны считать приходилось: на завтра достанет ли? «Живем скученно, четверо в одной комнате, почти невозможно писать. Страшно устаю...» Но добивал поэтессу все же не быт. Добивало то, что она проклинала, клеймила. То, что в печати набирается курсивом, — хамство, покушение ее обесплодить и обесплотить.

Из Парижа пишет Борис Асафьев, он гость музыкального Парижа 20-х годов: «Для Парижа дирижер — психолог и философ, субъективный истолкователь произведений, властелин оркестра, гипнотизер публики — фигура чуждая». И снова присутствие при сравнении, сопоставлении. И опять: при огромном уважении к чужому, при готовности внять его голосу закономерное недоумение; в блеске сквозит бедность, в чужом — чуждое.

Словом, так получилось, что многие материалы «Встреч с прошлым» — о границах, о роли и значении их в жизни думающего, творческого человека. И об опасности, которую они таят: не приведи бог обречь себя на разлуку с отчизною, оставить ее для неведомого чужестранья. Дома и стены помогают, а там для разлученного с родиной даже в комфорте сокрыто некое разьедающее душу начало. И все это, в общем-то, говорится без нервозности — разве что только Марина Цветаева вспыхнула, стон какой-то сорвался с пера; и без пренебрежения к Западу говорится все это — просто на чужбине отчетливее видяшь родное.

Трагические дни, предшествовавшие кончине Всеволода Гаршина, встают: из впервые публикуемых воспоминаний его жены. А моменты веселого, задорного, дружески-шутливого быта русских писателей запечатлены на пестрых страницах альбома ялтинского книготорговца Синаи, превратившего свою лавку в клуб, куда заходили Чехов, Горький, замечательный писатель-этнограф Сергей Максимов, Бунин и Телешов. В мемориальном альбоме книжного магазинчика их записи, об этом альбоме рассказывает публикация В. Коршуновой.

Да, сборник «Встречи с прошлым» — издание, которое по-настоящему получилось. А будь он демократичнее по историографическим установкам, было бы еще лучше: если деяния рядового новгородца средних веков интересны для нас как нравственный и эстетический феномен, то не будем «отказывать от дома» и рядовым людям века минувшего: диапазон публикуемых в альманахе материалов должен быть шире. Но главное заложено уже сейчас: «Встречи...» — умная, проблемная, перспективная книга, открывающаяся, кстати сказать, по-хорошему интригующим предисловием Константина Симонова. Всегда умеющий остро чувствовать современность, писатель отозвался на смелое начинание. Но так и должно быть: публицисту прежде других дано знать, что такое труд архивиста.

В. ТУРБИН.



ЖИВЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ИНДИИ

О. Орестов. Ворота Индии. М. «Наука». Главная редакция восточной литературы. 1976. 222 стр.

Журналистская судьба впервые привела О. Орестова в Калькутту в 1944 году, когда Бенгалия еще не оправилась от страшного голода 1942 года, унесшего миллионы жизней. Тысячи изможденных людей тогда ложились прямо на камни и утром не вставали, дети рылись в канавах в поисках пищевых отбросов, а в то же самое время по улицам шагали пышущие здоровьем верзилы — американские солдаты — и лощеные английские офицеры. Два года назад в стране было разгромлено национально-освободительное движение, развернувшееся под лозунгом «Вон из Индии!»,

лидеры его Ганди и Неру находились в тюрьме, но по всему чувствовалось: индийский народ готовится к решающей битве за независимость.

Советский журналист подолгу бродил по лабиринтам бесконечных улиц и переулков столицы Бенгалии, забирался в грязные закоулки так называемых туземных кварталов города на Колледж-сквер, заходил в крошечные лавчонки букинистов, где в маленьких комнатках собирались бенгальские художники и поэты. Бывал он и в северном районе Калькутты, Хаткхале, на площади Дальхузи-сквер, которая

спускается почти к самому берегу реки Хугли, где полтора века назад находилась бенгальская деревушка Шутанати...

Наверно, именно во время этих прогулок и родилась у О. Орестова мысль написать книгу. Прошло более тридцати лет, прежде чем она появилась на свет и сразу же стала заметным явлением в советской литературе об Индии. А перед этим — долгие годы работы. Тщательнейший анализ документов — исторических и литературных памятников, деловых бумаг, личных писем и воспоминаний очевидцев, — путешествия по следам своих «героев» в Калькутту и Маркет-Дрейтон, небольшое местечко в английском графстве Шропшир, в Мадрас и Лондон, Дели и Муршидабад.

«Ворота Индии» с удовольствием и пользой прочитают все, кто интересуется историей Индии, судьбой дружественного народа. Книга поражает прежде всего многосторонностью проделанной О. Орестовым работы — автор предстает перед нами и как исследователь, и журналист, и популяризатор, и, наконец, как писатель, сумевший собранные факты выстроить в увлекательное повествование, которое читаешь порой с захватывающим интересом. А ведь в книге ни одного вымышленного лица или события. Только факты. Автор строг в их отборе, каждый его вывод объективен, сделан на основе сопоставления всех фактов. И они, беспристрастные сами по себе, давно уложенные в анналы истории и, казалось бы, потерявшие насыщенность, злободневность, значимость, глубоко волнуют нас. Они, в большинстве безрадостные, горестные, повествуют об одной из самых больших трагедий мировой истории — о покорении великой страны с многовековой историей, с давними, уходящими в глубь истории традициями. О том, как почти на два столетия был закабален народ, давший миру искуснейших мастеров, великих мыслителей, самобытных поэтов, зодчих, музыкантов. О том, как кучка предприимчивых английских дельцов вправила в корону своей империи бесценную жемчужину — Индию...

Когда англичане в 1593 году захватили два португальских судна, везших товары из Индии, то содержимое трюмов, по словам историка Мориса Коллиса, «разожгло воображение» англичан. Они впервые увидели такое обилие «пряностей, набивных тканей, шелков, золота, жемчуга, лекарственных средств, фарфора, слоновой кости,

и у них появилось неудержимое желание и самим заняться столь же выгодной торговлей». И купцы отправились на поклон к королеве Елизавете I, и та 31 декабря 1600 года подписала указ, которым официально признавала «Губернатора и Компанию лондонских купцов, торгующих с Ост-Индией», то есть ставшую впоследствии печально знаменитой Ост-Индскую компанию, чей корабль в душный полдень 24 августа 1690 года и бросил якорь у небольшой индийской деревушки Шутанати. На его борту находился Агент Залива Джоб Чарнок, сыгравший заметную роль в подготовке разыгравшейся трагедии. Британцы страстно рвались торговать. Они мечтали урвать свою долю от несметных сокровищ империи Великих Моголов, богатейшей частью которой была Индия.

«Ворота Индии» — это прежде всего обвинение, брошенное в лицо англичанам, в насильственном захвате Бенгалии, после чего «плесень колониализма распространилась по всей Индии». В книге прослежены способы покорения — типично колониальные, правда явно «на британский манер». Скреплены воедино все звенья зловещей цепи экспансии. Сначала мирная торговля, проникновение на внутренний рынок, затем постройка Форт-Вильяма, приобретение за 1300 рупий трех деревень у местного помещика. А в 1700 году Калькутта уже объявлена английским президентством. Затем английские полковники Милл и Скотт разрабатывают планы военного завоевания Бенгалии, заключительный этап которого связан с именем предприимчивого и жестокого авантюриста Роберта Клайва. Драматичная борьба Роберта Клайва с навабом Сираджем, хитрость и коварство англичан, предательство соперника Сираджа Мир Джафара, пошедшего на сговор с врагами своего народа, — рассказ об этом занимает центральное место в книге.

Перед читателем раскрываются причины развернувшейся трагедии: ненасытная жажда прибылей Ост-Индской компании, коварство и алчность ее ставленников, и прежде всего Роберта Клайва, интриги, предательство среди правящей верхушки Бенгалии. И вот наступило 23 июня 1757 года — одна из самых трагичных дат в истории Индии. В этот день Роберту Клайву удалось в битве при Палаши разгромить войска наваба Сираджа. В этот день «ценой крови семидесяти человек Роберт Клайв добыл для Англии «Золотую Бенгалию» и

тем открыл дорогу интервентам в сердце Индии. Себе он «завоевал» громкий титул барона Плесси...».

Но поступательное движение истории можно только временно остановить, но не повернуть вспять. Прошло два столетия. «В Бомбее на берегу Аравийского моря,— пишет О. Орестов в предисловии,— стоят массивные каменные ворота — «Ворота Индии». В 1947 году автор этих строк был свидетелем бегства английских колонизаторов из страны, охваченной освободительным движением. Под звуки шотландских вольнок последние английские солдаты, два века топтавшие индийскую землю, садились в лодки, пройдя перед тем через эти Ворота...»

А вот и другой памятный день 1947 года. «Я счастлив,— пишет автор на заключительных страницах книги,— что в 1947 году смог присутствовать на площади у делийского Красного Форта, когда Джавахарлал Неру поднял флаг независимой Индии...»

Да, 1947 год стал поистине значительным для индийского народа. В этот год последний английский солдат покинул его землю, в этот год он обрел независимость, в этот год 13 апреля были установлены дипломатические отношения между Советским Союзом и Индией, отношения, которые развиваются и крепнут из года в год, и прежде всего потому, что они основаны на равноправии, взаимопонимании, уважении, невмешательстве во внутренние дела. Дружественные отношения между нашими странами были закреплены в Договоре о мире, дружбе и сотрудничестве, заключенном в 1971 году.

«...отношения дружбы и сотрудничества,

неизменно существующие между Индией и Советским Союзом на протяжении тридцати лет, прошедших со дня обретения Индией независимости, будут развиваться и впредь на благо обоих наших народов», — заявил премьер-министр Индии М. Десаи. Символом дружественной помощи, которую все эти годы великий советский народ оказывал братскому индийскому народу, стал металлургический гигант в Бхилаи. Наша страна помогла республике Индия и в подготовке собственных национальных кадров: ведь до независимости в Индии их практически не было, все ключевые посты в промышленности, науке, управленческом аппарате занимали иностранцы.

Советско-индийское сотрудничество в области науки помогло индийским ученым открыть дорогу в космос. С помощью советской ракеты, как известно, был запущен первый индийский искусственный спутник «Ариабата».

Значительны успехи в развитии советско-индийских культурных отношений. Достаточно сказать, что свыше 700 книг индийских писателей было переведено на русский и другие языки народов СССР. Недавно завершился фестиваль индийской культуры, проходивший одновременно в Москве, Ленинграде, в столицах союзных и автономных республик, в ходе которого миллионы советских людей познакомились с самобытным искусством Индии.

Книга О. Орестова «Ворота Индии» — это еще одно свидетельство огромного интереса, который советский народ проявляет к истории, культуре, социальному прогрессу дружественной Индии.

Георгий СТЕПАНИДИН.



КОРОТКО О КНИГАХ



АГОСТИНЬО НЕТО. Звездный путь. Стихи. Перевод Михаила Курганцева. М. «Правда». 1977. 32 стр.

Время исторических перемен в жизни народов всегда выводит на авансцену людей ярких, многогранно талантливых, неутомимо действующих в самой гуще событий. Это своего рода всеобщая закономерность, и Африка в этом смысле не исключение. Борьба за освобождение от пут колониализма выдвинула на континенте целый ряд деятелей, которые сочетают волю и энергию политического борца с творческим даром художника и мыслителя. В их ряду мы с полным правом называем имя Агостиньо Нето — национального лидера независимой Анголы и вместе с тем выдающегося африканского поэта-революционера, одну из ведущих фигур молодой ангольской литературы. Его благородная и самоотверженная деятельность по достоинству отмечена Международной Ленинской премией «За укрепление мира между народами».

Мне, выучившему русский язык за годы учебы в Советском Союзе, нравится читать книги африканских писателей, выпускаемые в СССР на языке Пушкина и Горького. Этих книг с каждым годом становится все больше. Одна из них — недавно опубликованный издательством «Правда» небольшой сборник переводов избранных стихов Агостиньо Нето. Книга называется «Звездный путь», это на редкость удачное название. Не только потому, что так озаглавлено одно из лучших стихотворений сборника, но и потому, что сегодня народ Анголы, которому Нето посвящает стихи, идет по своему звездному пути — пути свободной и самостоятельной жизни.

Агостиньо Нето воскрешает многие горестные страницы истории своего народа — он рассказывает о долгих годах колониальной неволи, о жизни «раздавленных, поработанных», которых угнетатели «приучили страдать, ожидая спасенья с небес».

Незабываемо трагическое стихотворение «Монолог после пытки» — в нем как бы слышится сдавленный голос человека, вынесшего все муки колониально-фашистского застенка, человека, который «после пыток все потерял, кроме слова: «Нет!». Это стихи автобиографические, потому что Агостиньо Нето сам испытал на себе ужасы тюрем салазаровской охраны. В другом стихотво-

рении, «Ночь в тюрьме», он говорит о своих собратьях, томящихся в соседней камере, о тех, кто «покрыт ранами, но не позором». Это стихи о мужестве и стойкости, о том, что тюремщики боятся заключенных, «боятся всего, что сильнее и выше страданий избитого тела, сильнее тюрьмы, униженья и пытки, и злобы, и голода, и равнодушья».

Но не только о героизме одиноких узников говорит Агостиньо Нето. В его стихах, и это главное, во весь голос звучит рокот народного восстания, слышится поступь разгневанных масс. «Пламя и ритмы» — так названо динамичное, полное могучей музыки стихотворение о народе, в едином порыве поднявшемся на борьбу:

Влизится срок!
Тяжек и строг
яростный шаг
окровавленных ног.
Ритмы в грязи,
ритмы в пыли,
Ритмы вблизи,
ритмы вдали.
Ритмы в борьбе,
ритмы в огне.
Ритмы в тебе,
ритмы во мне!

Твердая вера поэта-бойца в то, что близок час, когда «свершится, сбудется все — придет победа, взойдет заря», наполняет строки Агостиньо Нето, написанные задолго до того, как была провозглашена независимость Анголы, та самая независимость, завоеванию которой сам Агостиньо Нето отдал столько сил и энергии. Поэт предвидел, что вслед за победой, за окончанием освободительной войны придет время созидательной работы во имя светлого будущего. Ныне это время настало, и поэтому особенно современно начинаются строки стихотворения «Созидание»:

Созидать,
созидать,
созидать —
духом и плотью,
мыслью и делом,
сохраняя
мышцы — твердыми,
чуткими — нервы,
сухими — глаза!

Стихи, написанные африканским поэтом на португальском языке, хорошо воспринимаются в русском переводе. Перевел книгу поэт Михаил Курганцев, который еще в 60-х годах впервые сделал мои стихи доступными советским любителям поэзии — сделал

это любовно и поэтично. В своей новой работе Курганцев сумел найти верные интонации и ритмы для передачи той строгости и выразительности, которые свойственны стихам Агостино Нето.

Выход в свет этой небольшой, яркой и цельной книги — еще одно свидетельство крепнущей связи советской и африканской культур, еще один вклад в доброе и большое дело упрочения братства народов СССР и Африки.

Гауссу Диавара.

Республика Мали.



БОРИС ЯРАНЦЕВ. Двери своего дома. Роман. М. «Молодая гвардия». 1977. 240 стр.

Автор романа «Двери своего дома» обратился к редкому материалу, почти не затронутому в художественной литературе. Газеты и журналы давали материал о быте и нравах тех архаических общин — монастырей, которые еще имеются у нас. Эти выступления в периодике восила эпизодический характер и, как правило, не отличались аналитической глубиной — они критически показывали лишь внешнюю сторону явления без особого проникновения в существо наболевших проблем. Ст подобного рода выступлений в периодике резко отличен роман «Двери своего дома», в котором писатель показывает монастырский мирок не глазами заезжего корреспондента, а изнутри, с большим знанием той жизни, которая наглухо скрыта от постороннего взгляда. И показывает эту жизнь непредвзято, судит без враждебности.

Роман Б. Яранцева в определенной мере разговор с верующими, который может быть успешен только при условии доверия со стороны верующих. Без этого доверия нечего и рассчитывать, что заблуждающиеся поймут говорящего, примут его мировоззрение. В ином случае — при враждебном отношении к верующим — в ответ можно получить только враждебность, и никакой разговор не состоится... Борис Яранцев к людям верующим относится с тем необходимым тактом, который и позволяет вести этот разговор. Но автор в то же время всем ходом развивающихся событий глава за главой показывает, что нравственные религиозные устои сегодня не могут дать ищущей душе того, к чему она стремилась, уходя из мира.

В романе идет рассказ о деревенской девушке из Закарпатья, которая, не выдержав трудных жизненных испытаний, пошла «на гору», в монастырь. Душевное одиночество, душевная опустошенность монахинь страшат Анну, а встречи и общение с представителями всех ступеней церковного мира от рядовых монахинь до епископа шаг за шагом раскрывают глаза новой монашине, заставляют ее задуматься о собственном пути в жизни, который не может и не должен повторять трагических судеб, прошедших перед ее глазами.

Удача главного образа — Анны — предопределила удачу всего романа. Автор ведет повествование от имени своей героини, и читатель видит психологическую подоплеку ее поступков, логику ее поведения. Писатель рассматривает судьбу героини на сломе, раскрывает причины ее разочарования в монастырской жизни, ее протеста. Протест этот не прост, не однозначен — в формах своих он прямо связан с тем, что узвано и познано героиней в ее новой, монастырской жизни. И протестует здесь не человек со стороны, а человек, в достаточной мере уже усвоивший мораль, против которой он теперь и выступает...

Роман намного шире своей «антирелигиозной тематики» — это роман о поисках жизненного пути, о трудном нравственном становлении, о выявлении своего «я» в самых тяжелых жизненных обстоятельствах, когда помощи ждать неоткуда и выход надо искать самому. Роман заселен густо. Мы знакомимся в основном со служителями церкви во всем многообразии их типов. Кто-то из них по своим душевным качествам способен привлечь сердца читателей, другие вызывают неприязнь, ненависть, ибо герои романа — живые люди со своими очерченными характерами. Но живут и действуют эти люди, повторяю, в сфере малоизвестной или совсем неизвестной широкому читателю, отсюда и возникает дополнительный интерес к рецензируемой книге.

Нельзя не сказать и о просчетах автора. Для меня, например, недостаточно достоверны начальные главы, где обстоятельства заставляют героиню отказаться от прежней, мирской жизни, уйти «на гору». Автор тут явно робок, он боится поставить Анну в то чрезвычайное, кризисное положение, которое должно вынудить ее захоронить себя заживо. Требование умершей матери, чуть-чуть приправленное невнятной любовной неудачей, еще мало для такого переворота. Эти сюжетные и психологические ситуации требовали большей глубины, более тонкой разработки характера героини.

Недостатки эти частные. Писатель смело взялся за сложную тему и решил ее по-своему, оригинально.

Владимир Тевдюков.



Ш. А. БОГИНА. Иммигрантское население США. 1865—1900 гг. Л. «Наука». 1976. 275 стр.

Ш. Богина давно известна как крупнейший специалист по проблемам иммигрантского населения США. Ее новая книга, основанная на большом количестве источников, включая архивные данные, и прекрасно написанная, представляет интерес не только для историков, этнографов и социологов, но и для широкого круга читателей.

Автор подробно описывает судьбу и образ жизни иммигрировавших в США немцев, итальянцев, скандинавов, а также не-

которых других национальных групп (ирландцев, англичан, франкоканадцев, китайцев и т. д.). Анализ общих закономерностей формирования американской нации органически сочетается при этом с исследованием тех специфических черт, которые сохраняют и передают из поколения в поколение ассимилируемые меньшинства. Как меняются в процессе адаптации иммигрантов к новой социально-экономической и культурной среде традиционные для них виды профессиональной деятельности, структура семьи, национальное самосознание? Какие отношения складываются у них с коренным населением и как это преломляется в соответствующих социально-психологических стереотипах? Как изменяется положение и самосознание иммигрантов во втором и третьем поколениях? Все эти проблемы достаточно сложны.

Всем известно, например, что в преступном мире США широко представлены италоамериканцы. Но почему? Многие исследователи видят корни этой преступности в Италии, в том, что иммигранты перенесли на американскую почву обычаи сицилийской мафии. Однако, судя по данным американского социолога Х. Нелли, преступность среди итальянцев в Бразилии и Аргентине была ниже, чем в США, а в Милуоки, Новом Орлеане и Новой Англии ниже, чем в Чикаго. Следовательно, «преступный бизнес» италоамериканцев надо рассматривать не как пережиток вендетты, а как специфическое средство приспособ-

ления к американской среде. Вообще для понимания судьбы любой иммигрантской группы нужно знать как ее прошлое, включая не только этническое, но и социальное происхождение ее членов, так и конкретные условия новой среды, к которой она адаптируется, со всеми ее специфическими проблемами и противоречиями.

Ш. Богина убедительно раскрывает многомерность и многоплановость процессов ассимиляции, когда утрата одних этнических черт и особенностей может сочетаться с сохранением и даже усугублением других. Межэтнические отношения тесно связаны также с общими свойствами исторической среды. Ш. Богина подчеркивает в этой связи рост в последние десятилетия XIX века расизма и национальной дискриминации, причем «травля инородцев сочеталась с преследованием всего революционного или радикального». Особенно ценны указания автора на связь процессов ассимиляции с классовым расслоением как американского общества в целом, так и отдельных иммигрантских групп; этот вопрос хуже всего исследован в специальной литературе.

Книга Ш. Богиной является исторической, она посвящена второй половине XIX века. Но обсуждаемые в ней вопросы актуальны и сегодня. Хотелось бы пожелать, чтобы это основательное исследование было продолжено и распространено также на XX век.

И. Коля



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Лев Толстой, как зеркало русской революции. 24 стр. Цена 3 к.

В. И. Ленин. Две тактики социал-демократии в демократической революции. 142 стр. Цена 20 к.

В. И. Ленин. О социалистической демократии. 230 стр. Цена 40 к.

В. И. Ленин. Империализм, как высшая стадия капитализма. 136 стр. Цена 15 к.

Партия и армия. Под общей редакцией А. А. Епишева. 382 стр. Цена 1 р.

П. Подляшук. Богатырская симфония. Документальная повесть о Е. Д. Стасовой. 254 стр. Цена 60 к.

Феликс Эдмундович Дзержинский. Биография. 494 стр. Цена 1 р. 30 к.

В. Щербицкий. XXV съезд КПСС о совершенствовании социалистического образа жизни и формировании нового человека. 255 стр. Цена 45 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

М. Волошин. Стихотворения. Вступительная статья С. Наровчатова. («Библиотека поэта». Малая серия) 462 стр. Цена 1 р. 38 к.

В. Кожевников. Дерево жизни. Рассказы. 783 стр. Цена 2 р. 81 к.

А. Мовзон. Люди во времени. Пьесы. Перевод с белорусского. 352 стр. Цена 1 р. 20 к.

О. Носенко. Житийские истории. Иронические новеллы. Перевод с украинского. 190 стр. Цена 54 к.

Ю. Рытхэу. Когда киты уходят. Повести и рассказы. 336 стр. Цена 1 р. 28 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Р. Альберти. Избранное. Сборник лирики и драматургии к 75-летию испанского поэта, лауреата Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». Перевод с испанского. 557 стр. Цена 2 р. 10 к.

К. Батюшков. Стихотворения. 206 стр. Цена 92 к.

Великий Октябрь. Сборник стихов советских поэтов, посвященных событиям Вели-

кой Октябрьской социалистической революции, В. И. Ленину, Коммунистической партии. 270 стр. Цена 4 р. 70 к.

Волшебная арфа. Сказки народов Бирмы. Переводы. 351 стр. Цена 1 р. 82 к.

Г. Вулф. Домой возврата нет. Роман. Перевод с английского. 733 стр. Цена 3 р. 30 к.

М. Горький. Детство. Повесть. 254 стр. Цена 97 к.

В. Гюго. Собор Парижской богоматери. Роман. Перевод с французского. 526 стр. Цена 2 р. 40 к.

А. Каххар. Избранные произведения. В 2-х тт. Перевод с узбекского. Т. 1. Романы. 494 стр. Цена 2 р. 10 к. Т. 2. Повести. Рассказы. 397 стр. Цена 1 р. 70 к.

Н. Лесков. Избранное. В 2-х тт. Т. 1. 461 стр. Цена 2 р. 25 к.

Е. Логинская. Поэма М. Ю. Лермонтова «Демон». 118 стр. Цена 25 к.

С. Малашкин. Девушки. Роман. 429 стр. Цена 1 р. 80 к.

А. Нурпесов. Кровь и пот. Трилогия. Перевод с казахского. 765 стр. Цена 3 р. 20 к.

Б. Олейник. Стихи. Перевод с украинского. 206 стр. Цена 70 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Актуальные вопросы политики КПСС. По материалам XXV съезда КПСС. 43 стр. Цена 5 к.

В. Боков. В трех шагах от соловья. Стихи. 160 стр. Цена 52 к.

В вихре революции. Говорят бойцы Октября, ветераны ленинского комсомола, гражданской войны, участники социалистического строительства. 254 стр. Цена 1 р. 75 к.

Политика КПСС — марксизм-ленинизм в действии. По материалам XXV съезда КПСС. 46 стр. Цена 5 к.

Ю. Сальников. Убеждение. Ушинский. Историческое повествование. 175 стр. Цена 36 к.

Твой главный маршрут — пятилетка. Очерки пионерской жизни. 111 стр. Цена 36 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзагов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 103006, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 24/X 1977 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 5/XII 1977 г.
А 09874. Формат бумаги 70×108/16, 28,7 уч.-изд. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.).
Тираж 152.000 экз. Заказ 3504.

Отпечатано с матриц типографии издательства «Известия Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5, в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 05840.

Цена 70 коп.

70636

Новая цена 0,49

7. XII 1981 г.